

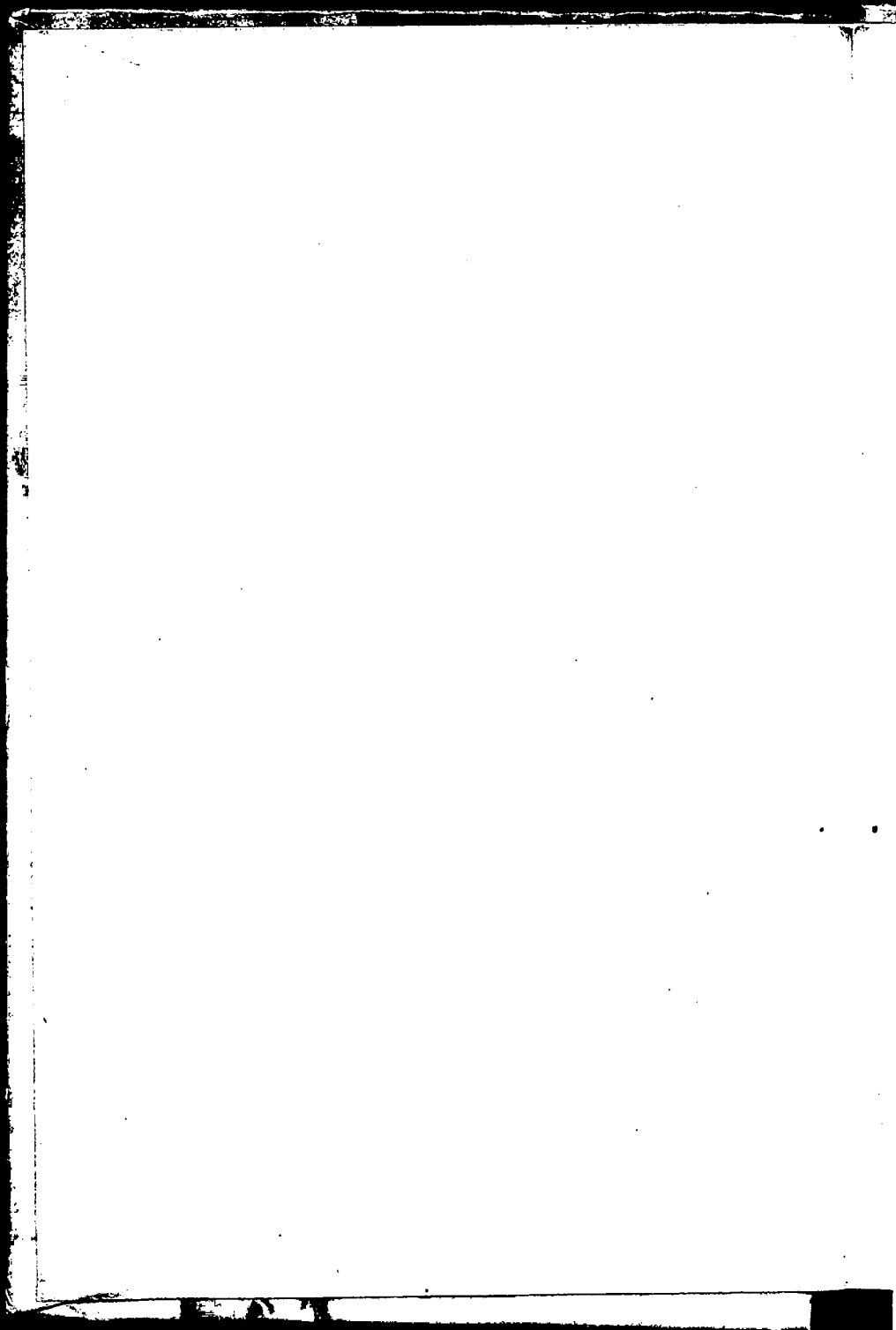
ИЗ ДНЕВНИКОВ КРУГОСВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

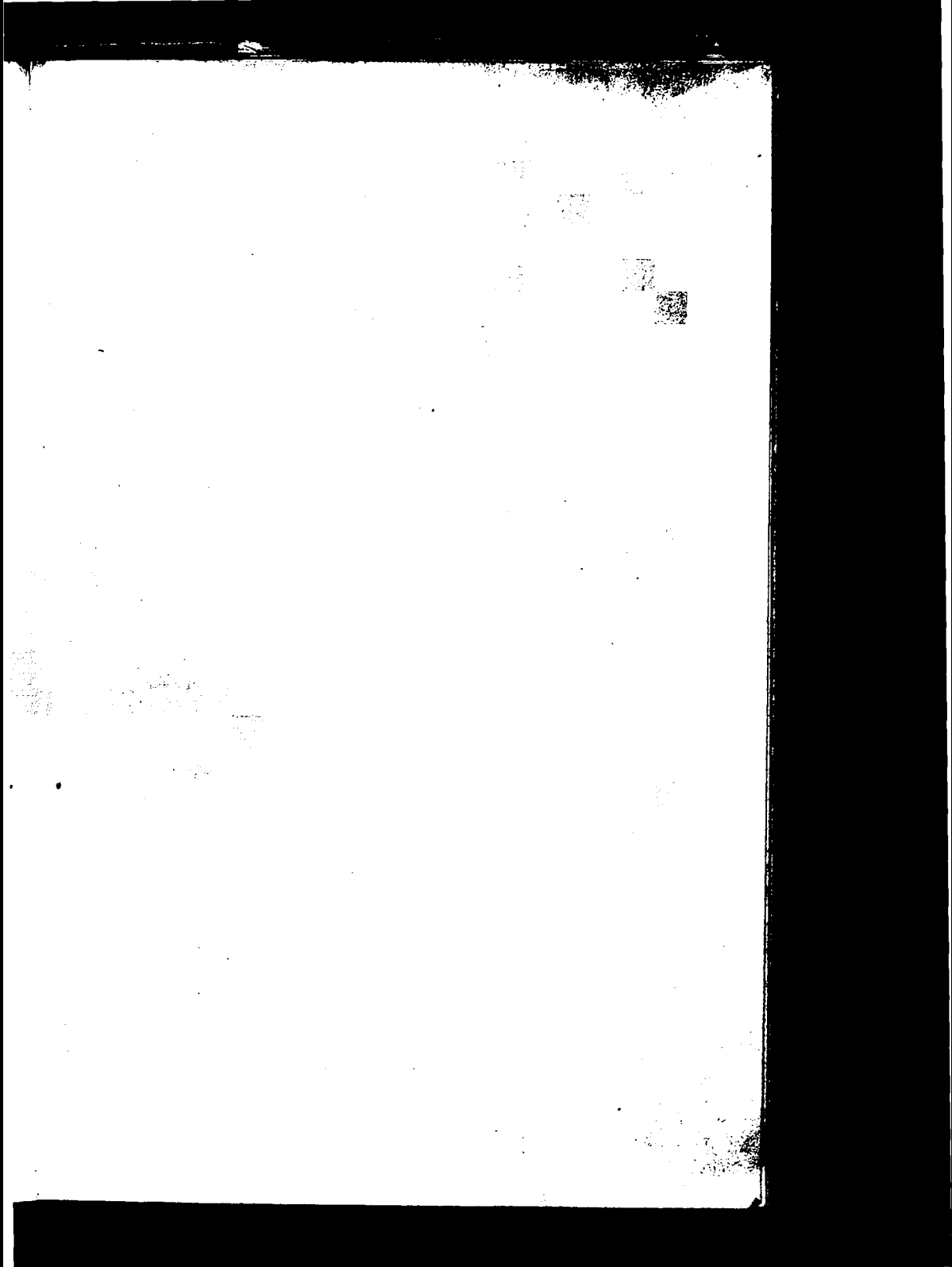
Н.Г. ГАРИН

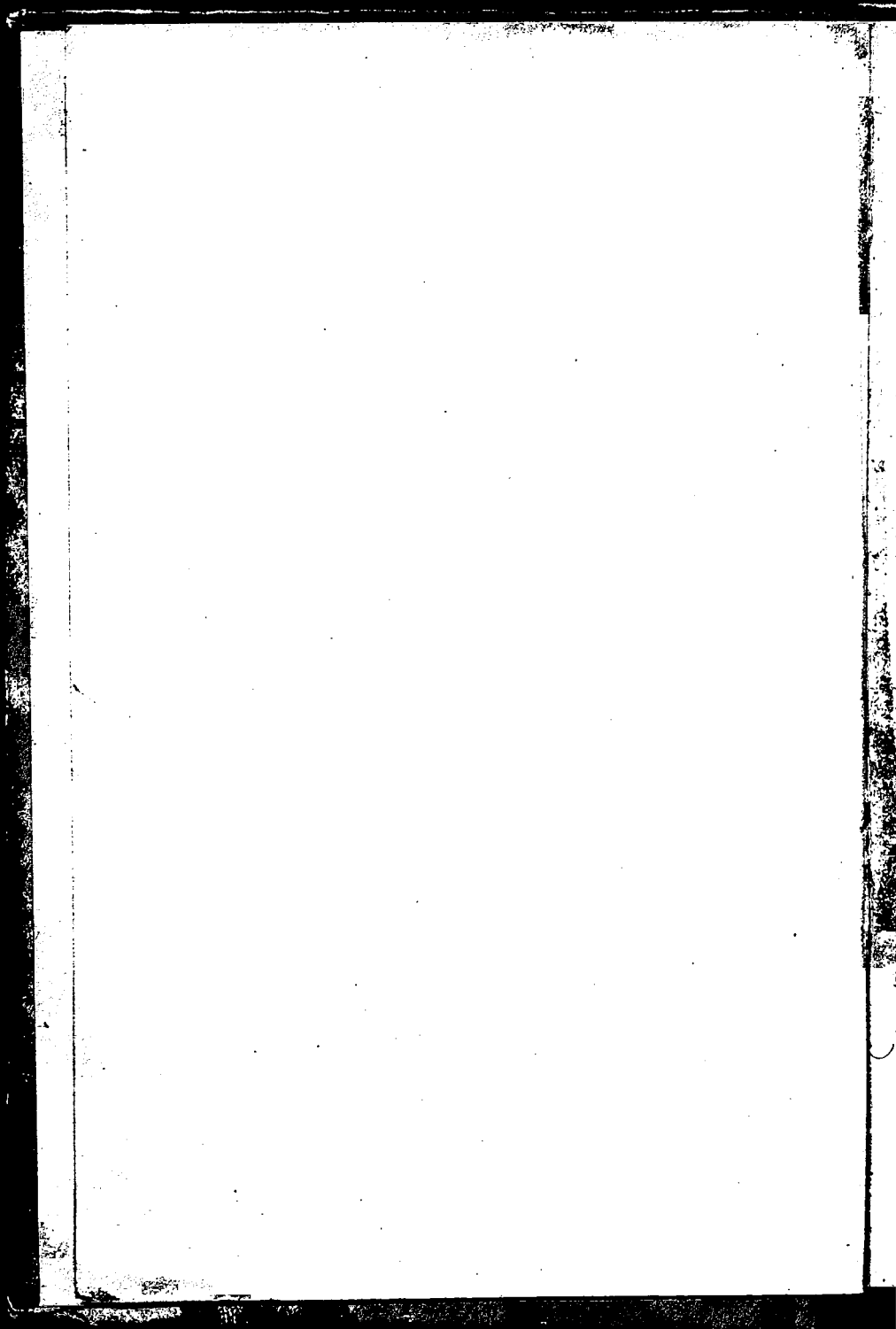
ИЗ ДНЕВНИКОВ
КРУГОСВЕТНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ

426 $\frac{3}{71}$.











Н. Г. ГАРИН

ИЗ ДНЕВНИКОВ
КРУГОСВЕТНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ

(ПО КОРЕЕ, МАНЬЧЖУРИИ
И ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ)

СОКРАЩЕННОЕ ИЗДАНИЕ

№ 71
1950.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1949

1065

*Под редакцией, со вступительной статьей
и комментариями
В. Т. ЗАЙЧИКОВА*

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ И ЕГО ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА

В замечательной плеяде русских путешественников прошлого века совершенно особое место принадлежит писателю Гарину, оставившему яркий след в отечественной литературе и, в том числе, в географической. К сожалению, вклад Гарина в эту область до настоящего времени не только не оценен, но даже не отражен в нашей историко-географической литературе. Между тем значение географических и этнографических исследований этого писателя, его замечательных очерков, рисующих яркие картины природы и условий жизни трудового народа, поистине огромно. Написанные почти полвека назад, работы Гарина не утратили своей свежести и с захватывающим интересом читаются и в наши дни.

Н. Гарин — литературный псевдоним Николая Георгиевича Михайловского. Он родился 8 февраля 1852 г. в Петербурге в семье боевого офицера. Детские и отроческие годы Гарина прошли на юге, в Одессе, куда перевез семью его отец, выйдя в отставку генералом. Здесь на окраине города у Михайловских был собственный дом с большим садом и прекрасным видом на море.

После окончания гимназии, в 1871 г., Николай Георгиевич переезжает в Петербург, где учится сначала на юридическом факультете университета, а с 1872 года в Институте инженеров путей сообщения. Через шесть лет, молодым инженером, он был направлен в действующую армию в Болгарию на строительство шоссейной дороги; с окончанием русско-турецкой войны (1877—1878 гг.) — в Бессарабию, на строительство Бендеро-Галацкой дороги. С этого времени начинается практи-

ческая работа Гарина в качестве путейского инженера-строителя, на многие годы захватившая Гарина, постоянно перебрасывая его с одного конца страны в другой.

В 1880 году он уже строит дорогу в Батум, незадолго перед этим (после окончания русско-турецкой войны) отошедший к России; несколько лет спустя работает на Урале на постройке Уфа-Златоустовской железной дороги, проводит дорожные изыскания в Татарии между Казанью и Малмыжем, в Сибири на строительстве Великой сибирской дороги, совершив в этот период путешествие по Иртышу к его устью, а также и в Вятской, Костромской и Волынской губерниях.

В 1898 году, после завершения строительства узкоколейной ветки, связавшей Сергиевские серные воды в Среднем Поволжье с Самаро-Златоустовской железнодорожной магистралью, Гарин в начале июля того же года отправляется в кругосветное путешествие через Сибирь, Дальний Восток, Тихий и Атлантический океаны и через Европу обратно в Петербург.

По возвращении из кругосветного путешествия Гарин несколько лет живет в своем имении, в Бугурусланском уезде Самарской губернии, занимаясь сельским хозяйством и литературной деятельностью; но вскоре, лишившись имения, проданного за долги, он вновь возвращается к своей инженерской профессии, отправившись на строительство дороги на южном берегу Крыма.

Вспыхнувшая русско-японская война бросает Гарина на Дальний Восток, где в течение пяти месяцев, разъезжая по Маньчжурии с запада на восток через Хайлар, Харбин до станции Пограничная и от Харбина на юг через Мукден, Ляоян, Дашицяо до Инкоу, он собирает материал о военных действиях и о самой стране, изданный впоследствии отдельной книгой: «Дневник во время войны».

В 1905 г. Гарин еще раз в Сибири. Утомленный поездками в Маньчжурию и Сибирь, он возвращается в Петербург, охваченный пламенем революции, и сразу же принимает горячее участие в организации социал-демократического журнала «Вестник жизни». 27 ноября 1906 года во время заседания редакции этого журнала Гарин скончался от паралича сердца в возрасте 54 лет.

Соединяя в себе необыкновенную разносторонность дарования, колоссальную работоспособность и трудолюбие, Гарин был столь же разносторонен в своих интересах и в своей деятельности. Талантливый инженер, спроектировавший и построивший большое количество дорог в разных концах нашей страны и всю свою жизнь пламенно борющийся за идею создания в России разветвленной сети дешевых железных дорог, он с не меньшей настойчивостью развивал и пытался реализовать на практике идею внедрения в России интенсивного сельского хозяйства. Блестящий публицист и литератор, с первого же своего выступления на литературном поприще в 90-х годах с повестью «Детство Тёмы» завоевавший себе широкую известность в русской литературе и значительно упрочивший ее последующими художественными произведениями, он вместе с тем со всей страстностью своей кипучей натуры вынашивает идеи широкого экономико-географического плана о создании полосы защитных лесонасаждений в Поволжье как преграды для движения песков с востока, по борьбе с обмелением Волги, по борьбе с развитием овражистости и т. д.

Постоянные путешествия, связанные с практической изыскательской и строительной работами, развили в Гарине интерес к географии и глубокое чувствование и понимание природы, а постоянное общение с рабочими и крестьянами укрепило в нем любовь к трудовому народу. Неудивительно поэтому, что географические и этнографические элементы, наряду с экономическими, занимают столь большое место даже в его художественных произведениях¹. Эти элементы особенно сильны в его очерках, написанных в период путешествий по Западной Украине и северу европейской части России.

«Картинки Волыни», написанные Гариным в период его путешествия по Волынской губернии, замечательны прежде всего своей географо-этнографической характеристикой этого края, составленной с большим знанием дела и изумительным мастерством. Уже с первых строк очерков, знакомя читателя со своеобразием лесного ландшафта Волыни, Гарин обнаруживает черты тонкого наблюдателя природы, а в своих сравнениях волынских

¹ Самостоятельные географические исследования Гарина рассматриваются ниже, во второй части настоящей статьи.

лесов с сибирскими и другими — и значительный запас впечатлений о природных условиях различных районов России. «Лесистая Волянь,— пишет он,— вся спряталась от глаз в своих обширных лесах. Где-то там уютятся белые домики, сверкает речка и опять леса и леса. Но не дикие леса Сибири, тайга, непроходимый склад стоячего и лежащего гнилья. Это и не леса Уфимской губернии — запущенные, испорченные, поросшие всякой дрянью,— урман, как называет такой лес башкирин, истребитель его. Это, наконец, не южные леса Кавказа, переплетенные всякими выющимися растениями, делающими их совершенно непроницаемыми. Леса Подолии — это, в большинстве случаев, расчищенные парки, и владельцы их щеголяют друг перед другом своим порядком в лесах и уходом за ними. Длинные прямые просеки идут через каждую версту и тонут на горизонте в просвете куса голубого неба. Иногда в них мелькнет стройная фигура огненно-желтого дикого козла, или задумчиво с понурой головой пробредет тоже дикий кабан»¹.

Вместе с тем путешественник находит и внутри самой посещенной им Волини различия в типах местности. В том же очерке кратко, почти в двух словах, Гариным рисуется картина сельскохозяйственной Волини с ровной, как ладонь, местностью, с бесконечными полями ржи в сажень высотой и яровыми, обещающими богатый урожай, с рядами деревень, с белыми чистенькими хатками под высокими соломенными крышами, с гнездами аистов на них, с садочком и огородом, в которых и мак, и конопля, и капуста, и дыни, и арбузы. И «в этой бездне зелени, воздуха и неба последними штрихами манят к себе высокие, стройные, одинокие тополи, то здесь, то там разбросанные по деревьям».

За Случем глазам путешественника открывается еще новый тип местности — лесные болота, быстро осваиваемые колонизаторами.

Тонкая наблюдательность в Гарине прекрасно сочеталась с умением передать свои наблюдения и впечатления в виде увлекательнейших описаний, очерков, рассказов; взявшись за чтение их, уже невозможно оторваться, не дочитав до конца.

¹ Гарин Н. Г. Собрание сочинений. Изд. Маркса, 1916 г., том 1, стр. 271.

Всякий предмет, всякое событие, каждая мысль излагаются образно, ярко, захватывающе. И эти ценные качества гаринского изложения становятся тем более удивительными, если учесть совершенно необычные условия творческой работы Николая Георгиевича. Он писал только «на-скоро», большей частью в дороге, в железнодорожном вагоне, в каюте парохода, где-нибудь на ночлеге в крестьянской избе, примостившись к краешку стола, или просто в поле, в мороз, под дождем. Не имея времени перепечатать и выправить, он отдавал рукопись в редакцию и уже неся в поезде куда-нибудь дальше по своим неотложным делам. «И вот,—вспоминает Сергей Яковлевич Елпатьевский, хорошо знавший Гарина,—с разных станций полетели телеграммы... где предлагалось изменить текст, где перерабатывались целые главы, иногда вставлялись новые места, и, пока Гарин доезжал до места, рассказ преображался и, конечно, стоил автору дорожке, чем гонорар, который он должен был получить за рассказ»¹.

Писал он часто карандашом, на чем придется: на первых попавшихся клочках бумаги, на железнодорожных или старых телеграммных бланках. «Я видел черновики его книг о Маньчжурии и «Корейских сказок»,—вспоминает о Гарине Максим Горький,—это была куча разнообразных бумажек, бланки «Отдела службы тяги и движения» какой-то железной дороги, линованные страницы, вырванные из конторской книги, афиша концерта и даже две китайские визитные карточки; все это исписано полусловами, намеками на буквы.

— Как же вы читаете это?

— Ба! — сказал он. — Очень просто, ведь это мною написано.

И бойко начал читать одну из милых сказок Кореи. Но мне показалось, что читает он не по рукописи, а «по памяти»².

С другой стороны, эта «телеграфная» быстрота и стихийность творчества Гарина придавали его изложению исключительную динамичность, а его слогу — крыла-

¹ С. Елпатьевский. Н. Г. Гарин-Михайловский. Воспоминания. «Красная Нива», 1927, № 19, стр. 16.

² М. Горький. Н. Г. Гарин-Михайловский. «Красная новь», книга 4, 1927, стр. 208.

тость. Свое изложение очень часто он ведет короткими отрывистыми фразами, то и дело пересыпая речь междометиями, вопросительными и восклицательными знаками:

«Гоп. Последний прыжок, и опять я на ногах, на твердой земле, — хочу стою, хочу иду; опять живой и здоровый.

О, боже, неужели мы с П. Н. были там? Здесь внизу вся обнаженная вершина Пектусана еще более напоминает гигантские грозные бастионы, круглые башни, обстреливающие все выступы.

Но некогда: скорее, пока светло, окончить осмотр оврагов.

Что это шумит?

А! вот откуда пробирается вода».

Или вот еще: «И опять залпы: то трескучие, то глухие — бум... бум...

Хунхузы?! Где ружье? Где хунхузы? В фанзе уже перерезали всех, и только я почему-то еще жив? Стреляют в бумажные двери, стоя перед нами? Ночь, хоть глаз выколи. Зажечь свечу? Откроешь им все... Откроют и так... Так вот как это все кончается... Что ж, как-нибудь да должно же когда-нибудь кончиться... Поздно, поздно... Теперь одно мужество смерти...».

Биографы Гарина отмечают его удивительную работоспособность и трудолюбие. Он вечно куда-то спешил, ему всегда было некогда, всегда доотказа он был захвачен своей работой, своими идеями, осуществлению которых придавал большое общественное значение. Он спал не более 3—4 часов в сутки. Остальные 20 часов были целиком заняты работой.

На пятом десятке лет, вместо отдыха после работ по строительству железнодорожной линии в Сергиевских минеральных водах, Гарин едет в кругосветное путешествие и характерно, что, даже находясь в труднейших условиях перехода по Корее и Маньчжурии, будучи до предела занятым ведением технического журнала экспедиции, астрономическими наблюдениями, барометрической нивелировкой местности, составлением подробного дневника, сбором и записями народного фольклора, между делом, на привалах, ночью вместо сна, он не прекращает своих занятий английским языком, добившись в этом за эту поездку больших успехов.

Нередко он даже злоупотребляет своей работоспособностью в ущерб здоровью. В последние годы жизни, чтобы сократить сон, начинает принимать специальные облатки сильно возбуждающего средства. Незадолго перед своей смертью, отвечая на вопрос Елпатьевского, как он может не нуждаться в настоящем отдыхе, Гарин вынул из кармана коробочку с такими облатками и пояснил, что когда он устает и ему захочется спать, он принимает лекарство и становится опять свежим, бодрым и работоспособным. И улыбаясь, добавил: «однажды чуть не отравился от этих облатков». Но уговоры Елпатьевского бросить лекарство успеха не имели.

Какие же цели и какие идеалы имел этот неутомимый труженик, не щадивший ни своих сил, ни своего здоровья? Вся его творческая жизнь была могущественным порывом к будущему, к новому, лучшему. Для него не было большей радости, чем радость труда на благо горячо любимой родины, во имя ее славы и величия: «Да,— говорил он устами Кольцова в рассказе «Вариант»,— нет выше счастья, как работать во славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это — жизнь, это напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви; что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием приносимой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь!» О будущем России он мечтал до последних дней своей жизни: «Счастливая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас»¹.

Эти благородные чувства и твердая вера в возможность и необходимость перестройки жизни на новых началах сблизили Гарина с марксистскими организациями. Правда, он не стал членом политической партии и был вообще далек от непосредственной политической работы, но революционность учения Маркса не могла не захватить его деятельной натуры. «Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу,

¹ М. Горький. Цит. произв., стр. 213.

исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности»¹.

С середины 90-х годов Гарин порывает с народничеством, увлечение которым у него, впрочем, продолжалось сравнительно недолго, и устанавливает связи с марксистскими организациями, оказывая им материальную поддержку. Он был в числе основателей марксистской газеты «Самарский вестник». В период революции 1905 г. он принял ближайшее участие в организации журнала «Вестник жизни», находившегося в руках большевиков. Партии большевиков, незадолго до своей смерти, Гарин передал часть своего состояния.

* *
*

В путешествии Гарина вокруг света выделяются три основных этапа, представляющие различный интерес с географической точки зрения. Первый из них охватывает период путешествия через Сибирь на Дальний Восток, второй — посещение и географические исследования в Корее и Маньчжурии и третий — путешествие автора через Тихий и Атлантический океаны в Европу.

Записи Гарина, относящиеся к периоду путешествия через Сибирь на Дальний Восток, привлекают к себе внимание прежде всего описаниями автора средств сообщения в тот период с Дальним Востоком, а также его характеристиками процесса освоения восточных территорий России и в особенности Приморья. Эти гаринские записи вызывают тем больший интерес, что автор их сам являлся строителем Сибирской железной дороги, имевшей огромное значение в экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока.

Хотя вопрос о постройке сквозного рельсового пути через Сибирь до берегов Тихого океана поднимался не раз, начиная с середины прошлого столетия, к строительству его было приступлено только в 1891 г. Дорога строилась одновременно с двух противоположных концов: от ее конечного пункта на западе станции Миасс (Урал) в направлении на восток и от Владивостока на запад. Впоследствии эти линии должны были сомкнуться,

¹ М. Горький. Цит. произв., стр. 210.

образовав сплошную железнодорожную магистраль через Азиатский континент.

В описываемое Гариным время были сооружены только части будущей магистрали: ее западный участок между Челябинском и рекой Обью, средне-сибирский участок от реки Оби до города Иркутска, а также конечный участок магистрали между Владивостоком и Хабаровском. Но еще не были построены средние звенья Сибирской магистрали — так называемая Кругобайкальская линия от Иркутска до Мысовой (на восточном берегу озера Байкал), Забайкальская линия от Мысовой до Сретенска и Амурская линия от Сретенска до Хабаровска. На этом, еще не достроенном отрезке железнодорожного пути, поддерживалось сообщение на лошадях и по воде.

Записи Гарина дают яркое представление об исключительных трудностях и ненадежности сообщения на этом участке Сибирского пути, особенно в условиях постоянных дорожных неурядиц, столь типичных для дальних окраин царской России. В этом отношении является показательным, что весь путь от Петербурга до Иркутска, протяжением более 5 тыс. км, при еще неосвоенном железнодорожном сообщении на вновь выстроенной дороге, Гариным был совершен в 12 дней, участок же от Иркутска до Хабаровска длиной около 3,5 тыс. км, пройденный на лошадях и по воде, занял у него ровно месяц, т. е. почти в три раза больше времени, чем весь остальной путь от Петербурга до Владивостока. И это не удивительно, если учесть описываемые Гариным длительные ожидания очереди на почтовых станциях, которые не были «в состоянии удовлетворить и третьей части предъявляемых к ним требований». При остром недостатке казенных лошадей для перевозки пассажиров и грузов, плата за наем «вольных» лошадей достигала баснословной цены — 10—15 рублей за прогон в 20 верст, т. е. в 50 с лишним раз дороже, чем по железной дороге.

Летом между Сретенском и Хабаровском на сравнительно короткий период устанавливалось пароходное сообщение. Однако из 16 дней, затраченных Гариным на путь по Шилке и Амуру, около половины им было проведено в стоянии на мелях и в ожиданиях при пересадках. В результате весь путь от Петербурга до Владивостока занял около 1½ месяцев и, при всех лишениях путеше-

ственников, обошелся почти в 1 тысячу рублей на человека, т. е. был значительно более продолжительным и в два раза дороже, чем если бы ехать во Владивосток кружным путем по морю.

С другой стороны, описываемая Гариным неблагоустроенность пути по Забайкалью и Приамурью, а также продолжительные перерывы в сообщении с Дальним Востоком в период весеннего и осеннего ледоходов по Шилке и Амуру, в условиях проводившейся в конце прошлого столетия усиленной экспансии империалистических держав в дальневосточных странах, представляли для России серьезную политическую и военную опасность. Это особенно сильно проявилось в русско-японскую войну 1904—1905 гг., ко времени которой строительство Сибирской магистрали еще не было полностью завершено, и военные грузы, доставляемые на Дальний Восток, с трудом доходили до места сосредоточения войск.

Сквозное железнодорожное сообщение по этой магистрали открылось в 1899 г. Однако до 1906 г., когда был достроен труднейший участок дороги — Кругобайкальская линия, — поезда через Байкал перевозились на паромках.

Не меньший интерес, с точки зрения истории экономико-географического формирования территории Советского Дальнего Востока, представляют записи Гарина, касающиеся процесса освоения этого района в конце прошлого столетия. Территория Приамурья и Приморья начала посещаться и заселяться русскими еще в XVII в., хотя и после этого еще долгое время этот край оставался глухим и в значительной своей части безлюдным. Только по берегам Амура встречались редкие поселения даур, нагайцев, дючеров, а на морских побережьях и в предгорьях приморских земель обитали малочисленные тунгусские племена. Однако в XVII в. при продвижении на восток, русские казаки здесь столкнулись с китайцами, также претендовавшими на земли Приамурья и Приморья.

Первая попытка размежевания земель на Дальнем Востоке между Россией и Китаем была предпринята в 1689 г. при заключении Нерчинского трактата о границах между этими двумя государствами. Однако Нерчинский договор, определивший пограничную линию

восточнее истоков реки Горбицы «по каменным горам, до моря протягнутым», фактически этого вопроса не разрешил, так как никому не было известно, о каких горах в данном случае шла речь. Большая заслуга в разрешении пограничного вопроса и всей дальневосточной проблемы принадлежала русскому исследователю Дальнего Востока Г. И. Невельскому, неопровержимо доказавшему на основании данных своих исследований 1849—1854 гг. отсутствие права у Китая на территории к востоку от Амура и Уссури. Последний не только не имел здесь своей администрации, городов, но даже запрещал своим подданным посещение левобережья и низовьев Амура.

В 1858 г. Айгунским трактатом была установлена граница между Россией и Китаем по Амуру, а спустя два года по Тяньцзинскому трактату, подписанному 13 июля 1860 г., и дополнительному к последнему договору, заключенному между Китаем и Россией 2 ноября того же года в Пекине, было юридически оформлено присоединение к последней Приморья. Вместе с этим начинается быстрое заселение этого края. Вслед за переселением из Забайкалья казачества, осевшего по берегам Амура и Уссури, последовала крестьянская колонизация из центральных губерний России и из Украины. Колонизация этого края еще более усиливается в восьмидесятых годах, когда русское правительство организовало переселение на Дальний Восток морским путем. По берегам Амура, Уссури, озера Ханка и на морских побережьях одно за другим возникают русские и украинские селения, основываются города. За 12 лет (с 1883 по 1895 г.) из внутренних районов России прибыло в Приморье свыше 25 тысяч переселенцев, основавших здесь до 50 новых селений.

Вместе с тем в пределах русского Дальнего Востока начинают появляться китайские рабочие, предприниматели, а также корейские эмигранты, покидавшие свою родину из-за невыносимо тяжелых экономических и социальных условий существования в Корее. Даже самые строгие меры, применявшиеся корейским правительством к своим подданным, пытавшимся перейти границу государства, не могли остановить потока эмигрантов в Приморье. Корейцы покидали свою родину и тайно, под страхом смерти, переправлялись через пограничную реку

Туманганг, оседаая в Уссурийском крае. В 1863 г. в этом крае насчитывалось всего 12 корейских семейств, а в 1867 г. Пржевальский, посетивший Уссури, нашел здесь уже целые три корейские деревни с общим населением 1 800 чел. Ко времени же поселения Приморья Гариным количество корейского населения здесь значительно возросло.

Во время посещения Гариным Дальнего Востока одним из наиболее животрепещущих вопросов для русских переселенцев являлся вопрос о пригодности этой местности для заселения. Он возникал как в связи со своеобразием природных условий, необычных для русского населения, так и в связи с относительной ограниченностью удобных для распашки земель. Летние муссонные ливни, вызывающие периодически сильные наводнения, и чередующиеся с ними засухи, поражавшие крестьянские поля, внушали переселенцам тревогу и опасения в непригодности края для развития земледелия. Недостаточная же исследованность этой местности порождала самые противоречивые, а нередко даже фантастические мнения на этот счет. «Здесь особенная природа,— рассказывают путешественнику в дороге,— один год в сажень-полторы вырастает пшеница и одно зерно в колосе, а на другой год баснословный урожай, весь сгнивший от дождей, или соберут, начнут есть — судороги и все признаки отравления...». И рядом с этим другое мнение: «Ерунда! Чудные места! Богатейшие места! Свекла, сахарные заводы, винокуренные, пивные заводы, табакководство... Земли сколько угодно...».

Исключительная благоприятность природных условий Приморья для развития сельского хозяйства в настоящее время уже не вызывает сомнения. Характерной особенностью сельского хозяйства здесь является необычайное разнообразие возделываемых культур и высокая урожайность последних. В Приморье успешно возделываются и северные растения, как озимая рожь, овес, и южные культуры, как рис. Здесь произрастают пшеница, просо, гречиха, соя, сахарная свекла, подсолнечник, лен, земляной орех (арахис), перилла, все сорта овощей и бахчевых культур, яблоня, груша, абрикос, персик, виноград.

Однако использование всех этих богатств Приморья стало возможным только в советский период в связи с

коллективизацией сельского хозяйства, значительно облегчившей задачу освоения новых земель и трудности борьбы с тайгой, с наводнениями.

В географическом отношении особенно большой интерес представляет посещение Гариным Кореи и Маньчжурии. Это объясняется тем, что его путь проходил здесь по самой неисследованной части территории всей Восточной Азии, а также и тем, что на протяжении всего этого пути Гариным и его помощниками производились специальные исследования и велись наблюдения, обогатившие географическую науку ценными сведениями о малоизведанных или даже еще непосещенных территориях.

Политика внешней изоляции, проводившаяся корейским правительством на протяжении нескольких столетий, вплоть до последней четверти прошлого века, сильно задержавшая экономическое и культурное развитие Кореи, сказалась также на географической изученности этой страны. Если в течение всего этого периода Корея географически изучалась вообще очень слабо, то северная, пограничная с Маньчжурией, ее часть была совсем недоступна для какого-либо исследования.

Начиная с XVII столетия, вся эта пограничная полоса, с целью прекращения сношений иностранцев с корейским населением и для защиты от проникновения чужестранцев в пределы государства, была умышленно оставлена безлюдной и строго охранялась системой крепостей и кордонов. Поэтому неудивительно, что почти до конца прошлого столетия о высочайшей горе этой части Восточной Азии — вулкане Пектусан (по-китайски Байтоушань) существовали лишь легендарные сведения, проникавшие из отдельных китайских и корейских источников. Отсутствовали достоверные сведения также об истоках, направлении течения, режиме трех крупнейших рек этой территории — Туманганга (Тумыньцзян), Амнокганга (Ялуцзян) и Сунгари. Не имелось даже сколько-нибудь надежных сведений о наличии путей сообщения вдоль северной границы Кореи.

Систематическое изучение этого района было начато русскими исследователями в последнем десятилетии прошлого столетия, после установления дипломатических отношений с корейским правительством и заключения торговых договоров между Россией и Кореей. Начало

этому изучению положил Иван Иванович Стрельбицкий¹, который в 1895 г. во главе специальной экспедиции прошел путь из маньчжурского города Хунчуня по долине реки Туманганг к ее истокам, имея целью выйти прямым путем в Мукден. О новизне и полной неисследованности этого пути свидетельствует следующая запись Стрельбицкого, сделанная им в отчете о своем путешествии, после безуспешных попыток собрать сведения о предстоящем пути. «Собрать настолько определенные сведения было, однако, далеко не легким делом. Туземцы поселяне никогда не ходят далеко, официальные сведения были нам, конечно, закрыты, наконец, хунчунские купцы находятся в сношении только с Гирином, но не имеют никаких дел в Мукдене. Затруднения увеличивались еще тем, что в народе вообще трудно собирать определенные сведения о путях в весьма отдаленные пункты и в таких случаях приходится расспрашивать лишь о ближайших участках дороги, называя лежащие в этом направлении известные всем урочища. По нашей же дороге карта совсем не давала никаких крупных пунктов, кроме разве Нарфоло, которого здесь никто не знает. После множества расспросов, я принужден был убедиться, что все указания, которые приходилось слышать, сводятся лишь к более или менее правдоподобным догадкам о существовании прямого пути по верховьям Сунгари, но что никто здесь не мог бы провести нас в этом направлении»².

Пройти в Мукден прямым путем через верховья Сунгари Стрельбицкому так и не удалось. Достигнув водораздела рек Туманганг и Амнокганг, он кружным путем направился через корейские города Капсан, Чянгчжин и Кангге к среднему течению Амнокганга, перейдя здесь через реку на мукденскую дорогу. Все же научные результаты этого путешествия были весьма значительными. Стрельбицким первым была произведена съемка реки

¹ Отдельные западноевропейские путешественники, как иезуит дю-Гальд, Джемс, Фульфорд, посетившие этот район несколько раньше, имели сравнительно скромные результаты своих наблюдений и не оставили заметного следа в географической литературе об этой территории.

² Стрельбицкий. Из Хунчуна в Мукден и обратно по склонам Чан-бай-шаньского хребта. Отчет о семимесячном путешествии по Маньчжурии и Корее в 1895—1896 гг. СПб., 1897, стр. 25—26.

Туманганг от города Кёнгхынг до ее истоков. Он первым из европейцев посетил и исследовал Пектусанское озеро (китайское название озера Тянци), расположенное в кратере знаменитого вулкана; установил истоки реки Туманганг, составляющейся постепенно из маленьких ручейков у восточного подножья Пектусана.

Спустя два года после экспедиции Стрельбицкого, долина Туманганга до ее истоков еще раз обследовалась геологом Э. Э. Анертом — участником маньчжурско-корейской экспедиции Русского Географического общества, возглавлявшейся В. Л. Комаровым. Анерту, после восхождения на Пектусан, удалось пройти на север от вулкана и через область истоков Сунгари выйти к Гирину. Однако научные результаты этого весьма важного путешествия, совершенного в мае 1897 г., опубликованы были только в 1904 г.¹

Поездка Гарина в Корею и Маньчжурию, которую он предпринял во время своего путешествия вокруг света, в связи с полученным им предложением принять участие в работах большой экспедиции в Северной Корее, возглавлявшейся А. И. Звегинцовым, имела своей главной задачей исследование сухопутных и водных путей сообщения вдоль маньчжурско-корейской границы и по восточному побережью Ляодунского полуострова до Порт-Артура. Кроме того, он ставил перед собой задачу географического обследования всего этого пути и в особенности района Пектусана и истоков Амнокганга и Сунгари, как еще не изученных предшествующими исследователями, а также сбора этнографического и фольклорного материала.

Для выполнения этой задачи группа Гарина, состоявшая из 20 человек, была подразделена на две партии. Первая из них, в которую, кроме Гарина, входили техник Н. Е. Борминский, десятник Пичников, китайский и корейский переводчики, трое солдат и два погонщика «мафу», должна была произвести исследования устья и верховьев реки Туманганг, а также всей реки Амнокганг; вторая партия, возглавлявшаяся помощником Гарина, инженером путей сообщения А. Н. Сафоновым, должна

¹ Э. Э. А н е р т. Путешествие по Маньчжурии. Записки Русского Географического общества по общей географии, т. XXXV, СПб., 1904, 566 стр.

была исследовать среднее течение Туманганга и кратчайшие пути между сближенными участками речных русел в излучинах Туманганга и Амнокганга.

13 сентября 1898 г. партия Гарина, переправившись через Туманганг у Красносельской переправы, занялась исследованием устья этой реки. Эти исследования показали крайне неблагоприятные судоходные условия последней из-за ее маловодности, а также большого количества кочующих мелей, меняющихся после каждого паводка. В своем отчете о проведенных работах, опубликованном в «Трудах осенней экспедиции 1898 г.»¹, Гарин, рассмотрев три возможных пути для борьбы с песчаными наносами: постоянная расчистка фарватера, отвод реки по специальному каналу в бухту Чосанман (Гашкевича) или отвод ее в прежнее русло по направлению к заливу Посьета, приходит к заключению, что все эти меры, при очень больших затратах, все же существенно не улучшили бы судоходных условий Туманганга.

Закончив работы в устье реки, он направился через корейские города Кёнхыннг, Хойрёнг и Мусан к ее верховьям, продолжая свои наблюдения на всем протяжении этого пути. Пройденная часть территории от устья Туманганга до селения Тяпнэ — последнего населенного пункта в ее верхнем течении, Гариным характеризуется как гористая местность с тесными долинами, в которых приютились отдельные деревеньки.

Долина Туманганга частью открытая, местами же, как и склоны окружающих гор, покрыта мелким лесом и кустарником, обвитыми лозами дикого винограда. Судя по тому, что этот виноград вкусен даже в диком виде и что в долинах то и дело встречались также в диком состоянии различные фруктовые деревья, как черешня, яблоня, груша, слива, он высказывает предположение о возможности развития на этих склонах виноградников и фруктовых садов.

Но эти возможности населением не используются. Живет оно бедно; хлеба своего хватает только для пропитания и чтобы обменять на соль — продукт крайне редкий и ценный в этих местах и часто заменяющийся

¹ Северная Корея, Сборник маршрутов. Труды осенней экспедиции 1898 г. Под редакцией Корфа, СПб., 1901, стр. 77.

соевыми соусами. Торговые связи поддерживаются с Маньчжурией, поставляющей водку и березовую кору, и Россией, снабжающей небольшим количеством мануфактурных товаров. В Россию же (Сибирь) уходит на заработки часть населения, поддерживая связи со своими сородичами, переселившимися из Кореи в русские пределы.

Существенно отличный характер имеют природные и экономические условия в верховьях Туманганга. Горы как-то сразу отступили, и глазам путешественников открылась широкая перспектива плато, или, вернее, пологих склонов вулканической системы, в центре которой расположена высшая ее точка — вулкан Пектусан, достигающий 2 744 м высоты над уровнем моря. Сложенные базальтами и другими продуктами извержения — горы часто изрыты оврагами и промоинами. И все это пространство покрыто сплошным лесом из даурской лиственницы, корейского кедра, аянской ели, сосны; местами пригорелого, посохшего, но местами великолепного махового леса.

Но эти лесные богатства, — отмечает Гарин, — эксплуатируются в совершенно ничтожном количестве и только по правым истокам реки Амнокганг, по которой идет сплав древесины к устью. Однако сплав здесь, из-за неблагоприятных сплавных условий Амнокганга, крайне затруднен, и вся река буквально усеяна застрявшим лесом, собирающимся на топливо местными жителями.

Во времена Гарина этот район изобиловал всевозможными промысловыми зверями: дикими козами, сернами, медведями, тиграми. Мяукание последних путешественники слышали почти каждую ночь. Стада изюбрей поднимались летом на вершину Пектусана, проводя жаркие дни на берегу озера в кратере вулкана. Здесь они оставались недоступными местным охотникам, не отваживавшимся преследовать зверя на горе, считавшейся у китайцев и корейцев священной. Правда, они подкарауливали добычу, когда ночью она выходила на луга, но эти засады устраивались уже далеко от священной горы, где под покровом ночи зверь легко ускользал от охотника.

В этой местности, — замечает далее Гарин, — встречается лучший сорт лекарственного растения — жень-шень,

ценящийся китайцами на вес золота. Возможно, что природные условия Чанбайшаня более благоприятны, чем где-либо в Корее, и для искусственного разведения этого растения. Наконец, сама девственная почва, с густыми травами в рост всадника, несомненно представит будущему населению этого края обильный источник существования.

Пока же эта местность дика и почти безлюдна. Все ее население было сосредоточено в двух-трех корейских деревушках и отдельных сторожках, посещающихся китайскими охотниками, искателями жень-шеня, золота, иногда при случае занимающихся также грабежом своих же сотоварищей или прилегающих корейских поселений. Столь малую заселенность богатой природными ресурсами местности Гарин объясняет тремя причинами: невозможностью при отсутствии удобных путей сообщения вывоза леса — главного природного богатства этого края, неблагоприятностью климатических условий для культивирования здесь риса, гаоляна, кукурузы, гуцзы, являющихся главными хлебными злаками в корейском хозяйстве, и, наконец, дезорганизующей деятельностью в лесных дебрях пограничной полосы китайских разбойников — «хунхузов», рекрутировавшихся из дезертиров китайской армии, беглых преступников и других деклассированных элементов, являвшихся характерным продуктом невыносимого гнета и деспотизма китайского феодального строя и вместе с тем примером полной слабленности административной машины этого строя.

Следует отметить, что после захвата Кореи Японией, эти же лесные дебри Чанбайшаня служили местом убежища для корейского населения, скрывавшегося от колониального гнета и преследований японских властей, а также являлись очагом партизанского движения, наносившего мощные удары японским оккупационным войскам в Корее и Маньчжурии.

30 сентября, при наступивших здесь значительных холодах, экспедиция Гарина наконец достигла и самого Пектусана, так сильно привлекавшего внимание путешественников. Поднявшись на его вершину, она засняла контур озера, расположенного в кратере вулкана, замерила глубины этого озера, которые оказались исключительно большими уже близ берега, а также исследовала истоки трех рек, начинающихся у Пектусана. Все про-

токи, идущие по склонам этой горы по направлению к Тумангангу и Амнокгангу, хорошо просматривавшиеся с вершины вулкана, оказались совершенно сухими. Таким образом, теперь уже не оставалось сомнения, что истоки Туманганга, так же как и истоки Амнокганга, не имеют непосредственного сношения с озером кратера. Первая из них, как показали исследования, берет свое начало приблизительно в 15 км от Пектусана вблизи небольшого лесного озера. Вторая же несколькими истоками стекает по склонам отрогов Пектусана, приблизительно в 3—5 км от последнего.

Только у Сунгари, из пяти осмотренных истоков, два брали начало в Пектусанском озере.

Закончив свои работы на Пектусане, экспедиция, не смотря на все уверения проводников об отсутствии дороги и опасностях пути к верховьям Амнокганга, направилась на запад и, пройдя по одному из притоков Сунгари, вышла к китайскому городу Маозршань (Линьцзян) в среднем течении Амнокганга. На протяжении всего этого пути, не пройденного еще ни одним исследователем, экспедицией были произведены маршрутная съемка местности, барометрическая нивелировка, астрономические наблюдения и другие работы, послужившие ей основанием для составления подробной карты маршрута.

Трудности этого перехода в ненаселенной горнолестной местности, при сильных дождях и холодах, наступивших уже в начале октября, увеличились из-за непрерывного преследования путешественников крупными шайками хунхузов, пытавшихся уничтожить экспедицию. Как-то счастливо избежав подготовленной хунхузами засады, куда экспедицию пытались привести специально подосланные китайские проводники, и направившись другой дорогой, путники считали себя уже почти в безопасности, как вдруг на ночлеге в небольшой корейской деревеньке они были разбужены залпами ружейных и пушечных выстрелов, которыми хунхузы осыпали экспедицию. Только решительность и находчивость спасли экспедицию от гибели. Поплатились лошадьми и багажом, частью сгоревшими вместе с фанзой, частью оставленными в деревне для облегчения дальнейшего путешествия.

Нет сомнения, что хунхузы, преследовавшие Гарина и его спутников, являлись не случайными грабителями, встречающимися в диких местностях, а представляли

собой организованные шайки, действовавшие на большой территории. Об этом свидетельствует описанная Гариным организация ими непрерывного преследования путешественников на протяжении свыше 100 км пути, а также масштабы ночного сражения, в котором хунхузами было выпущено из ручных пушек до 300 разрывных снарядов и сделано очень большое количество ручейных залпов¹.

Известно, что и Стрельбицкий, направлявшийся несколькими годами раньше в Пектусан, также чуть не стал жертвой нападения большой партии вооруженных хунхузов, устроивших засаду на пути следования экспедиции. Об этом случае он писал: «Посредине пути к Пайшаню (Пектусан.— В. З.), где по слухам стояла шайка китайских хунхузов, мы нашли лишь свежие следы их становища: шалаши, костры и деревянные таганы, на которых китайцы устраивают свои плоские железные котлы, но сами хозяева их исчезли и не встречались нам на всем протяжении пути. Как потом оказалось из расспросов туземцев, о нашем движении им уже дано было знать из Тяньпэ теми пособниками китайцами, которые у них имеются повсюду, причем до них дошли слухи и о нашем грозном вооружении и внушительной численности, так что хунхузы предпочли сойти с дороги и откочевать в глубь леса, хотя, кажется, на этих переходах за нами все-таки следили»². О хунхузах корейское население, начиная от самого Мусана, постоянно предупреждало также Анерта во время его путешествия на Пектусан.

Они являлись настоящим бичом для трудового населения этого края. Следы разбоя и разрушений, отмечает Гарин, встречались почти на каждом шагу. Бороться же с этим врагом было нелегко населению, рассеянному в лесной глуши по небольшим поселкам, почти не связанным друг с другом.

От города Маоэршань (Линыйзян) путешественники продолжали свой путь в лодке по реке Амнокганг, в начале протекающей «по узкой долине, заключенной с

¹ Письмо Гарина от 8 октября, адресованное на имя начальника северокорейской экспедиции, А. И. Звегинцева. Отчеты членов осенней экспедиции 1898 г. в Северную Корею. СПб., 1898.

² Стрельбицкий. Цит. произв., стр. 133.

обеих сторон высокими, скалистыми горами; по мере приближения ее к городу Ыйчжу, долина постепенно расширяется, а горы, отдаляясь попеременно то вправо, то влево, становятся более отлогими и невысокими»¹. Общая ориентировка реки, текущей с северо-востока на юго-запад, более благоприятна для правого маньчжурского берега; здесь больше солнца, и поля тянутся почти на всем протяжении ее среднего и нижнего течения, занимая склоны долины до самых вершин. На правом берегу реки и по ее правым притокам сосредоточено и большинство китайских и корейских поселений. На корейском же берегу, пока река течет среди гор, господствует лес, а населенные пункты встречаются преимущественно на изгибах, где ориентировка берегов меняется. Самым большим из корейских поселений, встретившимся экспедиции в долине Амнокганга, является город Ыйчжу, расположенный несколько выше устья реки. Однако и в нем населения оказалось менее половины бывшего до японо-китайской войны 1894 года, во время которой жители его переселились в окрестные села и уже не возвращались обратно в город.

В своем отчете Гарин более подробно останавливается на судоходных условиях и судоходстве на Амнокганге. На всем своем протяжении от Маозршаня (Линь-цзяня) до устья река является сплавной, но весьма затруднительна для судоходства из-за многочисленных перекатов. В период же обмеления реки (сентябрь) по ней даже прекращается сплав леса, идущего в большую воду к китайскому поселению Сахоу (Аньдун). Судоходство на реке поддерживается китайскими джонками и шаландами — род плоскодонных лодок до 10 саженьей длиной и 2 саженьей шириной с тупым носом и высокими бортами; они имеют приспособления для паруса, которым пользуются при попутном ветре. Движение же судов в межень, а на перекатах и в большую воду, производится бичевой бурлаками, имеющимися при каждой шаланде в количестве до 15 человек. Это, конечно, ложится накладным расходом на перевозимый груз, сильно удорожая его. Насколько это удорожание значительно, видно из того, что пуд соли в 300 верстах выше устья стоит 80 коп., тогда как, будучи доставленной по железной

¹ Труды осенней экспедиции 1898 г., стр. 312.

дороге, даже при самом высоком существующем тарифе, стоимость пуда ее не превзошла бы 25 коп.

Вверх по реке, кроме соли, поступают мука, спички, свечи, мануфактура, которые частично продаются на деньги, частично же обмениваются на продукты местного производства: бобы, чумизу, кукурузу. Последними грузятся суда, направляющиеся вниз по реке. Общий грузооборот ее в обоих направлениях, исключая лесные грузы, Гариным исчислен в 8 млн. пудов, что показывает сравнительную оживленность сообщения на Амнокганге в то время.

Во время путешествия по Корее Николаем Георгиевичем был собран и обработан фольклорный материал. Всего Гариным было записано до 100 корейских сказок, легенд и мифов. К сожалению, одна тетрадь со сказками им была потеряна в пути, так что число сохранившихся записанных сказок сократилось до 64.

В своем предисловии к изданию этих сказок, несколько раз печатавшихся в собрании сочинений писателя и в виде отдельной книжки, под названием «Корейские сказки», Гарин указывает и самый источник, откуда заимствовался им весь этот материал. Двадцать — тридцать корейцев, пишет он, в своих белых курточках и шляпах с широкими полями и высокими узкими тульями каждый раз на привалах окружали путешественников, присаживаясь на корточках, и лучший сказочник рассказывал, а остальные курили свои тонкие трубочки и внимательно слушали. Иногда, замечает он в другом месте, в середине рассказа рассказчик советовался с присутствующими и, проверив себя, снова продолжал.

Иногда рассказчики тут же на глазах путешественников коллективно складывали такие сказки — факт, свидетельствующий о незаурядных творческих способностях корейского народа. В этом отношении очень характерна записанная Гариным легенда о барсе, пытавшемся похитить женщину: во время путешествия Гарина по Тумангангу к корейской деревне подкрался крупный барс и набросился на молодую женщину, мывшую салат на берегу речки. На ее крики сбежался народ, и барс, не смутившийся присутствием людей, почти в упор был убит охотником. Рассказывая Гарину об этом происшествии, жители деревни сложили целую легенду. Семь лет назад за эту женщину сватался молодой человек.

Он был беден, и отец девушки отказал ему. Тогда, решив разбогатеть, молодой человек пошел рыть женьшень. Уходя, он сказал девушке «жди меня», и они поклялись, что будут мужем и женой. Но хунхузы убили молодого человека, а девушку через три года выдали замуж за другого. В день свадьбы возлюбленный явился к ней во сне и сказал: «жди меня». А теперь он пришел за ней — не он, а душа его, воплотившаяся в барса. Оттого барс и не думал о себе и не видел охотника. А обыкновенный барс так разве делал бы? Убежал бы и конец.

— Ну, что же теперь?

Теперь неизвестно. Если женщина выздоровеет, позовут шамана, и бог скажет душе барса свою волю, — может, сделает его опять барсом или тигром, или медведем, который опять придет к ней, или скажет «довольно», и возьмет его душу к себе на небо.

Переводчик Гарина — кореец Ким, прекрасно владевший и корейским и русским языками, учитель по специальности, переводил эти рассказы корейцев; сам Гарин «быстро, фраза за фразой, записывал, стараясь сохранить простоту речи, никогда не прибавляя ничего своего.

За это я ручаюсь и не сомневаюсь, что будущие исследователи подтвердят истину моих слов».

«Я слушал эти сказки, — продолжал Гарин, — по вечерам, после гостеприимного ужина, во время отдыха на перевалах, откуда открывалась перед нами далекая панорама долин и гор в осеннем, нежном, как старые персидские ковры, узоре.

Целые снопы фиолетовых и оранжевых лучей заходящего во всем своем величии желтого солнца заливали эту даль, и она сверкала, вспыхивала в последний раз и уже исчезала, как видение, в просвете быстро наступавших сумерек. И все кругом — и эта даль, и эти люди, и их жизнь — казалось тоже сказкой».

Собранный Гариным в Корее фольклорный материал, являющийся самым значительным вкладом в корейскую фольклористику¹, представляет огромную ценность для

¹ До Гарина корейский фольклор был издан в ничтожном количестве: две сказки на русском языке в русских изданиях, семь сказок — в английских изданиях. И после Гарина, насколько нам известно, в такой полноте он не издавался еще никем.

изучения культуры и истории корейского народа. В его простых рассказах, мифах, легендах, создававшихся самим народом и распространявшихся в стране посредством рассказчиков, ярко отразились и быт, и мировоззрение, и чаяния трудового народа Кореи. В них воспеваются любовь к человеку, к труду, уважение к женщине. Иногда корейский народ, задавленный непомерным гнетом феодалов и чиновников, мечтает в своих сказках о счастье, но только в загробной жизни. Но часто он обрушивается в них с гневом против существующего в стране произвола, против продажного и жадного чиновничества, против развратников и пьяниц бонз, против короля и его окружения. Одним из таких рассказов Гарин, покидая Корею, заканчивает свои записи об этой стране. В этом рассказе упадок и обнищание страны объясняются тем, что существовавшая в то время династия корейских королей себя пережила (царствует на двадцать пять лет больше против предсказаний) и высказывается протест против того, что тогдашний корейский король и министры только и знали: «что мотать да продавать корейское добро, а то и даром раздавать, чтобы только не трогали. Всю Корею продадут, пока их не выгонят. Продавать только уж нечего».

Исключительная ценность дневников Гарина состоит еще в том, что они дают многочисленные яркие примеры крепнувшей русско-корейской дружбы. Корейский народ, вынесший многовековую неравную борьбу с китайскими феодалами и японскими захватчиками за свою национальную независимость и оказавшийся в конце прошлого столетия перед угрозой империалистического закабаления Японией, понимал великое значение русского народа для освобождения своей страны. «Имя русского в Корее священо — говорит Гарину кунжу города Ыйчжу. — Слишком много для нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтобы мы не ценили этого. Русский самый дорогой наш гость. Мы между двумя открытыми пастями: с одной стороны Япония, с другой — Китай. Если нас ни та, ни другая пасти не проглатывают, то, конечно, благодаря только России».

Гарин отмечает, что не было ни одного случая в его путешествии, чтобы кореец не сдержал своего слова. Повсюду экспедиция встречала к себе со стороны корейского населения самое теплое и радушное отноше-

ние. «За нами толпа ребяташек и всякого народа. Все приветливы, вежливы и расположены. Слышится ласковое «араса» (русский)». Нельзя без волнения читать рассказ Гарина о том, как ночью, когда они подъехали к корейской фанзе, хозяин начал было отговариваться теснотой, но когда ему объяснили, что путешественникам нельзя делать шума своим приездом, так как их преследуют хунхузы, хозяин ответил: «я думал об удобстве высоких гостей, но при таких условиях моя фанза принадлежит им, а я их сторож. И надо было видеть — добавляет Гарин — сколько непоказного, врожденного благородства было в его словах».

Характерна и та теплота и любовь, с которыми сам Гарин относится к корейскому народу, а также даваемая им высокая оценка интеллектуальных и моральных качеств этого народа. «Я люблюсь и не могу налюбоваться корейцами... Сколько в них вежливости и воспитанности. Как обходительны они между собой и с чужими и как деликатны. Ребятишки их полны любопытства и трогательной предупредительности... Лица добрые, по природе своей добрые... Не устаешь, перечисляя достоинства кротких людей этой нации... И всякий, — отмечает Николай Георгиевич, — кто пробудет с ними, не сомневаюсь, полюбит их так же, как полюбили мы».

Надо отметить, что братское отношение к корейскому народу и высокая оценка его моральных качеств были характерны почти для всех русских путешественников в Корею. И это тем более важно подчеркнуть, что для большинства западноевропейских и американских «туристов» в Корею, так же как у японских экспансионистов, было характерно пренебрежительное отношение к этой нации, взгляд на корейскую нацию как на неполноценную, не способную к прогрессу и самостоятельному существованию. Причем клевета американских расистов на корейский народ доходила до чудовищного изображения его как «гнилого продукта разложившейся восточной цивилизации»¹.

Гаринские дневники полностью опровергали расистскую клевету на корейский народ и явились большим вкладом в дело дальнейшего укрепления братских связей

¹ G. K e n n a n. Korea: a Degenerate State. «Outlook», окт., 7, 1905, p. 409.

между корейским народом и народом многонациональной России.

После посещения Кореи Гариным корейский народ прошел через тяжелое испытание. Около 40 лет его терзал хищный японский империализм, превративший Корею в свою колонию и задавшийся сумасбродной целью уничтожить корейскую нацию. Освобождение Кореи Советской Армией от японского ига в 1945 г. открыло корейскому народу широкие перспективы строительства независимого демократического государства, экономического подъема страны и возрождения корейской национальной культуры.

Опираясь на помощь Советского Союза, корейский народ за короткий срок добился исключительных успехов в демократическом преобразовании своей страны. Создано независимое корейское государство, достойное быть членом семьи свободолюбивых демократических стран. Провозглашена конституция Корейской Народно-Демократической Республики. Образовано республиканское правительство, которое состоит из представителей всех слоев населения севера и юга Кореи и горячо поддерживается всем корейским народом.

На севере Кореи, где с момента освобождения были созданы все условия для свободного развития демократических организаций и учреждений, были проведены широкие демократические реформы, в корне изменившие лицо отсталой полуфеодальной страны. Успехи Северной Кореи в деле экономического восстановления, культурного строительства и социальных преобразований служат примером демократическим силам юга страны. Они вдохновляют трудящихся Южной Кореи на усиление борьбы против американских экспансионистских притязаний, против внутренней реакции, поддерживаемой американскими монополиями, на усиление борьбы за национальную независимость и демократию.

Последний участок пути на Азиатском континенте, который Гариным был совершен по восточному побережью Ляодунского полуострова в китайской двуколке, имеет, по его словам, совершенно иной характер, чем весь остальной пройденный путь. Горы отодвинулись к западу, и вся полоса побережья длиной около 300 верст и шириной от 10 до 30 верст представляет собой слегка всхолмленную равнину, очень плотно заселенную

сельскохозяйственным населением. Несмотря на бедную песчаную почву, население этой местности производит впечатление зажиточного, чему оно, прежде всего, обязано своим исключительным трудолюбием. Однорядная культура, удобрение и тщательный уход за почвой дают возможность крестьянам извлекать из почвы то, чего она при других условиях никогда бы не могла дать. «До какой поразительной тщательности доходит работа китайца,— пишет Гарин,— можно судить по тому, что опавшие листья в лесах подбираются, так что от лесов получается впечатление подметенных парков, где чисто, как на току, где точно за каждым деревом отдельный уход. То же впечатление производит и поле; каждый корень кукурузы выкопан и перевезен домой: он пойдет на топливо, а зола от него в компостную кучу. Таких куч перед каждой фермой несколько — это главное богатство здешнего китайца.

Безостановочно круглый год часть населения (в большинстве дети, подростки и старики) занимаются пополнением этих куч, собирая в полях удобрение, в лесу листья,нося ил с речки, с горных ущелий растительную землю, сгнивший корень, а с морского берега после отлива собирая морскую траву, органические остатки»¹.

Вместе с тем, наряду с этой поразительной культурой ухода за землей, путешественника не менее поражает здесь устойчивость рутины и крайняя примитивность земледельческих орудий и отсталость методов обработки почвы. Он описывает способ боронования на Ляодунском полуострове: доска с проткнутыми через неё пучками коротких прутьев. Эта доска веревками привязывается к лошади. На ней, балансируя своим телом, стоит погонщик лошади. По сравнению с таким методом боронования, замечает Гарин, деревянная борона, применявшаяся в то время русским крестьянином, является верхом культуры.

Или китайские повозки, которые по существовавшим в Китае законам должны были иметь только два колеса. Поэтому их делали массивными и настолько тяжелыми, что колеса, глубоко врезаясь в грунт, заставляли

¹ Отчеты членов осенней экспедиции 1898 г. в Северной Корее, стр. 173.

применять для перевозки груза в 10—15 пудов, где потребовалась бы одна лошадь, до 7—8 животных.

Характерно, что методы сельскохозяйственных работ в Маньчжурии, поразившие своей отсталостью Гарина более пятидесяти лет назад, оставались почти без изменений до самого последнего времени. И хотя на маньчжурских дорогах уже можно было видеть и четырехколесные легкие экипажи, и автомобили, и вся страна покрывалась сравнительно плотной сетью железных дорог, все же в местном сообщении еще преобладали старинные двуколки с колоссальными комбинированными упряжками из лошадей, волов, мулов, ослов.

Порт-Артур, куда Гарин прибыл 25 октября, был конечным пунктом его путешествия по Корее и Маньчжурии. Всего по Корее и Маньчжурии путешественником было пройдено около 1 600 км, в том числе 900 км верхом, до 400 км в лодке по Амнокгангу и до 300 км на двуколке по Ляодунскому полуострову. Этот путь занял 43 дня. В среднем экспедиция делала в день 37 км.

Научные результаты своих наблюдений и исследований в Корее и Маньчжурии, давших ценные географические сведения о малоизведанных территориях, в особенности в районе Пектусана, Гарин опубликовал в специальных изданиях: «Отчетах членов осенней экспедиции 1898 года в Северной Корее», выпущенных в свет в 1898 г., и в «Трудах осенней экспедиции 1898 года», изданных в 1901 г. Эти же материалы Гарина содержатся в его дневниках, выпускаемых настоящим изданием.

От Порт-Артура Гарин уже продолжал самостоятельную поездку на пароходе через китайские порты, Японские острова, через Тихий и Атлантический океаны, посетив при этом Гавайские острова, Соединенные Штаты и Западную Европу.

В собственно Китае он был недолго: два дня в порту Чифу на Шаньдунском полуострове и пять дней в Шанхае. Наибольшее впечатление на него произвел, конечно, Шанхай — «оригинальный и в своем роде единственный уголок мира». Здесь путешественника интересовало абсолютно все: иностранный ситтльмент и китайская часть города, буддийские храмы и католический монастырь, китайский театр и опиумная курильня, шумные улицы центра города и его окраины. Но где бы он ни был, везде

видит печать господства иностранного капитала и связанные с ним уродливые черты жизни большого портового города.

Вот огромные склады опиума, дающие сотни миллионов дохода. Этот товар в течение многих десятилетий в Китае упорно распространяют иностранные фирмы, порабощая китайский народ. На улицах целый поток носильщиков с восьми — двенадцатилетними девочками на руках — это тоже товар. «С раннего детства эти несчастные жертвы подготавливаются к своей несчастной участи: растление в восемь лет, а в пятнадцать уже выброшенные за борт, с уничтоженным человеческим естеством».

Во французской колонии Шанхая большой католический монастырь ордена иезуитов, где обучаются обращенные в христианскую религию китайцы, — опора иностранного владычества в Китае. «Дисциплина и дрессировка в монастыре доведены до поразительного».

Через неделю пароход, на котором Гарин отправился из Шанхая, входил в Нагасакскую бухту мимо мест, получивших печальную известность в истории распространения христианства в Японии. В середине прошлого столетия, в период сильного гонения на запрещенную в Японии христианскую религию, здесь было сброшено в море около 10 тысяч европейцев и обращенных в христианство японцев.

Следующая остановка в Японии — порт Иокогама на восточном побережье Хонсю. В Иокогаме Гарин пробыл три дня. Он ездит по японским железным дорогам, живо интересуясь крестьянскими полями, благоустроенными плантациями и садами, и посещает заводы и железнодорожные мастерские, где обращает внимание на значительные технические достижения японцев. Однако и в Японии, как прежде в Шанхае, его потрясают те же картины безграничной эксплуатации человека. По обеим сторонам улиц тянутся ряды клеток с цинично выставленными в них женщинами — живым товаром. «И с жутким чувством тоски торопишься пройти эту бесконечную, страшную, как вход в ад, улицу. Да, это ад, и какой-то холодный, мефистофельский расчет в нем». Вот дженерикша, который так усердно везет путешественника, — пять, самое большое десять лет, и самый сильный из людей этой профессии умирает от чахотки. «Кусочками

своей жизни он заплатил за сегодняшний свой тяжелый кусок хлеба».

В начале декабря, подъезжая к главному городу Гавайских островов — Гонолулу, путешественник не может налюбоваться видом этого города, живописно раскинувшегося на утопающем в зелени великолепной тропической растительности берегу океана. Гуляя по улицам Гонолулу, он внимательно осматривает город, знакомится с городским музеем, в окрестностях посещает бамбуковый лес и рощи финиковых пальм.

Всего за несколько лет до посещения Гариным Гонолулу, в 1898 году, в результате переворота, организованного американскими плантаторами, была свергнута королевская династия, а уже в 1897 году, правительство, во главе которого стояли те же американские плантаторы, подписало соглашение о присоединении Гавайев к Соединенным Штатам Америки.

В год посещения Гариным этих островов на них был поднят американский флаг.

Последний пункт, посещенный Гариным на Тихом океане, — Сам-Франциско, расположенный на западном побережье США. Здесь пересадка на поезд, который быстро мчит путешественника через Северную Америку в Нью-Йорк, расположенный на противоположном, восточном побережье страны.

В Чикаго, пока менялись поезда, Гарин осматривает знаменитые бойни с их чудовищным конвейером: животные, попадая живыми на один конец его, тут же вскоре, на глазах посетителей, уже сходят с другого конца конвейера в виде консервов, сосисок, колбас. «Так отвратительно впечатление от всего этого, от ужасного запаха, что долго еще после того смотришь на все с точки зрения этих боен, этого равнодушия, этой вереницы движущихся мертвых белых трупов, а в центре их — фигура, распространяющая всюду смерть, вся в белом, спокойная и удовлетворенная, с острым ножом».

В Америке Гарина поражает роскошь в железнодорожных вагонах, ослепительный блеск ювелирного магазина, с его лепными фигурами на стенах, усыпанными с ног до головы бриллиантами, и с грудями бриллиантов под стеклом прилавков, кладовые банка со всевозможными автоматическими приспособлениями против воров и пожаров.

О том, сколько пога, крови и страданий народу стоило это чудовище в образе золота и бриллиантов, ярко и сильно рассказывает М. Горький в написанном им в 1906 г. памфлете «Город Желтого Дьявола»: «Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроена огромная, бездонная дыра или кастрюля, — туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, тупые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда (рабочий квартал Нью-Йорка. — В. З.) — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми точно мешки крупной, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте... Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее — они все еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола...

Ком золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее. Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело»¹.

Зловеще это чудовищное скопление богатства и роскоши... Работают фабрики, строятся новые заводы, по последнему слову сельскохозяйственной техники возделываются поля, а сбыт ограничен, рынки переполняются товарами. И вот, для завоевания новых рынков, Америка «заводит теперь эти войска, облагается пошлинами, ограничивает переселенцев... Америка начинает ограждать себя стеной разных и несвободных и неправомерных мер»...

Путевые записи Гарин заканчивает описанием своих европейских встреч. На английском пароходе, который

¹ М. Горький. Город Желтого Дьявола. Собр. соч., т. VII, 1929, стр. 14, 17, 18.

вез путешественника через Атлантический океан в Европу, пассажирами были преимущественно англичане. Впечатление от этого общества, отмечает Гарин, тяжелое, гнетущее. Все их разговоры только о необходимости войны, о превосходстве нации, о захвате чужих территорий. «Все это общество, несмотря на то, что между ними были и ученые и люди пера, производило сильное впечатление самодовольства до пошлости, чем-то обиженных людей. Это были хозяева, ни на одно мгновение не забывающие, что все это, начиная с парохода, кончая последней безделушкой — их, принадлежит им, и им не надо идти ни к кому и ни у кого ничего не надо просить — все лучшее в мире у них».

Под тяжелым впечатлением от этих встреч, чтобы больше не слышать «диких воплей этих пожелавших крови и смерти людей», Гарин изменяет свой первоначальный план посетить Лондон. Но и Париж сейчас его уже не интересует. «Старый буржуазный строй отживает, и нигде это умирание, разложение заживо, не чувствуется так, как в Париже». Позднее ему привелось познакомиться и с другой стороной жизни Парижа, увидеть людей, борющихся за будущее человечества. «Я видел, каким ключом бьет эта будущая жизнь там, видел свежесть, силу и веру этих людей». Этими словами о людях, борющихся за будущее человечества, которое в творческих исканиях самого Гарина всегда занимало большое место, он заканчивает свои записи о путешествии.

* *
*

Записи Гарина о его путешествии вокруг света издавались неоднократно. Первоначально в виде отдельных очерков под общим названием «Карандашом с натуры», помещенных в девяти номерах научно-популярного журнала «Мир божий» за 1899 г., а позднее самостоятельной книгой и в собраниях сочинений писателя под двумя разными названиями: «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову» и «В стране желтого дьявола». В последний раз это произведение Гарина было опубликовано в 1916 г. в собрании его сочинений, выпущенных издательством А. Ф. Маркса.

Настоящее издание книги Гарина выходит в сокращенном виде. Из книги изъяты отдельные записи путешественника, в настоящее время не представляющие географического интереса. Кроме того, мы сочли себя вправе внести в книгу и некоторые другие изменения. Для облегчения пользования ею весь текст книги нами подразделяется на семь глав. Нами же подобраны и заглавия этим главам: I — Через Сибирь на Дальний Восток. II — Вверх по Тумангангу на Пектусан. III — Исследование в районе вулкана Пектусан. IV — Путь через Чанбайшань до среднего течения Амнокганга. V — Вниз по Амнокгангу от Маоэршаня до Ыйчжу. VI — По Ляодунскому полуострову и VII — Из Порт-Артура в Россию через Тихий и Атлантический океаны. В каждую из этих глав вошел материал, охватывающий определенный этап путешествия Николая Георгиевича.

Несколько изменено и самое название книги. В последнем издании, по которому подготовлено настоящее сокращенное издание книги Гарина, это произведение имеет два названия: По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову, а также, в скобках: Из путешествия вокруг света. В новом издании на первое место поставлено в несколько измененном виде последнее название, а первое название взято в скобки. Это изменение названия сделано в связи с тем, что в настоящее издание книги вошли записи Гарина, относящиеся не только к его путешествию по Корее и Маньчжурии, но также охватывающие и период поездки по Тихому и Атлантическому океанам. В издании же 1916 года последние записи Гарина по пути из Порт-Артура на восток не помещены. Текст этих записей нами взят из раннего издания книги «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», вышедшего в свет в 1904 г.

Кроме того, в виде отдельной части, под названием «Корейский фольклор», в настоящем издании книги нами помещены корейские сказки, мифы и легенды, собранные Гариным в период его путешествия по Корее. До этого они публиковались самостоятельно. Однако в настоящее издание вошла только часть опубликованного Гариным фольклорного материала, которая, с нашей точки зрения, представляет наибольший литературный интерес.

Книгу Гарина пришлось также снабдить некоторыми примечаниями и комментариями, имеющими целью

помочь читателю лучше разобраться в географии описываемых стран, в современных научных представлениях об этих территориях. Все эти примечания и комментарии помещены в конце книги в виде отдельного приложения; они пронумерованы в соответствии с номерами в тексте и сгруппированы по главам, на которые разбита книга.

Пришлось также изменить транскрипцию географических названий, главным образом корейских, в соответствии с принятой в настоящее время системой передачи их русскими буквами.

Остается сказать несколько слов об иллюстративном материале. Все предыдущие издания книги Гарина совершенно не имели иллюстраций. В настоящем издании, для оживления текста, она иллюстрируется двумя картами, из которых одна с маршрутом Гарина по Корее и Маньчжурии, другая — района Пектусан, специально исследовавшегося Гариным, а также зарисовками и фотографиями, отчасти заимствованными из нашей собственной коллекции, отчасти из различных географических изданий.

В. Зайчиков



ГЛАВА ПЕРВАЯ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

9 июля.

С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы прибыли в Москву.

Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали из Москвы.

Наш путь далекий: через всю Сибирь, через Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда через Шанхай, Японию, Гавайские острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, через Европу, обратно в Петербург.

Перед самым отъездом явилось предложение ознакомиться с производительностью мест между Владивостоком и Порт-Артуром. Я с величайшим удовольствием, вместе со своими товарищами, принял это попутное для меня предложение посетить Корею и Маньчжурию и посмотреть.

15 июля.

Все дальше и дальше. Вот и Сибирь... Челябинск...

Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в 1891 году, когда только производились изыскания.

Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда николаевская глушь, — полосатые шлагбаумы, желтые казенные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, старинный суд и весь распорядок николаевских времен.

Тогда еще, как последняя новость, сообщался рассказ об исправнике, который, скупив у киргизов ветер,

продавал киргизам же его за большие деньги (не позволял везть хлеб, молоть его на ветрянках и проч.).

Я помню наше обратное возвращение тогда.

Была уже глубокая осень. Мы ехали по самому последнему колесному пути. По двенадцати лошадей впрягали в наш экипаж, и шаг за шагом они месили липкую грязь: уехать 30 верст в сутки было идеалом.

А теперь уже прошла здесь железная дорога, и мы мчимся в вагонах. И в каких вагонах: вагон-столовая, вагон-библиотека, ванная, гимнастика, рояль. Почти исчезает впечатление утомительного при других условиях железнодорожного пути. Тогда, при проектировке дороги, едва-едва натягивали 11 миллионов пудов возможного груза. Так и строили, в уверенности, что не скоро дойдет дело до этих 11 миллионов пудов.

И в первый же год 30 миллионов пудов.

Факт, с одной стороны, очень приятный, но с другой — несомненно, что дорога, в теперешнем своем виде, совершенно несостоятельна.

И сколько, сколько еще неперевезенного груза в одном Челябинске.

16 июля.

Все та же ровная, как ладонь, степь, ровно на протяжении 150 верст. Вода отвратительная до самой Оби: до Омска — солено-горькая, в Барабинской степи, — родина сибирской язвы, — отвратительная на вкус и запах.

Там и сям, около станций, уже видны поселки переселенцев. Конечно, пройди дорога южнее верст на двести, она захватила бы более производительный район, и в два-три года там эти поселки успели бы уже разрастись в большие села.

Здесь же только сравнительно узкая полоса кое-где годна под посевы, все остальное, налево к северу — тайга и тундры, направо верст на сто — солончак и соляные озера.

Вот и Омск с мутным Иртышом.

Я сижу у окна и вспоминаю прежние свои поездки по этим местам.

Помню этот бесконечный переезд к северу, вниз по течению Иртыша.

Иртыш серый, холодный, весь в мелях. Ночи осенние, темные. Пароход грязный, маленький.

На его носу однообразно выкрикивает матрос, измеряющий глубину:

— Четыре! Три с половиной! Три!..

И команда в рупор:

— Тихий ход.

— Два с половиной!

— Самый тихий ход.

— Два с половиной... Три... Пять!.. Не маячит!.. Не маячит!..

— Полный ход.

— Два!

— Самый тихий ход.

Поздно: пароход уже врезался с размаху в неожиданную мель, мы уже стукнулись все лбами и будем опять сидеть несколько часов, пока снимемся.

И чем дальше, тем пустыннее и печальнее этот Иртыш, а там, при слиянии его с Обью, это уже целое море мутной воды.

Там и в июне деревья еще голые, там вечное дыхание Ледовитого океана.

Туманные картины встают в голове, когда вспоминается Иртыш к югу от Омска.

Здесь юг, и яркие краски юга чувствуются даже зимой, когда земля покрыта снегом.

Что это за яркий снег и какими переливами играет он, когда солнце начинает спускаться с безбрежно-голубого неба к своему закату.

Тогда снежная даль отливает всеми цветами радуги: там она нежно-лиловая, здесь зеленоватая, где выступает жнива — окраска золота. К северу потянулись холодные, голубоватые тона и стальными переливами на горизонте напоминают уже безбрежную поверхность какого-то оледеневшего моря. К западу еще богаче краски, еще ярче подчеркивают красоту неба и земли. Небо кажется выше, и весь купол его, вылитый из лазури, наполнен искорками яркого света — золотистыми, бирюзовыми, нежно-прозрачными.

Со скоростью двадцати четырех верст в час, по ровной, как скатерть, дороге мчит вас тройка, хотя и мелкокорослых, но поразительно выносливых лошадей. Звон колокольчика сливается в какой-то сплошной гул. Этот гул разливается в морозном свежем воздухе и уже неслется откуда-то издалека назад, напевая какие-то

нежные, забытые песни, нагоняя сладкую дрему. Иногда разбудит вдруг обычный дикий вопль киргиза-ямщика, с головой, одетой в характерную цветную меховую шапку, с широким хвостом сзади, — откроешь глаза и не сразуобразишь и вспомнишь, что это иртышских казаков сторона, что старается на облучке работник казака — киргиз.

Совершенно опять новую картину представляет местность от Семипалатинска к Томску.

Это—кабинетские земли, до 40 миллионов десятин (1).

Земля здесь сказочно плодородна. Урожай в 250 пудов с десятины — только хороший.

Качество пшеницы выше самых высоких сортов самарской.

Там, южнее, еще выше сорта могут произрастать, но, за отсутствием железной дороги, продажная цена такой пшеницы — 8 копеек за пуд, что, даже при урожае в 300 пудов, не оправдывает расходов производства.

Не только пшеница, лен, подсолнух, здесь произрастает рис, и цена его здесь 45 копеек за пуд, в то время, как у нас он 3, 4, 6 рублей пуд.

Несомненно, что с проведением здесь железной дороги все эти миллионы десятин, теперь праздно лежащих, наводнили бы и рисом, и масличными продуктами, и хлопком мировой рынок, и из Туркестанского края и этого создалась бы одна из самых цветущих колоний мира.

Кабинетская земля граничит с Алтаем и, когда едешь из Семипалатинска в Томск, он все время на правом горизонте гигантскими декорациями уходит в ясную лазурь неба. В нем новые сказочные богатства — богатства гор: золото, серебро, железо, медь, каменный уголь.

Пока здесь, вследствие отсутствия капиталов, железных дорог, все спит или принижено, захваченное бесильными и неискусными руками, но когда-нибудь ярко и сильно сверкнет еще здесь, на развалинах старой, новая жизнь.

17 июля.

Река Обь, село Кривошеково, у которого железнодорожный путь пересекает реку.

На 160-верстном протяжении это единственное место, где Обь, как говорят крестьяне, в трубе. Другими

словами, оба берега реки и ложе скалисты здесь. И при том это самое узкое место разлива: у Кольвани, где первоначально предполагалось провести линию, разлив реки 12 верст, а здесь 400 сажен.

Изменение первоначального проекта — моя заслуга, и я с удовольствием теперь смотрю, что в постройке намеченная мною линия не изменена.

Я с удовольствием смотрю и на то, как разросся на той стороне бывший в 1891 году поселок, называвшийся Новой деревней (2). Теперь это уже целый городок, и я уже не вижу среди него прежней кучки смиренных, мелкокорослых вятчей, год-другой до начала постройки поселившихся было здесь.

За Обью исчезает ровная, как скатерть, Западная Сибирь.

Местность взволновалась, покрылась лесом и глубокими падами (оврагами), повалилась вдаль, открывая глазу беспредельные горизонты.

Здесь и тайга, и пахотные места (гивы), государственная земля и общественники-крестьяне.

Села зажиточные, но грязные. В избах гнутая мебель, цветы, особенно герань; всякая баба приготовит вам и вкусные щи и запечет в тесте такую стерлядь, какую только здесь и умеют готовить.

18 июля.

Вот и станция Тайга, откуда идет ветка на Томск.

Заведуя в этом районе участком сибирских изысканий, я навлек на себя тогда гнев томских газет за то, что провел магистраль не через Томск, ограничившись веткой к нему.

Но дело в том, что ветка вышла короче удлинения магистрали, если бы она прошла через Томск. При таких условиях, принимая во внимание транзитное значение Сибирской дороги, не было никаких оснований заставлять пробегать транзитные грузы лишних 120—150 верст (3).

Основное правило идеальной дороги — кратчайшее расстояние и минимальные уклоны.

В этом отношении — образец, как это ни странно, наша первая Николаевская железная дорога (4).

Затем мы точно разучились строить, и Московско-Казанское общество дошло в этом отношении до обрат-

ного идеала, умудрившись накрутить между Москвой и Казанью лишних 200 верст.

19 июля.

Средне-Сибирской железной дороге делают упреки за то, что она с крутыми уклонами.

Это, конечно, большой недостаток, но не надо забывать, что такие уклоны допущены только для скорейшей прокладки железнодорожного пути.

А затем неизбежно будет сейчас же приступить к дополнительным работам по уменьшению этих уклонов.

Последние знакомые еще мне места.

Коренная тайга, напоминающая хлам старого скряги, гиганты-деревья, поросшие мохом, лежат на земле, топкая же непролазная чаща, давя друг друга, тянется кверху, сухая уже там вверху и подгнившая от стоялого болота здесь внизу: запах сырости и гнили.

Но ближе к сухим пригоркам попадаетесь поразительной красоты лес, ушедший вершинами далеко в небо. Желтые стволы сосен, там вверху заломившие, как руки, свои ветви. Нежная лиственница со своим серебряным, стройным стволом. Могучий кедр, темно-зеленый, пушистый. Целая куртина нарядных кедров: больших, стройно поднявшихся кверху, маленьких, как дети, окружившие своих отцов. Между ними сочная мурава, и яркие солнечные пятна на ней, и аромат, настоя аромата в неподвижном, млеющем воздухе. Поднимешь голову и, где-то там вверху, в беспредельной высоте, видишь над собой кусочек яркого голубого неба. Все притихло и спит в веселом дне. Но треск ветки гулким эхом разбудит вдруг праздничную тишину, и проснется все: какой-то зверек прошмыгнет, отзовется редкая птица, а то, ломая сухие побеги, прокатит и сам хозяин здешних мест — косялапый, проворный и громадный мишка.

А то зашумит иногда там, вверху, как море в бурю, тайга, но попрежнему все тихо внизу.

22 июля.

До Иркутска мы не доехали по железной дороге всего 72 версты, хотя путь уже и был уложен до самого города. Но приходилось ждать поезда до утра, и мы решились проехать это пространство на лошадях.

За это мы и были наказаны, потому что ехали эти 72 версты ровно сутки, без сна, на отвратительных перекладных, платя за каждую тройку по 45 рублей... На эти деньги, по железной дороге в первом классе, мы сделали бы свыше трех тысяч верст.

А впереди таких верст на лошадях свыше тысячи: если так будем ехать, когда приедем, и что это будет стоить?

В Иркутске мы останавливаемся на два дня, так как для такой большой лошадиной дороги, какая предстоит нам, надо запасти многое: экипажи, телеги, провизию.

25 июля. Озеро Байкал.

Выехали из Иркутска. Тянемся, как на волах.

Железная дорога кончилась, а с ней сразу, как ножом, отрезало и от всех удобств. Почтовые станции не в состоянии удовлетворить и третьей части предъявляемых к ним требований.

Ожидающие очереди пассажиры всех видов и оттенков.

Вот сидит купеческая семья; он, она и несколько подростков-детей, — сидят, пьют чай с горя, в ожидании. Напряжение на детских лицах. Маленький ребенок, с заботой взрослого в глазах. Единственный выход — двигаться дальше на вольных. Но и их скоро не сыщешь: сенокос. За перегон в двадцать верст — 5—10 рублей, т. е. в 50 раз дороже, что по железной дороге. А сколько времени пропадает: два часа ищут, два запрягают, два едут, и опять такая же история. В результате скорость 3 версты в час, а на все сутки и того меньше, потому что дни и недели в дороге нельзя же проводить совсем без сна.

Переехав Байкал, разбились на два отряда: Б. и С. уехали, а я, К. и А. сидим и ждем лошадей.

Темный вечер. Монотонно и однообразно барабанит в окна мелкий осенний дождик. Все небо обложено сплошными низкими тучами. В памяти встают картинки пережитого дня. В общем, впрочем, бедные и несодержательные. Многого ждали от Байкальского озера — говорят о его бурях, таинственных волнениях без ветра, объясняя их вулканическими или иными подземными причинами (5); но при нашем переезде озеро было тихо, был туман, шел дождь, и впечатление от переезда через

Байкал получилось не большее, как от переезда на пароме через любую холодную лужу-реку.

В каюте дрянного парохода, или, вернее, в черный цвет окрашенной баржи, холодно и сыро, как в подмоленном погребке, тускло освещенном верхним окошечком.

Вода в Байкале с постоянной температурой около 12°. Такая же температура и в красивой Ангаре, вытекающей из него, вдоль которой вчера всю ночь мы ехали.

Красивая, но холодная, со своими ледяными туманами. Каждый раз, как спускались к ней, нас обдавало туманным холодом глубокой осени. Иногда часть реки обнажалась и ярко сверкала, но остальная река и крутой противоположный берег, поросший лесом, все время были окутаны облаками непроницаемого тумана. Молчаливо, быстро несет река свои зеленовато-прозрачные воды.

2 августа.

Вот и Сретенск.

Сретенск — что такое Сретенск? Сретенск — село на одной параллели с Харьковом, на реке Шилке. Шилка впадает в Амур. Утро. Тихо и ясно. Я сижу в тени террасы; не смущайтесь названием — терраса простая, сколоченная из леса, под тон всей остальной простой и деревянной сибирской архитектуре.

В нескольких саженьях от меня пристань амурского пароходства, и в настоящую минуту снизу ползет пассажирский пароход: род арестантской барки, с красным колесом сзади; он пытит и шумит, плохо подвигается вперед.

А на той стороне, в тесноте, между нависшими камнями надвинувшихся холмов, видны здания железнодорожной станции.

Самого Сретенска еще не видел и даже не справлялся в календаре о значении и истории его.

Я не могу сказать, чтобы не было у меня впечатлений в этот переезд на лошадях от Иркутска до Сретенска, но на перекладных нельзя их записывать.

Теперь сижу и вспоминаю.

Забайкалье резко отличается от всего предыдущего. На нашем горизонте почти везде хребты гор. Высота их колеблется между 50 и 200 саженьями. Вернее, это еще холмы, но уже с острыми, иногда иззубренными верши-

нами. Они так и застыли, неподвижные, при закате розово- и фиолетово-прозрачные, а всегда темносиние, далекие, рассказывающие вам сказки из далекого прошлого.

Да, эта необъятная малонаселенная местность, с плохой почвой, с богатейшим лиственным лесом, пораженным безнадежным червем (все, что видел глаз, на две трети уже посохшие, никуда негодные, дырявые деревья), хранящая в своих землях много минеральных богатств, но пока, с точки зрения культуры вообще и переселенчества в частности, не стоящая, как говорит Тартарен, ослиного уха,— в свое время изрыгнула из недр своих все те орды монголов, которые надолго затормозили жизнь востока Европы.

Здесь река Онон— родина великого Чингиз-хана (6).

Откуда взялись тогда эти толпы? Все пусто здесь, тихо и дико. Шныряет голодный волк, шатается беглый каторжник, да медведь ворочается в этих лесных трущобах. Все в разброс, в одиночку, каждый сам для себя, каждый враг другому.

Только ближе к тракту жмутся поселки, а там, вглубь... Никто не был там и никто ничего не знает.

Часть этой полосы занимают буряты — остаток того же монгола из 200-тысячного войска Чингиз-хана. Трудолюбивый, воздержанный народ, очень честный. Оставьте ваши вещи на улице и спите спокойно. Их одежда, их косы, темные лица делают их похожими на китайцев.

В их храмах Будда с тысячью руками и тринадцатью головами. Это значит, что надо было бы, чтоб исполнить все задуманное, чтоб одна голова превратилась в тринадцать, и нужно тысячу рук, чтоб успеть делать то, что думают эти тринадцать голов.

Ламы бурят, для отвращения от зла, надевают в особые праздники уродливые маски и так появляются перед народом. Помогает и молитва от этого, и буряты не скупятся вертеть каток с написанными молитвами, что равносильно тому, как будто бы они их читали.

Бурят тих, покорен и большой дипломат с административной. Но во внутреннюю жизнь никого не пускает и умеет заставить уважать себя.

Несомненно, буряты — народ способный к культуре. Между ними и теперь не мало людей образованных. Эти люди — общественное мнение страны, и наивно думать,

что буряты не поймут смысла и значения разного рода административных мер за и против них.

Чтобы закончить с проеханным краем, надо сказать несколько слов о почтовом тракте.

Откровенно говоря, вся почтовая организация никуда не годится. Несколько станций, например, подряд с количеством лошадей в 15 пар (пара не меньше трех лошадей), и вдруг перерыв, и две-три станции с 5 парами. Если и 15 пар не удовлетворяют, то можно судить, что делается на таких, еще более ограниченных станциях: ожидание по неделям, отчаянные проклятия и брань ожидающих.

Вот одна из обычных картинок. Ночь. В сенях и двух маленьких комнатах так тесно на диванах и на полу от лежащих, что пройти нельзя. Воздух ужасный — здесь дети, женщины, мужчины, семьи офицеров, переселенцев, едущих по казенной и частной надобности.

Мы приехали и сидим в писарской. Присланный из Читы чиновник объясняет нам положение дела и свое бессилие:

— Девять суток ни минуты не сплю, перестаю понимать...

Слушаешь и думаешь: зачем прислали сюда этого мученика, когда надо было прислать сюда тех недостающих 10 пар, из-за которых и загорелся весь сыр-бор.

А нет этих 10 пар потому, что охотников на назначенную почтовым ведомством цену не нашлось. Ну, не нашлось, заводи казенных лошадей, но не решение же и это вопроса, вместо лошадей, чиновников посылать. Остается одно: вольные, по какой угодно цене!

Так, среди этого сплошного грабежа и воплей отчаяния, мы как-нибудь подвигаемся все дальше и дальше.

Что здесь осенью будет во время распутицы?!

Через год, два, конечно, пройдет железная дорога, и весь этот ужас отлетит сразу в область тяжелых, невозвратных преданий, но дорога дойдет только до Сретенска, а там остается еще две с половиной тысячи верст, где дорога не предполагается. Там ли только нет дорог у нас?!

А какие цены! Прислуга 20—30 рублей в месяц, мясо 20—25 копеек, хлеб ржаной 2—3 рубля пуд. И это в маленьком, захолустном сибирском городке, Чите.

Как же живут здесь мелкие служащие? Все эти не-

счастливые телеграфисты, почтовые чиновники, лесничие, доктора, мелкие железнодорожные служащие? Это мученики.

На железной дороге, да и везде, плата поденному доходит до 2 рублей. Этим еще лучше других было, но и у них уже явился конкурент — китаец.

Появление китайцев здесь, в больших массах, связано с началом постройки Забайкальской железной дороги. Маньчжурская дорога, конечно, усилит движение китайцев к нам.

Уже с Иркутска появляются китайцы, но там их сравнительно мало еще, они нарядны. Их национальный голубой халат, длинная, часто фальшивая коса, там и сям мелькает у лавок. Движения их ленивы, женственны, их лица удовлетворены, уверены.

Но чем дальше на восток от Иркутска, тем реже видишь эти нарядные фигуры и, взамен, все больше и больше встречаешь грязных, темных, полунагих обитателей Небесной империи.

Русский рабочий говорит:

— Вот и тягайся с ним: тут и одетому не знаешь, куда и деваться от комара, слепня и паука, а ему и голому нипочем.

И цену китаец берет, что дадут.

Местное население здесь — казаки. Это крупный, в большинстве, народ, причем подмесь бурятской и других кровей ощутительна.

Казаки зажиточны; имеют множество немеряной земли, на которой и пасутся их табуны лошадей и скота.

Хлебопашество процветает менее. Сеют рожь, пшеницу, овес.

Но главный доход от скотоводства...

Начиная от Читы, к востоку, эти казачьи поселки тянутся непрерывно. От самого маленького мальчика до самого старого, все жители поселков в шапках с желтым околышем и в штанах с желтыми лампасами. Вместо же мундира большое разнообразие: от рубахи до пиджака. В костюмах значительная щеголеватость: шелковые рубахи, у женщин даже корсеты, ботинки в 12 рублей не редкость, шляпы.

В свое время казачество здесь сослужило большую службу. Без них, конечно, нельзя было бы России удерживать в своих руках весь этот край.

Но наступают другие времена, и — по Гёте — счастье одного поколения — страдание последующих — казаки являют уже в теперешнем виде серьезные тормозы дальнейшей культуре края.

Но в борьбе с переселенцами казаки пока имеют сильный перевес. Вся хорошая земля оказывается принадлежащей им, и переселенцев пускают только в такие трущобы, откуда нельзя не бежать. Этих обратных переселенцев много встречается.

На одной из станций с нами ночевали двое из них. Это собственно ходоки. Они уроженцы Киевской губернии, поселились на Кавказе, а оттуда товарищи послали их в Сибирь и, главным образом, на Амур. Теперь они возвращаются назад с отрицательными ответами. Толковые, уверенные.

Жалуются на казаков и города.

В Сретенске, например, несмотря на всю наличность города — село, принадлежащее казакам. Право селиться, строиться — все зависит от казаков. Аренда высока, и, кроме того, гнет неграмотной и алчной администрации. Несносен.

— Помилуйте, будь Сретенск городом, в три года удесятерился бы, а так кто порядочный сюда пойдет.

Теперь же это улица вдоль реки Шилки с целым рядом магазинов.

— А теперь для кого же эти магазины?

Вам шепчут на ухо:

— Магазины эти только для виду; главная же торговля здесь тайным золотом.

Оно сбывается в Китай. Сколько его сбывается — неизвестно, но вот факты, по которым можно кое-что сообщить.

Из Маньчжурии в Китай официально ежегодно идет до 400 пудов золота *. Частная разработка золота до последних дней не разрешалась в Маньчжурии. На казенных приисках добыча его ничтожна.

Путешественники по Маньчжурии (Стрельбицкий и другие) удостоверяют, что хищническая добыча там ничтожна и едва оправдывает нищенское существование искателей. Откуда же эти 400 пудов на сумму до 8 миллионов рублей?

* «Описание Маньчжурии», издание Министерства финансов.

Непричастные здесь к делу люди того мнения, что это наше золото. Если к этому прибавить до 5 миллионов официальных, которые составляют излишек в нашей торговле по амурской границе с Китаем в пользу Китая, то очевидно, что, пока мы заберем еще китайцев в руки, они во всех отношениях хорошо от нас пользуются.

Город Кяхта, одна половина которого русская, а другая китайская, несмотря на барьеры, бойко и легко торгует этим запрещенным товаром (7).

Чтобы кончить с проеханным путем, два слова о Нерчинске. Утром, часов в восемь, мы подъехали к реке Нерче. Все еще было окутано серым, как солдатское сукно, туманом. Едва виднеется тот берег — пустынный, голый, неудобный, такой же, как и вся природа здесь.

Этот же берег крутой, скалистый. Молча, угрюмо, торопливо и озабоченно убегают волны реки мелкими струйками, обгоняя друг друга.

Холодно и неудобно.

Встают фигуры декабристов (8).

Они тоже переплывали эту реку, сидели, как и мы, на пароме, смотрели в воду и думали свою думу.

Вот и другой берег; пологой степью исчезает в тумане даль...

В этом тумане, там где-то, Нерчинск.

По этой степи шагали они, и в мертвой тишине точно слышишь лязг их цепей.

Может быть, будь здесь жилье, не так вспоминалось бы, но это безмолвие и одиночество сильнее сохраняет память о них.

Самый Нерчинск поражает тем, что среди серых, бедной архитектуры домиков, вдруг вырастает какой-то белый оригинальный дворец, в средневековом стиле, с громадным двором, обнесенным красивой решеткой.

4 августа.

В Сретенске мы просидели дня три.

Можно было бы умереть с тоски, если бы не товарищ мой С. Г. К. Он — строитель 12-го участка Забайкальской железной дороги. Его участком и кончается эта Забайкальская железная дорога, и дальше, от Сретенска к Хабаровску и Владивостоку, единственным путем служат реки Шилка и Амур: летом на пароходе, зимой на саних. Почтовые лошади содержатся, впрочем, круглый

год, и в мелководье эти лошади перевозят почту и пассажиров в лодках. Лодка плывет по реке, а лошади тянут ее вдоль берега. Когда попадаются скалистые берега, а их здесь очень много, принимаются за весла, а лошадей вплавь перегоняют на другой, более пологий берег, или гонят их в обход скал.

В период весеннего и осеннего ледоходов ездят сухим путем, так называемой тропой. Эта тропа вьется тут же вдоль реки, там где-то, на обрывах скал, высота которых достигает до 1 500 футов. На этой головокружительной высоте тропа суживается иногда до аршина. Привычная верховая или вычужная лошадь осторожно шагает, а непривычный путник, сидя на ней, сбивает ее своими нервными движениями, и иногда летят они оба вниз, на острые камни, разбиваясь, конечно, на-смерть.

Лучше уж пешком итти, но и то при условии, если не кружится голова. В противном случае лучше всего сидеть в Сретенске и терпеливо ждать прохода льда: весной, в конце апреля, несколько дней, осенью больше месяца — от половины октября до конца ноября.

На это время таким образом вся остальная Восточная Сибирь остается отрезанной от своего центра. Положение неудовлетворительное и даже, с точки зрения политической, опасное (9).

8 августа.

Третий день на маленьком буксирном пароходе. Мы единственные пассажиры.

Ночевали сегодня посреди Шилки. По обыкновению, в три часа ночи спустился туман, и простояли до восьми утра.

Ночь тихая, сырая и гулкая. Это вода Шилки, мутная, озабоченная, обгоняет нас. Скорость воды здесь, по определению капитанов, до 100 верст в сутки. Вероятно, это так и есть, так как плёсов, т. е. тихих мест на реке, где нет струек и водяных вихрей, очень мало.

Часам к десяти утра прояснилось, и холод сразу сменился порядочной жарой — одна параллель с Харьковом чувствуется.

Все те же гористые, пористые леса, пустынные берега. В них медведи, козы. Ниже верст на 600 начнутся тигры. Через 20—30 верст попадают одинокие домики — это

почтовые станции, их семь, или, как называют их здесь, семь смертных грехов.

Они тянутся до села Покровского, там, где сливаются Аргунь и Шилка, откуда, как известно, и начинается Амур.

Переезд от такой почтовой станции до другой, в лодке, занимает около суток.

Места живописны, иногда горы громоздятся и ближе жмутся к реке, иногда расходятся и, покрытые синей дымкой, далекой декорацией стоят на горизонте (10).

Но все пустынно: нет людей, и не тянет к себе своей пустыней эта далекая сторона, увидеть и забыть.

Было пять часов вечера, когда мы подошли к устью Аргуни.

Аргунь вышла под острым углом из-за ряда высоких, зеленым лесом покрытых сопок (или салачков, как здесь называют).

На мгновение мелькнула высокими горами сжатая долина Аргуни и даль уже китайских владений.

На острой косе, между Аргунью и Шилкой, расположилось наше небольшое казацкое селение — Усть-Стрелка *. Отсюда, ниже, весь правый берег уже китайский.

Такой же пустынный, покрытый рублеными лесами, как и наш. На его берегу стога сена — это казаки наши снимают у китайцев их уголья в аренду.

По китайскому берегу, в голубой блузе и широких штанах, с косой сзади, пробирается китаец — это нойон, начальник пограничного поста.

Вот его избушка. Этому нойону пароходчики дают несколько рублей и рубят китайский лес на дрова, на сплавы, и так же поэтому мало леса у китайцев, как и у нас. Молодыжник растет, а от старого только следы, — дорожка, по которой спускали его со стосаженной высоты. Много таких следов. Спущенный к реке лес вяжется в плоты и спускается к Благовещенску.

* Та самая Усть-Стрелка, к которой пристали аргонавты бывшего фрегата «Паллады» на сделанной ими самими в Японии шкуне «Хеде». Как известно, остов фрегата «Паллады» за ветхостью был оставлен в Амурском заливе, а экипаж перешел на фрегат «Диану». Вследствие землетрясения, бывшего в Японии, «Диана» потерпела крушение и ее заменила самодельная «Хеда» (И. А. Гончаров, «Фрегат Паллада», соч., том седьмой, стр. 554).

А еще через полчаса мы пристали и к станции Покровской.

На мгновение улыбнулась была надежда, что стоявший у берега большой пароход повезет нас вниз по реке. Но — увы! — большой пароход идет вверх, а вниз, часа четыре тому назад, ушел почтовый; следующий же пойдет не раньше трех дней.

Поистине в нашей злополучной поездке какая-то скачка с непреодолимыми препятствиями; и чем больше напряжения с нашей стороны, тем все хуже выходит.

На наш вопрос, сколько наш пароход взял бы за доставку нас в Благовещенск, ответ: «500—600 рублей».

Этого барьера, по крайней мере, не перескочишь. Сегодня ночуем на пароходе, а завтра перебираемся на берег, если, впрочем, найдем квартиру, так как ни гостиниц, ни постоянных дворов нет. Ни того, ни другого не желают всесильные здесь казаки.

Вечереет. Мы стоим у берега. Зеркальная поверхность воды, прекрасный закат и тишина. Изредка только нарушается она вздохами нашего парохода. Как загнанное животное при последнем издыхании, он вздыхает тяжело-тяжело.

Вот розовой мглой охватило воду, в ответ небу вспыхнула она на мгновение ярким заревом и задымилась вечерним туманом.

Огоньки загораются на нашем берегу и на китайском.

Село Покровское на небольшом от берега возвышении — все, как на ладони: две церкви, несколько зажиточных домов, но большинство бедных.

9 августа. Село Покровское.

Месяц, как выехали мы из Петербурга, а до Владивостока пути еще дней пятнадцать. Вот и короткий путь. Думали сделать его меньше месяца, но он вышел длиннее всякого другого. А что он стоит, этот путь... При всех лишениях, с отсутствием горячей пищи включительно, обойдется до тысячи рублей на человека. Тогда как на пароходе 500 рублей со всеми удобствами культурного пути. Сколько вещей уже разворовано, попорчено, во что превратились наши новенькие чемоданы! Всё подмочено, отсырело. А ощущение своего полного бессилия в борьбе со всеми случайностями и непредвиденностями

этого пути, где в лице каждого писаря, содержателя почтовой станции, ямщика, паромоводчика является какой-то неотразимый фатум, с которым нельзя бороться, спорить... Изломанные, измученные, разбитые ужасной дорогой, нелепыми препятствиями, вы, наконец, погружаетесь в какое-то кошмарное состояние, с одной надеждой, что кончится же когда-нибудь это.

Проснулся в семь часов. Туман густой, серый, сплошной висит кусками какими-то. Пронизывающая сырость. Все спят еще. Не хочется спать: горечь бессилия грызет — лучше вставать. Встал, оделся и вышел. Наши вещи уже вынесены на берег. Идет нагрузка муки на паром. Рабочие все китайцы.

Китайская фелюга прошла. Широкая черная лодка, сажени в четыре, с парусиновым навесом посреди... Четыре китайца на веслах, два на руле, один выглядывает из-под навеса. Посреди мачта, и к ней прикреплен римский парус.

Подальше у берега стоит более нарядная раскрашенная фелюга, тоже китайская. Посреди устроена деревянная будочка, раскрашенная, узорно сделанная.

По берегу гуляет китаец, молодой, одетый более нарядно. В костюме смесь белых и черных цветов. Туфли подбиты толстым войлоком в два ряда. Он ходит, кокетливо помахивая головой, выдвигая манерно ноги.

— Кто это?

— Так, писарь какой-нибудь... — говорит наш капитан. — А называет себя полковником... Казаки спрашивают: «а сабля твоя где?» Мотает головой. Так думает, что если скажет полковник, — важнее будет.

В час дня паромовод наш, «Бурлак», ушел назад в Сретенск, а мы переселились в слободу.

Наш домик в слободе из хорошего соснового леса, сажень шесть в длину, с балкончиком на улицу. Обширная комната вся в цветах (герань, розмарин), прохладная, вся увешанная лубочными картинками.

После жары улицы здесь свежо и прохладно, но на душе пусто и тоскливо, и с горя мы все ложимся спать, а проснувшись, пьем чай. После чая доктор с Бекиром принялись за разборку своих вещей, а мы, остальные сидим на балконе и наблюдаем местную жизнь.

Дело к вечеру, на улице скот, телята, собаки, дети, взрослые, едут верхом, едут телеги.

В перспективе улицы, в позолоте догорающего дня, получается яркая бытовая картинка. А на противоположной стороне улицы огороды — в них подсолнухи, разноцветный махровый мак, громадный хмель, напоминающий виноградные лозы.

Проходят казаки, казачки. Народ сильный, крепко сложенный, но оставляющий очень много желать в отношении красоты.

На балконе появляются доктор и Н. Е. Молодое лицо Н. Е. все такое же бледное, слегка опущенное русой бородкой, добродушные большие серые глаза. Сегодня он проходил верст десять на охоте.

— Надо пристреляться к ружью.

Улица стихла. Вечереет. Потянуло прохладой и ароматом лесов.

— Ну вот выискалась долинка. Вы живете здесь, а там за этими горами что? — спрашиваю я хозяина, старого казака. Я показываю на север, где в полуверсте уже встают горы.

— Там горы да камни.

— И далеко?

— По край света.

— Не сеете там?

— И не сеем и не косим. Медведь там только да коза. Здесь насчет посева...

Казак машет рукой.

— Ну, вот вы говорите, что на каждого рожденного мальчика наделяется сейчас же 40 десятин, — вероятно, уже немного свободной земли?

— Где много! Если б не умирали...

— Давно живете здесь?

— Сорок лет, как основались здесь.

— У вас старинных женских одежд нет, или всегда ходили так?

— Как так?

— Да вот в талию?

— Прежде рубахи да сарафаны больше носили, а нынче вот мешанская мода пошла.

Мода очень некрасивая: громадное четверугольное тело слегка стиснуто уродливо сшитой талийкой, а между юбкой и талией торчит что-то очень подозрительное по чистоте. Нет грации, нет вкуса, что-то очень грубое и аляповатое. Нет и песен. Прекрасный предпраздничный вечер,

тепло,—где-нибудь в Малороссии воздух звенел бы от песен, но здесь тихо и не слышно ни песен, ни гармонии.

Молчит и китайский берег. Мгла уже закрывает его, потухло небо, и река совсем темнеет, и безмолвно-пуста улица,—спит все. Иногда разносится лай громадных здешних собак. Пора и нам спать.

10 августа.

Ночью спалось плохо: много уж спим. Ночь мягкая, теплая, с грозой и дождем. Пахнет укропом и напоминает Малороссию с ее баштанами, свежепросоленными огурцами, арбузами и дынями.

Пробуждение утром неприятное: сразу сознание бесцельного торчания в каком-то казацком селе.

Но так как ждать придется, может быть, и несколько дней, то решил забрать себя в руки.

Встал, умылся, напился чаю и отправился в соседний дом заниматься: сперва английским языком, затем чтением о Корее и Китае.

Сижу и занимаюсь под аккомпанемент визгливой ругани моих хозяев-казаков.

Отворилась дверь, и вошел Н. А., а за ним тонкий, молодой, потертый походом морской офицер.

— Позвольте познакомить вас, господа: лейтенант Р.

Лейтенант, простой, симпатичный, в белой тужурке, уселся, и мы заговорили сразу обо всем; и о Порт-Артуре, откуда он едет, и о Корее, о японцах и Маньчжурской дороге, о Русско-Китайском банке, и Гинцбурге, неофициальном поставщике флота и армии там, на Востоке (11).

— Замечательный человек этот Гинцбург,—рассказывает нам моряк, то подбирая со стола крошки, то вертя что-нибудь в руках (признак деятельной натуры): — начал свою карьеру простым разносчиком в конце 60-х годов, бегая с корабля на корабль. Теперь у него громадный кредит в Китае, Японии, Америке, у англичан. Бывший дезертир наш,—теперь уже его простили,—Станислава имеет, разрешен въезд в Россию. Весной было как прижали нас с углем! Нет угля — англичане весь скупили: 70 шиллингов за тонну. А Гинцбург по тридцати дал, и пароходы оказались зафрахтованными, все вовремя доставил. В убыток себе доставил.

— Что же его побуждает?

— Надеется, вероятно, контракт когда-нибудь на поставки заключить... Англичане давали ему 60 шиллингов, началась американо-испанская война, американцы предложили 70, а он нам по 30.

— Большое количество?

— Тогда мы взяли 120 тысяч пудов.

— Только скажите название корабля, — «Александр Иванович командир». И он уже знает, как этого Александра Ивановича уважить, какой провиант он требует, что особенно любит. Без него плохо пришлось бы. Он и Русско-Китайский банк — два всесильных человека на Востоке.

— Банк силен?

— Все в его руках.

— Как постройка Маньчжурской дороги?

— Не знаю... Кажется, хорошо.

Входит доктор. Рубаха красная, лицо расстроено. Энергичным движением бросает фуражку.

— Нет, это чорт знает что такое! На почтовом пароходе, который завтра придет из Сретенска, ни одного свободного места.

Зачем же мы, отказавшись от удобств пассажирского парохода, без еды, прорвались сюда? Чтоб из первых стать последними? Вот где понимаешь русскую пословицу: «тише едешь, дальше будешь».

Но так нельзя. Держим военный совет, и в результате Н. А., моряк и я идем на почтовый пароход, с которым приехал г. Р. и который ждет пассажиров из Сретенска, чтобы пересадить их к себе и ехать в Благовещенск.

Очень любезный капитан разводит руками и показывает телеграмму агента о точном количестве пассажиров. После энергичных переговоров получаем, наконец, согласие его на пять мест.

Только-что сошли с парохода, подходит капитан другого стоящего здесь буксирного парохода и говорит:

— Получил телеграмму — ехать назад в Благовещенск. Через два часа еду. Если хотите, могу вас взять с собой.

Хотим ли мы?

Пусть опять буксирный и без буфета, только бы ехать.

Спешим домой. Новая беда: Н. Е. неизвестно куда ушел на охоту.

Беда с молодыми охотниками. В час дня какая охота?

Ищи его теперь. Назначили пять рублей тому, кто его найдет, а сами принялись укладываться и обедать.

Три часа, мы уже на пароходе «Михаил Корсаков» и едем до Благовещенска без Н. Е.

Любезный лейтенант Р. взялся доставить ему записку и устроить его на пассажирском пароходе.

Пароход наш в 400 сил, сидит 3 фута, на ходу 3½ фута, а при полной скорости, когда заливает от хода палубу, опускается до 4 футов. Мы идем со скоростью 27 верст в час, но скоро начнутся перекаты, и тогда пойдем тихо.

Собственно, пароход несравненно больше «Бурлака», но помещение наше хуже. Нам уступили столовую — небольшую каюту. Она внизу, с двумя небольшими круглыми окошками. Бросили жребий, кому где спать. Мне с Н. А. пришлось на скамье, доктору на столе, А. П. под столом. Впрочем, оба они устроились на полу. Кормить нас взялись, чем бог пошлет, и с условием не быть в претензии. После двадцатидневного сухоядения, о каких претензиях может быть речь?

Большая часть команды — китайцы. Нам прислуживает китайский подросток Байга. Он юркий, живой, полный жизни и веселости. Говорит, как птица.

У китайцев множество горловых и носовых звуков, через разные наши «р» они прыгают, и поэтому в их произношении наш русский язык немногим отличается от их китайского.

Мы плывем, и опять зеленые горы по обеим сторонам. Старый лес весь срублен и сплавлен, молодой зеленеет.

Мы уже верст 70 отъехали от Покровского. Было около шести часов вечера, самое приятное время — время, когда от гор уже спускается на реку тень, когда прохладно, но солнце еще на небе и золотит своими яркими лучами, и небо прозрачное, нежно-голубое, и даль воды, и зелень гор.

Я и доктор сидели на палубе и работали, когда то-ропливо спустился со своей рубки капитан и слегка взволнованно обратился к нам.

- О Желтуге вы слыхали?
- Ну конечно.
- Вот она.
- Где, где?

Мы жадно поднялись со своих мест, всматриваясь в китайский берег. Между двух гор, в незаметном сразу ущелье, показались какие-то домики, обнесенные забором. Это и есть устье Албазихи, в которую впала Желтуга. На берегу китайский городок. Верстах в двадцати выше по этой реке и был центр знаменитой Желтугинской республики. Там и добывали хищническим образом китайское золото жители всех стран, но по преимуществу китайцы и русские.

Население республиканской Желтуги достигло до 12 тысяч жителей. Основатель ее — интеллигент из судебного мира. Каждые 10 человек имели своего выборного, и этот выборный имел ближайшее начальство.

Во главе стоял выбираемый общим собранием старшина. Старшина этот получал 12 тысяч. Жалованья у всех были крупные: было из чего платить — вырабатывали на человека до 20 золотников, т. е. до 150 рублей в день.

Наш капитан сам был и работал в Желтуге. За шесть месяцев он вывез чистых 8 тысяч рублей. При этом за фунт сухарей приходилось платить золотник золота: других денег там не было.

— Вы сами работали?

— Но там все сами работали.

Состав был самый разнообразный: беглый каторжник, студент университета, чиновник, он — наш капитан — жили и работали вместе.

Нарытое золото оставляли в незапертой лачужке, и не было случая воровства. Порядок был образцовый. Содержалась громадная полиция из конных маньчжур. Законы Линча — короткие и суровые. За смерть — смерть. За воровство — наказание плетями и вечное изгнание из республики (12).

— Вот, вот, на этом месте, на льду, и происходили все экзекуции. — Капитан показывает рукой.

Мы вплоть проходим около китайского города. Постройками он не отличается от наших сел, окон только больше, и окна больше, из мелких рам, с массой маленьких стекол. Много решетчатых и резных украшений, но

редкий дом открыт. Большинство же с улицы скрыто за забором из частокола. Стоят китайцы: рослые, крупные, уверенные. Ни одной китаянки — ни в окне, ни на улице.

Русских не видно, а в наших селах китайцев больше иногда, чем русских.

— Вся Желтуга в золоте, от самого устья.

Теперь китайцы там машины поставили. Во главе предприятия Ли-Хун-Чан (13).

Сколько таких приисков, где русские разыщут золото, а китайцы потом работают. Весь китайский берег золотой, а на нашем ничего нет (14). Вот долинка перешла и на нашу сторону — прямое продолжение, а золота нет.

Капитан, красивый, лет 35, среднего роста человек: очевидно, житель Сибири, готовый всегда взяться за то дело, которое выгоднее или больше по душе.

— А отчего вы ушли оттуда, капитан?

— Начались преследования. Сперва мы дали было отпор китайским войскам, а затем, когда и китайские и русские войска пришли, решено было сдаться. Я-то раньше ушел: кто досидел до конца, тот должен был оставить и имущество и золото китайцам. Уходили только в чем были. Золото китайцы взяли, а дома сожгли. Русские войска паспортов не требовали и всех отпустили, а китайцы своим порубили головы (до 300 жертв). Некоторые китайцы, чтобы спастись, отрезали косы себе, но, конечно, это не помогало. Где-то есть фотографии расправы китайских войск со своими подданными: целыми рядами привязывали к срубленным деревьям и потом рубили головы.

По поверью китайцев, он без косы и в свой рай не попадет — тащить его не за что будет. Хотя косы, собственно, не религиозный знак, а признак подданства последней маньчжурской династии. А это поверье относительно рая у китайских масс действительно существует.

Мы плывем и плывем. Горы все меньше и меньше. Это уже не горы, а холмы. Все больше и больше низин, поросших мелким лесом. Вероятно, почва годится для культуры, но та же пустыня и у китайцев и у нас.

Настал вечер, и мы остановились у сравнительно высокого и скалистого берега. В нежном просвете последних сумерек, на фоне бледнозеленоватого неба, видны в

окна на выступе берега отдельные деревья, две-три избы, сложенные дрова.

Мы берем дрова, и треск и грохот падающих на железную палубу дров гонит нас из каюты.

На берегу горят костры, освещающие путь носильщикам дров. Русские и китайцы носят. Русские несут много (до полусажени двое), китайцы половину несут. Из мрака вырисовется вдруг, при свете костра, такое лицо китайца, желто-бледное, с широко раскрытыми от напряжения глазами, и вся фигура его, притиснутая непосильной тяжестью. Но в конце концов китайцы кончили свой урок раньше русских: они быстрее носили...

Доктор, Н. А. и А. П. взобрались на верх утеса, развели там огонь и сидят. Свет костра падает на их лица, и лица эти рельефно и мертвенно вырисовываются во мраке ночи... Встал доктор и запел «Проклятый мир» и «...и будешь ты царицей мира» эффектно, сильно и красиво, но вряд ли доступно уху аборигенов. Китайцы, впрочем, любят пение, и глазенки нашего Байги каждый раз разгораются, когда доктор берется за свою гитару.

Ужинать позвали. С выезда из России первый раз ем порядочно. Было два блюда всего — суп и котлеты, но и то и другое, по крайней мере, можно было есть: просто и вкусно. Готовила какая-то простая кухарка, средних лет, с красивыми, но уже поблекшими глазами. В этих глазах какая-то скорбь, что-то надорванное и недосказанное. Когда доктор поет, она замирает где-нибудь за углом и вся превращается в слух.

Байга счастлив и носится. Угостил Н. А., вместо воды, водкой, и на его обычный отчаянный вопль, точно его режут (вероятно, ребенком он так закатывал на каждый довод своей няни), Байга только корчит ему свои уморительные рожи.

Капитан сообщил неприятную новость: на ближайшем перекате нас пересадят на другой буксирный пароход «Адмирал Козакевич» — родной брат, впрочем, по конструкции с нашим.

Неприятность в том, что придется простоять по этому поводу до утра.

Так и случилось: пришли на перекат, где ждать нам пароход, часов в пять вечера и бросили посреди реки якорь.

С горя занялись стрельбой в цель: бросали в воду бутылки и стреляли в них. Карабин Маузера оказался вне конкуренции. Получили как и у казаков, так и здесь несколько предложений продать его. Оказывается, что во Владивостоке цена ему 70 рублей, тогда как я заплатил в Петербурге 36 рублей. Если и во всем такая же разница, то, несмотря на порто-франко вплоть до Иркутска от Владивостока, расход на перевозку купленного, пожалуй, оправдывается.

Странное это порто-франко на протяжении четырех тысяч верст в глубь страны: тут ли не быть дешевой жизни, а между тем нет в мире более дорогого уголка.

Мы разговариваем с капитаном о перекатах и мелях, препятствующих судоходству по Амуру.

Деятельность в этом отношении министерства путей сообщения только начинается. В прошлом году пришли две землечерпательные машины (что значат эти две машины на тысячи верст?), но все лето простояли где-то на мели. В этом году они готовят себе зимний затон.

Расставили было створы, наметили фарватер, но прошлогоднее, совершенно исключительное наводнение весь фарватер изменило, и теперь никто уже не руководствуется установленными сигналами.

— Теперь все старые лоцманы на смарку — вся наука теперь яйца выеденного не стоит.

Целый класс людей на смарку! Хорошо, кто вновь успеет пройти эту науку, а для многих это уже отставка, и без пенсии.

В этом году особое мелководье, и пароходчики, после хороших лет, льют теперь горькие слезы.

Мелководье и полноводье чередуются здесь, по наблюдениям местных жителей, пятилетием: пять лет полноводных, за ними пять лет мелководных.

Если хорошенько во всё это вдуматься, то пожалуй, что во всех отношениях, и политическом, и экономическом, и военном, железная дорога необходима для этого края протяжением две с половиной тысячи верст от Сретенска, с Владивостоком в конце, где теперь сосредоточивается столько наших интересов.

И как бы ни противились сторонники центра, но, в интересах того же центра, железная дорога в наши дни нужна так же окраинам, как и центру, как нужны солнце, воздух всем...

Вопрос здесь только в том, как на те же деньги построить как можно больше дорог. И, более чем когда бы то ни было убежденный, я говорю, что в глубь Сибири надо строить узкоколейную дорогу — мы ничего не потеряем в провозоспособности и силе тяги, а истратим денег много меньше. И, конечно, все это было бы более чем ясно, если бы у нас существовал общий железнодорожный план, а не сводилось бы всегда дело к какой-то мелочной торговле — к покупке фунта сахара только на сегодня.

Синее небо — мягкое и темное — всё в звездах, смотрит сверху. Утес «салик» обрывом надвинулся в реку, ушел вершиной вверх; там наверху, сквозь ветви сосен, еще нежнее, еще мягче синева далекого неба.

Всё на палубе проникло и слушает нашего певца. На этот раз репертуар подошел ближе и захватил слушателей.

Новые и новые песни. Вот тоска ямщика, негде размыкать горе, и несется подавленный, сжатый тоской отчаяния припев: «эй, вы, ну ли, что заснули? шевелись живей — вороны, золотые...»

Все слушает больше молодой, сильный народ, со всяким бывало, и песня, как клещами, захватила и прижала их: опустили головы и крепко, крепко слушают. Доктор кончил, и из мрака вышел какой-то рабочий. Протягивает какие-то ноты и говорит:

— Может быть, пригодится: Шуберта...

— Благодарю вас,— говорит доктор и жмет ему руку.

Ответное пожатие рабочего, и он уже скрылся в толпе.

Кто он? Да, в Сибири внешний вид мало что скажет, и привыкший к русской градации, в определении по виду людей, сильно ошибается здесь и как раз миллионера-золотопромышленника примет за продавца тухлой рыбы, а под скромной личиной чернорабочего пропустит европейски образованного человека.

12 августа.

Все боялись что рано потревожат для пересадки, но проснулись в восемь часов, и все тихо. Напились чаю, вышли на палубу?

— Когда пересадка?

— Да вот...

Занимались, пообедали, кто уснул и выспался, когда наконец предложили переходить на другой пароход. Перешли и в пять часов поехали дальше.

Прежний капитан, прощаясь с нами, говорил:

— После завтра к вечеру будете в Благовещенске.

Но человек предполагает, а бог располагает.

Проехали двадцать верст и сели на мель: на полном ходу, с размаху, мы врезались в эту мель. По гравелистому дну реки скользнуло железное дно нашего парохода — загрохотало, рывкнуло, и пароход сразу стал.

Плохо, что при этом нас как-то нехорошо — поперек течения — повернуло: оплеухой, как говорится здесь.

Мы перегнулись и печально смотрим в воду. Колесо и часть середины на мели, и дно мели едва покрыто водой. Но под кормой глубоко, как глубоко и с другой стороны, и мы можем изломаться, опрокинуться, котел не выдержит и взорвет...

День к концу, новый месяц в небе, солнце мирно садится и, прощаясь, красными, печальными лучами смотрит оно на нас, бедных странников Сибири.

13 августа.

Утро. Туман. Мы стоим на мели. Вокруг нас блестящее общество: так же, как мы, сидящий уже на мели пароход «Князь Хилков», ожидающий очереди «Граф Игнатьев», еще какой-то генерал, не забудьте, мы сами «Адмирал Козакевич», ждем, наконец, «Адмирала Посьета», словом сухопутных и морских деятелей здешнего края достаточно. Теперь они из своих портретов грустно смотрят на нас.

Капитаны пароходов ездят друг к другу с визитами. К нам не ездят, потому что у нас нет буфета, да и провизии нет. За день до нашего крушения наш пароход уже просидел восемь дней на мели — там и съели всю провизию, и нас кормят теперь тухлой солониной и прогорклым и испорченным маслом. Мы попрежнему все бьемся — освободим нос, корма увязнет, освободим корму, нос увязнет. Совершенно без всякого толку, как-то поперек реки ползет какой-то новый пароход. Царапается он чуть не по суху: завезет якорь и тянется. Заднее колесо отчаянно вертится, разбрасывая желтую пену и камни.

— И куда он только лезет, дурак махровый? — ругаются наши матросики — вот попадет на эту струю и снесет на нас: тогда на неделю засядем.

В это время какой-то пароход, не обращая внимания на всё здешнее общество, проходил наш перекаат у другого берега полным ходом и совершенно благополучно.

Афронт и вместе с тем открытие: фарватер, как оказывается, есть и к тому же согласуется и с теорией всех фарватеров.

После этого все капитаны снимаются с якорей и собираются разойтись в разные стороны, кому куда лежит путь.

А новый пароход между тем, перековыляв через мель, действительно ввалился в ту струю, о которой говорили матросики, и, прежде чем мы успели оглянуться, его снесло на наш стальной канат, соединявший наш пароход с берегом и служивший нам подспорьем для снятия самих себя с мели. Для себя навалившийся пароход счастливо отделался, но наши носовые крепи, за которые канат был укреплен, не выдержали, и стальной канат, свободный теперь в носовой части от крепи, стал рвать и ломать наши буксирные арки, перила и, наконец, левую колонну, поддерживающую верхнюю рубку. В этой рубке помещались каюты служащих, кухни.

Все это сопровождалось треском и пальбой, как из пушек, криками метнувшейся в разные стороны команды и диким воплем женской прислуги, и длилось одно и очень короткое мгновение. А затем проверка и осмотр наших разрушений и веселое сознание, что все целы, живы, здоровы.

Все в духе, возбуждены. И то, что новый пароход окончательно и безнадежно втиснул нас в самую сердцевину мели, и то, что вокруг, до середины парохода обнажилась, сухая отмель гравия — никого больше не тревожит. Так как это уже авария, то мы и даем теперь отчаянные свистки о помощи. Не успевший уйти «Граф Игнатьев» уныло отвечает и остается нас вытаскивать.

К вечеру навалившийся на нас пароход, наконец, благополучно скрывается на горизонте. Вместо него появляется пассажирский «Адмирал Посьет».

Он осторожно, в версте, бросает якорь и на лодке едет к нам в гости (не к нам, собственно, а к «Графу Игнатьеву»).

Наш капитан, неутомимый работник, пробегает мимо и весело кричит:

— Если канат выдержит, сейчас снимемся.

Роковое если... Канат с пушечным выстрелом рвется, и вся работа дня опять на смарку, потому что нас мгновенно опять относит на прежнее место, а может быть, и на худшее.

— Не везет — разводит руками капитан.

— Слава богу, что все целы.

Оказывается, впрочем, не совсем все: у двух ноги перебило или помяло, у третьего, китайца, — ребра.

Наш доктор возится уже с ними.

Ко всему дождь, как из ведра, весь день, и мы все промокли, и сыро так, как будто бы мы уже сидим на дне реки. Вечер и ранний туман. Где-то далеко выдвинулась из мрака гора и, освещенная отблеском зари, она кажется где-то в небе, светлое облако на этой горе — источник света.

Мы в каюте. Ленивый разговор о прошедшем дне: поломки больше, чем думали сначала — не только на корме, но и на носу сорвало все. Цепь на руле лопнула, ослабели блоки рулевые, что-то в машине испортилось и поломаны колеса, дрова на исходе и нет провизии. Ездили за ней на другой пароход, но нигде ничего нам не дали.

— На завтра хлеба больше нет, — говорит кухарка, — завтра сухари.

14 августа.

Наш молодой капитан неутомим. Всю ночь возился и теперь носится по палубе, своими длинными ногами делая громадные шаги. Совсем было выправил нос «Игнатьев», но опять оборвался канат, и мы, как-то перевернувшись на 180°, врезались опять в ту же мель. Ну и канат!..

Плохо. «Посыет» прошел мимо нас на всех парах... А должен нас взять: во-первых, у нас авария, во-вторых, оба парохода того же общества. Не взял... Что ж? С горя работать. Спустились в каюту и засели кто за что.

И вдруг, когда, казалось, всякая надежда исчезла, что-то произошло, и неожиданно всунулась в каюту нашу голова капитана.

— Снялись...

Это было так хорошо, что вопрос, как снялись, был второстепенным.

Все бросились наверх. Прекрасный день, светит солнце, покачиваясь уже на глубине, стоит наш пароход, а подальше «Игнатьев».

— Поздравляем вас, капитан!

— Это не меня — это капитана «Игнатьева» надо поздравить: таких товарищей, как он, редко встретишь.

«Игнатьев» скоро ушел. А часа через три, починившись кое-как, пустились и мы в путь.

Правый берег — маньчжурский. Хотя победителями всегда были маньчжуры и всегда китайцев били, но китайцы шли и шли, и теперь культуру маньчжур бесспорно сменила китайская стойкая, все выносящая культура. Последние вольности маньчжуров отбираются одна за другой, и некогда всесильная родина последней династии, теперь она только ничтожная провинция, в сравнении с остальным громадным Китаем.

Маньчжуры напоминают наших казаков Сечи. Такие же бритые, с длинными усами, мужественные и мрачные. Но их теперь мало (15).

Все проходит...

Кучка матросов разговаривает.

Все это уже знакомые люди: вот стоит кузнец, в светлоголубой грязной куртке, таких же изорванных штанах, жокейской шапочке, громадный, с крупными чертами лица, с умными большими глазами. Другой матрос, тоже громадный, в плисовых штанах, рубахе на выпуск, высоких сапогах, с большой, окладистой рыжеватой бородой. На матроса не похож: скорее на русского кучера, когда, отпрягши лошадей, свободный от занятий, он выходит погуторить на улице.

Третий маленький, тоже русский, в пиджаке и высоких сапогах, с лицом, испещренным оспой, и мелкими, как бисер, чертами.

— Это что за горы — гнилье, этот камень никуда не годится — говорит кузнец: — так и рассыпается... Горы за Байкалом... Идешь по берегу, и нельзя не нагнуться, чтобы поднять камешек, набьешь полные карманы, а впереди еще лучше. Высыплешь эти, новые начнешь набирать...

Это мирное занятие не подходит как-то ко всей колоссальной и мрачной фигуре кузнеца.

Разговор обрывается.

Переселенцев вовсе мало нынче: только и плывут на плотях. То и дело мимо нас плывут такие плоты, большие и маленькие. Стоят на них телеги, живописные группы мужчин, женщин, детей, лошади, коровы. Огонек уютно горит посреди плота.

Наш пароход разводит громадные волны для таких плотов, и их качает, и усиленно гребут на них.

Эти плоты дойдут до Благовещенска, где и продадут их переселенцы, выручая иногда за них двойные деньги.

— Что, второй пароход всего с переселенцами. А назад едущих довольно...

— Земель мало? — спрашиваю я.

— По Зее есть... Не устроено... Кто попадет на счастье, а кто мимо проедет, никто ничего не знает.

Это бросает, как бьет молотом, кузнец.

15 августа.

Сегодня пошли с четырех с половиной часов утра; тумана почти не было. Идем хорошо и хотим, кажется, на этот раз без приключений добраться до Благовещенска.

Доктор лежит и философствует.

— Ура... Благовещенск! — кричит сверху Н. А.

Мы бросаемся на палубу.

Оба берега Амура плоские, и горы ушли далеко в прозрачную даль.

Благовещенск как на ладони, — ровный, с громадными широкими улицами, с ароматом какой-то свежей энергии: он весь строится. Впечатление такое, точно город незадолго до этого сгорел. И как строится! Воздвигаются целые дворцы. Люди, очевидно, верят в будущность своего города.

Положим, в 40 лет город дошел до 40 тысяч населения, являясь центром всей золотой промышленности (16).

На слиянии Амура и Зеи, против того места Маньчжурии, где наиболее густо население ее.

Пока дела Маньчжурии минуют Благовещенск, но говорят, что с окончанием постройки Маньчжурской дороги вся торговля перейдет в руки русских купцов.

21 августа

Мы выехали из Благовещенска 19-го.

Пароход наполнен пассажирами, которых раньше мы всех обогнали на лошадях. Теперь они удовлетворенно посматривают на нас: «что, дескать, обогнали?»

Мы, в роли побежденных, покорно сносим и приветливо смотрим на всех и вся.

Впрочем, редко видим их, заняты каждый своим делом.

Редко видим, но знаем друг о друге уже всё. Кто об этом говорит нам? Воздух, вероятно, пустота Сибири, где далеко всё и всех видно. Это общее свойство здешней Сибири: народу мало, интересов еще меньше, и все всё знают друг о друге.

Как бы то ни было, но я знаю, что рядом, например, со мной, в такой же, как и моя, двухместной каюте, едут две барышни. Одна в первый раз выехавшая из Благовещенска в Хабаровск. Она робко жметя к своей подруге и краснеет, если даже стул нечаянно заденет. Известно, что при таком условии все стулья всегда оказываются как раз на дороге, и поэтому здоровая краска не сходит с ее щек.

Это, впрочем, делает ее еще более симпатичной.

Вторая бестужевка. Она едет из Петербурга в Хабаровск, учительницей в гимназию. Большие серые глаза смотрят твердо и уверенно. Стройная, сильная фигура. Спокойствие и уверенность в себе и своей силе. Она одна проехала всю Сибирь: для женщины, а тем более девушки — это подвиг.

— Где счастье? — спрашивает ее кто-то на палубе.

— Счастье в нас, — отвечает она.

Я слышу ее ответ и смотрю на нее. Она спокойно встречает мой взгляд и опять смотрит на реку и на берег.

Широкая раньше и плоская долина Амура опять суживается. Снова надвигаются зеленые холмы с обеих сторон. Это отроги Хингана (17). Здесь уже водятся тигры, и взгляд проникает в таинственную глубь боковых лощин. Но старого леса нет и здесь: не защитили и тигры, и всюду и везде только веселые побеги молодого леса.

Садится солнце и изумительными переливами красит небо и воду. Вот вода совершенно оранжевая, сильный пароход волнует ее, и прозрачные, яркие оранжевые

волны разбегаются к берегам. Еще несколько мгновений, и волшебная перемена: всё небо уже в ярком пурпуре, и бегут такие же прозрачные, но уже яркочерные, блестящие волны реки. А на противоположной стороне неба нежный отблеск и пурпура, и оранжевых красок, и всех цветов радуги. И тихо кругом, неподвижно застыли берега и деревья — словно спят в очаровании, в панораме безмятежного заката.

За общим ужином молодой помощник капитана рассказывает досужим слушателям о красоте и величине местных тигров, барсов, медведей.

Медведи здешних мест, очевидно, большие оригиналы: перед носом парохода они переплывают реку; однажды во время стоянки, один из них забрался даже в колесо парохода.

— И что же? — с ужасом спрашивает одна из дам. Доктор грустно полуспрашивает, полуетвечает:
— Убили?

Все те же зеленые, безжизненные берега. Они то сходят в складки и отдельными зелеными холмами, нагоры, жмутся к реке, то вдруг раздвинутся и уж где-то далеко, в сизой дали иззубривают горизонт. Тогда сюда, ближе к реке, подходит плоская равнина, низменная, мокрая, поросшая разной негодной зарослью.

Впала Уссури. Амур стал шире Волги у Самары и грозно плещется.

Китайцев все больше и больше. Здесь они старинные хозяева. Они уже однажды владели этим краем.

22 августа.

Виден Хабаровск. Где-то далеко-далеко, в зелени несколько больших розовых зданий — красиво и ново.

— Розовый город, — сказал кто-то.

— Деревня, — поправил другой, — только и есть там, что казенные здания.

Подъезжаем ближе, значительная часть иллюзии отлетает: это, действительно, большие кирпичные здания — казенные здания, а затем остальной серенький Хабаровск тянется по овражкам рядами деревянных, без всякой архитектуры, построек.

На пристани множество парных телег, парных крытых дрожек, в пристяжку. Китайцев еще больше: здесь они всюду — на пристани у своих лавочек, которые двойными

рядами, сколоченными из досок, тянутся вверх по крутому подъему. В этих лавочках, на прилавках грязно и невкусно лежат: капуста, морковь, арбузы, дыни, груши и яблоки, синие баклажаны и помидоры. Названия те же, что и на нашем юге, но блеска юга нет, нет и существования его — это скорее отбросы юга, все эти бледные, чахлые, жалкие и невкусные фрукты.

В городе музей, и так как до отхода поезда оставалось несколько часов, то мы успели побывать там. Музей хорош, видны труд и энергия составителей. Прекрасный экземпляр скелета морской коровы. Скелет больше нашей обыкновенной коровы, с точно обрубленными ногами и задней частью, переходящей в громадный хвост. Как известно, это добродушное животное теперь уже совершенно исчезло с земного шара. Еще в прошлом веке их здесь, у берегов океана, было много, и они стадами выходили на берег и паслись там. А люди их били. Но коровы не боялись, не убегали, а, напротив, шли к людям и поплатились за свое доверие. Даже и теперь в этом громадном, закругленном, тяжелом скелете чувствуется это добродушие, не приспособленное к обитателям земли (18).

Чучела тигров, медведей, барсов и рысей, чучела рыб, земноводных, допотопных. Дальше костюмы всевозможных народностей.

Что еще сказать о Хабаровске? Он основан всего в 1858 году, а назван городом всего в 1880 г. Жителей 15 тысяч. Но, очевидно, это не предел, и город, как и Благовещенск, продолжает энергично строиться (19). Торговое значение Хабаровска передаточное — это пункт, от которого с одной стороны идет водный путь, а с другой — к Владивостоку — железнодорожный. Самостоятельное же значение Хабаровска только — как центра торговли пушниной, получаемой от разных инородцев. Самый ценный товар — соболь, лучший в мире.

В смысле жизни, в Хабаровске всё так же дорого, как и в остальной забайкальской Сибири...

* *

*

В вагоне большое общество: военные, разного рода служащие, искатели счастья; изредка какой-нибудь местный негодник; отдельный вагон-буфет, в нем все об-

шество, и оживленные разговоры о китайцах и японцах, о судьбе Востока. Горячие споры, и каждый говорит свое совершенно особое мнение, только его и считает верным, с презрением выслушивая всякое другое.

Вывод один: вопрос, очевидно, большой и жгучий, имеющий множество сторон, и каждый, видящий свою, говорит об единой открытой истине. И ясно, что изучение всех сторон и связанный с ними общий вывод — еще дело большой работы будущего. И если теперь все это — темная бездна, освещенная сальными огарками, десятком другим поверхностных исследователей, то во времена тех, кому строят здесь памятники, бездна эта и этих освещенных не имела.

Но если нет знаний — много апломба, легкомыслия, цинизма, с одной стороны, полного подобострастия и приниженности, с другой.

28 августа.

Из окна вагона я вижу всё ту же долину Уссури, поросшую болотной травой, вижу далекие косогоры, покрытые лесом.

— Хороший лес?

— Леса здесь нет, хорошего и пахоты нет, растительный слой ничтожен, подпочва, видите... да и болотиста.

Резервы, из которых взята земля для железнодорожного полотна, знакомят хорошо со строением почвы — вершка два чернозем, дальше белая глина.

— Год-два — колоссальный урожай девственной почвы, а затем удобрение...

Кругом всё так же пустынно и дико — нет жилья, нет следов хозяйства.

— Да, здесь нет ничего... Верст за триста не доезжая Владивостока, начнутся поселения, да и там пока плохо...

Относительно сельского хозяйства здесь два диаметрально-противоположных мнения.

Одни говорят:

— Здесь особенная природа: один год в сажень — полторы вырастает пшеница и одно зерно в колосе, а на другой год баснословный урожай, весь сгнивший от дождей, или соберут, начнут есть — судороги и все признаки отравления... Так и называются наши пшеницы — пьяные... Вы видите, что здесь природа и сама не выработала еще

себе масштаба: о каком серьезном переселении может быть речь... Да, надо сперва привезти сюда 500 тысяч и все их оставить на этих сельских опытах... Донских казаков, несчастных, переселили... Два года побились: пришли во Владивосток, поселились табором — везите назад... А там, где как-нибудь устроились, еще хуже: захватили все к речкам, а полугоры и горы, отрезанные от воды, обречены таким образом на вечную негодность: участки надо бы наделять не вдоль реки, а от реки в горы, — тогда другое и было бы...

— Да там болота...

— Осушите.

— Разве это посильно переселенцу?

— Это работа не переселенца... И без этой работы ни о каком серьезном заселении края речи быть не может...

Рядом с этим:

— Ерунда! Чудные места! Богатейшие места! Свекла, сахарные заводы, винокуренные, пивные заводы, табакводство... Земли сколько угодно...

— На сколько человек?

— По крайней мере, на 60 тысяч.

— Что вы? 600 тысяч.

— Тысяч сто двадцать, — решает авторитетно третий. Во всяком случае, для прироста 100-миллионной России, все эти три цифры, если даже сложить их вместе, не составят особенной находки.

Что касается до того, действительно ли чудные места, лучшие для свеклы, табаку, то, судя по внешнему впечатлению, сопоставляя рядом с этим заявление о невыработанном-де еще и самой природой масштабе, казалось, следовало бы усомниться. Но уверяют здесь так энергично...

29 августа.

Верст за 15—20 перед Владивостоком железная дорога подходит к бухте и всё время уже идет ее заливом. Это громадная бухта, одна из лучших в мире, со всех сторон закрытая, с тремя выходами в океан.

Ничего подобного тому, что произошло в Сант-Яго с испанским флотом, здесь немыслимо.

Отрицательной стороной Владивостокского порта являются туманы (20) и замерзаемость порта с конца ноября по март.

Для льда существуют ледоколы; туманы то появляются, то исчезают, и во всяком случае и лед и туманы не являются непреодолимым злом.

Всё остальное за Владивостокскую бухту, и принц Генрих, который теперь гостит во Владивостоке, отдавая ей должное, сказал, что порт этот оправдает и в будущем свое название и всегда будет владеть Востоком.

Город открывается не сразу и не лучшей своей частью. Но и в грязных предместьях уже чувствуется что-то большое и сильное. Многоэтажные дома, какие-то заводы или фабрики. Крыши почти сплошь покрыты гофрированным цинковым железом, и это резко отличает город от всех сибирских городов.

Впечатление усиливается в центральной части города, где очень много и богатых, и изящных, и массивных, и легких построек. Большинство и здесь принадлежит, конечно, казне, но много и частных зданий.

На улицах масса китайцев, корейцев, военных и матросов. На рейде белые броненосцы, миноносцы и миноноски.

В общем своеобразное и совершенно новое от всего предыдущего впечатление, и житель Владивостока с гордостью говорит:

— Это уж не Сибирь.

И здесь такая же строительная горячка, как и в Благовещенске и Хабаровске, но в большем масштабе.

Со всех сторон лучшей здешней гостиницы «Тихий Океан» строятся дома массой китайцев, и от этого стука и грохота работающих не спасает ни один номер гостиницы. С первым лучом солнца врывается и стук в комнату, и уже не спится и в этом звонком шуме и в этом ярком свете августовского солнца. Особый свет — чистосенний, навевающий покой и мир души. Беззаботными туристами мы ходим по городу, знакомимся, едим и пьем, пробуя местные блюда.

Громадные, в кисть руки, устрицы, креветки, кета, скумбрия, синие баклажаны, помидоры — все то, что любит и к чему привык житель юга. Не совсем юг, но ближе к югу, чем к северу.

А вечером, когда яркая луна, как в волнах, ныряя то в темных, то в светлых облаках, сверкает над бухтой, когда огни города и рейда обманчиво раздвигают панораму гор, всё кажется большим и грандиозным, сильным

и могущественным, таким, каким будет этот начинающий свою карьеру порт.

Ходим мы по улицам, ходят матросы наши, русские, немецкие, чистые, выправленные щеголи, гуляют дамы, офицеры, едут извозчики, экипажи-собственники. Это главная улица города — Светланская; внизу бухта и суда. Садится солнце, и толпы китайцев и корейцев возвращаются с работ.

Китайцы подвижны, в коротких синих кофтах таких же широких штанах, завязанных у ступни, на ногах туфли, подбитые в два ряда толстым войлоком. Нижний ряд войлока не доходит до носка, и таким образом равновесие получается не совсем устойчивое. Китайская толпа оживлена, несутся гортанные звуки, длинные косы всегда черных, жестких и прямых волос спускаются почти до земли. У кого волос нехватает, тот привлекает ленту.

Корейцы — противоположность китайцам: такой же костюм, но белый. Движения апатичны и спокойны: всё это, окружающее, его не касается. Он курит свою маленькую трубочку, или, вернее, держит во рту длинный, в аршин, чубучок с коротенькой трубочкой и степенно идет. Шляпы нет — на голове его пышная и затейливая прическа, кончающаяся на макушке, так же, как и модная дамская, пучком закрученных волос, продетых цветной булавкой (21). Лицо корейца широкое, желтое, скулы большие, выдающиеся; глаза маленькие; жидкая, очень жидкая, в несколько волосков, бородка, такие же усы, почти полное отсутствие бакенбард. Выше среднего роста, широкоплечи, и в своих белых костюмах, с неспешными движениями и добродушным выражением, они очень напоминают тех типичных хохлов, которые попадают впервые в город; за сановитой важностью и видимым равнодушием прячут они свое смущение, а может быть, и страх.

Много японок, в их халатах-платьях в обтяжку, с открытой шеей, широчайшим бантом сзади, без шляпы в своей прическе, которую делает японка раз на всю неделю, смазывая волосы каким-то твердеющим веществом. Ходят они на неустойчивых деревянных подставках. Упасть с них легко, чему мы и были свидетелями: японка загляделась, потеряла равновесие и, подгибая колени, полетела на землю. Японки низкорослы, мясисты, с лицом

без всякого выражения. Не крупнее и мужское поколение японцев, в своих европейских костюмах, шляпах котелком, из-под которых торчат черные, жесткие волосы.

Китайцы — каменщики, носильщики, прислуга; японцы — мастеровые. Высший класс китайцев и японцев захватил и здесь торговлю. В руках у русских только извозчий промысел.

Среди японцев множество отставных солдат, резервистов, запасных унтер-офицеров и офицеров.

Поздно уже. Ночь, южная ночь быстро берет остатки дня. Небо на западе в огне, выше дымчатые тучи нависли, а между ними там и сям светятся кусочки безмятежной золотистой лазури.

— Будет ветер.

Ночь настоящая южная: живая, тревожная, темная и теплая.

Множество огней, и сильнее движение по Светланской улице. Едут торопливо экипажи, снуют пешеходы, из окон магазинов свет снопами падает на темную улицу. Темно, пока не взойдет луна. Кажется, провалилось вдруг всё в какую-то темную бездну, в которой снизу и сверху мигают огоньки. Там внизу море, там вверх небо, но где же эти огоньки? Между небом и землей? Да, там: они горят на высоких мачтах белых, не видных теперь броненосцев. Там между ними теперь и германских три судна. Принц Генрих угощает гостей обедом, и лихо пьют, говорят, за его столом и хозяева и гости.

Принц, кажется, хочет ехать до Благовещенска (22).

Кстати о благотворительном гулянье. Это благотворительное гулянье устраивается ежегодно и дает до десяти тысяч чистого сбора. Оно продолжается весь день. Публика, по преимуществу, китайцы. Они страшно раскупают билеты аллегри, кричат от удовольствия, глядя на японский фейерверк, и, когда из лопнувшей в небе ракеты вылетает то бумажный китаец, то бумажный корабль, они, как дети, бегут к тому месту, куда он должен спуститься. Надутый бумажный пузырь, искусно изображающий нарядного китадца, не спеша спускается, а толпа жадно вытянула руки, весело хохочет, кричит и ждет не дождется, когда опустится фигура настолько, чтобы схватить ее сразу всем.

30 августа.

Все эти дни прошли в окончательных приготовлениях: покупаем провизию, разные дорожные вещи.

В свободное же от покупок время знакомимся с местным обществом. Один драматический и опереточный театр действует, лихорадочно достраивается другой — там будут петь украинцы; работает цирк.

Мы были и в театре и в цирке. Что сказать о них? Силы, в общем, слабые, но есть и таланты. В общем же житье артиста здесь сравнительно с Ростией более сносное, и здешняя публика относится к ним хорошо. Хорошо относится и печать.

Вечером я ужинал с несколькими из здешних обитателей, а после ужина один из них позвал меня прокатиться с ним по городу и его окрестностям.

Это была прекрасная прогулка. Мой собеседник, живой и наблюдательный, говорил обо всем, с завидной меткостью определяя современное положение дел края.

— Вот это темное здание — военного ведомства, а напротив, вот это, морское: они враги... Они только и заняты тем, как бы подставить друг другу ножку. Это сознают и моряки и сухопутные... И случись осложнение здесь, мобилизация там, что ли, если не будет какой-нибудь объединяющей власти... А вот ведомство путей сообщения и контроля: опять на ножках. Опять постановка, в роде того, что кто зеленый кант носит, тот мошенник, кто синий надел, тот непременно честный: я так, а я так, а в результате, что стоит рубль, обходится в сотни. Терпит казна...

С нашествием сюда китайцев, то-есть рабочих рук, одна сторона, таким образом, решается, но другая сторона остается открытой: у нас денег нет... Надеялись мы на Русско-Китайский банк, но... банк в коммерческом отношении стоит очень хорошо. Но предприятия, которые могли бы здесь развиваться, не создаются: деньги дают на краткосрочный кредит... на несколько месяцев... на такой кредит предприятия не создашь и с таким кредитом только запутаешься... А дела много, да и денег надо много... Это не Россия: здесь для дела надо весь капитал сполна, и если хоть десятой части его нехватает, то дело будет сорвано: кредита нет... Совершенно нет... А есть и золото, и каменный уголь, и руды: свинцовая, железная, соль ка-

менная есть. Можно и сельскохозяйственную культуру вести: и скот, и сахар, и табак, и пиво пойдет... Да как не пойти? Вы посмотрите, какие цены; бутылка пива рубль, фунт сахара двадцать пять копеек, хлеб, мясо... На все ведь безумные цены... Лес... Но вот лес наш: при разработке, в один год с ним не повернешься, а таких здесь, которые могли бы затратить капитал на два года — нет. Возьмите другое громадное дело — рыба... Ведь такого изобилия рыбы нет на остальном побережье земного шара. Три осенних месяца, когда идет кета, чтоб метать свою икру в Амур, ее столько, что руками можно ловить. А ведь это та же лососина... За ней стадами плывут акулы, кашалоты... Два года назад убили в бухте кита... В лову пуд рыбы обходится копейка... Но для организации сбыта нужны пароходы-ледники, во всех европейских центрах склады-ледники... Солить рыбу? — нужна соль, а ее нет: немецкая соль у нас стоит семьдесят копеек, с Сахалина пятьдесят, но и не годится, и оба эти сорта соли не годятся, — они получаются вываркой, а следовательно в них и иод и натр, и все это дает негодный для продажи товар... Нужна комовая соль... Японцы здесь вертятся, народ безнадежный... Все, на что хватает их — это удобри-тельными туками увозить эту рыбу к себе... Миллиона два пудов вывозят...

1 сентября.

Сегодня вышел первый номер новой, третьей здесь газеты — «Восточный Вестик». Редакция газеты, очевидно, чистоплотная. Лучшая будущность — 500 подписчиков, и следовательно людей собрала к этому делу не его денежная сторона.

Сегодня вечер я провел в их кружке, и вечер этот был один из лучших, здесь проведенных вечеров.

Хозяйка дома, госпожа М., она же секретарь редакции, из числа тех беззаветных, которые своей любовью к делу, любовью особенной, как только женщины умеют любить дело, перенося на него всю ласку и нежность женской натуры, — греют и светят, вносят уютность, вкус, энергию...

Выхлопотать разрешение, получить во-время случайно запоздавшую телеграмму и таким образом прибавить ин-

терес номеру, не спать ночь, чтобы номер вышел вовремя, выправлять корректуру и огорчаться от всего сердца, если какая-нибудь буква выскочила-таки вверх ногами,— вот на что проходят незаметно дни, годы, вся жизнь...

3 сентября.

Возвратился с вечера в час ночи, а в семь часов утра пароход, на котором я уезжал из Владивостока, уже выходил из бухты в открытый океан.

Еду я до бухты Посьета, а оттуда сухим путем в Новокиевск, Красное Село и, далее, в Корею.

Утро, солнце левино поднимается из-за хребтов бухты, еще окутанной молочно-прозрачным туманом.

Маленький пароход наш стоит на рейде, к нему подплывают лодки со всех сторон, с разного рода пассажирами: военные с дамами, японцы, китайцы. Китайцы-лодочники, китайцы-носильщики, китайцы-пассажиры, и звонкий гортанный говор их резко стоит в просыпающемся утре.

Неподвижно и безмолвно вырисовываются грозные, громадные броненосцы, со своими высоко задранными белями и черными бортами.

Что-то типично-южное во всей этой картине, краски юга, утро юга, южное разнообразие наречий, говоров, цветов, костюмов. На борту парохода бытовая сценка.

Пароход уже идет, лязгает якорная цепь, мы смотрим на город, склоны гор, окружающих бухту. Дальше и дальше горы спят в ясной синеве прозрачного осеннего утра.

— Будет качать?

— Пустяки...

— Ну-с, не говорите — в море мертвая зыбь.

Дамы испуганно смотрят вперед, где за береговыми теснинами еще прячется открытая даль. И долго еще пароход пробирается между этими извилистыми берегами, между островами. Там и сям взрытые кучи земли, скрытые постройки — это все батареи, телеграфные сигналы, укрепления, настолько сильные, что Владивосток считается неприступным со стороны моря.

Вот и остров, на котором два дня охотился принц Генрих. Немцы в восторге от охоты, единственной в своем

роде. В моей памяти сохранилась цифра убитых оленей — сорок два.

— Это чисто немецкая манера — бить всё и вся до последнего: не поедят...

Говорит офицер с манерами гвардейца, изысканно пренебрежительно бросая слова. Он тихо выпускает:

— Хамовье... Единственный граф, но и тот хуже нашего сапожника. Это ведь традиционная манера Гогенцоллернов — окружать себя исключительно низкопробной публикой...

Кончился завтрак, и волна уже открытого моря весело подхватила пароход и понесла на себе. Другая на смену, — хочет перехватить, не успевает, и пароход неловко падает на бок. Летят брызги во все стороны, что-то замирает в груди, пароход уже поднялся и взбирается на новый гребень волны, но, капризная, она уклоняется, и опять тяжело и неуклюже валится пароход в открытую бездну.

— Что это? Качка настоящая, большая?

— Да, тайфун гулял.

Еще никто никогда не спасся из тех, кто попадает в середину тайфуна. Все искусство при встрече правильно определить его центр и уходить от него... Немцы, неопытные еще мореплаватели в этих морях, чаще других платят дань грозному бичу здешних морей.

Меня не укачивает, но зато аппетит громадный.

А в два часа мы уже были в бухте Посьета, последней нашей русской бухте, и сразу исчезли и качка и все страхи открытого моря. Тихий залив бухты, говорливо, нежно ласкаясь, расступается, сверкает переливами морская вода, и мы быстро подходим к противоположному берегу.

Вот остров — маленький сплошной утес, и миллион пеликанов, робко вытянув свои шеи и уродливые головки, смотрят на нас с острова, шумно взлетают и опять садятся: близко, и, будь ружье, сколько бы их стало жертвой скупающего охотника.

Пароход остановился.

Влево и вправо идут разветвления залива. Я еду двенадцать верст на лошадях до Новокиевска (23), и перед глазами все тот же залив Посьета. Самые ничтожные работы, сравнительно, могут создать из него одну из лучших и громаднейших бухт в мире.

Все время по пути попадают здесь и там, отдельными городками, солидные постройки; это все размещены наши войска — пехота и артиллерия.

Новокиевск — центр этих войск. На каждом шагу здесь лихорадочная постройка новых и новых зданий. Китайцы, корейцы, японцы — все те же исполнители.

Новокиевск имеет вид настоящего городка: в нем и лавки и магазины, даже отделение Кунста и Альберса. Город военный, весь в низине, и разбросался на далекое расстояние. В конце его, на дворе одного окраинного дома, расположился и наш экспедиционный отряд.

Во дворе стоят палатки, а вдоль заборов двора расположены лошади. Лошади маленькие, корейские, то и дело схватываются между собой, а корейцы-конюхи то и дело вскрикивают на них, издавая короткие, резкие звуки.

Всю компанию застал я в палисаднике за едой. Стол был устроен из ящиков, поверх которых было настлано по две доски. Еда в походных жестяных тарелочках, чай в таких же чашках.

С моим приездом экспедиция была вся налицо. Когда выступаем — еще неизвестно: паспорта не готовы, нет людей, нет ответа относительно запасных солдат, которыми предполагается пополнить кадр, нет наконец еще и полного комплекта лошадей. Хорошо, если выступим пятого.

7 сентября.

Прошло пятое, седьмое сегодня — хорошо-хорошо, если тронемся девятого. Теперь держат проливные дожди, благодаря которым река вышла из берегов, и так как мостов в этой первобытной стране нет, то и сообщений иных, как вброд, нет. Ни о каких же бродах теперь и речи быть не может. Маленькая речушка возле нас, с бродом ниже колен, теперь трех сажен глубины, и вода все еще прибывает.

Во дворе, где наши палатки, невылазная грязь, грязь и в палатках. Грязь и сырость, и все мы рискуем, не выступая еще, нажить себе солидные ревматизмы.

Обедаем уже не в палисаднике, а в доме, где раньше шла упаковка разных вещей. И теперь их здесь навалены груды, и укладчики жалуются, что мы им мешаем. Но деваться некуда, и публика толчется весь день в этой ком-

нате. Хозяин дома в отчаянии и требует новой окраски полов.

Делать нечего, и мы знакомимся и ближе присматриваемся друг к другу.

Здесь прибавилось несколько новых попутчиков.

А. И. З. (24), молодой представитель экспедиции. Он одет в красивый тирольский костюм, носит белую пробковую шляпу с низким дном и широкими полями. Костюм идет ко всей его стройной, высокой и красивой фигуре. Волосы коротко острижены, черная вьющаяся борода, большие красивые черные глаза. Лицо доброе, открытое, умное, манеры предупредительные и сильное желание стусеваться. Раньше он был моряком, изучал астрономию, и теперь в предстоящих работах взял на себя все астрономические наблюдения.

С Н. А. К. я уже познакомил читателя. Он считается помощником З., — энергичен, горяч и забирает себе работы по части описания существующих дорог столько, что и в несколько месяцев, вероятно, не управится.

Затем идут отдельные партии по разным специальностям. У меня их две: одной заведу я сам и со мной Н. Е. Б., а другой заведует А. П. С. и с ним доктор.

По части геологии и исследования почвы — горный инженер С. П. К.

Это человек лет 35, высокий, сухой брюнет, уже известный исследователь, по преимуществу в совершенно диких, мало обитаемых местах. Он работал у якутов, на Охотском побережье, в Забайкалье, и где его только не носило. Рассказы его интересны, и мы слушаем его вечером, после ужина, когда две-три свечки плохо освещают наш длинный стол, а на дворе монотонно и однообразно барабанит все тот же унылый осенний дождь.

Дело свое специальное знает он, очевидно, хорошо, но все остальное мало его интересует.

В помощники себе он взял бывалого моряка-бродягу, хорошо знающего Корею и все ее трущобные места...

Прекрасный и страстный охотник, он ручается, что к столу будут фазаны и гураны (дикие козлы), ручается и за прекрасные отношения с корейцами.

— Только смазать, как следует, их губернатора, и делай, что хочешь... А уже что приказал губернатор, то свято для корейца. Кореец, как и китаец, власть признает и уважает. Власть все равно, что сам бог: хоть глупость,

хоть несправедливость, приказано — закон. Так кореец ничего не даст, никуда не повезет...

Партия лесника состоит из четырех рабочих, во главе которых и стоит В. А. Т. Это лет за 50 человек, тихий, наблюдательный, очень сведущий и очень неглупый. Он хохол, любит хохлацкие песни и до сих пор сохранил свой голос.

7 сентября.

Сегодня приглашение всем от местного русского комиссара на обед. Комиссар очень обязательный человек, и мы все охотно идем к нему, хотя дождь льет, как из ведра.

У комиссара прекрасный, в два этажа дом.

Кроме нас, мировой судья, он же следователь.

Мировой судья лет 35 человек, с круглым лицом, мелкими чертами, в очках.

Нам пришлось сидеть с ним за обедом рядом, и я не жалел. Он первый здесь судья, с июня прошлого года. За год многое уже сделано...

Следователь прямо в восторге от корейцев. И он у них желанный гость. В нем они видят защитника, и каждый его приезд к ним сопровождается целыми овациями.

— Скажите, правда, что с корейцами нужна твердая, авторитетная манера?

— О, Боже сохрани! Не слушайте вы всех этих негодяев-шовинистов. Ведь это они же и подрывают везде и всегда русское имя: за них краснеем...

— Будете путешествовать, спрячьте все ваши ружья: простой лаской сделаете с ними все.

Было уже темно. Мы поблагодарили гостеприимного хозяина и отправились домой. Засиделись, против обыкновения, до 12 часов ночи.

Вдруг вбегает С. П.

— Господа, в соседнем дворе пожар.

Рядом пожар, а у нас лошади. В страхе они могут сорваться и истопчут и палатки, и все сложенное в них, и нас самих. Мы бросились во двор. Ночь темная, без звезд, дождь, а через забор только еще разгорается пожар в соседнем доме.

Первый бросился туда Н. А., за ним я. Остальные бросились к лошадям, отвязывать их и выводить на улицу.

К счастью, Н. А. удалось скоро разбудить спавших хозяев, и раньше еще того он начал заливать пламя стоявшей тут же водой.

10 сентября.

Сегодня наконец в половине пятого вечера выступаем и мы из Новокиевского на границу Кореи (Красное Село). Дорога все время кружит по берегу залива Посьета, и на нашем горизонте постоянно то иззубренные, хотя и невысокие, голые, безлесные горы, то синее море.

На горизонт с запада выдвинулись тучи и замерли. Они, как вторая линия гор, рельефно вырисовываются в небе в самых причудливых формах. Вот стада каких-то невиданных зверей, вытянув шеи, тянутся к открывшемуся океану.

Солнце последними лучами играет в этой груде облаков. Там же, на востоке, все мрачно, и вдоль горизонта моря стоит какая-то сине-огненно-дымчатая стена, с башнями там, наверху. Точно иной берег там, и кажется, что, прижавшись к нему, стоят те плывущие корабли у той стены.

Гаснет солнце, синеет стена, мрачная и грозная, и уже вспыхивают по ней зарницы, как сторожевые огни сказочной крепости. Холодом ночи веет оттуда. А ближе к солнцу покой и тишина. Там облаканные солнцем облака словно тают в его лучах, золотистым, бирюзовым следом протянувшись в небе. Легкий, светло-прозрачный туман нежно окутывает горы — туман забрался в их впадины, и кажутся эти горы приподнятыми в воздухе, и такая масса там этого нежно-молочно-прозрачного воздуха. Лучи солнца еще пересекают его, но уже теряются фиолетовым отблеском в безбрежных низинах этих гор.

Наша кавалькада красиво растянулась и змеей вьется по прихотливой береговой полосе — всадники с ружьями, ножами, английскими шляпами, как на рисунках журналов, вроде «Природа и люди».

Уже попадают корейские фанзы, с их плоскими камышовыми крышами, покрытыми веревочной сеткой, с их отдельно стоящими, высокими деревянными трубами, их бумажными окнами и дверями (25). Но все это там, внутри двора, а снаружи только глухая стена, и спрятал кореец за ней и себя, и семью, и свои обычаи. Все это пока еще тайна для нас и очень интересная.

Около каждой фанзы громадная, в рост всадника, конопля, гаолян. Гаолян — род крупного проса, на вид очень похожий на наш камыш (26). Темнеет. Молодой бледно-прозрачный месяц всплыл в небе. Скорпион, его спутник здесь, нежно обвил его яркими, как брильянты, звездочками.

Все темнее и все растут бастионы востока.

Дорога идет через залив по воде, и растянувшаяся линия всадников один за другим исчезает в мраке воды и темных синих стен.

Подбирается вода все выше и выше, подмочила уже выюки, лошади всплыли, солдат Бирик с головой провалился в воду и ругает, отряхиваясь, соленую воду. Но опять берег и горы, и мы едем рысью.

Китайская деревня Ханси, — незаконный выход маньчжуров к морю. Она растет с каждым годом — это уже порт Маньчжурии, из которого и идет вся ее торговля (27).

Ночь. Спит деревня. Мы едем в стороне от нее.

Вот и наш привал — Заречье и фанза Николая. Нас гостеприимно принимают, и я, уехавши вперед, уже сижу в маленькой, в квадратную сажень, чистенькой комнате. Оклеены обоями стены, потолок. Двери в другие комнаты, и каждая комната имеет такой же отдельный выход на двор. Выход на высоте аршина — это и дверь и окно. Можно ее затворить глухой дверью или бумажной. Снаружи, когда дверь закрыта такой бумагой, она просвечивает свет комнаты, и тогда на фоне темной ночи вырисовывается какой-нибудь фантастичный узор.

11 сентября.

Прекрасное раннее утро. Я сижу во дворе и записываю впечатления.

Перед моими глазами фанза.

Целый ряд окон-дверей с узорчатым мелким переплетом, заклеенным бумагой. Все эти окна-двери выходят на узкий, шириной всего с аршин, балкончик. С этого балкончика до земли тоже аршин. Вся фанза выбелена. Крыша ее плоская, из мелкого камыша, сверху покрытая веревочной сеткой.

Отдельно, сбоку от фанзы, на расстоянии сажени, из земли выведена высокая, выше крыши, узкая деревянная,

из четырех досок, труба. В эту трубу проходит дым из печей дома.

Печи устроены очень своеобразно: все дымовые ходы расположены под полом. Пол поэтому всегда теплый, а в комнатах не видно печей. При легкости всей постройки, при толщине стен в два вершка, я не думаю, чтобы в этих фанзах было тепло зимой. Впрочем, вот доживем до холода и тогда убедимся.

Двор собственно разделен на две части; в передней сосредоточено все, относящееся к рабочим и скоту. Там грязно.

Во втором дворе, где мы — чисто, а с левой стороны устроен даже небольшой цветник. Красные и белые цветы в изобилии ласкают взгляд.

Вдоль стен висят гроздья красного перца, желтой кукурузы, белого чеснока, а из-за забора выглядывает здешняя ветла с острыми длинными серебряными листьями, с ярко-красными наростами на листьях.

Во дворе корейцы: русские — стриженные, подданные же Кореи — в своих прическах, с завитушкой на середине головы.

Добрые детские лица их широки, кожа темна, глаза прямые, но узкие, веки опущенные, как у тех, у кого они находятся в параличном состоянии.

Один за другим уходят обозы, уходит и мой. Доктор и С. уходят совсем, отправляясь прямо на Кёнхын (по-китайски Кегенфу).

Но жаль мне расстаться с чудным утром, уютным уголком, расположением к работе. Я еще останусь.

Я принимаюсь за английский язык; мне предлагают сварить кукурузу, и незаметно я провожу здесь время до часа.

Пора ехать: лошади давно оседланы, и громадный Бирик ждет не дожидется, когда я тронусь наконец.

Мы едем от Заречья к Красному Селу долиной реки Пончианги.

Кругом поля корейцев: всевозможные сорта чумизы (28), овес, кукуруза, одни бобы, другие, третьи, из которых готовится соя (29).

В этом году, после трех лет неурожая, урожай громадный.

Яркое солнце, синее осеннее небо, по обеим сторонам красиво иззубренные, хотя и невысокие горы. В общем

осень напоминает долину Крыма, когда едешь из Севастополя в Ялту.

Но здесь красивее, потому что все время на горизонте темносиней лентой тянется море. Только краешек его и виден, но это еще сильнее дразнит и тянет к нему, прочь от этих мест, к далекой милой родине. Когда-то это будет? Гонишь эту мысль и то смотришь на барометр и записываешь, то слушаешь переводчика П. Н. Кима, который рассказывает мне то про тигров, ютящихся в этих горах, то про друидические постройки на вершинах гор (30), то про житье-бытье здешних корейцев.

Край этот заселен всего пятнадцать лет назад (31).

Первым корейцам пришлось особенно трудно. Голод и неустройство довели их до полной нищеты, и жены их и дочери добывали себе пропитание позорным ремеслом.

Теперь все изменилось, и корейские женщины славятся целомудренностью.

— Вот в Корее много балованных женщин.

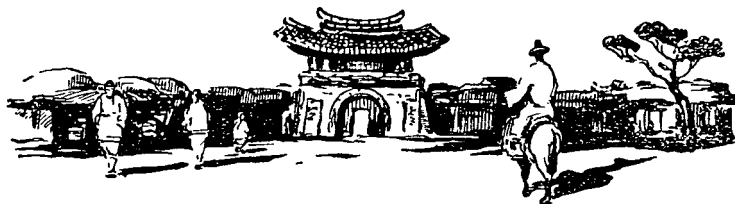
— Но ведь там пять лет назад вышел новый закон.

— Что закон? Закон ничего не может переменить. Хуже стало: нельзя прямо, потихоньку делают... болезни...

У здешних корейцев наделы и такие же общинные порядки, как и в остальной России. Жалуются они очень на дорожную повинность. На волость в 1 500 дворов приходится таких дорог с лишком 200 верст. Прежде они вносили на их ремонт деньги — 6 000 рублей в год, но с этого года введена натуральная повинность, которая, очевидно, очень не по вкусу им.

Иногда мы останавливаемся и разговариваем с корейцами: их много в поле — они молотят овес. В своих белых костюмах они, действительно, напоминают белых лебедей.





ГЛАВА ВТОРАЯ

ВВЕРХ ПО ТУМАНГАНГУ, НА ПЕКТУСАН

13 сентября.

Все эти дни мы с Н. Е. простояли лагерем у красносельской переправы на берегу величественной и красивой реки Тумень-ула или Туманганга по-корейски. Это пограничная на всем своем протяжении река между Кореей и Маньчжурией.

Возле нас, в нескольких саженях, каменный пограничный знак Г — точка, где сходятся границы Китая, наша и Кореи.

Эти дни мы занимались поверкой барометров, кипячением воды, астрономическими наблюдениями, исследованием реки и нивелировкой окружающей местности, в предположении дать реке более благоприятный выход в море, так как при теперешнем положении, благодаря как встречному морскому течению, так и ветрам, устье реки настолько засоряется песком, что вход и выход из нее обставлены непреодолимыми препятствиями. Весьма вероятно, что река эта прежде текла в бухту Посьета. И теперь в высокую воду один из рукавов ее, как раз в этом месте, переливается и течет по старому руслу. Работы по отводу не представляли бы серьезных препятствий. Длина такого канала, по совершенно ровной местности, мягком грунте, составила бы четыре с половиной версты (32).

Что касается астрономических работ, то ими занимается А. И. З., а В. А. Т. помогает ему. Мы же остальные

получаем, что нужно каждому из нас, в готовом уже виде.

Сегодня снимаются З., Т. и К. и мы с Н. Е. остаемся одни. Завтра и мы снимаемся.

Вокруг нас все время корейцы, ласковые, гостеприимные, хотя и готовые получить за все немного дороже. Где, в какой стране это не практикуется с такими туристами, как мы?

Я был в школе деревни Подгорской. И учитель, и ученики — корейцы. Положение учителя очень плохое. Получает он 15 рублей в месяц и, при здешней дороговизне, живет хуже крестьянина-корейца.

— Чай пьете?

Он только рассмеялся и махнул рукой.

Дети усердны и все поразительные каллиграфы. И к остальным наукам, впрочем, корейцы очень способны.

Здание школы просторное и светлое. Школа устроена в этом году.

По вечерам, когда я возвращаюсь с работы, около меня толпится много корейцев. Один из них, человек лет 35, маленький, с черными глазками, маленькими руками и ногами, прислан ко мне учителем, как человек, знающий много рассказов из корейской жизни. Он сидит на корточках и со всем жаром художника, весь увлеченный, рассказывает. По временам переводчик П. Н. останавливает его, не надеясь на свою память, передает мне, а я записываю. Все остальные корейцы сидят на корточках и серьезно, внимательно слушают. Если рассказчик сбивается, они поправляют его, и иногда поднимается горячий спор.

Так я записал уже до десяти сказок и рассказов.

Этот кореец-художник принял мое предложение и отправляется со мной по Корее: он будет помогать мне собирать те рассказы, которые удастся собрать.

Из рассказов, между прочим, выясняется несомненный факт, что русским корейцам живется гораздо лучше, чем их братьям в Корее. Они говорят, что, если бы не запрещались переселения, вся Северная Корея перешла бы в Россию, особенно с тех пор, когда приехал мировой, когда нельзя больше безнаказанно ни убивать, ни бить их. Но переход из Кореи строго запрещен, и всех таких переходящих, и корейцев и китайцев, препровождают обратно. При этом корейское начальство ограничивается

выговором и тут же отпускает их, а китайское тут же или сечет, или рубит головы. Поэтому китайцы такому обратному их водворению противятся всеми средствами, и нередко дело кончается кровопролитием, причем китайцы дерутся ожесточенно, и даже умирающие стараются ранить или подстрелить преследующих их.

Обыкновенно облавы на таких тайных переселенцев делаются в тех случаях, когда произойдет какое-нибудь убийство или грабеж и виновных не хотят выдать. Но одна угроза, что будет обыск, уже делает то, что преступников сейчас же приводят.

Так, на-днях были убиты двое русских с целью ограбления, и убийцу-китайца привели сами китайцы. Чтоб он не убежал, русские власти обрезали ему косу; этого довольно: в Китае уже за одно то, что он без косы, его ждет смерть, тогда как в России самое большое за убийство — бессрочная каторга.

На самом берегу Туманганга, у пограничного знака, стоит фанза, в которой живет наш офицер и несколько солдат.

Ничего печальнее такого одиночного существования представить нельзя себе. Офицер, молодой и симпатичный, коротает свое время за собиранием гербария и охотой. Охота здесь прекрасная, к тому же осень и перелет.

Вечером, когда потухнут огни неба, когда вся река, в перспективе наморщенных, как шкуры собирающихся броситься тигров, гор, окрашенных непередаваемым отливом заката, с водой нежно-фиолетового цвета, со спящими на ней там и сям лодочками рыбаков-корейцев, — в бледном небе раздаются то нежный гортанный крик журавлей, то резкое кряканье уток, то далекий крик гусей. А в воде миллион всевозможных рыб, и из них первая красная кета — та же лососина.

Последний вечер на русском берегу. Я слушаю рассказы о тиграх и барсах.

Тигр благороднее барса. Перед нападением он всегда показывает себя и нередко играет с врагом, как кошка с мышью. Он то прыгает, то ложится, машет хвостом и смотрит. На окрик он бросается.

Кореец пользуется этим и, приготовив себя и свое копьё, бросает тигру такой вызов:

— Принимай мое копьё!

Искусство так поставить копьё, чтоб тигр схватил его зубами, а затем,— и для этого нужна не малая сила,— надо это копьё, протиснув сквозь сжатые зубы тигра, всадить ему в горло.

Барс же всегда нападает из засады: с дерева, со скалы.

Раненый, он притворяется мертвым, а когда к нему подходит доверчивый охотник, он бросается на него.

И тот и другой боятся огня и шума, и поэтому на ночь корейцы в походах разводят костры, а при появлении тигра, если не желают с ним сразиться, поднимают шум: кричат, стучат в литавры.

14 сентября.

Шесть часов утра. День просыпается лениво. На западе синие тучи, и тонут в сизом тумане горы и даль реки. Но восток уже ясен; безмятежно искрится там река, светлая, прозрачная. Спят дальние горы в лучах, плывут плоты и корейцы на них.

Мы собираемся: складываются палатки, затюковываются вещи. С места я разбиваю мой отряд на три части: один идет прямо на город Хойрёнг, другой идет по направлению Кёнгхынга, а я отправляюсь сперва в бухту Гашкевича, к устью Туманганга (33).

К вечеру я догоню тех, что пошли на Кёнгхынг, а через три дня мы все соединимся в Хойрёнге.

Мы уже переезжаем реку.

Поднялся ветер, и тучи закрыли небо. Чувствуется уже осень — холодно.

Паром, длиной до $4\frac{1}{2}$ сажени, может поднять до 300 пудов или 17 лошадей. Спереди он узок, но расширяется и доходит до ширины $1\frac{1}{2}$ сажени.

Работают два корейца двумя веслами сзади кормы, выделявая веслом восьмерки. При полном грузе работают восемь весел.

На другой стороне реки большая песчаная отмель, ясно показывающая горизонт высоких вод (до $3\frac{1}{2}$ сажени, как оказалось по измерению).

Паром до берега не дошел, и мы вброд, ниже колен, прошли на берег. Корейцы предлагали перенести нас на своих плечах, но мы решительно отказались.

На берегу уже ждут две арбы, запряженные быком и коровой.

Запряжка с двумя оглоблями; на шее род английской шоры из веревок, в ноздре же животного кольцо, от которого веревки проходят между рогами: этими веревками и управляют. В такую двухколесную арбу — колеса сплошные — накладывают до 15 пудов и берут по 1 копейке с пуда и версты. Это ровно в десять раз дороже обычной нормы других стран.

У подъезжавших к нам корейцев мы меняем деньги. За наш рубль, или японский доллар, нам дали 500 кеш.

Кеша — медная монета, величиной между двумя и тремя копейками, с дырочкой по середине, через которую и нанизываются эти деньги на веревочку. Мы разменяли только шесть рублей и не знаем, куда деваться с этим грузом (34).

Наш проводник к бухте Гашкевича русский корейский старшина.

Просто, не соблюдая никаких формальностей, переехали мы границу Кореи, — формальностей, из-за которых нам столько пришлось возиться. Говорят, что так и дальше проедем мы всю Корею, и не спросят у нас наших паспортов.

Мы едем мимо дома какого-то пограничного чиновника, и, по совету переводчика, я послал ему свою карточку, напечатанную по-корейски: «путешественник такой-то»...

Все время у подножья травой поросших гор множество живописно разбросанных, уже без заборов, фанз.

Вот и перевал к бухте Гашкевича, и с перевала уже видны и бухта и громадное озеро...

Мы въезжаем в деревушку; это маленькая, в десять фанз, деревня в ущелье между двумя высокими холмами.

Желтой глиной вымазанные фанзы, чистенькие, выглядят уютно. Мы остановились возле одной из самых бедных и попросили гостеприимства.

Нас сейчас же пригласили. Мы оставили здесь Бибику готовить нам завтрак, а сами, Н. Е., Ким и я, поехали осматривать бухту.

Прелестное живописное место, совершенно пустынное: вода, а с запада толпа отдельных, иззубренных, зеленых гор.

Тихо, неподвижно. Мы стоим на одной из командующих высот, Янди, служивших еще недавно для сигнальных огней. Такими огнями Сеул извещался о грозящей опасности (35).

Янди — значит последняя станция.

В груде камней, на которых разводился сигнальный огонь, множество змей. Мы убили две разновидности этих змей.

Местные жители одну из них, в три четверти аршина длиной, черную, с немного коричневыми шашками, называли корейской змеей, а другую такой же длины, серую — китайской. Обе они ядовиты и смертельны. Но корейская кусается редко.

Невдалеке навалена еще одна груда мелких камней. Это молельня. Как заболит ребенок, мать с шаманом идут сюда с рисом, заколотой свиньей и молятся небу.

На обратном пути я узнал разные выражения вежливости по-корейски.

Проезжая мимо фанзы, вежливость требует слезть с лошади или, по крайней мере, выпустить стремяна.

При встрече с женщиной соблюдается такая же вежливость. При встрече двух равных по положению, надо слезть с лошадей обоим и расprostереться на земле.

Возвращаясь в деревню, мы выпустили стремяна. У нашей фанзы ждет нас гостеприимный хозяин; мы входим в две чистенькие маленькие комнатки, вымазанные глиной, устланные циновкой. Квадратная сажень в ширину, меньше сажени в высоту, без окон, с одной выходной дверью, она же и окно.

При входе надо снимать обувь, но нас извиняют.

Мы пьем чай, угощаем хозяина. Затем я сажусь записывать. Немного погодя П. Н., наш переводчик, кричит откуда-то меня. Я иду к нему. Он стоит у оригинального памятника с оригинальной китайской крышей из черепицы.

Памятник со всех сторон огорожен, и можно пролезть к нему только ползком. Может быть, этот способ каждого заставит поклониться герою, которому этот памятник водружен.

Там внутри, на гранитном основании, стоит темная мраморная доска, вышиною в рост человека, шириной в аршин и в полтора аршина толщиной. Китайскими буквами описаны все события, послужившие поводом к постройке этого памятника.

Написано громадными буквами: Син-ген-те, что значит: одолел на этом месте.

Памятник этот поставлен богатырю Ким-кору.

Начальник заставы был тогда Ди-сун-син. Происходило это 400 лет тому назад. Род Ким-кора и теперь еще существует в Сеуле и занимает высокие должности.

Сам Ким-кор, уроженец этой деревни, был богатырь и перебил несметное количество хунхузов на этом самом месте, когда они напали на заставу.

Рассказывавшие старались фигуре своей придать соответствующий воинственный вид, но они оставались такими добродушными, что я едва сдерживал улыбку при желании представить себе, как они стали бы драться.

Памятник содержится в большом порядке, и деревня не жалеет для того денег.

По возвращении, когда мы уселись во дворе фанзы, вошел высокий, лет 55-ти кореец, с приятным и открытым лицом. За плечами его был крупный прекрасный винчестер на 12 зарядов. Он весело поздоровался и спокойно, смело пошел к углу двора, где сложил свое ружье и сумки.

Это знаменитый охотник здешних мест, Шин-пуги. Его знают и на русской стороне, и зовут его Самсоном.

Собственно, он житель Красного Села, но охотится в Корее, так как в России охота на изюбров запрещена.

Он убил на своем веку: 9 тигров, 21 медведя, 7 изюбров и без счета барсов и козуль.

К сожалению, охотник не разговорчив и, на все расспросы об охоте, отвечал так лаконично, что не передал ничего такого, где бы почувствовался тигр и барс.

Впрочем, на один из вопросов он удовлетворил нас. Вопрос: был ли он в лапах тигра или медведя?

Он молча показал на свое разорванное ухо и синий шрам через весь лоб.

— Ну и что же?

— Все-таки убил.

Затем он встал и ушел.

В октябре, когда выпадет снег, он пойдет за тиграми и город Тангон. Вокруг этого города много тигров. Он будет их выслеживать и убивать. Там еще не знают таких, как у него, ружей. Там охотятся или с копьем, или с ружьем, которое зажигается фитилем.

Во дворе, где мы завтракали, множество детей. Их лица широки, смуглы, в щелках едва видны глаза. Иные

совсем голые. Большинство личиков грустное, задумчивое. Я роздал им бывший со мной сахар, печенье: взяли и едят.

Я насчитал их 15. Это дети двух семейств.

— Все корейцы так многодетны?

— Бывает и 10 и 15 — много детей.

Закончив свои работы в бухте, в пять часов мы тронулись в обратный путь: назад до Красносельской переправы и далее вперед по направлению к Кёнгхынгу, с ночевкой в деревне Коубе.

На озере такая масса дичи — уток, нырков, гусей, куликов, — какой я никогда не видал — озеро буквально усыпано ими.

Это один из тех уголков мира, где никто эту птицу не тревожит.

Одна-две маленькие деревушки, и все остальное необъятное пространство голо и пусто, и привольно здесь и птице и зверю.

Там, по горам, обильным травой, пасутся стадами дикие бараны, олени, изюбры, а вслед за ними ходят и спутники их — тигры, барсы, волки и медведи.

С нами едут местные корейцы, и мы говорим обо всем.

Корейцы недовольны своей династией. Они упрекают ее за эгоизм, за готовность пожертвовать всем, родиной, лишь бы им было хорошо... Наследник совершенно выросший человек, которому даже и жена его не нужна (36).

Большие надежды возлагаются на незаконного сына корейского короля, который воспитывается в Японии. Ему теперь 22 года. Это очень умный и образованный человек. Он «знает и все иностранные грамоты, знает и нашу, и мужскую и женскую».

Мужская — китайские письмены, женская — корейские, упрощенные для простого народа (37).

Женскую грамоту знает половина корейцев, остальные неграмотны.

Мы говорим о земельных отношениях. Земля здесь свободна. Ее занимает тот, кто купит ее. Продается только удобная земля (38). Мерою земли служит кари — 800 квадратных сажень. Наша десятина стоит здесь до 250 лан. Лана — 20 копеек, следовательно на наши деньги десятина стоит 50 рублей.

Это цена в здешней провинции Сев. Хамгёнгдо; в южных цена значительно выше. Валовой доход с десятины 100 лан — 20 рублей. Сеют ячмень, овес, чумизу, бобы, буду, яр-буду, гречиху, коноплю. Поле почти никогда не отдыхает; вместо отдыха сеют бобы как растение, восстанавливающее плодородие почвы.

Культура однорядная, с глубокими, вершка в два ровиками. Это требуется для защиты от выпадающей здесь влаги (39).

Сеют в половине апреля, а теперь, в половине сентября, разгар уборки.

Крупных владельцев нет — 2—3 десятины. Случаи продажи участков очень редки.

Дорога тянется болотистой долиной Туманганга. Иногда дорога взбирается на утес в несколько десятков сажен — отвратительная, узкая, где двум верховым лошадям трудно разойтись, и такая крутая в подъемах, что трудно сидеть на седле.

Отъехав верст десять, мы прощаемся с гостеприимными корейцами; уезжает старшина, и мы остаемся одни.

Темнеет, кругом горы, а выше их тучи нависли, и розовым светом освещает их снизу солнце, уже севшее за горы.

В просвете сумерек видны корейцы, усердно работающие на своих полях.

Надо ехать скорее, чтобы не захватила в незнакомой дороге ночь.

И я пускаю своего иноходца — тип вятской буланой лошади, довольно крупной для здешних мест.

Я слышу за собой топот, и поэтому, не оглядываясь, еду верст десять. Но, оглянувшись наконец, я вижу только переводчика П. Н. Что до Н. Е. и Бирика, то их и не видно и не слышно.

Покричали, посвистали и поехали назад к ним. Проехали верст пять — раздорожье. Не уехали ли влево, взяв в горы? Спросить некого. Проехали влево. Ехали — новое раздорожье. Куда они повернули здесь? Сворачиваем вправо. Еще раздорожье, еще и еще.

Совсем стемнело, и тучи закрывают луну. Округа разошлась и в обманчивом сумраке представляется какой-то беспредельной бездной. В эту бездну провалились наши два спутника, без какого бы то ни было знания

языка, не зная ни одного названия, не зная даже, куда едут они и где назначена ночевка, два беспечных русских человека, которые, покачиваясь в своих седлах, едут себе теперь где-нибудь, ни о чем не думая.

Мы скачем дальше и дальше в эту неведомую таинственную глубь неведомой нам страны, стреляем, свистим, кричим.

Не знаю, сколько времени так прошло, но когда мы уже потеряли было всякую надежду, вдруг откуда-то из мрака долетает до нас едва слышный свист условного свистка.

Мы облегченно вздохнули и начали еще отчаяннее свистать: я в свою сирену, П. Н. в обыкновенный полицейский свисток.

То мы слышали их, то опять теряли из виду. Свист раздавался то справа, то слева, то прямо перед нами и там где-то в горах, которые впотьмах кажутся небесными.

Мы наткнулись наконец на какую-то деревню и решили не двигаться дальше и свистеть.

Корейцы в деревне проснулись, выскочили, и между ними и П. Н. завязался энергичный разговор. Слышен смех, выражение удовольствия.

Наконец подъехали наши беспечные путники.

— Мы думали, что едем правильно.

— Прекрасно, продолжайте так и вперед: мы кончим тем, что и не сыщем друг друга.

Как из этих трущоб попасть на ночлег в Коубе? Один из корейцев предлагает проводить. Во всей деревне ни одной лошади нет. Он садится верхом на быка, едет впереди, мы за ним. Здесь много тигров, барсов — надо разговаривать, кричать, свистать.

Мы, русские, окончательно отказываемся, потому что по русскому легкомыслию плохо верим в этих тигров и барсов. Но кореец и П. Н. верят и потому всю дорогу громко, до крика разговаривают, и П. Н. то и дело свистит. Иногда П. Н. переводит мне, что говорит ему кореец. Их деревня называется Сорбой, что значит сосна. Прежде был здесь прекрасный сосновый лес. Таким образом оголение гор, может быть, не есть естественное явление. По крайней мере, судя по отдельным экземплярам деревьев, мощных и больших, получается впечатление, что лес здесь мог бы произрастать.

Мы приехали в Коубе под проливным дождем. Коубе — старый город. Прежняя его роль была та, которую теперь исполняет Кёнгхынг. Потом он был заставой, а теперь просто деревня, в которой сто фанз.

Фанза, в которой мы, отличается тем, что вся она, видимо, из одной комнаты, потому что, вместо перегородок, все двери.

Я вижу, как окруженная детьми, полуобнаженная корейка чешется, а дальше выглядывает красивая голова степенного быка.

Я спрашиваю, как пасут здесь скот? Каждый отдельно, на привязи. В деревне около ста голов рогатого скота, лошадей 50, свиней до 200.

Иван Афанасьевич, наш передовой отряд, уже снялся и ушел.

Я кончаю свою запись и тоже снимаюсь.

Детям раздаю сахар, с хозяевами расплачиваюсь: за дрова 15 копеек, за сено для 13 лошадей 20 копеек, за курицу 20 копеек. За ночлег 13 лошадей и нас, десяти человек, я даю японский доллар.

Хозяин очень доволен. Он возвращает мне связкой кеш половину. Я прошу взять остальное для его детей. Он обращается к остальным сородичам; они совещаются и изъявляют согласие. Хозяйка из другой комнаты довольно улыбается.

Кстати о деньгах. Пока берут и русские и японские серебряные доллары: за них, как и за наш рубль, дают пятьсот кеш, хотя курс русского 480, а японского 475 кеш. Мексиканских долларов, которых мы набрали кучу и о которых нам говорили как о ходячей монете, пока совсем не берут.

15 сентября.

От Коубе до города Кёнгхынг 30 ли, что должно соответствовать нашим 15 верстам. Но и шагомером и по часам мы определили только 10 верст.

Дорога в высшей степени живописна. Все время она идет открытой долиной Туманганга. Усеянная песчаными отмелями, сверкает широкая, к судоходству негодная, до 200 сажен, река. Справа и слева ее горы то налегают, то далеко расходятся. Левый китайский берег в горах, амфитеатром расположенных. Последние ряды гор там вверху, в самом небе, сливаются уже с



Река Туманганг



Корейские женщины на берегу Туманганга

облаками. Безмятежный мир и покой в них. Осень наложила на них свою печать. Они забурели и отливают желтым; бурым, темнокрасным цветами. Так переливают на солнце дорогие персидские ковры. Яркое солнце играет в коврах гор, в реке.

На спокойной глади реки рыболовы, то в лодках, маленьких, вырубленных из одного дерева, то в креслах. Этих кресел — род плетеного сиденья — множество. Они устраиваются один от другого сажень в двадцати. На каждом из них сидит по корейцу и в известные моменты, когда рыба попадает в сеть, корейцы особыми приспособлениями подвигивают сеть вверх и таким образом заграждают рыбе выход.

Рыбы, говорят, много, и преобладающая все та же кета. Промысел должен быть выгодный, но рыбаки живут бедно, перебиваясь изо дня в день. Может быть, причиной тому корейская водка тходжю или сцури (русские выговаривают суля), может быть, причиной тому дуччи — игра в бобы, но факт несомненный, что прибыльный промысел дает работнику мало выгоды.

Встретили опять прокаженного. Проводник говорит, что их здесь много, и живут они на свободе, каждый в своей семье.

Проехали деревни: Тяншхай — 4 фанзы, Камичи — 20 фанз, два раза поднялись на прибрежные утесы и, обогнув последнюю гору, увидели наконец город Кёнгхын (Кегенфу).

Зажатый в углы долины, слегка на косогоре, окруженный каменной стеной, высотой сажени в полторы и в аршин шириною, город Кёнг состоит из 140 фанз, и все они вымазаны желтой глиной, все крыты мелким камышом и веревочной сеткой, у каждой фанзы своя отдельная труба торчит. И только в середине города выделяется длинное, род казармы, строение начальника округа и пограничного комиссара — камни. В городских стенах четверо ворот, как во всех городах Кореи: на север, юг, восток и запад (40).

Камни — главное административное лицо округа, с большими правами. Он утверждает старосту в деревне (пху-эни) и представителя дворян, живущего в городе — цвашу. И та и другая должности считаются очень почетными. Владельцам их принадлежат на пиру самые почетные части свиньи — копыта и ребра. За эти места

богатый кореец много платит утверждающему его камни.

Мы остановились в ближайшей фанзе, где уже стоит высланный нами вперед транспорт. Оказывается, что мы совсем налегке. Все наши консервы — супы, щи, мясо в разных видах — все это ушло в Хойрёнг, а капуста, хлеб, картофель, молоко и взятые с собой консервы и масло уже вышли. И так как ничего этого в Корее нет, то мы сразу очутились на три дня, до Хойрёнга, в отношении питания в условиях страны.

К нашим услугам: просяная каша, кукуруза, курица и яйца. И, собственно говоря, этого вполне достаточно, если к этому есть чай и сахар. Все остальное — излишняя и крайне дорогая роскошь, осложняющая, замедляющая и удорожающая экспедицию.

Так, мой отряд состоит из меня и восьми человек: но, сверх восьми лошадей, идет еще пять своих вьючных, две вьючных наемных, три арбы с быками — все это багаж и провиант. Сверх этого отправлены для всех партий провианты еще в два пункта Кореи.

Откровенно говоря, все это лишнее. Если путешествовать, то надо и вполне можно доверяться средствам страны и способу ее питания. Можно есть кур, свиней, можно наконец охотиться и иметь к столу и дичь и рыбу. Одни эти ужасные сборы с багажом, благодаря которым раньше восьми часов никогда не выедешь и не сделаешь в день больше тридцати верст.

Если бы не вершина Чанбайшаня — Пектусан, — на 200 верст совершенно необитаемая, исследовать которую мне надо, я бы уже бросил всё. Но как только покончу с Чанбайшанем и его таинственным Драконовым озером, я распускаю весь обоз и не беру больше никаких припасов.

Только что мы расположились на отдых, явился полицейский от камни, с просьбой показать наши паспорта. При этом полицейский, одетый, как и все остальные корейцы, настаивал, чтобы я сам шел к камни. Итти к камни — значит нести ему подарки. Я от всяких подарков решительно отказался, не взял ни одного из экспедиционных и только на свой счет купил несколько безделушек, чтобы дарить тем, кто лично мне окажет услугу. Начальства я решил не унижать и подарков им никаких не делать.

Кончили тем, что идет Н. Е. и переводчик, а я сажусь работать. Я посылаю свои карточки по-корейски и китайски, извиняясь, что обоз увез мое визитное платье.

Через полчаса Н. Е. возвратился.

Камни, маленького роста человек, принял его в фанзе, такой же, как и наша, посадил на стул, сожалел, что мы не остаемся ночевать, извинялся за помещение, сказал, что он был в Лондоне, и прислал мне свою карточку: «Кёнгский камни Пак-ы-пен».

Это знаменитый род, который 500 лет тому назад боролся с родом Ли за престол. Оба эти рода из Кёнгского округа. Ли из деревни Сорбой, Пак из деревни Намбой. Эти деревни друг от друга в трех верстах и в 17 верстах на запад от Кёнгхынга. В каждой из них памятники богатырям Ли и Паку, такие же, какой описан мной в деревне Косани, в бухте Гашкевича.

Род нашего переводчика П. Н. тоже из Кёнгского округа. И он рассказал нам историю своего рода. Собственно, род его из старого города Коубе, где мы сегодня ночевали. Дед его был очень богатый человек. Но однажды дед его по торговым делам переплыл Туманганг, т. е. перешел границу. Об этом узнали, и он был приговорен к смертной казни. Тогда он бежал. Сына его высекли и потребовали, чтобы он разыскал отца, угрожая и ему, в противном случае, смертной казнью. Тогда и сын с семьей однажды ночью вплавь и вброд, все голые, перешли границу. Имущество их конфисковали. В их доме жил камни, но с упразднением его развалился и дом.

Остальной род П. Н. Кима продолжает жить в Корее, главным образом в Кёнгском округе, и так как родовые связи очень сильны в Корее, то и встречаю его здесь как близкого родственника.

Родовые отношения и родовая месть (еман-аман) во всей силе в Корее. Корейская пословица говорит, что жизнь одного корейца стоит иногда тысячи человек. Эта месть идет из рода в род.

П. Н., возвратившись от камня, сообщил, между прочим, следующее: он, П. Н., попросил у камня толкового проводника, который умел бы все рассказать. Камни обещал и назначил такого, который хорошо понимает по-русски. Затем проводнику строжайше запрещено было говорить что-нибудь действительное; он должен был все

нам врать, не сообщать ничего из прошлого, не передавать легенд и прочее.

Но хуже всего было то, что проводнику были даны инструкции и дальнейшее наше путешествие обставить такими же проводниками. Родные П. Н. и сообщили ему обо всем этом.

П. Н. сердится.

— Ну, я ему и отомщу же! — говорит он.

Мы хотели осмотреть тюрьму, побывать у шамана, но все это под вежливыми предложениями было отклонено находившимся здесь полицейским. Покормив еще два часа лошадей, мы отправились дальше, по направлению к Хойрёнгу. Новый проводник наш одет по-европейски: в клетчатом желтом пиджаке, металлические пуговицы, шляпа котелком, но ноги обуты по-корейски, т. е. в белые, мягкие на легкой вате чулки и туфли, которые кореец снимает при входе в комнату. Это высокий худой субъект, который весело щурится на нас и о чем-то болтает с товарищем.

— Вы говорите по-русски? — спросил я его.

Он отрицательно замотал головой.

Сели на лошадей и поехали какой-то невозможной грязной тропой в гору, на юг от города, вдоль городской стены. В глубоком овраге бежит ключ. Слабой силой его корейцы пользуются очень остроумно, устраивая толчею для обдирки проса. По лотку бежит вода в деревянную, в три четверти аршина ложку. Когда ложка наполняется водой, она, перевешивая свой длинный конец, опускается и выливает воду. Затем ложка опять поднимается, а другой ее конец опускается. К нему приделан идущий к земле стержень. Когда стержень опускается, он ударяет сосуд, наполненный просом. От каждого удара часть шелухи отделяется и уносится в сторону. Таких толчей на небольшом протяжении до десяти. Они работают механически — никого возле них нет, и хотя незначительна сила ручья, но она таким образом вся использована. Чтобы дождь не мочил зерно, над толчеей устроен навесик.

У восточных ворот устроена часовня, где два раза в год камни производит официальное богослужение. Он молится небу: перед ним ставятся три чашки рису, а вместо ладана служит ароматное дерево.

Сведения эти нам сообщает сам переводчик, что касается до проводника, то он попрежнему молчит.

Проехали верст пять, и П. Н. приводит в исполнение свою месть.

— Что у вас нового? — спрашивает он у проводника.

— Нового у нас только и есть, что собака родила кошку.

— А по-русски вы не умеете говорить?

— Не умею.

Н. Е. смеется и говорит:

— Я же слышал как вы говорили.

Проводник смущен и молчит.

— Ну, — говорит П. Н., — поезжайте назад и передайте камни, что у нас в России еще большее чудо есть: там блоха тигра родила. Вот вам сто кеш (20 копеек) — мы одни дальше поедem.

Проводник совершенно растерялся, он поехал было назад, но потом опять поехал за нами. Мы остановились и предложили ему уезжать.

— Я боюсь ехать один назад.

Так как вблизи были деревня Даури, то мы ему и предложили ехать туда и там ночевать, дав ему еще сто кеш. Он так и сделал, а мы поехали дальше.

Дорога поднимается на утес, и мы в последний раз любимся долиной Туманганга, затем дорога сворачивает в долину речки Камуры, притоки Туманганга, и на два дня с Тумангангом мы расстаемся, обходя прямой дорогой луку, которую он здесь делает.

Мы присели на утесе и смотрим на панораму гор. Солнце близко к горизонту, ярче даль дорогих, золотой пылью заката осыпанных ковров, и точно замер в воздухе последний вздох ясного безмятежного дня. Тихо кругом, природа, закат и даль гор, как нежная музыка, навевают покой душе. Как будто уже был когда-то в этих горных теснинах, видел эту даль и краски ее и снова переживаешь прелесть былых ощущений.

Подсели к нам корейцы из деревни Даури. Мы их расспрашиваем. Они говорят нам, что там вон, к югу виден уже Хойрёнгский округ; вон, вон за той горкой. А вон за той и озеро Хан-шон-дзедуту, где жил родоначальник маньчжурской династии в Китае (41).

— Но ведь гробницы китайских императоров в Мукдене.

— Гробницы там, а род отсюда; и китайцы живут за счет корейского счастья. Вот как было дело.

И пожилой кореец, в белой кофточке и черной волосяной, с большими полями и узким доньшком шляпке, сидя на корточках и раскуривая свою маленькую на длинном чубуке трубочку, рассказывал нам новую легенду.

Несколько корейцев, также присев, внимательно слушают. Иногда поправляют, иногда сам рассказчик советуется с ними. Прост рассказ, трогательно наивна вера в него.

Так же верят, что это было, как то, что сидим мы теперь на высоком утесе, что у ног наших как расплавленный в огнях заката Туманганг, а кругом горы, беспредельная даль их, и там дальше, куда идти нам, они все выше и выше, пока молочными очертаниями не сливаются с небом. А на горах ковры с фиолетово-золотым отливом, а там внизу в долинах уже тень, и прячутся в ней уютные фанзы мирных корейцев. И все тихо, неподвижно, и только изредка в засыпающем воздухе раздается вдруг мычанье громадного корейского быка.

И кажется минутами наше пребывание здесь каким-то сном, очарованием, в котором мы все вдруг перенеслись в неведомую глубь промчавшихся тысячелетий.

Или вдруг вошли под какие-то своды и увидели иные горизонты, иную жизнь, память о которой даже исчезла. Взрослые, как дети, весь досуг свой отдают сказкам, верят в них, возбуждая зависть к этой своей непоколебимой вере, верят в богатырей, в покойников; верят в возможность найти счастливую могилу и всю жизнь ищут ее. Тигр, барс, тысяченожка последняя — все это те же превращенные люди. Фетишизм на сцене: луч горы, луч Большой Медведицы, оплодотворяющий женщин.

Догорели огни заката, и в неясном просвете надвигающегося вечера исчезают волшебные очертания этого замка природы — из гор, неба, дали, дорогих ковров осени.

Сладко зевают рассказчики, предвкушая близкий безмятежный сон.

— Корейцы любят деньги? — спрашиваю я.

— Жили три брата на свете и захотели они нарыть жень-шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли они корень ценой в сто тысяч кеш. Тогда два брата сказали: «Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю». Так и сделали они. А потом каждый из оставшихся в живых стал думать, как бы ему убить

своего другого брата. Вот подошли они к селу. «Пойди,— сказал один брат другому,— купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя». А когда брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему его брату, тот сказал: «Если я теперь убью своего брата, мне останется и вся суля и весь корень». Он так и сделал: брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому что его хотел убитый отравить брата. И все трое они умерли, а дорогой корень жень-шень сгнил. С тех пор корейцы не ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев.

16 сентября.

Накрапывает дождь, обозы ушли, я работаю у двери или окна фанзы. Прямо от нее идет кукурузное поле. Немного дальше выглядывает темнокрасная, камышеобразная яр-буда (просо, из которого корейцы пекут свой хлеб), еще дальше такой же камышеобразный высокий гаолян. А подъезжая, мы попали в болотистое рисовое поле, хотя здесь для риса собственно слишком еще холодно и урожай его бывает очень плохи.

Я сижу, и ветер сырой, пропитанный запахом травы, гладит мне лицо. Перед фанзой наши лошади мирно жуют кукурузу. Немного в стороне Бирик, высокий хохол, солдат, для нас варит эту кукурузу и в золе жарит дикого гуся. Прямо перед дверью навесик, и под ним сидит привязанный за ногу коршун.

Хозяин фанзы с этим коршуном ходил на фазанов. Но теперь коршун меняет перья и для охоты не годится. Время его охоты с октября по апрель. В помощь ему берется собака лайка — она делает стойку, отыскивает потом коршуна с его добычей, которую он, не теряя времени, клюет.

Хозяин нашей фанзы — староста здешней деревни. Это очень почтенный старик, мягкий, с пробивающейся седinou в редкой бородке. Он сам будет провожать нас, но извиняется, что не может раньше часу, так как у него суд.

Суд над беглой женой. Муж бил ее, и она убежала. Ее поймали где-то далеко и привели назад. Теперь ее будут судить.

Нельзя ли посмотреть? Нет, нельзя. После долгих переговоров, мы улаживаемся так. Староста уйдет судить,

а немного погодя я с П. Н. пойдем к той фанзе, где он судит, и скажем ему, что у нас к нему есть дело. Он извинится, что занят, и попросит нас подождать здесь же, в фанзе.

Так мы и сделали. Сперва отправились гулять. Улиц никаких, кривые тропинки из фанзы в фанзу, и каждая из них род дачи.

Подошли к строящейся фанзе.

Поставлен только деревянный корпус из рам полуторавершкового леса. Затем эти рамы заплетут тонким ивняком и смажут глиной с соломой. На крышку кладут плетни из конопли. С внутренней стороны крышу, служащую потолком, смазывают глиной. С наружной же стороны поверх плетня кладут овсяную солому. Ее опять смазывают глиной и сверху кладут мелкий камыш, который и покрывают веревочной сеткой.

Посреди фанзы, ниже пола, устраиваются печные боровы; они идут под всей фанзой, а затем выходят наружу, в высокую деревянную трубу, отстоящую от строения аршина на два.

Осмотрев постройку, мы пошли к фанзе, где происходил суд. Но мы пришли слишком рано. Привели только женщину, муж же ее еще не пришел.

Нас пригласили внутрь фанзы. Там уже сидели восемь судей и девятый староста — все старики деревни. В другой комнате сидела обвиняемая, на вид уже старуха — маленькая, уродливая, с выражением лица, напоминающим заклеванную птицу.

Мы вошли, извинились, что не можем снять сапоги, и сели у стены, как и другие, на корточки.

Один из корейцев предложил мне мешок для сиденья. Я снял было шляпу, но П. Н. объяснил мне, что надо надеть ее.

Лица корейцев смуглые, широкие, с редкими бородами, выглядят ласково и добродушно. Есть и некрасивые, но есть и очень правильные, напоминающие итальянские лица. Они стройны, высоки. Я назвал бы их даже изящными. Мы посидели немного, встали, поблагодарили и ушли.

Хозяин расскажет нам в дороге о самом суде.

В нашей фанзе мы застали старого китайца, разносчика-торговца. У него два желтых полированных ящика. В этих ящиках товары. Открыл один, и мы увидели

тесмы, бусы, деревянные гребешки, мундштуки, японские спички. В другом бумажные материи, наши русские — кумач, коленкор, корейская бязь, очень недурное пике, из которого шьют себе зажиточные люди платье.

— Всѣ? — спрашиваю я у китайца, осмотрев весь его несложный товар, вплоть до яиц, на которые корейцы выменивают у него товары.

— Самого главного он вам не показал — сказал П. Н., — китайскую водку, ханшина, как называют ее русские, или холжо, как говорят китайцы, или тану-сцур по-корейски. Этой водкой он больше всего торгует. В Корее продажа водки разрешена беспрепятственно и не обложена акцизом.

Я попробовал этой водки — очень сильный сивушный запах, горьковатый вкус.

— Она очень крепкая, — говорит П. Н., — если зажечь спичкой, будет гореть.

Я зажигаю, но спичка тухнет, и водка не хочет гореть.

— Воды много налил.

Китаец улыбается.

— Это дешевая водка, — говорит он.

Возвратился староста с суда. Мы застали его сидящим, по обыкновению, на корточках со своей трубкой, задумчивого и грустного.

Суд кончился. Та старуха, которую мы приняли за обвиняемую, была просто из любопытных. Обвиняемая была женщина 16 лет. Ее поймали в этой деревне и дали знать мужу. Когда муж приехал, устроили суд.

Мужу 20 лет.

Его приговорили к 10 ударам розог, которые он тут же и получил. Одни держали за ноги, другие за голову, а помощник старосты отсчитывал удары. С десяти ударов они сняли ему несколько полос кожи.

Староста, когда били, спрашивал:

— А что, больно?

И тот благим матом кричал: — Больно!

— Ну, в другой раз не теряй жену и не беспокой соседей твоими делами.

Староста очень жалел, что мы не досидели до конца и не были свидетелями наказания, так как чем больше свидетелей, тем это назидательнее выходит.

— А жене ничего?

— Это дело ее мужа.

И она присутствовала при наказании?

— Да. Затем они уехали оба к себе домой. Он не мог сидеть и лежал в арбе, а она правила.

— Но если она убежит?

— Тогда еще больше накажем: не убежит.

Дождь опять. Мы едем узкой долиной, тучи легли на горы и все ниже и ниже опускаются прямо на нас.

Это уж и не дождь, а что-то мокрое, и вода бежит с наших дождевых плащей. Плащи корейцев из концов конопля, искусно связанных концами вниз. Они похожи в них на колючих дикобразов.

Все выше и выше долина, все уже и уже, все каменистее почва. Груды камней лежат в кучах — это камень с полей, а на полях его еще больше, и все наши плуги изломались бы здесь.

А вот и перевал Капхаррэнг, на высоте 70 сажен. Дорога почти отвесно лезет в гору. Вечереет, совсем темнеет, и проводник наш наконец заявляет, что дальше не пойдет, так как его лошадь чует «его».

— Кого «его»?

— Не к ночи сказать — тигра. Здесь никто никогда не ездит ночью, и днем ездят только партиями.

Мы почти силой увлекаем проводника.

— В таком случае, дайте мне хоть помолиться.

С каким усердием он молился перед кумирней! Он совсем влез в нее и кланяется, кланяется.

Мы едем дальше и, после двухчасовой переправы, спускаемся благополучно в глубокую долину.

17 сентября.

Я сижу в фанзе Ким-хи-бой деревни Баргаири. У самой фанзы несется теперь разлившаяся в большую река Пансани-ханури.

Мы у подножья перевала Капхаррэнг.

Мелкий дождь и туман закрывают ущелье.

Ущелье, которому позавидует и любое кавказское. Вода гулко шумит, и под ее гул я слушаю прекрасные рассказы здешних горцев. Доверчиво они сидят на корточках — человек десять — и внимательно, серьезно объясняют моему переводчику.

Очень сложный вопрос мы обсуждаем. Вопрос их религии. Будда, Конфуций, шаман, обожание гор — все

это смешалось и составило религию простого человека в Корее.

Миллион вопросов с моей стороны, прямых, перекрестных — и полдня ушло, пока получилось нечто связное, передаваемое бумаге.

Здесь же проводник из Ауди, почтенный старик Ким-ти-буан. Здесь и житель южной Кореи, Ан-кугуни из провинции Пхёнгандо. И когда все они кивают головами, осторожный и пунктуальный П. Н. Ким переводит мне. Многое он и сам знает, но не доверяет себе и, по моей усиленной просьбе, по несколько раз переспрашивает.

Вот сущность и результат всех вопросов.

У человека три души. Одна после смерти идет на небо (ханыр); ее несут три ангела (бывшие души праведных) в прекрасный сад (син-тён). Начальник сада, Оконшанте, спрашивает ее, как жила она на земле, и, в зависимости от греховности или чистоты этой жизни, числосердечности передачи всех грехов «определяет: или возвратиться ей обратно на землю в оставленное тело, или оставаться в прекрасном саду, или переселиться в тигра, собаку, лошадь, осла, свинью, змею.

Есть души, обреченные на вечное переселение: это убийцы и разрушители династий.

Вторая душа остается при теле и идет с ним в землю (ее несут тоже три ангела), в ад, к начальнику ада, Тибуану.

Третья душа остается в воздухе, близ своего жилья — ее несет один ангел.

О первой душе забота живущих заключается в том, чтобы дожидаться распоряжения начальника сада, на случай, если он возвратит душу назад в тело.

Это может случиться через три дня, пять, семь — всегда в нечетные дни.

Шаман, или вешун, или предсказатель — тоин, или просто составитель календаря счастливых дней и празднеств саат-гуан в точности называют этот день похорон. У богатых не хоронят иногда до трех месяцев. Тогда тело кладут в парадную комнату фанзы, кладут туда же и пищу и замуровывают эту комнату. Вообще торопиться с похоронами не следует — это неприлично, это неуважение к памяти усопшего.

Заботы о второй душе — душе тела — заключаются в том, чтобы выбрать телу счастливую гору. Корейские горы

представляют собою множество отдельных вершин и холмов. Все эти холмы и вершины утилизируются для кладбищ. Найти счастливое место — большой труд. По нескольку раз приходится вырывать тело и переносить его на новое место.

Вчера, в дождь и в непогоду, мы встретили по дороге таких мучеников, несших уже сгнившее тело. На двух жердях они несли тело, обернутое в корейскую, маслом пропитанную бумагу. От трупа невыносимо разило.

— Почему вы несете его на новое место?

— В нашем доме заболел ребенок, и шаман приказал перенести тело его деда, умершего шесть месяцев назад, на другое, более счастливое место. А сегодня именно тот счастливый день, когда назначен перенос.

Счастливая гора, выбранная для покойника, дает все — счастье, удачу, служебную карьеру. Он богат, потому что выбрал удачную гору отцу, он министр по той же причине.

Есть святыне горы. Кто умеет найти их для своих предков, в роду того когда-нибудь будет богатырь.

Забота о третьей душе * никогда не прекращается: то ее надо покормить, и шаман назначает зарезать свинью, сварить рису и нести на гору, где стоят молельни — кучи камня под навесом, то тот или другой предок обиделся, и опять надо его умиловать той же свиньей (чушкой) и вареным рисом. Вообще эти души воздуха — беспокойный народ, и возни корейцу с ними выше головы. Блудливые в жизни, они остаются такими же и после смерти, являясь таким образом точным снимком с того, кто жил когда-то.

Над жизнью и смертью распоряжается идол ада, Тибуан. По своим спискам он вызывает с земли через свою администрацию очередных. Но оказывается, что и там возможны подтасовки. Так, однажды умер некто Пак из Мёнгчхена. Внук этого Пака, умерший значительно раньше и успевший попасть в администрацию Тибуана, сейчас же узнал деда, но, не показав и вида, сказал Тибуану:

— Вот произошла ошибка: мы требовали Пака из Тангчхёна, а пришел из Мёнгчхена.

— Исправить ошибку, — сказал Тибуан.

* У китайцев тоже есть нечто подобное: душа дыхания.

Таким образом Пак из Мёнгчхена возвратился в свое тело и потом рассказывал, при каких обстоятельствах увиделся он со своим внуком.

Дождь все идет, вся фанза протекает. Платье, промокшее вчера в дороге, промокло за ночь еще сильнее, спички отсырели.

— Давно в этой фанзе был покойник?

— Два года назад. Только что сняли траур.

— Будут его еще переносить?

— Будут.

— Сколько времени его держали в фанзе?

— 17 дней.

— В какой комнате?

Показывают, где стоит моя кровать.

— От какой болезни умер?

— От оспы.

— Может быть, от черной?

Долгие переговоры.

— Они не знают,— говорит П. Н.

— А что он спросил вдруг о наших покойниках? — встревожились робкие корейцы.— Может быть, они ему снились? А если снились, то что говорили?

Но я поспешил успокоить их и объяснить, что заговорил о покойниках только потому, что вообще зашел разговор о загробной жизни.

Затем, так как все было готово к отъезду, мы простились с ними, поблагодарили и уехали.

Река бушует и рвется. Коротенькие волны, с белыми гребешками, с стремительной быстротой мчатся, догоняя друг друга.

Туман и тучи рассеялись, видно голубое небо, собирается солнце выбраться из последних туч. А кругом теснятся горы, поросшие мелким лесом.

Говорят, прежде когда-то здесь рос большой высокий лес. Историю его исчезновения можно наблюдать и сейчас. По скату гор там и сям уже идет распахка. В других местах к ней готовят только поля, выжигая кустарник. Такие распахки замечал я здесь на очень крутых склонах шириною не более двойного откоса. Выше этих распахек места только для коз да их спутников — барсов и тигров.

Проехав версты две, мы начали переправляться на другой берег. Бытовая картинка. Завтра у корейцев годо-

вой праздник в честь урожая. Сегодня они поминают родных и готовят мясо для завтрашнего дня.

Большие группы, человек в 30 корейцев, на этой и на той стороне. Многие из них до пояса голые, и их бронзовые тела сильны и мускулисты. Они все сидят вокруг разрезанных кусков свежего мяса.

Началась очень неудачная переправа: у Н. Е. лошадь вдруг легла или споткнулась посреди реки. Вследствие этого они оба на мгновение скрылись с глаз. Затем сейчас же опять показались и оба возвратились назад. Н. Е. ни на мгновение не потерял своего философского спокойствия и сейчас же принялся просушивать записные книжки, паспорта, револьвер, ружье, барометр, шагомер. Одно из наших корейцев свалило водой на более глубоком месте. Лошадь скоро оправилась, но корейца понесло вниз. Кое-как выплыл и он к берегу и, ухватившись за ветви, взобрался на другую сторону.

Все-таки перебрались, но подмочили весь обоз. Поэтому, разбив палатки, принялись сушиться. Корейцы окружили нас, и вот мы теперь в их обществе. Они деликатны, вежливы, принесли (за деньги, конечно) снопы кукурузы, чумизы, ячменя.

Узнав, что на горах у них растет дикий виноград, я попросил принести его, и теперь возле меня большая корзина черного, сладкого, но мелкого винограда.

Н. Е. ушел на охоту за козами. На всякий случай он взял и дробовик и винчестер. С ним пошел один из наших корейцев, а другой, здешний, показывает места.

П. Н. долго вызывал охотников.

— Не идут, — объясняет он нам, — боятся Н. Е.

— Скажите им, что это нам надо их бояться, — нас, русских пять, а их сколько.

Наконец согласились, когда я предложил в спутники и нашего корейца.

На берегу реки, повалив лошадь, два корейца подковыкают ее. В другом месте группа корейцев сидит на корточках и курит свои трубки. Через реку голые корейцы переносят наши вещи. Все это картинки, и надо идти за аппаратом. Я снимаю все группы, а П. Н. объясняет им, что я делаю. Они смеются и все хотят попасть на изображение.

После съемки я раздаю детям сахар.

Маленький мальчик, грустный и миловидный, уже с

закрученным наверху хохолком — признак женатого человека: он уже женат.

Так уютно разбился наш лагерь под группой деревьев, так живописна река и местность вокруг реки. Вот подходит кореец в волосяной шапке вроде нашей камиллавки, с широким раструбом кверху — это дворянин. Вот идет другой, в белой шапке, вроде тех, которые когда-то надевали в школах — ослиные уши: это шапка неглубокого траура. При глубоком же трауре весь костюм от шапки до башмаков должен быть белого цвета. Вообще белый цвет национальный и любимейший у корейцев.

Сегодня вечером у меня опять собрание корейцев из соседней деревни. Во главе их дворянин. Он оказывается и староста у них. По требованию П. Н., я оказываю ему особый почет: жму, как и он, двумя руками его руку, посадил его на походный стул, подарил ему какую-то безделушку, а главное, угостил всю компанию коньяком. Немного, но достаточно для того, чтобы развязать им языки. Дворянин недоволен современным положением дел.

— Прежде в Сеуле за знание давали должности, потом эти должности покупали (42), а теперь их никак не получишь: пришли другие люди и все взяли. Наша страна бедная, только и были, что должности; должности отняли, что остается корейцу?

Он спросил:

— Отчего другие народы богаты, а корейцы бедны?

Я отвечал, что и у корейцев много естественных богатств, но нет технических знаний. Без таких же знаний в наше время нельзя быть богатым. Эту мысль я развил ему примерами, вроде моего путешествия со скоростью 20 верст в сутки, в сравнении с железной дорогой, с тысячеверстной скоростью в то же время.

— Да мы уже строим такую дорогу, но без знаний не мы будем ею пользоваться.

Я ответил, что корейцы народ способный, и раз начнут заниматься техникой, то так же скоро, как и японцы, догонят европейцев.

— Северная Корея от России примет науку.

— Если Корея этого захочет. Россия считает корейцев братьями.

— Мы хотим, а как другие — мы не знаем.

После коньяку речь зашла об обычаях, преданиях и

религии. Произошла таким образом проверка и прошлого, услышали мы и три новых рассказа.

В этих рассказах характеристика бонз (монахов) как распутных людей и пьяниц.

Вечер закончился генеральным осмотром наших вещей.

Между прочим, выяснилось, что дворянин знает только китайскую письменность, а корейской женской не знает, что делает его, живущего среди простого населения, неграмотным человеком. Но уж так принято, что дворянину неприлично знать женскую грамоту простого народа.

К дворянину остальные относятся с большим уважением: подают ему двумя руками, спрашивают каждый раз разрешение принять от меня угощение. Сыну своему, женатому, лет двадцати, он не разрешает ни вина, ни коньяку.

Выкурив свою трубку, он опять набивает ее, а сын идет к костру, принимая каждый раз и подавая отцу трубку двумя руками.

Почему-то все эти отношения, и эта длинная трубка, и даже аромат табаку напомнили мне самое раннее мое детство в доме деда моего, типичного дворянина и помещика Малороссии.

На прощанье дворянин взял мою левую руку, перевернул ладонью вверх и стал рассказывать мне мою судьбу. Я буду жить до 90 лет — об этом говорит линия, уходящая к кисти руки. Это же говорит на основании хиромантии Н. А. Линия к третьему, безымянному пальцу говорит о способностях; чем она больше и чем больше разветвлений, тем больше способностей.

И это сходится с тем, что говорит Н. А.

— Вот придем в Хойрёнг, — говорит П. Н., — там настоящие предсказатели: они вам все расскажут...

18 сентября.

Половина пятого. Темно еще. За палаткой у костра два сторожевых корейца разговаривают. Они говорят по обычаю громко, быстро, с экспрессией, но голоса мирно налаженные. Однообразный, мирный шум воды.

В половине шестого первые лучи сверкнули по горам. Здесь, в долине, еще глубокая тень. Уютная красивая

картинка. Горы, долина, река, мирно приютившиеся здесь и там фанзы. Ясное утро, и все спит в этом торжественном тихом уголке.

Вчера, прощаясь, корейцы говорили:

— Надо итти, приготавливаться к празднику.

И в голосе их слышалась и торжественность и радость праздника.

Годовой праздник. Праздник везде праздник, и ощущение этого праздника с детских лет остается в душе, и мне понятны их ощущения.

Сегодня праздник, и праздник этот в природе, в блеске солнца, на этих горах.

Из-за этого праздника приехал в свое имение пусай г. Онснэг. Он приехал вчера. Его имение на противоположной стороне, в живописном ущелье. В контраст с мелким кустарником, его береженный лес широкой полосой уходит в горы.

Два палача этого пусая приходили в наш лагерь. Оказывается, что он и в чужом для него месте может творить суд и расправу: высечь дерзкого, наказать пьяного.

Часам к шести пришли дети деревни. Они сегодня чистенькие и нарядные, в белых, голубых, розовых и зеленых куртках.

Немного погодя один из взрослых пришел, и за ним несли два закрытых корейской мягкой бумагой столика. На этих столиках ряд маленьких чашечек, в которых: 1) корейский хлеб из яр-буды (род проса) — желтый, липкий; с ним в одной миске мука из жареных бобов, с сухой приправой сои (что-то вроде нашего зеленого сыра, мелко растертого, но не такой острый вкус), 2) синие помидоры, 3) вареный чеснок, 4) жареная говядина и соленые огурцы, 5) соленая редька, 6) соус из желудка, 7) рыба вареная, 8) соус из шенка, 9) теплая водка — сули и 10) квас сладкий, с некоторой остротой, вроде нашего медового кваса.

Все это я пробую и благодарю. Мне отдельный столик, Н. Е. — отдельный. Н. Е. категорически заявил, что он нездоров и есть ничего не будет. Я уговариваю его, и он соглашается поесть редьки.

На горизонте показывается дворянин, тоже со столиком. Пока он подходит, крестьяне рассказывают, что, собственно, дворянство указом императора упразднено еще в 1895 г. Но в таких глухих местах, как это, еще держит-

ся старый обычай, и население добровольно отдает дворянам былую честь. В больших же городах, а особенно в Сеуле, о дворянах давно забыли думать, и там они ничем не отличаются от остальных.

Существовало четыре разряда дворян: сельский дворянин, городской дворянин, дворянин провинции и дворянин империи. Из дворян империи выбирались на высшие должности в империи, из дворян провинции — на высшие должности в провинции. Из городских дворян — военные и наконец совершенно бесправные сельские дворяне.

Мы уложились, снялись и поехали. В живописном уголке стоит старая, поросшая мохом, черепицей крытая, уютная фанза. Форма крыши — подражание китайским. Фанза огорожена забором, по нему свесились тыквы, висит желтая кукуруза, зеленый еще табак, красный стручковый перец. Яркое впечатление юга.

— Вот, — говорит хозяин, — яблоня, вот вишня.

Вся долина усеяна камнем, и на ней растет тощий хлеб. Но тут же дикая вишня перерастает четыре сажени, тут же виноград, и в диком своем виде сладкий и вкусный.

— Придет время, — говорю я хозяину, — и ваши долины будут зеленеть в садах, виноградниках, и труд человека оправдается в десять раз больше теперешнего. Тогда будет Корея богатая. Но для этого надо ехать не в Китай, учиться его бесплодным наукам, а туда, где умеют разводить эти сады, умеют доставать из гор их богатства, которые лежат в них. Тогда Корея будет богатая, а до тех пор в Корее будут только добрые, хорошие люди, занятые выше головы своими покойниками, добрые люди, которых все всегда обидят.

Дворянин, увязавшийся провожать нас, снисходительно кивает головой.

Он со своей долиной поразительно напоминают родину его прототипа, Дон-Кихота Ламанчского. И он такой же худой, высокий, окруженный насмешливой вежливостью своих односельчан. При расставании я оказал ему всю вежливость: слез с лошади, двумя руками пожал его руку.

— Я хотел бы еще раз увидеть вас, — сказал он мне растроганно.

— Если я не приеду, то пришлю своего сына, — ответил я ему, и мы расстались.

Мы едем долиной, у которой столько названий, сколько и селений: Па-и-сан-хансури, Маргаер-хансури и т. д. Долина шириной версты в две, с каменистой, старательно возделанной почвой. Так же возделаны здесь и там косогоры. По долине протекает в плоских берегах река, и орошение здесь не представило бы никаких затруднений. Но им пользуются только для риса. Но для риса здесь сравнительно холодно и он дает плохой урожай.

Чем дальше, тем больше селений и дороже цена на землю. Здесь она уже достигает двухсот рублей за десятину.

По случаю праздника все нарядны; девушки качаются на качелях, молодые парни разводят у реки костры и что-то варят себе. Взрослые на могилах предков. Группы в белых одеяниях на всех окрестных пригорках — все это кладбища, все это счастливые горы. И нередко, если нашедший счастливое место для предков попадает в знать или богатство, тайно на это же кладбище уже несет кто-нибудь и своего какого-нибудь предка. Но если владелец кладбища узнает, то дело нередко кончается и смертью виновного.

Поминки заключаются в том, что приносят на могилу еду и водку. Три рюмки выливают на могилу, а остальную водку и гущу съедают в память усопшего.

Из одной фанзы выскочил белый кореец и, протягивая руку, кричал по-русски:

— Здравствуй, здравствуй, иди на моя фанза!

Это пришедший с заработка из России кореец.

Я угостил его папирсой, пожал его руку, и мы расстались, так как весь запас его знаний ограничивался вышеприведенной фразой.

Решили сегодня добраться до Хойрэнга.

Едет громадный Бирик и что-то улыбается. Он уроженец Харьковской губернии, переселился с родными в Томскую; выговор у него совершенно хохлацкий.

— Хорошая сторона Харьковская губерния — говорю я.

— Да вона хороша, та земли нет.

— Ну, а Корея вам нравится?

Бирик усмехается:

— А чего тут хорошего: горы да буераки; у нас в Томской губернии, по крайней мере, конца полю не видно.

— Их домики, — говорю я, — красивые.
— А что в них красивого? — сомневается Бибик.
— Вот, отдельно стоят, кругом зелень, чисто...
— А с чего у них и грязно будет, когда овцы нет, — скотина — один бык.

— Много комнат, — говорю я, — в русской избе в одной комнате набьется народ, тут и телята.

Бибик не может удержаться от улыбки.

— А что и за комнаты их: — и вся-то комната не иначе курятник у нас.

Надо видеть фигуру Бибика, чуть не в сажень, в американской высокой шляпе; он сидит на микроскопичной, чуточку больше осла, корейской лошадке.

Рот его расширяется до ушей, и он говорит:

— Просто дурная сторона, та и годи. От так же и в Китаю.

— Вы были там?

— А був, и тут я був.

Бибик большой любитель впечатлений. Он не пропускает ни одной экспедиции и всегда бросает какое бы то ни было выгодное место. Едет и усмехается.

Сегодня мы пробыли на лошадях 12 часов и сделали 100 ли. С последнего перевала, при сером угасающем дне, открылась дивная панорама. Все, что мог охватить глаз, были долины, окруженные причудливыми, наморщенными горами и пригорками. И долины и горы покрыты все теми же чудными бархатными коврами.

Ночь спустилась сперва вся в тучах, темная, а затем подул северный ветер, стало холодно, тучи ушли, и яркая луна заиграла в обманчивой теперь и трудно уловимой округе.

— Вот, вот белое — это ворота Хойрёнга.

Но все белое, вся даль, везде ворота Хойрёнга, устали все, и всем хочется спать.

Лошади, не евшие целый день, жадно хватают и глотают все — траву, листья, ветви.

Удивительные желудки здешних лошадей: они едят стебли кукурузы, как наши лошади сено, и большая любезность, если им эти стебли порубят. Говорят, корейские лошади злы, и корейцы грубо обращаются с ними. Они, правда, резко кричат на них: «ги!». Но так же заботливо, как и наши крестьяне, обращаются со своими лошадьми.

— Вот в этих горах водятся удавы,— говорит наш проводник.

Он показывает руками размер удава: диаметр — пол-аршина, длина — сажень и больше.

— Он сам видел? — спрашиваю я переводчика.

— Он видел, но не таких больших,— и он показывает кулак и длину аршина в полтора. Но и он, и все окружающие, и везде в других местах корейцы твердо стоят на том, что у них есть и удавы и какой-то род крокодилов: коротких, толстых, на четырех лапах.

Много легенд ходит об этих крокодилах. Голова их похожа на человеческую; они большие любители красивых девушек. Подобные рассказы упорно повторяются в каждой деревне. Зимой крокодилы пропадают, а летом глотают мышей, лягушек и сами весьма ядовиты.

Самая же ядовитая змея — куль-пэми (живущая в норах). Живут группами; если тронут одну, то все бросаются на врага. Она маленькая, не больше аршина, темная, как земля.

Так, разговаривая обо всем, мы наконец подъезжаем к воротам Хойрёнга.

Это белой известкой выбеленные, каменные арки, сажени в две толщиной. От них идет стена, сложенная насухо, высотой в две сажени. Такая стена вокруг всего города четырехугольником, и в ней четверо ворот: северные, южные, восточные и западные. Через ворота, которые словно валяются куда-то в бездну, виднеется что-то неясное: какая-то серебряная бездна — нето небо, нето река прозрачная. Фантазия уже рисует причудливой архитектуры восточный город, но вот темные ворота назади, и мы в городе. Серебряная мгла рассеивается, и мы видим... пашню, поля. Саженьях в ста виднеется что-то серое, но и это не город еще, это памятник бывшим начальникам города.

Наконец и город, т. е. ряд все тех же фанз — серых, крытых соломой. Но здесь, сбитые в кучу, они уродливы и грязны.

Лошадь ставшая поперек дороги, загораживает всю улицу. Я сижу верхом, и моя голова почти в уровень с коньком крыш. Вонь и грязь на улицах. Вот торговые ряды, такие же ряды с клетушками. Восемь часов, но уже весь город спит.

Куда же ехать? Мы стучимся в какую-то фанзу.

— Вам отведена городская квартира,— справьтесь у начальника.

Наш путеводитель-староста, все время заботившийся о чистоте своих ног, отправляется к начальнику и шлепает теперь по грязи, мало думая о своих ногах. Вся фигура его покорно сгорбилась, и, очевидно, он только о том и думает, как бы в чем не проштрафиться.

Первое, запрещается въезжать в город верхом — и он идет пешком. Второе, при встрече с начальством надо низко пригнуться и итти, не смея смотреть на него — он так и идет.

И все-таки беспокойно робкое сердце, потому что третье, самое главное, угадать, что желает в данный момент начальство — не дано ни корейскому ни иному смертному.

— Очень просто,— говорит П. Н., — велит вздуть бамбуками, и вздуют.

— Ну и город,— отплевывается Бибик от окружающей вони.

Немного погода шагает проводник назад, уже веселый. Он опять вспомнил о своих ногах и теперь заботливо выбирает место посуше.

За ним полицейский в зеленом шарфе.

— Ге, ге! — говорит он и бежит вперед.

Мы едем за ним, кружим по всему городу и наконец приезжаем. Большая фанза, три чистые комнаты — уютно и тепло от теплого пола. С десятков полицейских, откуда-то взявшихся, ссаживают нас, ведут в комнаты.

После устали хорошо и поесть, хорошо и заснуть. Но надо записать барометр, термометр, все полученные расстояния, нанести реки, села, высоты. А затем дневник, легенды.

Стих шум от раскладки, варится ужин, где-то за спиной какой-то приятный тенор выводит какую-то восточную песню.

Она, как узор цветов их гор и долин, подходит к ним, подходит к чуткой, но притиснутой, робкой душе корейца.

Что-то нежное, тоскливое, хватающее за душу в этой однообразной мелодии. Отдельные рулады, ноты понятны и сильно действуют, но все вместе требует перевода на наше ухо — это только материал для того композитора, который захотел бы заняться музыкой Востока. Пришел П. Н. и объяснил, что это не пение, а чтение, что

здесь, читая, поют, и что тот, кто читает, один из лучших чтецов города.

19 сентября.

Сегодня назначена в Хойрёнге дневка, и потому мы с Н. Е. надеялись поспать лишнего, но не пришлось.

В шесть часов раздались где-то близко какие-то мелодичные завывания, ближе, ближе, и наши двор, комната наполнились вдруг этим странным восточным пением, завыванием.

Неумытый П. Н. просунул взволнованное лицо и шепнул:

— Начальник города.

— Скажите, что мы очень извиняемся, что мы еще в постели, что не пришел обоз, где наши вещи. Когда придет, мы сами будем у него.

Опять заглядывает П. Н.

— Начальник счел своим долгом, ввиду того, что такие знатные иностранцы посетили его город, осведомиться об их здоровье и спросить, довольны ли помещением.

— Мы очень довольны и от всей души благодарим.

Некоторая пауза и затем крик десяти голосов, что-то в роде нашего «ура», и затем опять мелодичное завывание.

Мы высунули головы и смотрим вслед. На носилках сидит высокий, старый уже человек. Он в белом костюме, черной волосяной шляпе, а поверх белого костюма фиолетовая туника. Носилки устроены с возвышением, покрытым шкурой барса, на которой и сидит начальник (кунжу). С двух сторон его идут двое с алебардами, впереди разноцветный фонарь, около него молодой мальчик, его адъютант, передает распоряжения старшему палачу, этот же, в свою очередь, громко выкрикивает то же своим исполнителям, младшим палачам. Вся свита кунжу — человек десять, которые идут гуськом за ним.

Завывания уже далеко, но сон пропал.

— Что они кричат?

— Кричат, чтобы все давали дорогу. Когда идет начальник, надо уходить или, пригнувшись, давать дорогу, проходить несмотря.

Начальник едет в громадных китайских очках. При встрече с ним все остальные должны снимать свои очки.

При встрече и поклонах друг с другом они тоже обязательно снимаются.

Напились чаю, я сел за работу, все наши отправляются посмотреть город, кроме Бибика.

— Что там еще смотреть? У нас в Томской губернии...

Он не договаривает, что у них там в Томской губернии. Да что и договаривать, когда все и без того ясно. Бибик ложится спать поэтому и спит весь день.

К двум часам приходит обоз, мы одеваемся и идем к кунжу. Его чиновник ждал нас и теперь ведет к своему шефу. За нами идут дети, корейцы, выглядят корейки. Одни стыдливо, другие уверенно. Одна стоит с большими глазами, с совершенно белым, здоровым лицом, красивая даже с нашей точки зрения. У нее в глазах уверенность и некоторое даже презрение, пренебрежение.

— Веселая вдова,— говорю я П. Н.

П. Н. осведомляется, и оказывается, что веселая вдова попросту проститутка.

— Как вы догадались? Она была у прежнего кунжу фавориткой, а этот новый набрал других, и эта недовольна.

— Откуда набираются проститутки?

С тем же вопросом П. Н. обращается к толпе корейцев, долгий разговор, поправки и затем перевод П. Н.:

— Проститутки набираются со всех сословий...

— Я читал, что собственно танцовщицы поставляются исключительно городским сословием, среднее нечто между крестьянами и дворянами.

П. Н. перебрасывает вопрос в толпу, и энергичный крик в ответ:

— Это неверно. Вот как это бывает в каждой семье. В три года предсказатель, по-вашему шаман, по-корейски тоин, определяет будущность девушек. Бывает так, что девушке назначено умереть, а проституткой она остается живой, такую и назначают... Только это последнее дело...

П. Н. делает соответственную гримасу. Он переводит свою мысль толпе, толпа делает такие же гримасы, сочувственно кричит и отплевывается.

— Вот еще проститутка.

Тоже белолицая женщина, рыхлая, с неприятным лицом, стоит и мирно разговаривает с толпой.

Но с ней разговаривают, и пренебрежения к ней не видно.

Я сообщаю это П. Н.

— Ну, конечно, говорит он: — тоже человек, чем она виновата.

Мы проходим через целый ряд памятников кунжу, прежних пусаев, и подходим к дому с затейливыми, на китайский образец, черепичными крышами. Деревянная арка, на ней громадный барабан, в который бьют вечернюю зорю.

Там, на этой арке, сам кунжу со свитой... Увидев нас, он поспешно идет во двор.

Перед нами отворяются средние ворота, в которые входит только кунжу.

Мы входим во двор и поднимаемся по ступенькам под большой навес. В стороне лежат корейские розги: длинные, гибкие линейки, аршина в два, с ручками. Здесь происходят судбища.

К нам идет навстречу начальник, мы жмем друг другу руки, он показывает на дверь. Мы входим в комнату сажени полторы в квадрате. Посреди ее накрытый белой скатертью стол, по бокам четыре табурета; два из них покрыты барсовыми шкурами. На них садят меня и Н. Е. На два других садятся кунжу и П. Н.

Начинается разговор: как высокие гости доехали? как нравится им страна и люди.

Мы хвалим и страну и людей, благодарим за гостеприимство. С введением технического образования предсказываем спокойную и безбедную будущность корейскому народу.

— Образование необходимо,— говорит старик: мой сын третий год уже в Петербурге. Корея может жить, если другие великие народы не уворуют их страну. Кореец не может сопротивляться, но это будет большой грех. Слова богу, избавились от китайцев, но теперь японцы захватывают: они жадны, корыстолюбивы, двуличны (43). Мы за их доллар даем 500 кеш, а между тем это уже вышедшая из употребления монета, и во всем остальном мире стоимость ее — только то серебро, которое в ней. На сто кеш не будет. Три миллиона нищий корейский народ бросает так японцам.

Он не любит японцев. Его, вероятно, за это прогонят скоро, но он говорит то, что думает.

Предполагать двуличие нельзя было, хотя бы потому, что в дверях и окнах стояло множество народу, который внимательно слушал. Удивительно в этом отношении проходит здесь жизнь на людях. К этому приспособлено все, вплоть до этих домов, где в одном конце слышен шопот с другого, эти бумажные двери. Затворите их, проделают дырки пальцами, и десятки глаз опять наблюдают каждый ваш шаг.

— Вот это мой второй сын, это третий от наложницы,— говорит начальник города.

Прежде и в Корее были законные и незаконные дети, но вот,— это уже было и давно,— с каких пор все изменилось. У одного министра не было законного сына. Согласно обычаю он должен был усыновить кого-нибудь из своего законного рода, чтобы передать ему свои права и имущество. Выбор его пал на племянника. В назначенный для церемонии день, когда собрались для этого в дом министра все знаменитые люди и прибыл сам император, вышел к гостям незаконный десятилетний сын хозяина, держа в руках много заостренных палочек. Каждому из гостей он дал по такой палочке и сказал: — «Выколите мне глаза, если я не сын моего отца». — «Ты сын». — «Тогда выколите мне глаза, если мой двоюродный брат сын моего отца». — «Но он не сын». — «Тогда за что же вы лишаете меня, сына, моих прав?» — «Таков закон», — ответили ему. — «Кто пишет законы?» — «спросил мальчик. — «Люди», — ответили ему. — «Вы люди?» — спросил мальчик. — «Мы?» — Гости посоветовались между собой и ответили: — «Люди». — «От вас, значит», — сказал мальчик, — и зависит переменить несправедливый закон». Тогда император сказал: «А ведь мальчик не так глуп, как кажется, и почему бы действительно нам и не переменить несправедливого закона?».

И закон переменяли, и с тех пор в Корее нет больше незаконных детей.

— Это так,— кивают в окнах и дверях серьезные корейцы, и беседа наша продолжается дальше.

— Правда ли, что дворянство уничтожено в Корее? — проверяю я сообщенные мне сведения.

— Дворянство осталось, но в правах службы все сословия сравнены в 1895 году.

— А рабство?

— Собираемся и его уничтожить.

На стол поставили, справившись о том, что мы уже обедали, корейские лакомства: белые и красные круглые конфетки (мука с сахаром), род фиников, китайские пряники темного цвета, сладкие, из рассыпчатого теста. Подали чай и коньяк. Этот коньяк я узнал по бутылке — это дар наших, уже побывавших здесь.

— Это мне подарок.

Тогда и мы поднесли ему свои подарки: полсотни сигар, сотню папирос, подносик с приспособлениями для сигар.

— Очень, очень благодарен.

— Не хочет ли начальник сняться?

— О, да, очень хочет. Можно со всеми наложницами, проститутками и служащими?

— Можно, можно.

Н. Е. берется за это дело, а я уйду.

Н. Е. по возвращении передает впечатления. Кунжу снимался один и со всеми вместе, но двух жен не показывал: старшая жена в имении, а другая не совсем здорова. Вечером он еще раз придет к нам.

П. Н. нашел нового проводника — он знает много рассказов, хорошо читает. Мы купили большую, в семи частях, корейскую повесть. Будем читать ее в дороге.

Новый проводник и толпа корейцев сидят в моей комнате, и я задаю разного рода вопросы.

Больше всего идет проверка прежних сведений.

Наш китайский переводчик, Василий Васильевич, ходил к своим.

— Хорошие люди?

— Все хунхузы (разбойники), — уныло сообщает В. В.

Он боится всех этих хунхузов и трепещет при мысли, что мы идем в их логовище — Пектусан.

Смеркалось, и скоро раздалась заунывная звуки — начальник идет. Когда пение неслось уже со двора, я вышел, мы пожали друг другу руки, и он пошел в комнату.

Мы усадили его на походном стуле и стали угощать икрой, ветчиной, сардинками, а главное — коньяком.

— Это наш предводитель дворянства — указал кунжу на одного из стоявших.

Это с полным лицом, средних лет человек, в своем длинном костюме похожий на доминиканского монаха. Лицо его льстивое и подобострастное.

Я попросил его присесть. Но он так и не сел.

Каждый раз, подавая ему коньяк, П. Н. спрашивал разрешения у начальника.

Предводитель дворянства кланялся, брал рюмку, как-то уморительно выворачивал в сторону шею и лицо и выпивал все, что ему давали. Принимал двумя руками закуску и, отворачиваясь, ел. Остальным начальник запретил пить.

В конце концов начальник заговорил по-русски.

Рассказал, как бывал он во Владивостоке, как ездил по железной дороге.

— Мне везло в жизни,— говорил он своему предводителю: — я обедал со всеми знатными людьми: во Владивостоке с губернатором, в Хабаровске — с генерал-губернатором, на Камне-Рыболове — со становым.

Просил нас поскорее строить железную дорогу, показал образцы каменного угля в двух верстах от Хойрэнг в горе Саа-гори.

Я предложил ему попробовать вермута, а он добродушно сказал:

— На сегодня довольно, а лучше оставьте мне эту бутылку. Завтра, скучая и вспоминая о любезных гостях, я выпью ее. Это мой адъютант,— показал он на юношу: — и я его очень люблю, и он всегда спит со мной.

Принесли сладкое: халву, карамели.

— Нет, я не ем сладкого, лучше выпьем на прощанье.

Он заставил выпить меня, и я сказал:

— Я пью за гостеприимный, ласковый народ корейский, я желаю ему блестящей будущности и желаю, чтобы никто не мешал ему развиваться.

Все корейцы приветливо закивали головами.

— Возьмите вашим детям,— дал я на дорогу начальнику конфет.

— Вот мои дети,— показал он на толпу, стоящую у двери. И он отдал им все конфеты.

— Сладкое я им позволяю: не позволяю вино и курить при себе. Только предводителю позволяю вино, но курить и сидеть нельзя при мне.

Затем мы простились.

Ночью еще эффектнее эти завывания, разноцветный громадный фонарь и белая гуськом стража.

После их ухода мы стали есть приготовленный нам корейский обед, состоящий из семи закусок (на юге

девять), — чиртеби: курица вареная с бульоном, жареное в чесноке мясо, нечто в роде беф-строганов, и чашка риса, вместо хлеба. Все съедобно и вкусно.

20 сентября.

Шесть часов, но уже заглядывает в дырочки десяток детских глаз. К сожалению, дети грязны, и запах от них тяжелый, иногда прямо нестерпимый. Воздух комнаты отравлен этим запахом. Лучше скорее вставать да открыть бумажную дверь — по крайней мере проникнет и свежий воздух.

Пока укладываются, сходил в город и снял несколько видов, лавок, улиц, харчевен с их лапшой, женщин, носящих сзади на спине своих детей. Вот девочка лет десяти тащит такой непосильный груз, обмотанный тряпкой. В открытые двери фанзы видны работающие, наполовину голые женщины.

Вот у лавочки стоит миловидная женщина в своем костюме — белая юбка, кончающаяся белым поясом, на плечах баска, а расстояние между баской и поясом открывает голую спину, бока, грудь. Она покупает вату и, пока ей отвешивают, она стоит со связкой кеш в руках.

Вот во дворе раскинута палатка. Это годовщина смерти, и все знакомые идут к ним с визитом в этот день.

Едят, пьют и поминают.

У лавок сидят, поджавши по-турецки ноги или на корточках.

У здешних такой же, как и у наших купцов, уверенный вид и презрение ко всему, кроме денег.

Перед нами южные ворота, и через них то и дело проходят женщины, неся на головах высокие кувшины с водой.

За нами толпа ребятишек и всякого народа. Все приветливы, вежливы и расположены.

Слышится ласковое «араса» (русский).

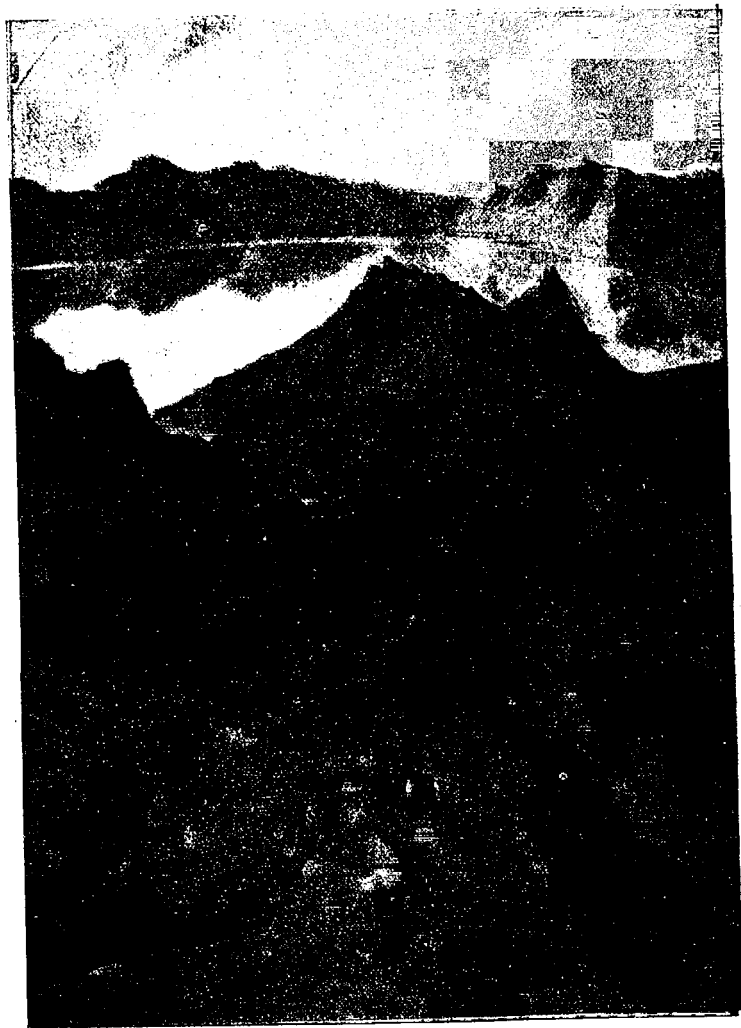
Чтобы кончить о Хойрэнге, следует сказать, что в нем 1 000 фанз, 6 300 жителей, 100 быков, 50 коров, 30 лошадей и 1 000 свиней. С трудом достали семь пудов продажного ячменя, нашли только пять продажных яиц.

Сборы кончены. Один из наших рабочих, кореец Сапаги — длинноногий, худой, в пиджаке и котелке, под



Корейский дом под соломенной крышей.

к стр. 84



Озеро в кратере вулкана Пектусан.

к стр. 173

которым корейская прическа, уже сидит на лошади и что-то горячо кричит.

Мы тронулись наконец, и, извиваясь в узких улицах города, идем к южным воротам.

Идет красивая, бледнолицая кореянка. Она несет на голове кувшин, и походка ее какая-то особая, сохраняющая равновесие.

Лицо Бибика расплывается в самую блаженную улыбку.

— Красива, проклятая...

Верстах в двух от Хойрёнга стоят два высоких деревянных столба с перекладинами. На них герб города Хойрёнга — два диких гуся и между ними вилы, вернее, трезубое копьё.

Эти ворота поставлены от лучей злой горы. Это копьё пронизжет этот луч. Гуси же эмблемы весны и тепла.

Часто на воротах фанзы есть такие надписи: «пусть в эти ворота скорее войдут весна и лето, несущие с собой все радости».

Недалеко от дороги памятники какого-то родового кладбища: мраморные доски в три четверти аршина длиной, пол-аршина шириной. По обеим сторонам две плиты с выпуклыми изображениями человеческих фигур, — это рабы по двум сторонам, — они были у покойного при жизни, будут и после смерти.

Иногда на таких кладбищах стоит высокая балка с райской птицей на ней. Птица вроде цапли, на длинных ногах. Это те, которые при жизни получили от императора похвальный отзыв на красной бумаге.

Вот деревня в 15 ли от Хойрёнга — Пикори, что значит деревня памятников.

Здесь, при сменах, старый начальник города встречает нового и вручает ему государственную печать.

Здесь же множество памятников бывшим начальникам, и дальше по дороге все такие же памятники. На одном из них что-то написано.

— Что это?

— Здесь написано, какое счастье отдохнуть здесь и полюбоваться видом этой долины.

— Это не относится к памятнику, это так написал какой-нибудь отдыхающий кореец, — объясняет П. Н.: — устал, вот и понравилось ему.

— А то что за памятник на горе?

— Это памятник добродетельной женщине. Это очень почетный памятник,— об нем у императора просят все жители округа.

— Чем она знаменита, эта женщина?

— Она была добродетельная жена.

— Это первый памятник, который мы встретили; разве только одна и была до сих пор добродетельная жена, и кто удостоверил ее добродетель,— недоверчиво спрашиваю я.

И мне рассказывают прекрасную, глубоко-альтруистическую сказку о добродетельной жене.

На 23-й версте бывшая застава, Капунсам.

Она обнесена серой каменной стеной. Время наложило на нее свою печать,— она развалилась, от прежнего города осталось всего 300 фанз, зелень пробралась в стену, в черепицу, и это соединение зелени и серого камня, при солнечном блеске ясного осеннего дня, при остальных общих красно-желтых, золотистых тонах, составляет ласкающий и манящий глаз контраст.

Но боже сохрани взобраться на такую стену и доверчиво лечь в ее зелени!

Множество ядовитых змей ужалят, и через несколько минут наступит смерть.

Так умерла здесь красавица-девушка, когда родители насильно заставили ее выйти замуж за нелюбимого.

Она надела свое свадебное платье и в нем шла. Никто не смел за ней следовать, а она шла по стене, пока не дошла до густой ее зелени, и легла там.

Все время дорога идет живописной долиной речки Чон-кан-мун. Те же горы, та же кукуруза, чумиза, но больше леса, и широкие ветлы низко склонили свои ветви к волнам быстрой, прозрачной, как хрусталь, холодной реки.

Под этими ветлами там и сям поэтичные фанзы. Юноши-корейцы в косах, в женских костюмах, мечтательные и задумчивые, как девушки.

Мы ночуем в 80 ли от Хойрэнга, в деревне Чон-гор, в том ущелье долины, где, кажется, горы совсем преградили ей путь.

Весело вьется синий дымок костра в синее небо, колеблется его пламя и неровно освещает группы сидящих вокруг нас корейцев.

— Пришел рассказчик,— пронеслось по деревне, и все собрались и слушают молодого двадцатилетнего, только что женатого юношу.

Он в своем беленьком дамском костюме и шляпе, как институтка застенчивый, говорит свои сказки. Иногда они поют их.

Времена еще Гомера у корейского народа, и надо видеть как любовно и серьезно они слушают рассказы. Лучшие рассказчики на устах у всех, и П. Н. безошибочно делает свой выбор.

Сказки о предках, о счастье.

Для счастья кореец носит своих покойников с места на место, меняет чуть не каждый год название своей деревни, ищет счастливый день в календаре, у предсказателей.

На склонах гор его растет дикий виноград, в долинах дикие яблони, вишни и сливы, в горах золото, железо, серебро, свинец и каменный уголь. Но ничего этого не надо корейцу: ему нужны сказки о счастье. И сказки о счастье дороже ему тяжелых денег, тощей пашни.

21 сентября.

Лагерь уже выступил, и во дворе фанзы идет энергичная уборка хозяевами.

Опять все ясно и уютно. Масса детей. Опять несчастный прокаженный. На мой вопрос: много ли их? — отвечают:

— О, много, очень много.

Он живет в своей семье. Им никто не брезгует.

— Надо жалеть несчастного,— ему уж недолго жить.

Семь часов утра, обед наш готов, надо приучаться есть с утра и на весь день, так как на лошади придется пробыть не меньше 12 часов, и это самый выгодный способ передвижения — весь день ехать, все ночи спать.

Чудное утро, ласковое солнце, долины и горы все также прекрасны; прозрачная вода все также нежно журчит в широкой горной реке. А вверху нежноголубое небо, и не знаю, в небе или на горе тает белое, все прозрачное облачко.

Кладбище на склоне, и уже возится трудолюбивый кореец у могилы своих предков.

Дорога все выше и выше. Изредка попадают по две, по три двухколесных арбы на быках, мы иногда их обго-

няем, — это везут товар из России — бязь, ситец, кумач. Обратные везут китайскую водку.

На вершине перевала (3 версты от стоянки) Мусан-рёнг устроена молельня: у дерева, сажень в квадрате, под черепичной крышей надпись: цон-нон-тан (святой дом начальника гор). Внутри на стене, перед входом, на коричневой бумаге, изображение старика с белыми бровями, белой бородой, с желто-белым лицом. На нем зеленая одежда, желтые рукава (род ряски), красная подкладка, синяя оторочка воротника и рукавов. Под зеленой одеждой белый или даже палевый подрясник, ноги в китайских туфлях. Одной рукой он обнимает тигра, который изогнулся и смотрит старику в глаза.

Это его лошадь, на которой он объезжает свою гору. На голове старика маленькая желтая корона из цветов.

Старик сидит в задумчивой позе на скамье с перилами и смотрит тигру в глаза.

Картину рисовал художник округа Хойрёнг, местности Тха-кор, О-хан-мути в 1898 году, третьей луны.

Внизу надпись — святой начальник гор Чхоннион-тахон-уан-шив-у. Картина за двумя красными кумачевыми занавесками. По двум другим сторонам множество лошадиных волос. Всякий проезжающий вырывает у своей лошади волосы из гривы и хвоста и вешает их, прося о благополучии от тигров.

Перед изображением, среди молельни два-три камня, на которых сжигается душистое дерево в честь начальника гор.

На наружной стороне беседки надписи по-русски: 8 мая 1889 года Ветергоф, 25 мая 1890 года Ветергоф, Неовиус и Хрущов, 26 февраля 1886 года Десано (не-разборчиво).

И я написал: 21 сентября 1898 года и свою фамилию.

Проехали 11 верст от ночевки, и начались дикие, почти необитаемые места, с узкой долиной и высокой горой.

На 20-й версте развалины старого Мусана. Сохранилась только стена да несколько фанз.

Все выше и выше подъем, и только лес кругом, да вершины далеких гор просвечивают.

Но лес плохой: или погорелый, или сгнивший. Порода — осина и лиственница. Изредка попадается сосновое дерево, но так их мало, этих деревьев, что и говорить

о них не стóбит. Остальное хлам, негодный даже на порядочные дрова.

Поздно, почти в темноте, мы достигаем перевала, последнего перед Мусаном — перевала Чапрёнг и, спустившись, ночуем в деревне Шекшарикор.

Бедная фанза,— постоянный двор,— ветер уныло завывает в лесу, и от шума леса кажется, что на дворе разыгрывается страшная непогода.

Слушая такой вой ветра, один путешественник-кореец из мест, где нет леса, просидел четыре дня, все выжидая, когда лес перестанет шуметь. Но он шумит всегда.

Бедная наша фанза имеет характер кавказской сакли. Холодно. Термометр упал до 4°.

Сена нет, соломы нет, овса нет, ячменя нет. Послали за пять верст и кое-как собрали два пуда ячменя и 25 снопов соломы бузы.

Но зато приятный сюрприз — оказался картофель. Уже десятый день мы без хлеба и картофеля.

Я не думал, что за такое короткое время можно так соскучиться за такой новостью, как картофель. Обычно я его почти не ем, но сегодня ел, как самое гастрономическое блюдо.

В нашей фанзе, в женском отделении, путешественница-дворянка. Она путешествует со своим рабом. Рабу лет 15. Его продали родители из южной Кореи во время свирепствовавшего там голода.

Я утром видел эту путешествующую дворянку. Высокий пояс, баска, юбка-колокол — все безукоризненно белое,— дама, как дама, если б не торчащие из-под юбки в корейской обуви ноги. Да походка с выворачиванием пяток, точно она все время несет на голове громадный кувшин с водой.

Раб ведет в поводу хорошенькую сытую лошадку. На спине лошади красиво упакован тюк, торчит европейский зонтик.

Другой путешественник молодой человек, тоже очень опрятно одетый.

— Какая может быть его специальность? — спрашиваю я у П. Н.

П. Н. отправляется с ним разговаривать и, после долгой беседы, с пренебрежительной гримасой подсаживается ближе ко мне.

— Он сам живет постоянно в Хойрёнге. Все их имущество — две корейских десятины, которые обрабатывает его младший брат, а он живет на этот доход.

— Какие же доходы?

— А много ему надо? Хватит чумизы и довольно.

— Но такой костюм?

— Ну, 2 рубля 50 копеек. Шляпа на всю жизнь. Ну, немного посводничает... Приедет, например, из глухой деревни крестьянин богатый или дворянин — ничего не знает в городе. Ну и поведет его по всем веселым местам, где поют, танцуют.

— Это ведь запрещено теперь?

— На бумаге запрещено — бумага все терпит... Только таким, как этот, заработок: покажет где или познать комит с вдовой, а она просто проститутка, ну и морочит с ним вместе деревенского медведя. А он, медведь, и города никогда не видал, а как услышит музыку и пение, увидит ее танцы, да еще сама она нальет ему сули, ну и бери, как хунхуз, все деньги. Отдаст и уедет в деревню, другой на его место.

— Это он сам вам рассказывал?

— Кто это будет рассказывать про себя, — хозяин рассказывал, да и так видно. Если человек честно зарабатывает себе хлеб — он так и скажет, а кто молчит, ну, значит, каким-нибудь ремеслом нехорошим да занимается. В корейских городах таких половина города: так и живут на счет деревенских дураков. Вот теперь, наверно, ездил к какому-нибудь деревенскому другу, с которым пировал, ну, может, поклон от вдовы привез, — дожидается, дескать, его в город. Ну, уши и развесит дурак, да и жена тут, — как бы не проговорился: даст ему, сколько надо, — только уходи, пожалуйста. С одного, другого соберет, ну, ему пока и довольно. Теперь вот дворянку эту выслеживает, может, и тут что-нибудь перепадет... Вот, если ему рюмки три спирта, он развернет язык.

— Бог с ним! Рюмку дайте, потому что ему, кажется, до сих пор холодно.

Ему дали рюмку спирту, и он расцвел. Вот он подошел к моей двери и, сделав что-то вроде дамского реверанса, что-то сказал.

Я понял «азенчен» — благодарю. П. Н. перевел остальное:

— Он говорил, что ему лестно от таких знатных гостей получить угощение. Теперь будет врать своим, как мы его принимали. Столько наврет, что и в три года не разберешь.

П. Н. заговорил о чем-то с ним, и лицо молодого франта просияло.

— Я говорю ему, что мы возвратимся еще в Хойрёнг и что нельзя ли будет познакомиться с какой-нибудь веселой вдовой через него? Говорит — сколько угодно.

П. Н. презрительно сплевывает и заканчивает: —

— Дрянчушка — человек...

22 сентября.

Опять мы движемся.

Спустились с гор. Опять долины шире, но горы выше, уютные фанзы в долинах, и на неприступных скатах гор — пашни.

— Но как они снопы оттуда спускают?

— На волокушках.

На привале мы осматриваем корейскую соху. Род нашей сохи, и пара быков в запряжке. Прежде земледельческие инструменты корейцы сами делали, теперь все больше и больше привозят их из Японии, где работают их лучше.

Едем дальше... Опять попадаются редкие арбы парами, в ту и другую сторону. Из Мусана везут березовую кору, в которую обертывают переносимого из одной могилы в другую покойника. При любви корейцев возить-ся со своими покойниками, это видная отрасль торговли — в березовой коре не гниют кости.

Спрашиваю я проводника-корейца:

— Кто сотворил небо, землю?

— Землю создал человек, а небо Оконшанте.

— А Оконшанте кто создал?

Выходит так, что тоже человек. Что-то не так.

Мы останавливаемся в деревне, собираются корейцы и горячо спорят. Понемногу побеждает один почтенный кореец.

— Земля сама создавалась, а небо создал Оконшанте, да и человека тоже Оконшанте.

Невдалеке монастырь женатых бонз. Они сеют хлеб и живут сообща.

К закату показался Мусан, весь окруженный безлесными, фиолетовыми от заката горами.

Лес кончился, как только спустились с последнего перевала.

Мусан значит — запутанный в горах. Гор действительно множество самых разнообразных и причудливых форм: вот громадный крокодил глотает какого-то зверя поменьше. Вот тигр изогнулся и присел, чтобы прыгнуть... А в розовом пожаре облака дорисовывают фантазию гор, и не разберешь, где сливаются горы земли с горами неба.

Сумерки быстро надвигаются и скоро ничего не будет видно.

Но город уже близко. Он уютно расположился на скате долинки, окруженный стеной, с четырьмя китайскими воротами, с деревянными столбами для отвода лучей злой горы.

— Отчего в корейских горах нет монастырей и храмов?

Проводник устал и отвечает: «нет и нет».

Вот и Мусан.

Какую чудную фанзу нам отвели. Под черепичной крышей четыре чистых комнатки, все оклеенные корейской серо-шелковистой бумагой.

Шум, крик, восторг толпы и ребят.

Скорее есть и спать. О, как приятно лечь и вытянуться. Но много еще работы, пока заснешь: технический журнал, дневник, рассказы, астрономические наблюдения, английский язык, и надо еще послушать после ужина собравшихся корейцев: расскажут, может быть, что-нибудь, дадут сведения о таинственном Пектусане, ожидающих нас там хунхузах, тиграх и барсах.

Ив. Аф. докладывает:

— Пять лошадей расковались, две лошади спины набили, вышел ячмень, нет крупы и мяса... устали лошади, к тому же время надо, чтобы новые подводы найти, люди хотели бы белье помыть, да и самим обмыться, пока еще можно терпеть воду...

— В воде 9—10 градусов.

— Стерпят.

Все, словом, сводится к дневке.

— Хорошо...

— Дневка?

По голосу И. А. слышу, что за удовольствие. Положим, и у меня накопилось письменной работы.

Ну, дневка, так спать,—завтра и наемся и напишусь вволю. Кстати с начальником округа повидаясь и запа-сусь его распоряжением для свободного прохода и содей-ствия местных властей до самого Пектусана.

Да и Пектусан, как будто ближе, чем предполагали: вместо 500 ли — 300. Впрочем, никто ничего не знает. Да и ли до сих пор не выясненная величина... По нашему определению, ли — это треть версты, а не половина.

Никто: ни торговый человек, ни администратор, ни простой смертный не могут определить, что такое ли.

23 сентября.

Сегодня дневка в Мусане.

Я уже послал свои визитные карточки к начальнику города и получил такие же от него. Он ждет нас к себе в гости.

Об этом начальнике отзываются с большим уважением. Прежде всего, говорят, что он не берет взяток, затем беспристрастно судит и человек с тактом.

Личное мое знакомство с ним только подтвердило это впечатление. Это 38-летний, хорошо сохранившийся, сильный и высокий человек.

Сила его скрадывается пропорциональностью. Довольно густая черная бородка, красивые большие глаза: в них какая-то ласка, задумчивость, скромность.

Обстановка его фанзы скромная. Нет стульев, и мы сидим на очень простеньком ковре.

Нам подали вареную курицу, корейскую лапшу и корейские пикули. Все это, очевидно, не каждодневная пища. Чаю и сладкого нам не предлагали.

Он очень смущен нашими мелкими подарками и просил передать, что будет, смотря на них, вспоминать о нас. Он уже распорядился о дальнейшем нашем путешествии, послал предписания и нас снабжает ими.

Кстати сказать, дороги его округа являются идеалом, в сравнении с остальными дорогами Кореи. Даже мосты почти везде имеются.

Мы говорим с ним о политике.

Корейцы, по его мнению, совершенно не годятся к войне. Это кроткий, тихий народ и теперь по-своему очень счастливый, потому что умеет довольствоваться малым (44).

— Деньги не всегда дают счастье.

Он смеется, и его белые зубы сверкают, а глаза ласково смотрят. Японцы одно с ними племя (45), но они испортились, стали двуличны и жадны. Но денег нет и у них. «Араса» — это сильный, могущественный народ. «Араса» храбр, и ему здесь никто не страшен. «Араса» богат, и вся Северная Корея живет заработками в России. Для Кореи не надо солдата, нужна ласка. Для хунхузов нужно солдат.

У них в городе 400 фанз 1 500 жителей, 200 быков, 100 коров, 100 лошадей. Население города наполовину занимается земледелием (46). Часть служит, часть торгует, остальные бездельничают. В нашем путешествии к верховьям Туманганга и Ялу предстоит много затруднений: нет жилья, становится холодно, бродяги, хунхузы, тигры, барсы. Небо сохранит нас...

Мы встали и откланялись.

24 сентября.

Весь день вчера прошел в работе, — писал, осматривал город. Такие же грязные улицы, грязные маленькие фанзы, маленькие лавочки с дешевыми материями и необходимыми принадлежностями несложного корейского хозяйства.

Часов в семь пришел с визитом начальник города. Его не несли на носилках и не кричали при его проходе. Он шел уже по новому закону. Такой же скромный, тихий, обстоятельный.

Вследствие вчерашней моей просьбы, принес подлинную меру пути.

Я наконец добился, что такое ли. В ли 360 тигачи. Тигачи составляет 0,445 саж. Следовательно ли равняется 162 саженим и составляет треть версты. Мы торжествуем таким образом: точность нашего измерения вне сомнения (47).

Начальник города принес подарки: на корейской бумаге китайские надписи: «Начинающийся свет», «Красная каменная гора».

— Это приносит счастье.

Начальник выпил рюмку коньяку и больше пить отказался.

Мы сняли с него фотографию и, пожелав друг другу всего лучшего, расстались.

Он ушел скромно, с опущенной головой, точно в раздумье о чем-то.

— Корейский народ, может быть, будет богат и образован, но таким счастливым он уже никогда не будет,— вздохнул он, прощаясь.

Все готово.

С сегодняшнего дня весь транспорт идет уже не разделяясь.

Причина — китайская граница и хунхузы.

Пора ехать; запах от набившейся толпы ребятишек несносен.

Опять Туманганг перед нами, но это уже речка не более 25 сажен. Крутые берега его иногда не пускают нас, и тогда взбираемся на боковые перевалы. По обеим сторонам мелкий лесок, цветы осени. Чудная погода, шумит Туманганг, и несется шум в синее чистое небо, где спят горы, спят и точно дышат в своих бархатных коричневых коврах.

На той стороне китайский берег, обработанные поля. Это работа корейцев, а поля китайцев, и берут с них китайцы из 10 снопов в свою пользу 6. Это указывает на громадную нужду в земле. Надо вспомнить при этом, что такой работающий на китайской стороне кореец постоянно рискует попасть в руки хунхузов, которые или убьют его, или возьмут выкуп. И нужда все-таки гонит их на китайский берег.

— А если б пришел «араса», — он храбрый и прогнал бы хунхузов.

— Мы так хотим «араса»...

Так страстно говорит каждый поселянин этих мест. Нам предложили сразу, как вышли из Мусана, переправиться на китайский берег, как более пологий, но мы решили идти корейским. Однако после двух головокружительных перевалов в конце концов предпочли иметь дело с хунхузами, чем рисковать лошадьми. Тропа, по которой двигались мы на высоте 50—66 сажен над Тумангангом, буквально вьется по карнизу, наибольшая ширина которого 2 аршина, наименьшая же просто промывтая пропасть, через которую и проходят по выступающим камням.

Нога пешехода скользит, но положение выючной лошади с шестью пудами колеблющегося на ее спине груза невыносимое.

Одна из лошадей потеряла равновесие и уже съехала было задними ногами в пропасть, и мы часа два провозились, пока спасли ее.

Хуже всего на поворотах, которых корейцы совсем не умеют устраивать: или приткнут друг к другу под острым углом две тропы, с почти отвесными скалами, или совсем не соединят, предоставляя лошадям и пешим прямо прыгать.

Зато виды непередаваемо хороши. Тем не менее пришлось отказаться и от видов. И, хотя наступает вечер, мы все-таки перешли ночевать на китайский берег, где и устроились в какой-то брошенной китайской фанзе.

Проводник очень усердно уговаривал нас, ради безопасности, хотя бы переночевать на корейском берегу. Он и корейцы так и ночевали. Кончив свои работы на реке, я первый перебрался на другой берег и, пока возились с перевозкой вещей, присел там, наблюдая группу из корейских женщин, которые в ожидании паромы — длинной и узкой лодки с бревнами по бокам — сидят на берегу. Подходят новые: одна с мешком, другая с корзиной на голове, почти каждая с ребенком на спине. Сидящие предупредительно помогают пришедшей снять мешок. Все они стройны, в них много грации, но лица некрасивы. Костюм похож на наш дамский — баска, широкий пояс, юбка-колокол. Изящные манеры, прическа — это группа наших дам. Они так и сидят, в противоположность своим мужьям, не обращая на нас никакого внимания.

Уехали корейки, и я иду к одинокой фанзе, месту нашего ночлега. Все это время приходилось проводить в шумном обществе корейцев, от любопытства которых нет спасения; приходилось и есть, и спать, и работать на глазах толпы. Так они все живут, и в чужой монастырь не пойдешь со своим уставом: приходится поневоле покоряться. В первый раз здесь я был один лицом к лицу с здешней природой. Точно первое свидание, с риском дорого поплатиться за него. Я замечтался и сижу. Сама осень, ясная и светлая, навевает особый покой и какую-то грусть. Точно задумались все эти горы и даль в своем праздничном наряде и грустят о промчавшихся лучших днях.

Так уютен уголок, где эта хижина...

Целый лабиринт отдельных гор странно закружился,

и потерялась в них эта долинка с хижинкой и сверкающей речкой.

Шум реки словно стихает под влиянием вечера, а косые лучи солнца, уже не попадая в долину, скользят там выше и теряются в синеющей мгле.

Окраска гор — волшебная панорама всех цветов. В одном повороте бархатная даль отливает ярким пурпуром, там великолепный фиолетовый налет, а на западе, в бледной позолоте неба, как воздушные, стоят иззубренные группы гор.

И река полосами отражает эти тона, и все кругом замерло, неподвижно, все охваченное очарованием свежести и красоты.

А потом почти сразу наступила ночь, потухли горы, тьма легла и охватила мягкое, бархатное, синее небо.

Холодно: — 3° всего. Принесли корм лошадям.

Десяток-другой корейцев, ободренных нашим присутствием, не спешат на свой берег.

— Оставайтесь всегда здесь, — наивно предлагают они нам.

— Но ведь это не ваш берег.

— Нет, наш, — еще на 150 ли наш, но мы не успели сделать пограничных знаков, и хунхузы захватили нашу лучшую пашню себе.

Они говорят, вероятно, о нейтральной 50-верстной полосе, которую бесцеремонно захватили себе китайцы (48).

Эти корейцы сообщают первые сведения о Пектусане, высочайшей здесь вершине, — цели нашей поездки, с таинственным озером на ней, питающим будто бы три громадные реки: Туманганг, Ялу и Сунгари.

Несомненно, это вулкан.

Один из очевидцев этой горы (белая гора — Пектусан), проезжавший около нее в 10 верстах, слышал шум, похожий на гром, исходивший из недр земли.

— Это волны озера так шумят, — объясняет он своему: — озеро там глубоко и видеть его можно, поднявшись на самую вершину, но подняться туда нельзя, потому что сейчас же поднимается страшный ветер, хотя кругом тихо, и мелкая пемзовая пыль выедает глаза.

— Почему же ветер поднимается?

— Дракон, который живет в этом озере, не хочет, чтобы смотрели на его жилище.

Хорошо, что дракон запасся такой пылью, а иначе набились бы и к нему любопытные корейцы, как набились к нам, когда мы ночевали у них.

— А Туманганг из этого озера действительно вытекает?

— Говорят.

Что значит Туманганг? Туман — неизвестно куда скрывшийся, ганг — река.

— Зачем ходят на Пектусан?

— Ходят собирать в его окрестностях жень-шень, цена которого дороже золота.

— Корейцы ходят.

— Не корейцы.

25 сентября.

Холодно: два градуса мороза.

— Ив. Аф., будите людей.

Ив. Аф. дежурный. Дежурство без различия чинов и званий, по очереди. В третью ночь моя с П. Н. очередь.

Как ни торопишься, а вот уже семь часов, и вокруг все еще крик и шум корейцев, и выюки еще не готовы.

Уже приехали корейцы с той стороны, взрослые, дети опять кричат, обступают толпой.

Только женщин никогда нет.

Сегодня какая-то мгла на горизонте, и небо покрыто свинцовым налетом.

Но уже переходит оно в чистый, прозрачно-синий, свойственный осени, свой цвет.

С утра и горы поблекли, — желтизна их тускло сверкает, — краски осени, как годы утомленной после блестящего праздника красавицы, уже чувствуются и выступают ярче, говоря о ее будущей, но уже скорой непривлекательности.

Но выше поднимется солнце и скрадет все эти печальные намеки, и мы успеем еще спуститься к югу, не испортив впечатления последней и лучшей красоты.

Окружили корейцы и, раскрыв рты, смотрят.

— П. Н., скажите им, что вот мужчины-корейцы глаз с нас не сводят, а женщины их и смотреть на нас не хотят. Нам приятнее было бы, если б было наоборот.

Вот дружный хохот раздался, и долго они хохотали. Наконец тронулись.

Я мысленно прощаюсь с Кореей, с этой поэтической страной... А по ту сторону реки — Китай, колыбель древнего народа. Там царство разбойничающих хунхузов, царство «Желтого Дьявола».

25 сентября 1898 г.

Наконец-то я въехал в страну «Желтого Дьявола».

Въезжаю в таинственную страну с внутренним содроганием, но без страха. Какое-то волнующее нетерпение и желание поскорее узнать новое — сопутствует меня...

Мы едем китайской землей. На другой стороне вся в горах Корея, а здесь хлебородная, версты в 2—3 долина. Урожай в этом году и здесь превосходный: высокий красный гаолян, могучая кукуруза, чумиза, буда, яробуда, бобы сои: я собрал до 30 сортов всех этих семян.

Через десять верст опять переправа на корейский берег в том месте, где в Туманганг впаля многоводная и быстрая Тагайон.

Между двух рек высокая скала, и дальше, по берегу Туманганга, ряд скал.

Пока идет переправа, подходит кореец со шкурой барса: он убил его в 14-й день 8-й луны, т. е. неделю тому назад. Длина туловища без хвоста 2 аршина.

Вот при каких условиях он убил барса: женщина из соседней деревни сидела на берегу реки и мыла салат (салат корейцы солят на зиму и посыпают перцем). Это было часа в два дня, ходил народ, и тем не менее барс, с наглостью, присущей только ему, подкрался и бросился на нее, по обыкновению, сзади и, по обыкновению, схватил ее за шею. Затем с этой 25-летней женщиной он бросился в воду, но тут закричал народ, и барс, выпустив свою жертву, один переправился на другую сторону. Но там, несмотря на крики, он остановился и следил за своей жертвой, которую несло водой и которую никто не решался, в виду его присутствия, спасти.

Этот стоящий теперь передо мной охотник успел бежать домой, зарядить свое фитильное ружье, возвратиться и, выстрелив, положить на месте хищника.

Кореянка, хотя и спасена, но в безнадежном состоянии.

Теперь по закону он везет шкуру в Мусан к начальнику города, который и определит цену за нее, взяв известный процент в пользу государства.

Отвратительный закон, отбивающий у населения охоту убивать тигров и барсов, так как представление этих шкур, пошлины и все неправильности произвола, уничтожая все выгоды добычи, оставляют корейцу только риск быть разорванным зверем.

П. Н. написал начальнику города, что я очень прошу продать мне эту шкуру и прислать в деревню Тяньпэ, последний населенный пункт.

День жаркий, на солнце 30°, совершенно летний. Летняя мгла покрыла горы и небо. Перед нами узкая тропа, теряющаяся на трехсотфутовой высоте: по этому подъему мы сейчас пойдем.

Эпизод с Бибиком.

Не хотят лошади сходить в узенькую лодочку, где и человеку трудно сохранить равновесие. Уже с час тянут их за узду и кричат корейцы, но лошади уперлись передними ногами у самой лодки и ни назад, ни вперед.

Подъехал Бирик, посмотрел, слез со своей лошади, подошел к упиравшейся лошади и, взяв ее за передние ноги, поднял и опустил их в лодку.

После этого лошадь спокойно втащила и свои задние ноги, — так поступили и с другими лошадьми.

Когда корейцы стали выражать ему свое удовольствие и даже восторг, Бирик отвернулся, чтобы скрыть улыбку, и проговорил:

— Вот как стану вас сшивать здесь...

Мы опять на корейской стороне, много гор, но совсем нет пахотных мест. На перевалах кой-какой лесок, но плохонький. Порядочные сосны попадают иногда только на могилах предков. Добрая часть Кореи в этих могилах.

Проехали еще обильный водой приток Туманганга, и Туманганг уже превратился в десятисаженную, со множеством перекастов, горную реченку.

Четыре раза поднимались и спускались с перевалов. Спуски круче полуторного откоса. Как мы не побили наших выючных лошадей — не знаю.

Сделали 24 версты, и уже вечер, и люди и лошади так выбились из сил, как ни разу еще не выбивались.

До Тяньпэ не добрались и заночевали на одном из перевалов, с которого спуск очень затруднителен.

Из трех фанз одна сколько-нибудь сносная, но из нее

только недавно унесли покойника, и чувствуется еще явственный запах трупa.

Разбили поэтому палатки, хотя и очень холодно. Холодно делается сразу, как только садится солнце.

Солнце теперь как раз садится, и опять перед нами панорама гор. Но сегодня закат какой-то тяжелый и сумрачный. Только на мгновение сверкнули огнями горы, а затем последний блеск пурпура, последний печальный отсвет фиолетовой воды, и быстро гасятся огни неба и земли.

Холодная тьма заволакивает округу, и хочется тепла и уютного покоя. Нескоро еще все это выпадет на нашу долю.

Выпили по стакану чая и стали приводить в порядок работу дня. Еда без хлеба, да и еда невозможная, а работа тяжелая, целый день на лошади,—сегодня мой пояс стянут на пять дырок меньше.

Смотря на других, видишь, как каждый сдает: лица вытягиваются, фигуры тоньше.

Переносная кузница работает у фанзы.

Как нашу тяжелую мельницу кореец заменил легкой толчейей, так и тяжелый горн наш заменен игрушечным ящиком, в котором движется поршень. Ящик трубкой соединен с обыкновенным горшком, наполненным горящим углем. Кореец двигает игрушечный поршень, и пламя ярче горит, а в угле подкова или расплавляемый чугун.

— Можно посмотреть ящик внутри?

— Теперь, когда плавится чугун, нельзя показать, если б даже дед встал из могилы.

А чугун плавится — много-много копеек на пять.

— А снять фотографию можно?

Можно. И я снимаю кузницу, фанзы, долину реки с ее гористою далью.

Через речку перекинут мостик. Он буквально из щепок, а вместо помоста — плетень, засыпанный сверху песком.

Ширина моста — аршин. Ехать верхом нельзя — провалишься, в поводу надо вести лошадь.

Идешь, и все качается, а внизу с бешеным шумом скачет по порогам река, шириной саженой в десять.

Это поразительная черта корейца — доводить до минимума всякую потребность. Все есть, но все в самой минимальной дозе.

Достаточно посмотреть на их обеденный, в поларшина высотой и такой же в диаметре, столик, со всем их обедом и семью закусками.

В таких маленьких чашечках дети у нас угощают своих кукол.

Такие же маленькие у них и лошадки. Скот более крупный, но я думаю, что большим он кажется по сравнению с мелкорослой лошадкой, на самом же деле это средний скот, пудов на 17 мяса, симентальского типа. Уступает и нашему малороссийскому, и венгерскому, и итальянскому.

Надо принять во внимание, что кореец не пьет молока, не ест масла, и все молоко коров идет на прокорм теленка.

Под вечер выбрались на плоскогорье, и в первый раз в Корею открылось пространство, которое можно назвать полем: тысяч десять десятин годной к пашне земли, и все, как на ладони.

Урожай, впрочем, здесь значительно хуже, чем на китайской стороне.

Оригинальный маленький скромный народ, ни на что не претендующий, безобидно утешающийся тем, что счастье его отнято китайцами и всеми другими.

26 сентября.

Ночью в окрестностях где-то мяукал тигр (49).

На рассвете я видел волка, который, не спеша, переходил ближайшее поле. Пока я доставал ружье, волк исчез. Мелкий, величиной в среднюю собаку, беловатый, худой.

Вчера Беседин долго рассказывал про известного из Владивостока охотника В. П. Хлебникова.

Зимой он отправляется один с своей собачонкой по следам тигра. Иногда неделю он так ходит, выбирая для ночлега всегда саженой на 200 открытые места. Там спит он, разгребши снег, в меховом мешке. На нем спит его собачонка.

— Один брат только и есть у меня, а в такие ночи собака и брата дороже. Чуть что, без лая начинает лапами трогать меня, пока не проснусь. Раз так, пока тигр подкрадывался, я успел вылезть, приложиться и уложить его в тот момент, когда он прыгнул,— я всегда тогда только стреляю и отскакиваю в сторону: всего

сажени на две. Если даже промахнусь или попаду, да не убью,—тигр не бросится, а опять обежит саженей двести круг, опять, не доходя саженей десять, нацелится, сделает прыжок, опять отскочи и бей.

Ему приходилось таким образом всаживать до семи пуль, пока убивал тигра.

Из 27 случаев только два раза удалось ему убить тигра наповал, попав в сердце.

И он всегда стреляет разрывными пулями.

Одному тигру он разорвал все внутренности, и тот еще два дня после этого жил. Этот тигр был убит жителями одной деревни, когда, обезумев от боли, он ворвался в эту деревню, успев на улице разорвать трех быков, пока его убили. Есть он уже не мог, только рвал.

На медведей Хлебников охотится двояко,—овсянику который встает при встрече на дыбы, бросает железный шар с заершенными иглами. Медведь обеими лапами со всей своей силой схватывает такой шар, но лапы его, благодаря заершенным иглам, пришиваются таким образом к шару. И тогда такого медведя можно вести куда угодно: будет реветь, но пойдет.

Муравейник-медведь на дыбы не встает, а старается врага сбить с ног: он очень опасен, и надо, не зевая, стрелять.

Дикий кабан в одиночку — пустяк, но в стаде кабаны стоят друг за друга; тогда скорее на дерево, выбирай потолще, иначе перегрызут ствол клыками.

Сегодня и поднялись рано и уложились рано,—обычный двухчасовой урок английского языка по самоучителю я успел все-таки сделать.

Впереди горы словно меньше, но зато вся местность поднимается и становится на горизонте в уровень с пройденными горами. Но там опять, хотя и редкие, вырастают новые горы.

Мы спускаемся, поднимаемся, опять и опять все у той же реки Туманганг. Здесь она уже саженей шесть ширины.

Верст тридцать вверх от Мусана она течет в каменистом ложе. Громадные камни торчат, и между ними бело-зелено-синяя бурно рвется река.

Камни разнообразных причудливых форм. Вот громадное кресло, вот высунулась громадная уродливая

каменная голова и круглыми черными глазами смотрит сфинксом из воды на синеющую даль гор.

Местность сразу обрывается. Исчезает открытое поле, пашня, жилье. В узкой теснине бешено рвется Туманганг. Круглые откосы его уходят в небо, покрытые мелкой, желтой, как золото, лиственицей. Вверху нежно-голубое небо, белое облако. Это сочетание цветов — реки белосине-желтой, гор нежно-золотистых, голубого неба, контраст этого дикого порыва реки и безмятежного покоя — ласкает глаз, чарует душу.

Следующая маленькая деревня как раз та, где барс (по-корейски тхоупи, а тигр — хораи или поми) схватил женщину. Вот та фанза, где жила эта женщина, вот место, где она сидела.

Вся деревня собралась и рассказывает.

Упустив добычу, барс, оказывается, возвратился назад на этот берег, не обращая внимания на кричавший народ. Охотник стрелял почти в упор в барса. Рассказали это нам, обступив по-корейски, и замолчали. И все мы под впечатлением рассказа. Какой-то кореец лениво бросил слово. Другой что-то сказал. Переспросил равнодушно П. Н., и неохотно вмешался третий. Еще один какое-то слово бросил, и вдруг оживился П. Н., глаза загорелись, и все сразу закричали, заговорили, и удивляешься только, как можно при таком гвалте что-нибудь понять. Кажется, что ссорятся все они насмерть, если бы не спокойное добродушие их лиц, когда, кончив, они затагиваются из своих длинных трубок.

— Да, так вот в чем дело, — радостно переводит П. Н., — тут целая история выходит. Семь лет тому назад за нее сватался один человек. Он был бедный, и отец не хотел отдать ее. Тогда он сказал: «Буду же я богатый», — и пошел рыть жень-шень. Они поклялись друг другу, что будут мужем и женой. Уходя, он сказал: «Жди меня». Хунхузы убили его. Прошло три года, и девушку выдали за другого. В день свадьбы он явился к ней во сне и сказал: «Помнишь клятву, — жди меня». А теперь он пришел за ней, — не он, душа его, вошедшая в барса. Оттого барс и не думал о себе и не видел охотника. А обыкновенный барс так разве делал бы? Убежал бы и конец.

— Ну, что ж теперь?

— Теперь неизвестно. Если женщина выздоровеет,

позовут тоина или шамана. Через сорок дней Оконшанте скажет душе барса свою волю,— может, сделает его опять барсом, или тигром, или медведем, или кабаном, или змеей, словом, таким зверем, который опять придет к ней, или скажет: «довольно»,—и возьмет его душу к себе на небо, или в червяка превратит, и она его раздавит по дороге. Может, женщина, если жива будет, успеет упросить Оконшанте. Шаман поведет ее на гору, где устроена «кукша», и будет там молиться с ней.

П. Н. закончил так:

— Ну, словом, корейцы уже успели запутать все дело так, как их самих запутали их горы.

Так на наших глазах создалась новая легенда.

Еще одна деревня Тяньпэ, и затем конец всякому жилью.

Но и здесь уже пахнет глухой дичью.

Нависли утесы, шумит река, мелкая поросль с обеих сторон. Откуда-нибудь с утеса того и гляди прыгнет барс. Или просто треснет ветка, испугается лошадь, метнется, и полетишь с ней на острые камни Туманганга.

Мы вытянулись в линию по одному.

Хунхузы стреляют в первого, тигр бросается на последнее, барс на кого попало,— все места таким образом равны.

Эти три сильных мира сего оспаривают здесь власть и свое право.

Право сильного: наши винтовки за плечами заряжены, и штыки при них. Веселое возбуждение у всех. Хватило бы только его, пока мы в диких и действительно опасных местах. Как бы не осилила русская беспечность.

Бибик уже говорит:

— Яки таки хунхузы: сколько ходыв, так и не видав. Да и что они могут?

В. В., наш китайский переводчик, сообщает, что сорок хунхузов ушло к Пектусану: это говорили ему и в Мусане и встречный китаец.

Все смолкают на мгновение; известие действует неприятно.

Бибик говорит:

— Хоть и сорок, як зачем их сшивать...

Его громадная фигура качается в это время на маленькой лошадке.

— А что ж,— продолжает он,— если на пули пойдёшь дело, сколько их уложишь? А в штыки?

Бибик смеется.

— Он от штыка, як чорт от ладана...

Слова В. В. прошли без всякого впечатления.

Я ловлю момент и прошу его на будущее время все подобные слухи сообщать только мне.

На глухом повороте стоит западня для тигра.

Западня длиною две сажени, шириною аршин. Четыре стены из бревен, вырубленных в лесу. Высота всего здания шесть четвертей. Вместо потолка, громадные камни.

Входная дверца западни приподнята, с противоположной стороны такая же дверца, за которой приманка: собака, свинья.

Тигр лезет внутрь, дверь за ним опускается, и стоит он там, не будучи в состоянии ни уйти, ни съесть приманки.

Все более и более наглядные признаки глухой стороны.

Последний перевал перед Тяньпэ.

С него открывается уже новый вид: перед глазами на запад равнина с небольшими бугорками, покрытая лесом.

Здесь лес все еще никуда негодный,— частью вырублен и обращен под пашню, частью растёт,— все большое и хорошее гниёт на земле, мелкая же чаща только глушит друг друга, и нет впечатления роста ее.

Изредка только попадают отдельные прекрасные экземпляры лиственницы.

Лиственница, осина, липа, дуб.

Один день всего, один переход, но какая перемена: ни одного зеленого листа. Все они желтые — от дуба с темнокоричневой листвой до березы и лиственницы, нежно-золотистых.

Все листья еще на деревьях, но первая буря оборвет их.

Я с тревогой думаю, как будем мы кормить наших лошадей, но мой конь, как бы отвечая на мой вопрос, с величайшим наслаждением ест эти листья, грызет ветви, жуёт сухой бурьян.

Да, только на таких лошадях, если нет верблюдов, здесь и можно ездить.

На вершине перевала два молитвенных дома: кукши.

Одна в честь Оконшанте (начальника неба), другая, на противоположном скате — государственная (Вон-нан), где два раза в год молятся за императора. Первая пользуется большой популярностью во всей Корее.

Из рисунков обращает на себя внимание райская птица — аист, белый с черными крыльями и хвостом, красными лапами и клювом. Аист нарисован очень хорошо. Затем уродливая голова — Натхо — род наших дельфинов, как их рисуют в наших сказках. История этого Натхо уже известна.

Я снял фотографию и с рисунков и с самой кукши; я воспользовался моментом, когда проводник еще раз молился по моей просьбе о благополучном путешествии.

Я спохватился потом уже, что сделал неловкость, и извинялся за свою неловкость.

Он ответил:

— Я молился перед небом по просьбе и за русских.

Признаюсь, я был смущен и деликатностью его, и вежливостью, и его искусством дипломата как в отношении неба, так и меня.

Сегодня утром замерзла вода; не особенно приятно, потому что народ в партии налегке. Три солдатики при легких шинелях, а маленький кореец, кроме пиджака, ничего не имеет.

Так как теплое здесь можно достать только корейское, то в костюмах наших корейцев выйдет порядочное разнообразие: башлыки корейские, у одного пиджак европейский, у другого брюки.

— Ничего,— утешает Бирик маленького корейца,— дадим тебе ружье, все-таки за капитана бабы примут.

Что до солдат, то они с гордостью отказываются от теплого корейского платья.

— Холодно будет.

Бирик презрительно бросает:

— Привыкать, что ли, к цыганскому поту?

Какой-то кореец пристал к П. Н. Тот нетерпеливо несколько раз что-то ему повторяет, а кореец методично все задает тот же вопрос.

— Ах, и любопытный же народ, как дети!

Вдруг лицо П. Н. оживает, и он начинает с очень довольным видом что-то рассказывать корейцу. Так тот и отстал.

Догоняет П. Н., и на лице его полное торжество.

— Пристал: скажи ему, зачем мы идем на Пектусан? Говорю: так, путешествуем. Нет, — зачем мы идем? Ну, я ему хорошую штуку выдумал. Говорю ему, что нашему начальнику снился сон. Прилетел к нему дракон с Пектусанского озера и сказал, что в последний день восьмой луны он поднимется на небо, и так как место освободится, то вот не хочет ли начальник положить туда в озеро кости своего деда, и тогда из рода его выйдут французские императоры. А у корейцев место после дракона считается самым счастливым, императорским. Вот, дескать, начальник и везет теперь кости своего деда. Вот теперь, говорит, понял, очень довольный ушел.

— Зачем же вы так сделали?

— Да это еще лучше. Сам все равно выдумал бы такое, что хуже бы еще было. Я ведь осторожно, — не сказал: корейский или китайский император, а чужой, французский. Ищи там. Он спрашивает: «А начальник разве нашей веры?» А я ему говорю: «Чудак, чай, каждому охота быть императором, а ведь не все же императоры вашей веры». — «Верно», говорит.

Разговор происходил с жителем последней деревни Тяньпэ, куда мы теперь и спускаемся.

За несколько часов, что мы не видели Туманганг, он успел еще похудеть. Правда, стремительный поток, но сажень пять всего, и глубины — пол-аршина.

Этим, в сущности, все надежды на Пектусанское озеро, как и на то скалистый, то песчаный Туманганг, в смысле судоходства, разбиваются. Надежды вот какие: из озера берут начало три реки, — следовательно, при соответственных работах, можно всегда располагать запасом воды трех рек. Но если такие речки, то, и соединив три в одну, ничего не получим.

Остается интерес туриста, отчасти и географический, — озеро не измерено, не промерена его глубина, не исследованы его выходы, следовательно не проверены и истоки этих трех рек.

Затем вопрос дорог. Двести лет тому назад один англичанин попал на Пектусан с восточной стороны. Наш русский путешественник, полковник генерального штаба Стрельбицкий, бывший на Пектусане в 1894 году, прошел от Тяньпэ и возвратился той же дорогой назад. Хорошо бы было найти другой выход и пройти дорогой, которой не ходили еще европейцы.

По теории такая дорога должна быть,— если есть выход на Туманганг, то тем более должен быть выход на гораздо большую реку — Ялу.

П. Н., пользуясь рекомендательным письмом пусая, сейчас же, как приедем, сделает совет из жителей Тяньпэ.

— И без рекомендации все прибегут.

Действительно, не успели и с лошадей слезть, как все уже налицо. Бросили полевые работы.

И было же дела нашему проводнику: сперва поздоровался он со старостой, причем оба присели на корточки и положили руки на землю. В таком положении они говорили долго и затем оба встали. Затем староста знакомил его со своими односельчанами, и наш чистенький старичок то и дело проворно припадал к земле, бросал несколько фраз и озабоченно вставал, чтобы опять припасть. В моменты припадания лицо его ласково и заискивающе, а когда он на ногах, на лице его сдержанное достоинство. И какой миллион оттенков в этих припаданиях!

Если перед ним человек с камилавкой — дворянин, он первый валится. Вальяся, кажется, оба, а смотришь, каждый раз коснется земли как раз тот, кому надо по чину.

Кто в трауре, того вторично опрашивает, и опять оба припадают: молятся за упокой души усопшего.

Нам отвели очень хорошую фанзу, и все набились туда.

Расспросы, разговоры, миллион разговоров, и наконец заговорил высокий, представительный старик.

Да, он знает дорогу на Пектусан и прямо на Ялу отсюда. Он ходил там.

— Не желает ли он быть проводником?

Он пойдет с товарищем,— один боится. Товарищ в поле и придет вечером.

Вечером опять полная фанза народу. Но перед этим я, или вернее, П. Н. сделали очень важное открытие: Цой-сапаги, наш высокий кореец из провинции Хоангхэ, города Хэчжу, знает множество сказок. За любовь к сказкам и чтению он был избран местными корейцами во Владивостоке даже председателем любителей чтения. Сейчас же мы устроили ему экзамен.

И вот он, высокий, с длинными тонкими ногами, в узком пиджаке, корейской прическе, с котелком на голове, сидит перед нами и уже рассказывает прекрасную

сказку о Сим-чоне. Она уже записана у меня, но он передает много новых подробностей, существенно изменяющих смысл сказки.

Жители Тяньпэ все здесь и во дворе слушают с открытыми ртами и, когда Сапаги кончает, задают ему ряд вопросов: знает ли он такую-то и такую-то сказку и еще такую-то, и после долгих переспросов объявляют, что такого начитанного и знающего редко встретишь.

Сапаги не слышит их отзывов. Кончив рассказ, он возится уже с лошадьми. Весь день он бегал, разыскивая овес, солому, провизию, теперь повел поить лошадей.

Неделю тому назад он пришел просить расчет за то, что я что-то резко сказал ему. Ни одного слова брани не было мною произнесено при этом.

Я извинился и просил его остаться.

Получив удовлетворение, высокий Сапаги еще энергичнее поднимает свои длинные ноги, прыгая между тюками, делая все дела, которые только ему поручали.

— Если вы его не облегчите, — сказал вчера П. Н., — то он прямо не выдержит и заболает.

Но отныне судьба его изменяется. Сапаги переходит на мой личный счет, а вместо него нанимается новый кореец.

Дело его отныне — закупка припасов и рассказы.

— Ну-с, теперь сказки надо оставить, — объявляет мне П. Н.: — собрались старики.

Я покорно оставляю сказки, и мы переходим к обсуждению предстоящего похода.

Старик-проводник совсем не явился, вместо него пришел его товарищ, — лет сорока пяти, большой, энергичный и уверенный в себе кореец.

— Так вы желаете идти на Пектусан?

— Да. Со Стрельбицким я ходил.

— Я не только хочу идти на Пектусан, но оттуда пройти на Ялу, — говорю я.

— Нет туда дороги, — отвечает он.

— Но старик говорит, что есть.

— Старик ничего не знает: там теперь снег по колено, там хунхузы, там четыреста верст надо идти до Ялу.

— Но вся Ялу четыреста верст, — как же до верховьев выйдет четыреста.

— Много изворотов.

— Скажите ему,— говорю я,— что изворотов много в его словах.

— Он говорит, что в крайнем случае он проводит нас до первой корейской деревни по этой дороге,— двести ли от Пектусана.

— Значит, есть дорога?

— Опасных людей много.

— А спросите его, много он встретил со Стрельбицким.

— Двух.

— Вот в том-то и дело, потому что зимой опасным людям делать там нечего,— они ходят туда летом за гень-шенем (50), за рогами изюбра, за золотом,— ничего этого зимой не достанешь, а теперь уже зима. Скажите ему, что книга Стрельбицкого передо мной.

Я показал ему книгу.

— Сколько он хочет, чтобы проводить нас?

— Он хочет сорок долларов.

— За пятнадцать дней работы?

— Стрельбицкий дал ему двадцать долларов и ходил с ним только до Пектусана.

— Но Стрельбицкий шел с тяжелым обозом, гнал баранов, он шел шесть дней до Пектусана, а мы два.

— Опасно, он меньше не желает, и никто не пойдет, кроме него.— П. Н. понижает голос и говорит: — У них стачка.

— Тогда я пойду без проводника или возьму хунхуза.

— Хунхузов теперь нет.

— А какая же опасность тогда?

— Ничего не можем на это сказать. Меньше сорока долларов не желаем.

— Ну и довольно,— я не беру проводника. Теперь выючные: есть охотники? Сколько хотят?

— Десять долларов за лошадь, и только до Пектусана.

— Сколько пудов на лошадь?

— Четыре.

— Я дам четыре доллара.

— Не хотят.

— Мы навьючим своих лошадей и все пойдем пешком. Скажите старикам, что я благодарю стариков и не утруждаю их больше.

Наш проводник очень взволнован, что-то горячо говорит, все уходят.

— Проводник упрекает их в негостеприимстве, — переводит П. Н., — в желании схватить за горло; говорит, что для Кореи выгодно, когда приезжают знатные иностранцы, и не надо отбивать у них охоты ездить к нам, потому что они привозят много денег.

С горя я сажусь за английский язык.

Н. Е. еще засветло ушел на китайскую сторону, охотиться за кабанами, и с Бесединым и Хоповым просидел там до двенадцати часов ночи. Хрюканье слышали, но темно и ни одного кабана не видели.

27 сентября.

Проснулся с неприятным чувством: итак, ничего не устроено для дальнейшего путешествия.

— Ну что ж, П. Н., как мы будем?

— Подождите: уже приходил прежний старик. «Я, говорит, дал слово и пойду без товарища». Проводник из Мусана вчера с ним всю ночь провозился. Старик идет, не торгуясь. Выючные согласны по пяти долларов за четыре пуда до Пектусана. Я рад, что вчерашний проводник не идет: с ним кончили бы тем, что вернулись бы с Пектусана назад в Тяньпэ. Скажет: дороги нет, как его проверишь?

Таким образом все сразу устроилось.

— А почему старик не пройдет с нами на Амнокганг (Ялу)?

— Лошади у него нет.

— Я дам ему лошадь.

Пришел старик, и П. Н. сообщает:

— Он согласен.

Весь день прошел в переборке и переукладке вещей. Все, что можно, уничтожаем: ящики, вещи, оказавшиеся мало пригодными.

— Так, например, десять фунтов песку сахарного — взяли нетронутыми: раздать людям.

Патроны разобрали по рукам. Всего пуда три выбросили. Остальное до Пектусана.

Сегодня отдых, и мысли убегают далеко-далеко отсюда.

Тихо и медленно делается всякое дело. Потом огля-

нешься, и будет много, а пока, в работе, лучше не думать о конце.

Я любуюсь и не могу налюбоваться корейцами: они толпятся во дворе, разбирают выюки.

Сколько в них вежливости и воспитанности! Как обходительны они и между собою и с чужими, и как деликатны! Ребятишки их полны любопытства и трогательной предупредительности. Я вынул папиросу, и один из них стремительно летит куда-то. Прибегает с головешкой — закурить.

Я снимал их сегодня и, снимая, сделал движение, которое они приняли за предложение разойтись, что мгновенно и сделали. Когда дашь им конфету, сахар, принимают всегда двумя руками: знак уважения.

Какое разнообразие лиц и выражений!

Вот римлянин, вот египтянин, вот один, вот другой — мой сын, а вот совершенный калмык.

Лица добрые, по природе своей добрые.

Я вспоминаю слова одного русского туриста, что кореец любит палку, и с ним надо держать себя с большим достоинством, надо бить по временам.

Стыдно за таких русских туристов. Каким животным надо быть самому, чтобы среди этих детей додуматься-таки до кулака!

Ходил осматривать деревню Тяпэ. Собственно, две деревни в версте друг от друга. Всего 32 фанзы.

Перед въездом отвод из бревен против лучей злой горы.

Вся местность здесь плоская, — с версту пашен. Маленький Туманганг звонко шумит по камням.

Глубокая осень, нет и следа зелени, все желто и пошло, редкий лесок исчезает на горизонте.

Едва только выглядывают горы с востока и запада, на севере же, куда лежит наш путь, гор нет уже, но вся местность точно вздулась и поднялась в уровень гор.

Тяпэ — пионер цивилизации в борьбе с лесной тайгой. 240 лет тому назад основалось здесь это селение. Тогда же и проделана была довольно трудная дорога из Мусана сюда.

Мусан назывался тогда Самсан (три горы). Тогда здесь не было совсем пашни.

Теперь уже лес верст на двадцать переведен, и есть десятин семьдесят пашни.

По этому расчету лет через тысячу или две дело дойдет и до Пектусана.

Столько и прежде было фанз: народу немного прибавлялось, немного убавлялось, но в общем все то же. Может быть, их удерживает необходимость перехода к незнакомой им культуре ржи, овса, картофеля, так как здесь и рис и кукуруза идут уже плохо.

И город Мусан не меняется. Что до округа, то прежде было 5 700 фанз, а теперь 3 300 осталось.

— Что ж, вымирает, значит, корейский народ?

— Да, прироста нет. Много ушло в Китай и в Россию.

— Что замечательного произошло здесь за эти 240 лет?

— Ничего замечательного, кроме хунхузов.

В прошлом году пришло их несколько сотен, и вся деревня бежала от них в горы.

Прежде тигров и барсов было много, теперь меньше стало.

Двенадцать лет тому назад приезжала китайская комиссия для определения границ. Были заготовлены и столбы (я их видел, 35 каменных плит), но не поставили, и с тех пор не приезжали.

Между прочим, на Пектусане китайцы высекли тогда брата нашего проводника из Мусана.

— За что?

— Брат настаивал, что Пектусан принадлежит Корее, они рассердились и высекли его.

Вечереет. Слышится шум реки и вечерний шум села: блеянье телят, рев быков и коров.

Корейцы сидят во дворе, окружив меня. Все разговоры кончены.

— Да,— вздыхает какой-то старик:— пока русские не придут, не будет нам житья от хунхузов.

— Русские не придут,— говорю я.

— Придут,— уверенно кивает головой старик.

Едут мимо сани. Колес уже здесь совсем нет, лето и зиму работа происходит на волокушках.

С завтрашнего дня начинается самый серьезный период нашей экспедиции. В лучшем случае предстоит нам сделать двести верст в стране, принадлежащей диким зверям и хунхузам. Если снег выпадет, как-то будем мы, как обойдутся кормом наши лошади?

Все приготовлено с вечера с тем, чтобы в четыре часа утра уже выступить.

Я все не теряю надежды довести скорость передвижения до сорока верст, пока удавалось самое высшее 34 версты, с захватом, однако, ночи. Здесь же ночью ехать нечего и думать, а дни все короче и короче.

Смотрел только что карту, — сделана пока только пятая часть пути — 300 верст.

28 сентября.

Три часа утра.

Ночь звездная, ясная, морозная.

В последний четверти месяц забрался в небо далеко-далеко и маленький, печальный светит оттуда: захватит его еще высоко в небе солнце.

На этот раз петухов разбудили мы, и теперь они смущенно, усиленными кукареку стараются наверстать потерянное время.

Костер наш тускло горит, летят от него искры, и белый дым теряется в темноте ночи.

Раньше половины шестого выступить все-таки не удалось.

Провожать нас вышло все мужское население. Нас напутствуют такими словами:

— Мы желаем русским большого счастья. Русские счастливы; когда они приезжают, стихает ветер и светит солнце. Пусть ездят к нам почаще русские, мы будем сыты и одеты и в безопасности от хунхузов.

Кстати о хунхузах: брат одного из идущих с вьюками вчера возвратился и говорит, что хунхузов много, — собирают целебный корень хуанзо-цури.

В это время, когда вся трава посохла, а он один зеленеет, его легко находить.

Такие собиратели рискуют нередко жизнью, так как пора ненадежная, и первый выпавший снег заносит быстро едва заметные тропы.

Местность поднимается, и леса стало больше. Китайская сторона Туманганга, по которой мы идем, представляет собой долину сажень в триста, редко поросшую лиственницей и покрытую высокой сухой травой, которую лошади по пути с удовольствием хватают.

Дороги нет — тропа, но и делать дороги не надо, везде можно пока проехать. Через ручьи даже мостики, — это следы китайской комиссии, работавшей здесь два-

дцать лет назад, — они шли от Пектусана вниз по течению Туманганга.

На четвертой версте последнее поселение Пургун-пау.

На 12-й версте гора Цын-сани, которая считается корейцами святою. Она имеет оригинальную форму верхней части человеческого туловища, с отсеченной головой и руками.

Высота горы футов 700 над нами.

На вершине ровная плоскость саженой в 30. На ней, говорят корейцы, есть громадная каменная плита, на которой гигантская шахматная доска. Это богатыри в часы отдыха играют в шашки.

С Пектусана видна * эта гора и следующая за ней к востоку Пун-поктоуй, имеющая вид гигантского лица, лежащего вверх к небу.

Через эту гору дорога и перевал в Консан и Тяньпэ.

Наша дорога все время идет долиной Туманганга, который здесь — только звонкий, прозрачный ручей (51).

Местность поросла почти исключительно лиственницей. Золотистые густые иглы ее уходят вверх и оттеняют чистую, нежно-яркую лазурь осеннего неба.

На 20-й версте, на перевале, в первый раз мы увидели и Пектусан и Сёпексан (Малый Пектусан).

Затем его видно часто, а с места, где я пишу, 38-я верста от Тяньпэ, Пектусан как на ладони.

Редкий, везде горелый лес не мешает смотреть на него.

Только сейчас я разобрался в этой горе. Она круглая, но сбоку виден только диаметр ее, — остальное должно дорисовывать воображение. Диаметр громадный (корейцы определяют верхнюю окружность в 170 ли, а окружность озера в 80 ли). Тогда, конечно, это что-то грандиозное.

Два вида Пектусана были очень эффектны.

Вчера, при закате, он был прозрачно-бело-зеленовато-молочный.

Сегодня, до восхода солнца, в тумане утра, он обрисовался на горизонте громадной, поднятой к небу круглой горой цвета серого жемчуга.

* Корейцы говорят: эти две горы получают лучи от Пектусана и поэтому они также священны.

Теперь вид его не так эффектен.

В оврагах он покрыт снегом, и это делает его белым. Летом же он черный, и только кайма на самом верху, там, где пемза, как будто светлей.

Ночевали в глухом месте, у подножья какой-то горы, по-корейски — Хансоу-ан — красная земля, — вероятно, киноварь в ней. Масса нор в ней.

Тут же шумит Туманганг, через который даже мост устроен для бывшей здесь китайской комиссии двадцать лет тому назад. Есть сухая переправа для лошадей и масса сухого леса.

Мы развели пять костров, спасаясь от владык этих мест, — тигров, барсов и хунхузов.

Кстати о хунхузах: сегодня проехали шалаш из веток со свежими следами людей, — костер был еще теплый. В шалаше нашли две вязанки целебного корня хуанзо, который продается по 25 зон фунт.

Товару рублей на 30. Очевидно, эти несчастные хунхузы — два человека — при нашем приближении убежали в лес.

Также убежал и барс, которого видел Н. Е.

Попалось несколько козуль, стреляли, но пока неудачно.

Вечер. По очереди караулить эту ночь должен был я.

В 9 часов для вящего страха несколько раз выстрелили.

Я поставил свой столик у костра и решил, чтобы скоротать время, заниматься английским языком.

Правду сказать, спать безбожно хотелось.

Выручили корейцы при выюках.

— Ложитесь все спать, потому что мы все равно спать не можем. У нас нет теплого платья, да и за лошадами все равно смотреть надо.

Я не заставил себя дважды просить: и сам лег и своих людей снял с караула.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ В РАЙОНЕ ВУЛКАНА ПЕКТУСАН

29 сентября.

В три часа корейцы разбудили нас.

Итак, в царстве хунхузов, тигров и барсов все благополучно.

— А що им тут делать? — отзывается презрительно

Бирик: — так никого до самого конца и не встретим.

— А пишут, а говорят?

— Хоть и пишут, хоть и говорят.

Сегодня штыки отвинчены, ружья в чехлах, и Н. Е. не теряет надежды на охоту, едет впереди и держит ружье наготове.

Я было поехал за ним, но увлекся фотографией, затем сел писать и теперь один в мертвой тишине осеннего да еще выгорелого леса, под чудным сводом голубого, как бирюза, неба. Что-то проскочило в мелкой чаще, коричневого, прыжками: козуля или барс? Не все ли равно — грозный облик этих мест уже разрушен.

Вчера Бирик, отстав, выстрелил в ворону, а П. Н. свалился с лошади.

— Я думал, — говорит он, вставая, — что это меня убили хунхузы.

Бирик куда-то в пространство бросает:

— Двоих сразу убив.

Лес и лес, и все лиственница, изредка в ней березка, раньше, на вершинах увалов, попадался дубок.

То, что я видел, в общем, мало пригодный лес: попадаются отдельные экземпляры прямо великолепного мачтового леса, высокоценного при этом, как лиственный. Но такого леса ничтожное количество, и он говорит только о том, что природные условия для роста такого леса — благоприятные, и что, при соответственной постановке вопроса, через сто лет может быть образцовый лес. Но теперь, в общем, это хлам времен, почти весь пригоревший, подгоревший, посохший. Целые сажени, куда глаз кинешь, тянется молодая, густая поросль, глушащая друг друга, местами посохшая. Целые версты дальше тянется молодяжник постарше, или посохший, или уничтоженный пожаром. Унылый, жалкий вид пологих вершин и торчащих кольев.

— Давно сгорел?

— Давно.

Лес умер, и будет здесь поляна.

Проехали еще 20 верст, и Туманганг исчез. Уже и на ночевке это был ручей в полсажени.

Исчез он по направлению к Пектусану, около озера Понга, которое длиной около ста сажен, а шириной еще меньше, — исчез в маленьком овраге.

Отсюда и название: Туман — скрывшаяся, ганг — река.

Это озеро и вся болотистая местность и являются истоками Туманганга, а не озеро дракона на вершине Пектусана.

Пока я догонял своих, Н. Е. успел встретить медведя, стрелял в него, но до медведя было далеко.

Медведь черный, не крупный, ел в это время голубику, которая здесь в изобилии (52).

Видел он, кроме того, двух козуль и стадо гуранов (козули-самцы).

Всякого зверя здесь, и притом непуганого, непочатый угол.

Вот где места для охоты: Н. Е. молил подарить ему денек для этого. Туземцы обещают выгнать ему и тигров, и барсов, и медведей, и козуль.

Если с одного конца по ветру зажечь, а с другого на заранее выжженном месте стать, то сами все прибегают к вашей цепи.

Я приглашаю сюда художников посмотреть на первобытную природу.

Вот, например, поворот, и перед глазами здешняя глухая, пощаженная пожарами тайга. Высокие гиганты ушли вверх, и сквозь их желто-золотистую листву просвечивает нежно-голубое небо. Другие такие же гиганты, изжив свои века, мирно покоятся внизу. Их, как ковром, густым, изумрудно-зеленым, покрывает вечная зелень, посыпанная сверху мелким желтым цветом лиственицы.

Здесь вековая тишина, и печальная туя там и сям так уместна здесь, в этой тишине кладбища.

Что-то шепчут встревоженные вершины.

Мы уходим от них, и уже далеко слышится последний окрик наших корейцев, нанятых для выюков. Это покрикивают на своих микроскопичных лошадок они, люди Востока, в восточных костюмах, в каких-то дамских, по случаю холода, капюшонах, добродушные, простые, робко косящиеся на всякий куст, на всякий шорох.

А вот и родная тайга: уголок вековых елей, — неряшливый, грязный, как халат старого скряги, и длинные зелено-прозрачные клочья висят на старых, дряхлых, седых елях. Пахнет сыростью и погребом; лошадь ступает осторожно и проваливается в гнилой пень.

Вст овраг, заросль желто-коричнево-черная, и свесились над ним высокие желтые красавицы-лиственицы.

— Любимые места господина, — говорят корейцы, никогда не называя в таких местах тигра, и спешат пройти мимо.

Чувствуется, что это действительно место господина здешних мест, — вот-вот выскочит он, такой же цветом, как и даль эта, и, улегшись, облизываясь, как кошка, начнет весело отбивать на обе стороны такт хвостом.

А вот обгорелые, засохшие деревья одиноко торчат в какой-то серовато-белой, выжженной солнцем пустыне. Не растет даже трава, и обнажился мельчайший, искристый пемзовый песок.

На нем явственные следы всякого зверья: вот копытца барана, а вот лапа хищного спутника его. Множество следов, частью уже посыпанных желтым цветом лиственицы.

Мы подходим к кульминационному пункту и в то же время главной цели нашего путешествия — к Пектусану, самой высокой вершине (8 000 футов над уровнем моря) Чанбайшаньского хребта, — громадный хребет, разрезающий всю Маньчжурию с запада на восток (53).

До нас на Пектусане, как я уже упоминал, побывало двое: в XVII столетии один миссионер и в 1894 году наш полковник Стрельбицкий. Миссионер подошел к хребту с запада, по тому притоку Амнокганг (она же Ялу), в устье которого расположилась и ныне существующая китайская деревня Маоэршань (Линьцзян) (54).

Той же дорогой миссионер возвратился и обратно.

Полковник Стрельбицкий подошел к Пектусану с востока, дорогой, по которой и мы теперь идем. Он был на вершине Пектусана и даже спускался в его озеро, помещенное на глубине 1 300 футов в жерле кратера.

Можно с полной уверенностью сказать, что полковник Стрельбицкий — первый из людей, нога которого ступила на берег этого священного озера. Это очевидно из того, что бывший здесь миссионер не спускался, а что до местных жителей, то и китайцы и корейцы проникнуты таким страхом к священному озеру, в котором живет дракон, что не только не помышляют о спуске в озеро, но и к вершине Пектусана близко не подходят. Непрерывные, периодические явления, происходящие на вершине Пектусана, — вихри, вылетающие из кратера пары, а иногда и пемзовая пыль, раздающийся по временам подземный гул — все эти явления принимаются местными жителями за доказательства живущего там дракона, и поэтому и китаец и кореец — случайные охотники здешних мест — спешат уйти подальше от таинственного, наводящего дикий ужас дракона.

Полковник Стрельбицкий, предполагавший было из Пектусана пройти на Амнокганг, не прошел туда и возвратился той же дорогой назад, на Тяньпэ, так как проводники категорически заявили ему, что ни дороги ни жилья на запад от Пектусана нет.

Мой проводник сперва проговорился было о дороге, но потом и мне тоже заявил, что дороги нет.

Я не теряю надежды: попаду ли я на дорогу миссионера XVII столетия, пройду ли новой, но я решил во что бы то ни стало не возвращаться назад, а идти вперед, в крайнем случае даже по компасу.

Это свое решение я, однако, держу пока в тайне от проводника, чтобы не напугать его.

Кроме этой для всех заманчивой мечты побывать в таких местах, где еще нога свропейца не бывала, цель экспедиции, как я уже упоминал, заключалась в иссле-

довании истоков трех громадных рек этого уголка мира: Туманганга, текущего на восток, в Японское море, Амнокганга — на северо-запад, в Желтое море, и Сунгари, впадающей в Амур и текущей на север. По легенде, истоки всех этих трех рек выходят из таинственного Пектусанского озера, причем истоки одного из притоков Сунгари непосредственно через расщелину кратера сообщаются с его озером, падая каскадом в долину на высоте нескольких тысяч футов, а Туманганг и Амнокганг набираются из ключей, просачивающихся из озера.

Полковник Стрельбицкий сделал предположение, которое нашими исследованиями подтвердилось, что река Туманганг берет начало не на Пектусане, а южнее, в лесах и болотах, окружающих его. А именно, в верстах в 20 от Пектусана, близ озера Понга, диаметром около ста саженей.

Относительно двух других рек скоро узнаем, в чем дело.

Сегодня наша ночевка будет уже у подножья Пектусана...

Дорога все та же, среди оврагов и леса, едва заметная тропка.

Нередко, обходя буреломы, мы теряем эту тропу и долго ищем ее, узенькую в пол-аршина, глубоко ушедшую в землю, так глубоко, что лошадь может идти только шагом.

Это все еще первый след первого человека.

Дорога расходится, и проводник просит подождать отставший обоз.

Мы стоим у какого-то шалаша из ветвей.

Это жилище хунхузов.

Хунхузы, хунхузы — но где же наконец эти хунхузы?!

И вдруг из глубокого оврага выходят... два оборванных китайца...

— Хунхузы... — испуганно шепчут мне.

Но я рад: наконец-то я вижу их, а то ведь приеду — спросят: «хунхузов видели?» — нет.

Теперь они передо мной. Ничего, что они оборванные, с желтыми лицами и жалкие. У старика испитое, бледное от опиума лицо...

У них китайские широкие штаны, китайские короткие кофты, косы, за плечами котомки, как и у наших сибирских бродяг.

— Давайте скорей фотографический аппарат: вот

здесь, здесь, около этого балагана ставьте их... вот, вот вам печенье, папиросы, только стойте, ради бога, и не шевелитесь. Нож торчит из сумки? Нож, нож, ради всего святого, так, чтобы он был виден.

— Вас. Вас.!.. Да где же он отстал, наконец? Спросите их — куда они идут?

— Домой,— отвечает переводчик.

— Как домой? Какой же дом у хунхузов?

— Они охотники, и их фанза здесь в лесу, в нескольких ли.

— На кого они охотятся и чем?

— Они охотятся на всех зверей западнями и ловушками.

— Есть у них ружья?

— У них ружей нет, но есть стрелы,— стрелами они бьют пантов (изюбры).

— Но ножом, ножом этим что делают они?

— Этим ножом они роют корни.

— Откуда они идут?

— Они идут с Амнокганга, где были у родных.

— Как? Значит есть дорога на Амнокганг?

В. В. спрашивает и переводит мне:

— Вот эта самая, вот поворот.

— Кто же ходит по этой дороге?

— Они говорят, что ходят китайцы, корейцы. Корейцы к своим родственникам в Тяньпэ, китайцы, занимаясь торговлей, ходят на Амнокганг, ходят в Гирич через Пектусан.

— Что же это? Мы, значит, идем чуть не по большой дороге?

А люди, бывавшие здесь, вот что пишут: «Итак, мы забрались в такие места, откуда, казалось, не было другого выхода, как назад» (55).

Казалось?

— Почему же вы не показали этой дороги на Ялу? — спрашиваю я у проводника.

Молчит. А где хунхузы? Отвечают: хунхузов нет.

Решено: с Пектусана весь излишний груз я отправляю обратно, назад, и на Амнокганг иду налегке.

А с Амнокганга отпускаю всю свою свиту.

Корейцы опять затягивают свою песню:

— Но Амнокганг опаснее всего,— там прямо стреляют с китайского берега. А в Маньчжурии столько хунхузов...

— Ну, довольно — сказки меня интересуют, но не такие. ●

С двумя «хунхузами» я распростился очень дружелюбно и на вопрос их: куда мы дальше пойдём после Пектусана? — ответил:

— Возвратимся к этому балагану и пойдём по этой указанной вами дорожке на Амноку.

— Когда?

— Через 2, 3 или 4 дня.

Ещё было светло, когда мы подошли к привалу.

Местность, где мы остановились на ночлег, называется Буртопой, что значит «тупой конец».

Большой охотничий балаган, совершенно такой же, каких много в Уфимской губернии на отдаленных сенокосах или лесах, в котором все мы и поместились.

Вокруг меня спят корейцы, наши три солдата, Н. Е., Н. Н., И. А.

Корейцы сморились за прошлую ночь, и сегодня мы сменили их.

Моя очередь, и я то выхожу, то сижу и пишу дневник.

Посреди балагана маленький костер, и острый дым, прежде чем уйти в верхнее отверстие, стелется синим облаком по балагану и ест глаза.

Не спит только Беседин и рассказывает мне странную историю из своей жизни. На него, что называется, нашла линия, и он хочет выложить душу.

— Места вот какие, — как бы без покаяния не остаться...

В 11 часов я разбудил И. А. и лег спать.

В половине третьего проснулся, окликнул И. А. и распорядился будить народ.

Развели костер побольше, поставили чайник, и сидят все вокруг костра, пожимаясь от свежих струек проникающего наружного воздуха.

Корейцы привыкли к нам и говорят, не стеснясь, обо всем.

Говорят о прежних экспедициях, немного жалуются на бесцеремонные действия экспедиционных команд.

30 сентября.

На Пектусан!

Выступили в шесть часов, как раз в тот момент, когда солнце собиралось всходить. Мы остановили лошадей

на пригорке и видели всю волшебную панораму этого восхода.

К востоку, на необъятном пространстве, громоздятся горы. Все эти горы подернуты синей прозрачной занавеской. Сквозь нее уже виден розовый отблеск поднимающегося солнца.

Все еще в полусвете, но Пектусан уже в лучах и, весь прозрачный, горит пурпуром. Здесь можно опреде-



Вулкан Пектусан. Общий вид.

лить относительную высоту каждой горы по очереди их освещения восходящим солнцем.

Вот осветились еще две, и обе кроваво-фиолетовые. У каждой горы свое одеяние, и только царь гор — Пектусан — в пурпурной мантии. Но парад скоро кончается — убраны нарядные костюмы первых лучей, и освещенный полным солнцем Пектусан уже выглядит опять неказисто: серо-грязный, с полосами в оврагах белого снега. Та же мягкость форм, что и в остальных корейских горах, и нет нависших грозных скал Кавказа. С виду так же мирно и спокойно, как и все предыдущее.

Напротив, гораздо красивее Пектусана хотя бы эта длинная гора, вершина которой представляет собою

профиль покойника-богатыря. Вот лоб, немного широкий нос, острый рот, грудь в латах, ноги. С боку шлем. Или вот священная гора — туловище без головы — луч Пектусана.

Даже Малый Пектусан интереснее, потому что его коническая фигура видна сразу, тогда как здесь, у подножия, Пектусан долго производит впечатление чего-то широкого и расплывшегося.

Таким образом, первое короткое, но очень сильное, совершенно своеобразное впечатление быстро сменяется прозой чего-то обыкновенного и даже мизерного.

Равнодушные, мы поднимаемся выше.

Лес редет. Исчезла и изумрудно-зеленая, жесткая травка, одна в желтой осени не побитая еще морозом. Вот пошли мхи, ковры из мхов, по которым беззвучно ступают ноги лошадей, оставляя вечный след. От колес прежней, 1894 года, экспедиции след совершенно свежий и теперь.

Как красивы эти ковры мхов, изумрудно-серые, темно-красные, нежнолиловые, затканые серым и белым жемчугом.

Перо не опишет их красоты, не передаст фототрафия; нужна кисть, и я вспоминаю К. А. Коровина, его прекрасную картину архангельской тундры, с иными, чем эти, мхами.

Все выше и выше. Нет деревьев, нет мхов, мелкий пемзовый серый песок, да изредка там и сям мелкокорослая березка.

Иногда поднимается ветер, подхватывает этот мелкий песок и бросает его в лицо. Лицу, рукам больно. Больно и глазам, так как песок этот ест глаза и вызывает воспаление век.

С лошади получается впечатление морского песка, но при более внимательном наблюдении это что-то совершенно особенное: там, на берегу моря, и видно, что работало море, здесь же работал огонь. Здесь песок легкий, перегорелый, между тем как море, не изменяя естества, только шлифует песок. Здесь химическая, там, у моря, только механическая переработка. Преобладающий цвет здешнего песка грязносерый.

Этим пемзовым песком засыпано все. Ветер и вода свободно переносят его с места на место, и поэтому вся поверхность изрыта буграми и оврагами.

В одном из таких оврагов, где не было воды, но был снег, перемешанный с пемзой, мы остановились и стали готовиться к предстоящему подъему на вершину.

Развязываются: лодка, геодезические, астрономические инструменты, веревки, лот для промерки глубины озера. На привезенных с собой дровах кипятится чай, разогревают консервы гороховой похлебки. Сторожей в лагере остается довольно много, так как корейцы, привезшие груз, ждут обратного, который освободится после подъема. Обратно я отправляю все палатки, часть инструментов, часть вещей.

Напились чаю и тронулись на вершину.

Посреди перевала оглядываюсь — идут за нами и все девять наших корейцев, оставленных сторожить лагерь.

Оказывается, они, увидев дымок на месте нашего последнего ночлега, решили, что это хунхузы, и пошли, бросив наших и своих лошадей. Они подошли и горько сетуют на меня, зачем я тогда тех двух хунхузов не убил или не арестовал.

— Да ведь они не хунхузы.

— Они хунхузы. Если бы они были местные жители, они знали бы по-корейски название Шадарен (селение у верховьев притока Ялу, куда мы пойдем), а они знали только китайское «Маньон». А между тем сорок хунхузов теперь в лесах; они пойдут и скажут им, уже сказали, и это горит костер хунхузов, и мы все заперты теперь на Пектусане, как мыши в ловушке.

— Что могут сделать 40 человек в это время года в лесу? Что они есть будут; зима подходит, дожди, снег, где спать будут?

— Мы всю правду вам расскажем, и вы узнаете, что им делать. Весной шайка в 23 хунхуза поймала двух корейцев и отвела в одну, здесь недалеко, китайскую фанзу. Там их пытали, и они сознались, что у них дома деньги есть. Одного хотели задержать, а другого отпустить, но оба были из разных деревень. Тогда хозяин фанзы поручился, что корейцы заплатят по 500 лан каждый. Их отпустили. Поймали их в четвертую луну, а долг обещали отдать в седьмую; теперь восьмая кончается, а те долг все не отдают. Вот хунхузы и не уходят, все дожидаются и хотят мстить всем корейцам. В этом году уже было нападение на Тяньпэ, и все на месяц убежали. А теперь мы пойдем домой, и хунхузы нас схватят.

— Откуда же хунхузы знают, что вы пойдете домой, а не с нами?

— Они все знают: они, наверно, и теперь видят и слышат, что говорим мы. И хунхузы нас убьют, а потом дадут знать в Шадарен, там хунхузов еще больше, и те вас убьют.

— Так что лучше всего назад с вами, на Тяньпэ?

— Э-ге, э-ге! — радостно закивали корейцы.

Смотрю на них, и невыразимо жаль их за те страдания, которые причиняет им их мучительный и унижительный страх.

Надо заметить, что и за нами итти не радость им. Ведь там, на этой святой горе, в спрятанном от всех озере, живет суровый дракон, суровый и страшный: то он гремит, то облаком взлетает, то посылает такой ветер, что стоять нельзя. Стоит только рассердить его, так и не то делает. А такого дикого, своевольного и сам не знаешь, как рассердишь. Наши корейцы стоят совершенно растерянные.

Кончили тем, что В. В. (китайский переводчик) и маленький кореец идут с ними обратно. Маленький кореец в европейском платье, а издали это все равно, что русский, а В. В. свой человек для хунхузов. Успокоились корейцы и пошли назад.

В зависимости от ограниченности наших припасов и необходимости, следовательно, все закончить в день-два; работа разделена между Н. Е. и мною. Он с И. А., Бабином, Бесединым, Хаповым и Сапаги спускаются к озеру. Я, поднявшись на вершину, обхожу ее до места предполагаемого истока Ялу (Амнокганг) и Сунгари, а к вечеру мы все собираемся в лагере.

Мы разлучаемся: Н. Е. со своей партией и двумя выючными лошадьми идет налево, я, П. Н. и проводник направо, — Н. Е. таким образом пошел к западу, я к востоку.

Почти до самой вершины Пектусана я ехал на лошади.

Затруднения были только в овражках, где лежал плотный примерзший снег. По этому снегу скользит нога и лошади и человека, и так легко упасть.

В одном месте, у самой вершины, я неосторожно заехал с лошадьёю на такой ледяной откос. Осматриваясь, куда дальше ехать, я оглянулся назад, и кровь застыла в жилах. Поднимаясь, я не замечал высоты, но теперь,

глядя вниз, я решительно не понимал, как держалась лошадь, да еще со мной, над всеми этими обрывами, которые мы, поднимаясь, обходили и которые теперь зияющими безднами стерегут мою лошадь и меня там, внизу.

Прежде всего я соскочил с лошади, но тут же поскользнулся и поехал вниз. Если бы не повод, за который я держался, то я далеко бы уехал и хорошо, если бы отделился только ушибами и даже поломами костей.

Попробовал было я поворотить назад лошадь — скользит. Попробовал было я снять сапоги и босиком пройти — тоже нельзя. Тогда прибегли к последнему средству: проводник и П. Н. с той стороны оврага, я — с этой, принялись рыть траншею, потратив на эту работу около часа.

Но вот наконец и верх, и весь грозный Пектусан с иззубренным жерлом своего кратера сразу открылся.

Картина, развернувшаяся пред нами, была поразительная, захватывающая, ошеломляющая. Там, внизу, на отвесной глубине полуторы тысячи футов сверкало зеленое, версты на две, озеро. Как самый лучший изумруд сверкало это зеленое, прозрачное, чудное озеро, все окруженное черными, иззубренными замками или развалинами этих замков. Темные, закоптелые стены снизу поднимались отвесно вверх и причудливыми громадными иззубринами окружали кратер.

Какая-то чарующая там на озере безмятежная тишина. Какая-то иная совсем жизнь там.

Очень сильное впечатление именно жизни.

Кажется, вот-вот выйдут все эти живущие там, внизу, из своих замков, в каких-то нарядных костюмах, раздастся музыка, поплывут нарядные лодки, и начнется какая-то забытая, как сказка, как сон, иная жизнь.

И в то же время сознание, что этот уголок земли — смерть, полная смерть, что на берегу этого озера Стрельбицкий нашел из органического мира только кость, вероятно, занесенную мимо летевшей птицей.

Смерть! Сам вулкан умер здесь, и это прозрачное озеро — только его чудная могила, эти черные отвесные, копотью, как трауром, покрытые бастионы — стены этой могилы.

И стоят они грозные, охраняя тайну могилы. Я устал смотреть туда, вниз, и любуюсь причудливыми выступами скал, окружающих кратер.

Вот гигант-медведь опустил свою большую голову и притих. Вот башня с остроконечным шпием. А вот на скале чудное и нежное, как мечта, изваяние женщины. Одной рукой она оперлась о край и заглядывает туда, вниз, где озеро. В этой фигуре и покой веков и свежесть мгновенья. Словно задумалась она, охваченная сожалением, сомнением, колебанием, и так и осталась в этом таинственном уголке не вполне еще сотворенного мира.

Что-то словно дымится там внизу, как будто замесилось вдруг озеро, вздрогнуло и зарябило, и с каким-то страшным ревом уже приближается сюда это что-то.

— К земле, к земле лицом,— кричит проводник.

Я пригибаюсь, но все-таки смотрю, пока можно: со дна озера летит вверх облако, в котором все: и мелкие камни, и пыль, и пары, которые там, на озере, как в закипевшем вдруг котле пробежали по его поверхности. Нас обдало этим страшным паром-песком. А через мгновение еще нежное белое облако уже высоко над потухшим кратером поднялось в небо в причудливой форме фантастического змея. Старик-проводник поднял было глаза к облаку и сейчас же, опустив голову, сложив руки, начал качаться.

— Что такое?

Проводник вскользь, угрюмо бросил несколько слов.

— Молится,— перевел мне П. Н.: — говорит, дракон это, не надо смотреть и лучше уйти. Рассердится — худо будет.

— Скажите ему, что я очень извиняюсь перед драконом, но мне необходимо снять фотографию с его дворца.

Старик кончил молиться, успокоился, покорно развел руками и сказал:

— Дракон милостив к русским — у них счастье, а нас, корейцев, он убил бы за это. Но и русские приносили жертвы — тот, который был с баранами, зарезал здесь одного барана (56).

— Скажите ему, что у нас не приносят жертв.

— Здесь законы дракона.

И опять все тихо кругом. Сверкает озеро в глубине, а кругом необъятная, сколько глаз хватит, золотистая даль лиственничных лесов, а еще выше — и над этой желтой далью, и над белым Пектусаном — безоблачная лазурь неба, голубого, как бирюза, сверкающего и еще более голубого от позолоты желтой дали лесов.

И опять смотришь туда, вниз, где сверкает это волшебное озеро. И опять очарование, ощущение заколдованной жизни. И новый страшный вихрь.

Сделав нужные работы, определив положение кажущейся вдаль расщелины, откуда вытекает, по словам туземцев, приток Сунгари, я занялся выяснением истоков двух других рек: Туманганга и Амнокганга.

С этой высоты видно все, как на ладони. Здесь водораздел всех этих трех рек: к западу Амнока, к востоку Туманганга, к северу и северо-востоку Сунгари. Мне видны все овраги Амнока. Я уже видел их снизу, и все они сухие.

Такие же овраги идут по направлению и к Тумангангу — тоже сухие.

Таким образом вне сомнения, что истоки Туманганга и Амнока не имеют никакого непосредственного сообщения с озером.

Остается дело за истоками Сунгари.

Мы отправляемся к той части Пектусана, на северо-восток, где видна эта как будто расщелина.

Уже час дня.

Мы идем. Новые, периодичные, минут через пять, вихри все более и более сильные, от которых вздрагивает земля.

— И зачем идем, когда я говорю вам, что там щель, — ворчит проводник.

— Он сам видел ее? — спрашиваю я П. Н.

Он сам не видел, но товарищи-охотники были в том китайском лесу и видели, как сверху падает вода из глубокой и высокой щели.

— Надо итти, — говорю я.

Иногда, когда мы идем, под нами слышится гул пустоты.

Мы идем до щели три часа, все время любясь озером и видами, снимая фотографии и делая засечки на новые открывшиеся места.

Вот последний подъем, и там должна открываться щель. Сердце бьется от усиленного подъема, от напряженного ожидания, лошадь давно оставлена с проводником, который ведет ее и едва виден.

Щели нет...

Такой же грозный и неприступный бастион и здесь, в углублении, как и везде. Отсюда виден весь Пектусан,

и везде все шире обнаженная и неприступная стена. Я смотрю в бинокль и вижу внизу под нами, где идет проводник с лошастью, воду. Щели нет, но вода есть. Где, на какой высоте ее источник? Чтобы узнать, надо спуститься. Нам предстоит очень тяжелый спуск вниз по карнизу одного из крыльев этого гигантского бастиона, чтобы найти начало источника. Лучше не смотреть, ни вверх, ни вниз, лучше бы и совсем не спускаться.

Но вечер приближается, морозит; страшные вихри все сильнее; темные тучи ползут из кратера, и уже не видно озера.

Прощай, прекрасное. Всегда останешься ты в моей душе, как чудная мечта, как сон, который трудно отличить от действительности. Несмотря на короткие мгновения, проведенные здесь, я уже сжился с тобой: мне близки и безмятежная тишина твоя и твои дикие вспышки; кажется, что привык я к тебе, что уже давно-давно знаю тебя.

Я не люблю круч.

С мужеством труса, с мужеством отчаяния, стиснув зубы и умертвив всё в себе, я зверем, дорожающим только своей жизнью, цепляясь руками и ногами, проворно, как по лестнице, спускаюсь по уступам камней. Камни надежные, твердые, на шаг расстояния друг от друга, но как тяжело делать этот шаг! Ноги, как сросшиеся, не хотят ступать. Ступай, ступай, несчастный!

Вот где опасность! Что пред ней хунхузы, барсы, тигры? Вот настоящие владыки этих мест — эти утесы, эти вихри, которые вот-вот сорвут и бросят туда вниз; эта надвигающаяся ночь, которая закроет скоро все эти бездны, и не будешь знать, куда ступать, а морозный холод ночи пронизет насквозь легкое пальто. Что-то с Н. Е. и его спутниками? Скорей, скорей же!

А когда остается сажен тридцать до пологого откоса, я уже беспечно и весело, как самый отважный ходок, шагаю и даже прыгаю с камня на камень.

Гоп! Последний прыжок, и опять я на ногах, на твердой земле — хочу стою, хочу иду; опять живой и здоровый.

О, боже, неужели мы с П. Н. были там? Здесь внизу вся обнаженная вершина Пектусана еще более напоминает гигантские грозные бастионы, круглые башни, обстреливающие все выступы.

Но некогда: скорей, пока светло, окончить осмотр оврагов.

Что это шумит?

А! вот откуда пробирается вода!

Барометр! Разница 1 630 футов. Ниже, следовательно, поверхности озера на 330 футов. Это и возможная глубина озера. Подземный ход из озера сюда. Вода красивым узким ручейком стремительно падает вниз, и чем ниже, тем круче.

От этого оврага дальше, среди желтого леса, тянется темная полоса и уходит на северо-запад. Сколько видит глаз кругом — везде беспредельная равнина.

С правой стороны, стоя лицом к Сунгари, вьется еще одна темная полоска среди желтого леса и соединяется с тем оврагом, у которого стоим мы.

Так как направо и дорога наша, то мы и спешим осмотреть уже пройденный другой овраг.

В трех верстах от спуска, по обратному направлению, пришли мы и к этому второму истоку. Он значительно больше первого — если там силы три, то здесь их около 15. Я определяю силы на-глаз, руководствуясь опытом предыдущих лет.

Солнца уже нет, ночная мгла на всем, и только две-три вершины во всей округе видят еще опустившееся солнце.

Последний подход к оврагу был очень неудачный: мы взбирались полчаса на какую-то вершину для того, чтобы спуститься назад по той же дороге. Совсем стемнело.

— Проводник говорит, что он здешних мест не знает.

— Плохо. Ну, не знает, так ночевать надо здесь: благо вода и корм для лошадей есть, а вот и несколько деревьев, следовательно, и дрова есть.

Я повел свою лошадь к ручью.

Странная вещь, вот уже третий день лошадь моя стала спотыкаться на каждом шагу, точно слепая.

— Да она и есть слепая, — говорит П. Н.

Осматриваем и убеждаемся, что несчастная лошадь действительно слепая.

Тянем ее к деревьям, где корм, и там в овраге устраиваемся.

Все устройство заключается, впрочем, в том, что мы рубим ножами ветви, ломаем их руками, собираем сухой и разводим костер. Лошадь выпускаем на поляну,

она жадно ест сухую траву. П. Н. пригнулся и ищет голубику. Уже почти сухая, сморщенная голубика все-таки пища и лучше чем ничего. Несколько ягод съел и я, но я не любил их никогда и теперь их не люблю.

Да и не хочется есть,— ни есть, ни пить. Я очень устал. Вот разгорелся костер, тепло, сидишь и хорошо. Я так устал, что даже рад наступившей темноте: на законном основании можно сесть и не итти дальше. По горам трудно ходить: воздух разреженный, а тут еще эти леденящие вихри. Как-то Н. Е.?

Шесть часов, но уже совершенно темно.

Там из вулкана все еще клубятся темные тучи: курятся. Ветер рвет и мечет, и нет от него спасенья. Огонь и искры и дым бьют то в лицо, то летят в противоположную сторону и опять бешено возвращаются к нам.

Все темнее, и дрожь пробегает по телу.

— П. Н., лошадь бы привязать.

— Пусть поест,— куда она уйдет, несчастная, слепая?

И П. Н. ложится, ложится и старик, я принимаю на себя караул.

Пошел к лошади — жадно ест. Пусть поест, часа через два привяжу.

Хуже всего, что папиросы вышли.

Долго ждать до света. Смотрю на часы: половина седьмого. Полчаса всего прошло с тех пор, как эти заснули.

Что-то делает Н. Е.? Может быть где-нибудь, как и я, сидит теперь. Но там нет ни воды, ни дров. Воды им и не нужно, так как, согласно уговору, лошадей Сапаги должен был отвести в лагерь. А без дров трудно им будет, если опоздают. Плохо я рассчитал время — в этих горах изменил глазомер.

Что-то мокрое? Дождь? Это нехорошо, надо будить.

Проснулись, пошли, сломали две молодые лиственницы и устроили род шалаша. Легли и опять заснули оба.

Дождь свободно проходит сквозь шатер и мочит нас. Вода понемногу пропитывает окружающую вечно-зеленую траву, протекает мелкими струйками под намокшие пальто, сапоги, шапки — уже мокры шея и руки, а резкий ветер сильнее, и не перестает дрожь, несмотря на костер.

Нет, надо итти хоть сучья ломать. Надо, но нет охоты шевельнуть пальцем; словно нет меня, я отделен от себя,

и теперь я другой уже непосильный для себя груз. Этот груз с неимоверным усилием, а все-таки подвигаю кое-как к огню. Лицу жарко и ногам жарко, кажется, сожгу себе сапоги. Но спине все-таки холодно. Лошадь надо бы привязать. Ах, это П. Н., он идет за лошадью, ну, спасибо, а то я устал.

Все это уже сон — я, согнувшись перед костром, сплю.

Просыпаюсь от нестерпимого холода. Дождь как из ведра, костер почти потух, смотрю на часы: 10 часов.

— П. Н., П., вставайте же, пропадем все.

— Голова болит.

— Будите проводника, идем в лес и за лошадью.

Встаем, идем, но лошади не видно.

— Легла, — говорит П. Н. — не найти теперь.

Наломали сучьев, кое-как развели опять костер. Перестал было дождь, и вдруг пошел снег. Кто-то воет. Это проводник?!

П. Н. смущенно слушает.

— Что он говорит? — спрашиваю я.

— Говорит, что дракон очень сердится, и он боится, что мы пропадем, потому что пошел снег. А снег пошел, он не остановится — это зима — и завтра будет столько снега, что если мы и вытерпим, то все равно пропадем без дорог.

— Скажите ему, что во сне приходил ко мне дракон и сказал, что если я отдам ему лошадь свою, то он перестанет сердиться.

Проводник быстро, оживленно спрашивает, что я ответил?

— Я сказал, что я согласен.

Старик удовлетворенно кивал головой. Через несколько минут снег перестал, и над нами совершенно чистое небо.

Старик радостно говорит:

— Дракон перестал сердиться.

Костер ярко горит. Но опять туча и дождь. Старик убежденно говорит, что теперь скоро все пройдет, потому дракон умиловивлен.

Оба, П. Н. и проводник, лежа чуть не в луже, засыпают.

Туча проходит, небо звездное, но дождь идет. Ветер еще, кажется, злее и ножами режет тело и руки, и дым летит в лицо. Часть земли из-под костра освобождается;

я ногами отгребая пепел и ложусь: сухо и тепло. Разбудив П. Н. на дежурство, я моментально засыпаю.

Я открываю глаза. Час ночи. Костер ярко горит. П. Н. и проводник не спят. Вызвездило и ясно, хотя темно. Небо усыпано звездами. Большая Медведица так близка к горизонту, что кажется рукой достанешь.

Еще пять часов до дня. Начинает просыхать поне-многу.

Старик совсем повеселел.

— Дракон спит.

Но ветер надоедливый нагло рвет и мечет попрже-нему.

Покурить хорошо бы, но есть и пить не хочется.

А все-таки истоки всех трех рек исследованы.

Но само озеро только красивая игрушка и ничему в деле улучшения судоходства помочь не может... Теперь это ясно, как день.

Пойти посмотреть лошадь. Нигде не видно ее. Где-то возле леса резкое кошачье мяуканье. Наконец и я, если не вижу, то слышу господина. А может быть, где-нибудь в этих кустах уже крадется барс.

Нет, лучше идти к костру. Вот хорошее дерево, начну ножом рубить его, часа на два работы — согреюсь и время пройдет.

— Кто идет?

— Что вы тут делаете? — спрашивает П. Н.

— Да вот дерево рублю.

— Давайте нож, идите спать, я больше не буду спать...

— Да у вас голова болит?

— Прошла.

— А у меня горло прошло, — говорю я: — ну, спасибо, рубите...

«Хорошо бы дома в теплой кровати теперь» — думаю я и с отвращением сажусь, как приговоренный, в свою тюрьму: с одной стороны пламя в лицо, с другой ветер с ножами, мокрая земля, мокрое платье — насквозь мокрое.

Все это пустяки, одна ночь, и перед нансеновскими испытаниями стыдно и говорить об этом.

Измучен, устал, сколько впереди еще... И ни заслуг, ни славы... Нет, что-то есть... есть... есть... что же? А, Сунгари и выясненный вопрос истоков... По новой дороге

пойдем, где не была еще нога европейца, да и здесь, в этих дебрях, не была, у этих мнимых щелей впервые тоже стоит человек.

Пусть сердится дракон, тайна вырвана у него.

Рассвет. Я просыпаюсь.

П. Н. уныло говорит:

— Пропала лошадь...

— Господи, как холодно. Ну, пропала, что же тут сделаешь?

— Я все-таки еще пойду искать ее.

— Где проводник?

— Ушел дорогу искать.

П. Н. ушел, я остаюсь один.

Жуткое чувство одиночества в этой мокроте. Все промокло — седло, попоны, сам. Брр... какая гадость! Поднялся на ноги: не хотят стоять ноги, тело тяжелое. Но костер тухнет, и надо идти за сучьями. Иду, ломаю, смотрю — нигде не видно лошади... Вспоминаю ее: какая несчастная она была, слепая, покорная... Если тигр ее схватил, проиграла ли она что-нибудь? Все-таки жалко ее.

П. Н. пришел и, сказав угрюмо: «нет лошади», повалился и уже спит.

Солнце взошло. Где же проводник? Сел дневник писать, но руки окоченели, окоченели и слова: тяжело, неуклюже, и одна фраза отвратительнее другой.

Странно, отчего есѣ не хочется? Восемь часов, и ровно 24 часа, как я не ел уже.

Выше поднялось солнце, такой же ветер, но солнце и костер сушат и греют.

Все спит. Как-то голо и уныло смотрит с своей вершины Пектусан и вся неприступная твердыня его, все так же вылетают облака оттуда и, сидя здесь, я чувствую пронизывающий холод его вершины.

Все та же желтая скатерть лесов перед глазами и синяя даль гор. Все подернуто какой-то мглой, точно не выспалось, как и я, и не ело больше суток.

Чей-то голос! С горы спускаются пять лошадей и впереди Н. Е.

— Все благополучно? — кричу я.

— Какое благополучно: трех солдат нет.

— Как нет? — вскакиваю я.

— Пока вылезали с озера наверх, нас сразу захва-

тила ночь, ну и сбились, куда ни пойдём, везде кончается кручей. Спускались, поднимались, опять спускались, дождь пошел, намокли. Главное, лошади — без лошадей все-таки как-нибудь бы справились.

— Какие лошади?

— Две вьючные, которые были с нами...

— Но почему же этих людей не отправили в лагерь, как ведь и было предположение?

— Ну вот, Сапаги... Не понял или побоялся итти. Вылезает наверх, а он тут и с лошадьми... Лошади и зарезали... Я просто выбился из всех сил... Полушубок намок, тяжесть, словно сто пудов на плечах, итти вверх прямо не могу, не передвигаются ноги, могу только вниз двигаться. Подошли опять к какому-то спуску — нельзя спускаться, надо опять итти вверх, назад. Главное, вижу, что я их задерживаю, пройду два шага и упаду, лежу, не могу встать. Ну, думаю себе, я пропал, за что же другие пропадать будут, говорю им: «Подождите здесь, я попробую спуститься и крикну вам снизу, есть ли выход. Если со мной, не дай бог, что случится, старшим назначаю Беседина. Если устанете, имеете право бросить лошадей». Ну и полез вниз... Лез... лез... Я уже не знаю, как только и не убился... Сегодня посмотрел, откуда спустился...

— Какие распоряжения вы оставили относительно розыска людей?

— Послал Ив. Аф. и сам вот ездил. Ив. Аф. послал на прежнюю стоянку. Там был пожар и светилось, когда мы были наверху... Если они пропустили лагерь, то, наверно, попадут на Буртопой.

— Дайте папиросу и едем...

— Ах, Ник. Георг., ну где там еще мне было думать о папиросах: вот взял красного вина, несколько сухарей.

— Да вы сами курите же?

— Да теперь не курил, не ел и не спал.

— Что вы делали?

— Всю ночь звонил в колокол, стрелял, жгли костер, пока были дрова, потом на шест поставил фонарь, так как глухой он, — одна только светлая сторона, — ну и вертели его, как маяк... Я только и попал на фонарь... Буря — выстрелов в нескольких шагах не слышно... Корейцы разбежались... Корму лошадям нет, воды нет, дров нет.

— Здесь и вода, и дрова, и корм — показал я на свою ночевку, которая теперь была уже далеко под нашими ногами: — надо сейчас же перевести лагерь сюда, потому что не уйдем же, пока людей не разыщем.

— Я думаю, они уже погибли.

Н. Е. оборвался и замолчал.

Только теперь я заметил, как изменился он за ночь. Осунулся, складки на лице, напряженный взгляд, и вся фигура и лицо отжившего, высохшего старика.

— Полно вам. Три солдата, чтоб погибли...

— Замерзнут...

Да ведь мороз всего градус-два.

— Ну и обледенит — все ведь мокрое, спички размокли, выбьются из сил...

— Ну, выбьются, остановятся, начнут драться, наконец, чтобы согреться. Я ведь мокрый, П. Н. и проводник: сели, просохли, силы появятся, опять за дровами...

— Да ведь у вас они есть...

— Да не такой же холод... Ну, они, вместо дров, пойдут... Не беспокойтесь, человек такое живучее животное... Как же вы попали в лагерь?

— Я и не знаю. Слез я в овраг, осмотрел, крикнул им: «обходите вправо». Ответили: «идем», и все смолкло. Я лег и думаю, ну хоть не задержу их. Спать хочется, знаю, что засну — пропал, а сам уже засыпаю... Слышу, что-то камни около меня шевелятся: упало на меня... «Кто?» Сапаги. «Ты как попал?» — Моя капитан пошла. «Айда, ходи». — «Не могу». «Надо ходи, лежать нет надо». Пошли мы... Идем, идем и ляжем. «Надо ходи». Вдруг свет фонаря... Оказывается, я лежал в последний раз в десяти саженях от лагеря... Прихожу, — спрашиваю: «Солдаты пришли?» — «Нет» — говорит. Повернулся к палатке, кричу: «Н. Г., солдат нет!..» — «Да и Н. Г. нет» — говорит И. А. Ну, тут я совсем... Я ведь думал, что и вы задрогли...

— Все трое?

— Да ведь ночь же какая... Чем еще кончится? Не можем мы не простудиться.

— Ну, у меня вчера, когда выступали, горло так болело, что глотнуть не мог, теперь все прошло... Ну, едем скорей.

Вот и лагерь. Полное разрушение: кроме В. В. все разбежались, палатки сломаны, вещи разбросаны.

Ив. Аф. уже приезжал с Буртопоя — солдаты там! Ура! Послал им спирту и пищу И. А., а сам уехал в горы разыскивать лошадей, которых солдаты упустили.

— Как упустили?

В. В. не мог объяснить.

— Ну, в таком случае сниматься и отступать на Буртопой... Папирос дайте.

— Моя чай варила... — говорит В. В.

В. В. в маленькой китайской шапочке с красной шишкой и обмотанной вокруг головы косой.

— Ну, давайте ваш чай...

— Моя щи варила...

— Давайте щи.

— Я вчера, — говорит Н. Е., — три раза пробовал есть, три раза вырвало.

Совсем другой человек опять стал Н. Е.: повеселел.

— Верно, значит, я рассудил, что на Буртопой послал, — говорит он.

Н. Е. говорит и уплетает щи.

Я съел три ложки — тошнит.

— Давайте чаю.

Чай с каким-то салом. Заставил себя выпить, и сейчас же все назад.

Китаец, Сапаги и маленький урод Таани укладывали тюки.

— Лошадей поили?

— Воды нет.

— Снег кипятите, Сапаги, бросьте укладку, берите снег и варите... Напоили кое-как лошадей. И. А. подъехал.

— Нет... Главное, с тюками ведь. Так все-таки им легко бы было, а с тюками пропадут... Главное, Серый слепой ведь.

— Другая какая лошадь?

— Маленькая белая, самая умная, положим, и колокольчик на шее, слепому-то и слышно...

— Ну, укладывайтесь, едем.

Все тот же ветер и холод, и во всей своей неприступности перед нами великолепный Пектусан, сегодня весь покрытый снегом.

— Скажите старику, — говорю я: — дракон молодец, задал нам трепку.

— Он говорит, что это за то, что лодку спустили.

— Ну, рассказывайте, Н. Е.: что же вы делали вчера?

И Н. Е. рассказывает, пока мы укладываемся.

— Рассказывайте все с самого начала.

— Ну вот, пришли мы...

— Хороший спуск?

— По камням. На-глаз — почти отвесно, а дальше россыпь... Ведь мы потеряли лот... Ну, ищу я глазами камень... Смотрю, внизу на берегу озера лежит камень, ну так, с три кулака... Ну, думаю, камень, значит, есть, и полез вниз. За мной остальные, лодку разобрали, я надел на плечи пробки.

— Голова не кружилась?

— У меня не кружится...

— У людей?

— Ни у кого... И. А. как кошка лазит... У Хапова камень оборвался, слышу: «берегись, берегись!» Смотрю, прямо на меня летит. Я стою — одна нога на одном камне, другая на другом: куда браться? Только вправо или влево туловище наклонить. Ну, я, положим, так и приготовился... все равно, как из ружья целит: нацелился прямо на меня, я влево, да спину повернул и схватился за камень... Как хватит по пробкам на спине... Ну и цел, и удержался... Так и спустились. Стали лодку собирать. Камень мой, в три кулака, оказался скалой сажень в пять. Снизу вверх смотреть, так просто не веришь себе, как спуститься тут можно. Когда мы спустились, озеро слегка волновалось, вода прозрачная, такая, что не видишь ее. Ключ падает с горы. Пока падает, едва заметно, а где-нибудь в ложинке воды не видно... Пока собирали лодку, готовили лот, поднялась такая буря, что стоять нельзя. Снизу рвет, камни поднимает вверх... Спустили лодку, поехал сперва И. А. — не может выгребсти... прибило назад. Потом И. А. полез вверх, назад в лагерь, а я с Бесединым сели в лодку, гребем, на шаг не подвигаемся... Тут как-то стихло было, мы двинулись сажень на двадцать, и сразу такой порыв, что полную лодку налил: маленькое озеро, а волны полтора аршина. Положим, лодка хоть и полная воды, но держится...

— Сколько градусов?

— Семь.

— А в воздухе?

— Три... Промокли... ноги не терпят и грести нельзя: тут и парходом не выгребешь, прямо так и выбросило

на берег... Бились-бились, все по очереди пробовали, то же самое... Зальет лодку и выбросит... Глубина страшная, это прямо видно: от берега мелко, а там сразу обрывается и уходит в глубину обратным откосом, почти везде так... Контур снял.

— Инструменты благополучно спустили?

— Благополучно... Ну, пока работали, смотрим, солнца уж мало видно. Промокли, продрогли, да и делать больше нечего... Вытащили лодку, опрокинули ее, веревки для лота положили под нее, весла и полезли назад.

— Лодку не унесет в озеро? Вода в озере, не заметили, опускается или поднимается?

— На полсажени высоты заметно как будто понижение. Может быть, это волны, может быть, усыхает. Ключи есть — бьют из скал.

— Трещина есть в озере?

— Когда я выехал на лодке, видно было, что на северо-востоке нет, а на западе какая-то бухта. Я не рассмотрел...

— Я стоял перед этой бухтой на восточной стороне, как раз напротив, такие же стены отвесные, как и везде.

— Ну, значит, нет выхода. Впечатление собственно от озера — игрушка... И опасная игрушка... В смысле же питания рек...

— Об этом и говорить нечего — горсть воды (57).

Все уложено, и мы покидаем негостеприимную гору. От нее веет холодом и неуживчивостью. Какой-то взбалмошный, большой дракон. Дурит, как только может. Вот уже опять летят облака из него, и даже здесь качает ветром нас.

— Нет, подыматься было трудно, — говорит тихо, весь поглощенный рассказом Н. Е. и по обыкновению улыбается: — назначили скалу, половину дороги, а доползли — оказывается, и пятой части не прошли еще. Вдруг туча подошла к краю, и вдруг всю ее втянуло в озеро, и сразу темнота. Как только закрыло тучей озеро, буквально черное стало, а потом все исчезло. Я уж думал ночевать где-нибудь на полдороге, да негде было. Уж и не знаю, как долезли, через каждые три-четыре сажени — отдых... Я последним полз... Камни летят из-под ног тех верхних: один по колену так хватил, что думал свалюсь... Вышли наверх, просто как выкачали все из меня: ноги дрожат, дышишь уже не легкими, легкие

как будто лопнули, а так как-то, всем телом... Тошнит, голова кружится, упал бы, кажется, и заснул, умереть согласен, что хотите, только дальше не итти. А тут дождь как из ведра, сразу намочил, промокли, и хоть что хочешь... Сто лет проживешь, а не забудешь этой ночи... Тьма, дождь, рев такой, что голосов не слышно: господи, что уж это такое. Я уж так и думал: ну, конец!..

Между тем, пока мы ехали и Н. Е. рассказывал свои впечатления, наступил вечер, и опять сразу тьма, мы сбиваемся с дороги, благодаря проводнику, который хотел пройти покороче, попадаем в овраг истоков Туманганга, валимся, падаем, теряем выюки, разыскиваем их и уже собираемся с лошадьми, вконец изморенными, вторично ночевать в какой-то трущобе, когда на два сигнальных выстрела услышали наконец где-то далеко-далеко ответные выстрелы. Заметили звезды и пошли напрямик. Выстрелы ближе, ближе, затем свистки, огонь костра, и мы над оврагом Буртопоя. Где-то там, в бесконечной глупине.

Спустились. Тепло у костра,— солдаты, корейцы, рассказы и суд над всеми.

Корейцы на каком основании бросили лагерь? — Не было дров, не было корму и воды.

Виновник проводник. Он сам не знал, что есть вода на Пектусане. Никто не виноват.

Очередь за солдатами.

— Вы поступили правильно, что бросили лошадей, но зачем вы, во-первых, не развьючили их: жаль несчастных животных, а во-вторых, почему вы не привязали лошадей?

Выступает Беседин.

— Позвольте объяснить... Когда Н. Е. крикнул нам: направо — мы так и пошли. Шли-шли,— приходим, такой же овраг. Что делать? Назад пошли, поднялись на самый верх, опять на то место, откуда начали спускаться, опять запутались, опять назад... Стали выбиваться на вашу дорогу — Павел днем ходил за вами,— ну, так и пошли, дошли до того места, где проводник вас через овраг проводил,— стали делать ступеньки, сошли сами и лошадей, господь помог, спустили. Тут обессилели, попали в какой-то овраг — трава. Надо покормить лошадей, а самим отдохнуть. Пустили лошадей, сами сидим. Мокрые, давай греться: стали бороться друг друга, возиться, вроде, как

будто тащим в плен друг дружку. Сколько времени прошло, так и не знаем. Спихватились — и нет лошадей. Туда, сюда — нет лошадей. А темно, ревет, как в трубе, и не видно и не слышно. И вещи, которые сняли с себя, не найдем. Ну что ж? — поискали-поискали, а уже все мокрые, коченеет, сами пошли... Куда итти? Огонь в лесу горит: знаем, что это Буртопой, наше же пожарище. Компас у меня. Я хоть и не умею читать, а стрелку, как стоит, заметил и звезды заметил. Спустились в овраг и пошли по стрелке. Шли-шли, тут светать стало, видим, и Буртопой под нами. Спустились, от горящего пня огонь достали, наломали сучьев, огонь развели. Отогрелись, тут корейцы приехали, погода и И. А.

— Ну молодцы, значит. Не простудились никто?

— Господь миловал...

— Ну, спать.

— Ужинать будете? — спрашивает И. А.

— Мне только чаю и спать.

Хорошо в балагане. Горел и он, но не сгорел весь, — одна стена прогорела. Да вот, расследовать, кто не залил огонь...

Расследование ни к чему не приводит, — последние ушли, оказывается, корейцы. Все собрались в балагане и сидят вокруг костра. Рассказы о проведенных двух днях.

Корейцы все время дрожали от страха и холода. Они очень извиняются, что, убедившись, что здесь на Буртопое нет хунхузов, ушли сюда. Я говорю им, что я не в претензии, — другое дело, если бы мы остановились там, где есть вода, корм лошадям, дрова.

— Конечно, конечно, — соглашаются корейцы.

Старик-кореец, наш проводник, с детским добрым лицом, незлобивый и кроткий, мужественный охотник на тигров, первый стрелок из лука, за что в свое время и получил от императора похвальный отзыв, и на его могиле поставят, когда он умрет, высокую палку, а на ней райскую птицу или дракона, а при жизни его все называют его полным именем Дишандари (стрелок, получивший похвальный лист).

Я спешу оправдать выносливого старика и говорю:

— Я сказал Дишандари, что мы в тот же день снимаемся с лагеря — он поэтому и заботился выбрать стоянку наиболее попутную для наших будущих целей.

А если б он знал, что будет, то я выбрал бы ту, где мы ночевали.

Дишандари очень смущен, тронут моими словами, а корейцы радостно кричали со всех сторон:

— Так, так...

Я смотрю в его прекрасное лицо, ласковые, неуверенные в себе глаза и говорю П. Н.:

— Скажите ему, у него ноги заячьи, глаза волчьи, сердце тигра, а душа женщины. И он недаром Дишандари.

П. Н. передает — среди корейцев восторг. Дишандари на мгновение становится героем, на пьедестале своих подвигов. О них теперь энергично говорят. П. Н. слушает их говор и весело смеется.

— Они говорят, что каждое ваше слово как золото падает, что вы все понимаете, каждого человека знаете, что он думает. Что если б их начальники так все понимали, то Корея не хуже бы других была, а их начальники такие же глупые, как и они, и только бьют и грабят их не хуже хунхузов.

Разговор переходит к результатам наших исследований.

Они очень разочарованы в том, что из озера нет выхода. Никто из них этого выхода не видал и там не был, но так уж говорят у них из рода в род.

Относительно Ялу (Амнока), откуда она вытекает, покажет завтрашний и послезавтрашний день, которые мы посвятим исследованию южной и западной стороны Пектусана.

Я говорю им, что Пектусан кратер, показываю лаву, объясняю все лежащие перед нами инструменты. Несмотря на поздний час, интерес у корейцев и наших не ослабевает.

Речь опять заходит о таинственном озере, — есть ли там жизнь?

Н. Е. и спутники говорят, что голубицы там множество, видели одну птичку.

Я спрашиваю Дишандари, что это за тропки внутри вулкана, по отсыпям, — вероятно, потоки воды?

— Нет, это изюбры ходят туда в шестую и седьмую луну, когда много оводов, а в озере нет их. Он и другие охотники тогда стерегут их у выхода, и он, Дишандари, таким образом убил на своем веку пять пантонов, продал

рога каждого от 200 до 300 рублей, по оценке начальства, которое другую половину таким образом украдо у него.

— А если б вниз озера спуститься и там их подстеречь?

— Там, конечно, совсем другое бы дело. Пока они лезут на откос, их всех перестреляешь, а они ходят табуном, голов в 30—50 (58).

Два часа ночи, однако. Вот что я предлагаю корейцам: не хотят ли они поискать наших лошадей — за каждую лошадь я заплачу по 15 рублей.

Корейцы согласны и сейчас же идут. Солдаты тоже решили искать растерянные вещи: предложили сами, — вчера они выпались и тоже сейчас идут.

3 октября.

Семь часов, яркое солнце, тепло, ветра нет.

Сегодня я умываюсь. Все руки исцарапаны, в нескольких местах содрана кожа, — это результаты прошлой ночи, когда ломал ветви для костра.

И. А. возится с перекладкой вещей — отсюда мы идем уже налегке: лодку оставили на озере, палатки отправляются с корейцами обратно — изломало их, да и громоздки и мало пригодны.

По лесу несутся радостно-отчаянные вопли возвращающихся корейцев:

— Гей! Ги! Ги! Ги!

Гонят наших двух лошадей: слепую и белую. Вот они уж на опушке, а за ними радостные белые корейцы. Впереди, с колокольчиком на шее, умненькая белая лошадка, сзади нее, как слепой кобыль за своим поводырем, плетется серая слепая лошадь.

Трогательная картинка.

На их спинах вьюки, их нашли в открытой долинке, где была трава и снег.

Белая, вероятно, водила своего слепого товарища на водопой к снегу, а затем они возвращались опять в долинку.

Когда подошли к ним корейцы, белый тихо, приветливо храпнул, а серый остался таким же равнодушным, поникшим, каким был всегда.

Чтобы выбраться в эту долинку, им пришлось спускаться с очень больших круч, и как слепого учил белый

ставить куда надо ногу — осталось их тайной, но результат этой тайны — трогательная дружба между ними: они не расстаются. Белый пошел пить и серый за ним — пили, пили. Затем белый смело подошел к мешку с овсом и рванул его зубами, серый подошел и то же самое проделал. Насыпали им овса, стали есть они, и все корейские лошади стараются присоединиться к ним. Серый с покорностью слепого равнодушен, но белый прижимает уши и ляскает зубами на все стороны, как только приближаются чужие лошади.

Моей лошади не нашли, может быть, и не искали.

— Дракон себе взял одну, а этих сам снес в долину — лошади не сошли бы своей силой. Этих лошадей посылает дракон, посылает с ними и счастье начальнику экспедиции, ждет его большое счастье.

С какой глубокой верой и даже завистью говорится это!

Мы поели с Н. Е. и отправляемся на исследования истоков реки Амнокганг.

Возвращаемся мы в Буртопой засветло, выяснив, что все овраги по направлению к Амноке сухие.

— Амнока вон где берет начало, — показывает проводник на Малый Пектусан.

Это верст пять к югу от Большого.

Остаток дня мы проводим в приятном ничегонеделании.

Возвратились солдаты, принесли кой-какие потерянные вещи, видели медведя, — черного, небольшого, — стреляли, но не попали.

Корейцы собираются в дорогу, мы тоже завтра на рассвете выступаем: поесть и спать пораньше.

Сапаги предлагает рассказать сказку, имеющую отношение к здешнему месту. И, пока пища варится в котлах, мы все усаживаемся и после пережитых треволнений благодушно слушаем высокого длинноногого Сапаги в его европейском костюме, с дамской прической на голове.

Кончил Сапаги свою сказку, я закрыл глаза, и опять в фантастически иззубренных, почти отвесных стенах кратера, там в глубине, сверкает предо мной озеро ярко-изумрудное, представляя собою, со всей окружающей на сотни верст местностью и самим Пектусаном, что-то до того ошеломляющее, что не можешь забыть и, как

очарованный, точно видишь это все опять наяву. Кажется, опять стоишь и смотришь на близкое голубое небо — беспредельно нежножелтую, как золото, даль лиственных первобытных лесов! Смотришь на эту белую гору, на иззубренные, как башни, как старинные замки, вершины кратера. Смотришь туда, в глубь его, где этот безмятежный изумруд озера, где так тихо, так уютно, где все повороты в черных стенах, точно улицы заколдованного города, с его дворцами и башнями. Первые впечатления сменяются другими, потрясут, может быть, до основания вашу душу все эти явления неуспокоившегося еще вулкана, этого не вышедшего из периода сотворения мира клочка земли. А какая охота! Здесь изюбры, здесь тигр и более кровожадный, чем он — барс; здесь не торопится бросать свое лакомство — голубику, при виде человека, черный медведь; стада серн, антилоп и горных козлов. Здесь первобытно все: трава в рост всадника и первобытный лес. Здесь фазаны, лебеди, гуси, утки, речная и болотная дичь. Здесь произрастает лучший и драгоценный жень-шень, целебный корень, пропадающий на вес золота.

Эти девственные места ждут еще своих охотников, своих Эмаров и Куперов. Охотники, мы должны прибавить, забегая вперед, должны быть в обществе не меньше, чем 20 человек, потому что разбойники, хунхузы, как оказалось, реальная величина здесь. Ждут эти места и художников. Сколько найдут они своеобразного очарования во всей этой дикой, чисто-фантастической азиатской красоте! Одна Сунгари чего стоит! Сунгари со своими берегами, какие только может представить фантазия, — блестящая, коварная, изменчивая, но всегда поразительно прекрасная. Это отсюда кристально прозрачным каскадом падает она туда вниз, в это беспредельное море желтого, золотого леса, в голубом небе.

Корейцы уложились и уезжают.

Мы прощаемся.

Я даю им обещанную премию, плачу за простой, и корейцы быстро собираются в обратный путь.

— Итак, — говорю я на прощанье, — мы с драконом теперь друзья?

— О, да, да, — радостно кивают головами корейцы: — вон какая погода.

Тихо, и в безоблачной синеве угрюмо, неподвижно

находился спокойный теперь Пектусан. С невольным уважением я смотрю на него: страшного врага уважаешь.

— Он, верно,— говорю я,— покатался сам сегодня на лодке, и ему понравилось...

Корейцы смеются.

— А вы сами на нас никакой претензии не имеете? Может быть, вас в деревне кто-нибудь обидел?

— Никто не обидел.

— Спросить: довольны ли переводчиком? — спрашивает П. Н.

— Спросите.

— Довольны, всем очень довольны.

— Спросите: может, я с них взятку взял?

— Не брал, не брал.

Каждый кореец подходит ко мне, складывает обе руки и посылает ими приветствие мне.

Я говорю:

— Азунчано! Благодарю!

Они делают последнюю попытку уговорить меня ехать назад. Я смеюсь, машу рукой и говорю:

— Пусть только едут, не останавливаясь,— груза нет, лошади вытерпят; на рысях к утру, пока проснутся хунхузы, они уже будут дома.

— Е, е,— кивают корейцы в знак согласия.

Один за другим, на своих маленьких лошадках, они скрываются в лесу. Последние лучи — и опять горит Пектусан.

Где-то там теперь моя бедная лошадь?

Впрочем, я не очень жалею о ней: слепая, она свалила бы меня где-нибудь с кручи.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЧАНБАЙШАНЬ ДО СРЕДНЕГО
ТЕЧЕНИЯ АМНОКГАНГА

4 октября.

Вчера мы выступили по дороге, по которой не проходил, кажется, еще никто из европейцев, к истокам Ялу, на запад, к деревне Шадарен, что значит — западная деревня, которая отстоит от Пектусана на 180 ли, или 60 верст.

Прошли мы вчера мало — 40 ли, и ночевали в китайском охотничьем балагане, в котором печь и борова занимали половину пола; это же были и нары.

В балагане следы охотников, истопганные китайские башмаки, клинок ножа. Это жилье хунхузов, и теперь мы в коренной их стороне.

Сегодня утром видно, с какой кручи мы спустились в эту яму. В два часа ночи я уже окликнул часового и велел будить, а в четыре, еще в полной темноте, мы уже поднимались на утомительно высокий и крутой перевал Тандынво-но. Зато с него весь запад и часть северной стороны Пектусана, как на ладони.

Самый кратер Пектусана закрыт гигантским острым осколком скалы. Он угрюмо выделяется в небе. На одной иззубрине фигура женщины. Она сидит, слегка наклонившись, и смотрит в озеро. Сафо или Лорелея. В ее позе, в ней красота, страдание, нежность и полный контраст с угрюмыми скалами; она вечно здесь, в своем

одиночестве, она смотрит в страшное, зеленое, как глаза Лорелей, озеро, она вечно одна в этом безоблачном голубом просторе неба, на золотом фоне лиственного леса. И, прежде чем отдаваться делу, я стою и смотрю и, кажется мне, простоял бы так вечно, охваченный тем же чувством, каким охвачена та, склонившаяся. Каким чувством? Что так смотрит она, что видит? Какую-то тайну, разгадка которой так и приковала ее навеки к этому месту. Может быть, это наказание за эту подсмотренную тайну... Пройдут века, и кто-нибудь снимет проклятье и, встав, она принесет миру эту великую тайну...

Ни одно извятие не захватывало меня так, не будило всего лучшего, что только есть во мне, всех лучших грез, всех сил моей ушедшей молодости.

Я опять был молод и стоял с бесконечной жаждой лучшей жизни, с тоской в груди о ней, с живой болью сознания, что придет время, и жизнь людей иная будет, такая же чудная, безоблачная, как и это ароматное утро ясной осени.

И потом, занимаясь своей технической работой, каждый раз, как взгляд мой падал в эту даль, где темная глыба скал, а на ней этот образ красоты и загадки, я забывал свое дело и, охваченный новым порывом, смотрел туда, точно увидел вдруг в изображении искусного резца все, что только чувствовала лучшего моя душа в жизни...

Это мощное, как природа, олицетворение возрожденной веры во все лучшее человеческой души.

О, как жалею я, что не имею дара скульптора, художника кисти. Какое богатство здесь видов, тонов, типов, жизни. Все так ново, ни на что не похоже, и здесь, в этом первобытном месте человечества, так сильно чувствуется вся бездна, вся глубина, вся даль пройденного человечеством, и вместе с тем всё та же связь естества этого самого первобытного с самым усовершенствованным наших дней.

Но к делу. Воображаю, с каким раздражением и нетерпением какой-нибудь терпеливый географ будет читать мой дневник, в массе хлама выуживая нужные для него новые сведения.

Извиняюсь заранее перед ним и спешу сделать следующий доклад относительно истоков притока реки Сунгари. Ориби-мори называется этот уголок, что значит —

пять истоков. Пять истоков, осмотренных нами, и составляют приток реки Сунгари. Из них два вытекают из Пектусана двумя большими, чистыми, как слеза, быстрыми и неумолкаемыми каскадами.

Два других текут из подножья маленькими ключиками, увеличиваясь незаметно по дороге, без всяких видимых притоков, сходясь здесь на одиннадцатой версте все пять вместе в один, уже порядочный, очень быстрый горный поток, шириной и глубиной до сажени. Пятый исток берет начало уже из Чанбайшаня.

Интересующихся более точным положением этих истоков отсылаю к специально составленной карте всех пройденных мною мест...

Что-то совершенно особенное представляет вся эта местность притоков Сунгари. С перевала Тандынво-но мы спускаемся по северному склону Чанбайшаня в Маньчжурию. Лиственица и высокие могучие ели, опущенные зеленовато-желтыми прядями, тянутся перед нами.

Высота деревьев 20—25 саженей, толщина в несколько обхватов. Множество прекрасного, совершенно сохранившегося от пожаров леса. Попадают поляны, покрытые первобытной, в рост человека, травой... Иногда ели раздвинутся, и увидишь вокруг сказочный уютный уголок. Вот там, между тесно надвинувшихся друг на друга гор — мирная полянка. Темные ели с серебряными стволами чередуются там с полянами теперь желтой травы.

Вот посредине целая клумба этих елей, собравшихся в тесный кружок, а там, на поляне, они в одиночку и опять собрались в уютном уголке, у звонкого ручья.

Это целебный ключ горячей воды, и корейцы прежде ездили туда купаться, лечась от ревматизма, но теперь хунхузы стали так несносны, что никто больше не ездит туда. На выступе скалы показалась вдруг красивая козуля.

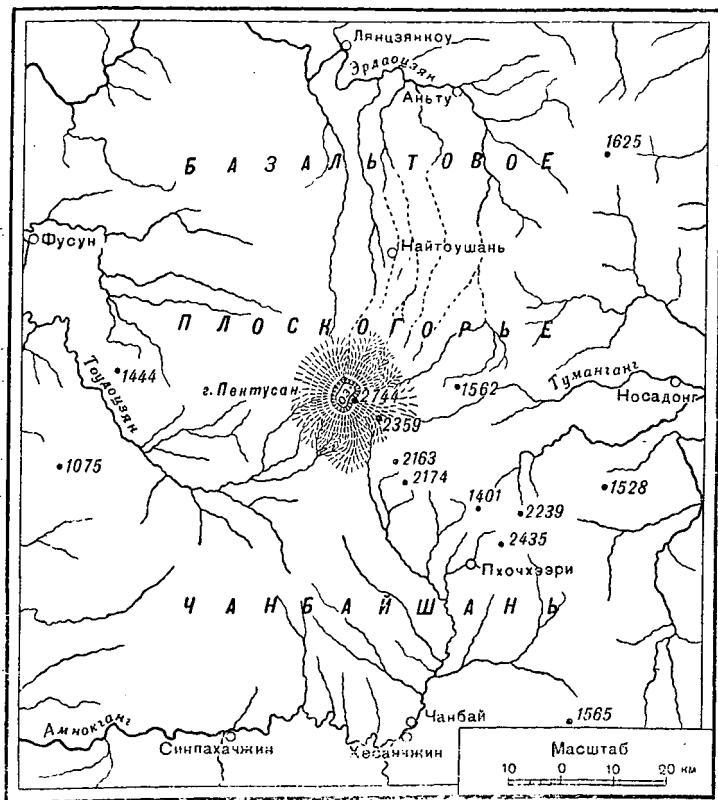
В том балагане, где мы ночевали, я нашел рога такой козули и, чтоб не быть хунхузом, я оставил за них мексиканский доллар.

За одним из поворотов, где лес расходится и открываются первобытные прерии трав, мы увидели вдруг, у подножия горы, приютившуюся китайскую фанзу. У ворот фанзы стояло несколько китайцев.

Хунхузы?!

Так как тропка наша ведет прямо к ним, то через четверть часа мы к ним и подъезжаем.

Нас четверо: Н. Е., П. Н., старик-проводник и я. С Н. Е. охотничье ружье; все остальное в обозе, который ушел вперед.



Карта района вулкана Пектусан.

Всматриваемся, это наш переводчик В. В. с тремя китайцами. Он отстал от обоза, чтобы купить у них картофель, который они здесь сеют.

Но каково было мое изумление, когда в трех китайцах я узнал тех двух, с которых несколько дней тому

назад я снимал фотографию и подарил им несколько штук печений.

— Вы же хотели назад в Тяньпэ итти? — приветствовали нас китайцы.

— Раздумали — ответил я.

Оказалось, что и фанза, где мы ночевали, их. Я сказал им, что взял рога и что оставил за них мексиканский доллар.

Старик рассмеялся и весело замахал руками.

— Они ничего не стоят.

Он вынес мне еще рога, а сын его, радостный и довольный, принес мне пару рябчиков.

Я хотел чем-нибудь отблагодарить его, но деньги были в обозе.

Думал, думал и отдал ему последнее смертоносное оружие, которое носил при себе — кинжал с поясом. Прекрасный кинжал из английской стали.

Восторгу молодого предела не было. Он смеялся, прижимал к сердцу и к лицу и, сжимая в руках, тряс его в воздухе.

— Очень, очень благодарен, — переводил В. В.: — это для него, как для охотника, самый дорогой подарок.

— Вот что. Скажите им, что у нас пропала хорошая лошадь на Пектусане, пусть найдут и возьмут ее себе.

В. В. еще остался, а мы уехали, и долго-долго еще вдогонку нам смотрели хозяева фанзы. Когда В. В. с купленной картошкой догнал нас, он сообщил, что до 40 хунхузов отслеживают нас с того времени, как мы выступили из Мусана. Теперь они уехали по направлению к Тяньпэ, думая, что мы возвратимся туда.

Все это сообщил старый китаец в последний момент разлуки с В. В. Сообщил нехотя, против воли, как будто, может быть, подкупленный нашей лаской. Я совершенно не верю всем этим запугиваньям, но, во всяком случае, тем лучше, если хунхузы, сбившись с нашего следа, ушли в другую сторону.

Так как сегодня мы выступили очень рано, то около 12 часов остановились покормить лошадей, кстати и самим поесть. Мы остановились в долинке, покрытой сплошь травой в человеческий рост. Трава сухая, и, разводя костер, чуть было не наделали пожара. Загорелась трава, вспыхнула, как порох, и едва дружными усилиями потушили ее.

К концу завтрака подошли двое из тех китайцев, с которыми мы только что разговаривали: молодой и новый, тоже старик, но не отец.

Подошли и сели. Молодой смотрит радостно, воодушевленно.

— В. В., зачем они пришли?

— Его идет Шанданьон *, чумиза купить.

Значит, с нами; что-то странно.

— Его говорит, что там теперь хунхуз нет, хунхуз позади. Его говорит, дорогу знает больно хорошо.

Так как старик наш Дишандари иногда сбивается, то я и не протестовал против их общества. Да к тому же и чисто детская привязанность и радость дикаря, его взгляд на меня, полный радости и удовольствия, слишком ясно говорили о чистоте его намерений. Позавтракав, мы тронулись дальше, не выходя из леса; лиственница, ель, кедр. Все тот же прекрасный, изумительный строевой лес, какого я никогда не видел, хотя видел много первобытных лесов: на Урале, в Сибири, на севере России и на Кавказе. Никогда не думал, чтобы первобытный лес мог быть таким великолепным (59).

Однажды мы было сбились, и если бы не сопровождавшие нас китайцы, вместо Шадарена или Шанданьона, не знаю куда и попали бы.

Когда опять мы подошли к раздорожью, не доходя верст 30 до Шанданьона, китайцы стали энергично настаивать на том, чтобы идти дорогой направо. И дорога лучше и попадаются китайские фанзы...

Дишандари отвечал на это, что той дороги он не знает, а всегда и он и все корейцы ходят левой дорогой.

В конце концов китайцы так усердно расхваливали свой путь и ругали корейский, что я решил идти по их дороге.

Тем более, что Дишандари и сам признавал, что его дорога для проезда на лошадях очень плоха.

— Ну, в таком случае едем...

И мы повернули на дорогу вправо. В четверти версты от поворота наткнулись на китайскую фанзу.

— Здесь через каждые пять верст такая фанза, — сообщил молодой китаец.

Из фанзы выглянул владелец ее, такой урод, какого редко приходится встречать. Типичный орангутанг.

* Китайское название той деревни Шадарен, куда и мы шли.

Что-то было и отвратительное и комичное в его старом бабьем, голом от растительности лице, в его изжитом, циничном, насмешливом взгляде, редких зубах, во всей его грязной донельзя фигуре. Что-то донельзя отталкивающее. Но я всегда боюсь за свои первые впечатления не в пользу человека. Откровенно признаться, я всегда глушу их в себе. И на этот раз я поступил так же.

«Бедный охотник, несомненно, художник, иначе что заставило бы его всю жизнь жить в этой трущобе. Трущоба для меня, но для него что-то такое родное, без чего он, очевидно, и жить не может; ночью эта тайга шумит, как море, утром тихо и торжественно. Алмазное утро осени. Треснет ветка где-нибудь, и это отдается в лесу. Дятел стучит, рябчик шумно пронесется, хлопнет западня с попавшейся белкой, а то заревет злобно и дико и сам господин здешних мест, попавшийся в капкан тигр...»

Так думал я и в конце концов уговорил себя и в этой фигуре уроды видел уже только просто физически обиженного богом человека, желающего на лоне природы забыть и свое уродство и людей — всё, кроме природы. Забыть и не видеть никогда.

— Он женат?

— Нет. Вот он тоже говорит, что здесь лучшая дорога.

Я посмотрел на уроды, и тот пренебрежительно кивнул мне головой. Потом он что-то сказал, махнул рукой и улыбнулся отвратительной улыбкой.

Мы поехали дальше, и в моей голове все сидел этот оригинальный старик-урод.

— В. В., как вы думаете: хороший это человек и все эти, что идут с нами?

— Моя не знает, моя думает, что хорошо. Фанза есть, картошка сеет, редьку сеет. Хунхуза нет, сказал, у него тоже хунхуз была три дня назад и все забирал.

Дишандари идет мрачнее ночи.

— Он говорит, что нам устраивают западню, — шепчет П. Н.: — надо было идти левой дорогой.

Не верю я этой западне, — фантазия робкого корейца она, — но, с другой стороны, как ответственный за безопасность всех находящихся со мной, я предложил для предосторожности ружья взять в руки.

И солдаты неохотно взяли ружья, а Н. Е., все время не расстававшийся до сих пор со своим винчестером, сегодня, как нарочно, его передал В. В.

В. В. в чехле везет его за плечами.

— Ну, надо будет — возьму, — говорит Н. Е.

— Но в тот момент, когда вы определите ваше «надо», — будет уже поздно. Представьте себе, раздастся залп, В. В. со страху бросается в лес...

— Да ведь ничего же этого не будет.

Н. Е. говорит ленивым тоном человека, которому за меня неловко.

— Наконец я, право же, не могу: и ружье вези, и отмечай направление, и ситуацию местности...

Я обижен и молчу.

— Я возьму ружье, но тогда освободите меня от работы.

— Освобождаю: давайте компас, шагомер.

Н. Е. молча передает мне шагомер, компас, берет у В. В. свое ружье и, обиженный, отъезжает. Я тоже обижен.

«Ну что ж, — думаю я: — к барометрической нивелировке и астрономическим работам пусть и эта прибавится...».

И вот я еду вперед и веду карту. Меня смущает, что, вместо запада, мы все идем на север.

Пройдя около двух верст, я наконец говорю, что эта дорога куда угодно, но не в Шадарен.

— Дишандари, покажите рукой, где Шадарен?

Дишандари показывает теперь на юго-запад.

— Опрсите китайцев: так?

— Так.

— Почему же они ведут нас так?

— А потому, что все они разбойники, что-нибудь уде- лывать зачнут с нами, — отвечает Бирик.

— Дишандари говорит, что он за эту дорогу не ручается, — шепчет П. Н.

Сумерки быстро надвигаются, начинается дождь как из ведра, палаток у нас нет.

— Поворачивай назад, в фанзу.

У корейца лицо радостное, а китайцы в отчаянии протестуют.

— Через пять ли впереди большая хорошая фанза.

Я почему-то не говорю о принятом решении завтра идти по корейской дороге.

— Завтра и пойдем в ту фанзу, а сегодня назад.

Китайцы еще говорят, но я уже не слушаю.

Старик-китаец что-то говорит и уходит от нас, а молодой возвращается с нами.

Уже темно, когда мы снова подходим к фанзе отшельника-урода.

Молодой китаец уходит спрашивать разрешения и затем снова возвращается, говорит: «можно», и открывает ворота.

— Заезжай.

Первый заезжает Бибик и сворачивает воротный столб.

— Вишь, черти, чего понастроили,— ворчит он:— тоже ворота называются.

Внутреннее устройство фанзы соответствует своему хозяину своим подозрительным и таинственным видом. Низкая, не выше аршина печь, занимая половину помещения, уходит вглубь, и в ней горит огонь, неровно освещающая темные стены. Над огнем вмазан громадный котел, наполненный водой. Из воды идет пар. Перед печью, не обращая на нас внимания, сидит на корточках хозяин. Огонь как-то странно играет на его лице, и в плохо освещенной остальной фанзе движутся тени огня.

Фанза задымленная, черная, на полках и на крючьях лежат и висят беличьи кожи, ножи, род пистолета, китайские стоптанные башмаки, всякий куда негодный хлам, кости. Один нож весь в запекшейся крови, и его ярко освещает пламя.

— Вот самый разбойничий притон, какой только бывает в сказках,— говорит Беседин.

Лицо хозяина, ярко освещенное огнем, заслуживает хорошей кисти. Точно выступают из него какие-то скрытые, неведомые нам мысли, он смотрит в огонь, и презрительная, злорадная гримаса губ делает его похожим на дьявола.

П. Н., со слов Дишандари, рассказывает историю этого хозяина.

Он — бывший капитан хунхузов. Все эти фанзы не что иное, как притоны хунхузские: все хозяева их жалуются, что хунхузы их обижают, но продолжают жить и, на всякий случай, человек на двадцать варить, в случае неожиданных гостей, чумизу, суп из белок, лапшу. Хозяин скушает у хунхузов добычу — награбленное, кожи убитых зве-

рей, жень-шень, и потом перепродает их. Не смотрите, что он нищий: у него есть и золото и серебро, но он скуп, как кащей. У него есть земля, которую обрабатывают ему исполу корейцы. Корейцы эти, как огня, боятся его; он владыка их жизни; его встречают с раболепными поклонами, он берет все, что ему понравится, не исключая и женщин. Это зародыш тех вассалов-баронов, имена которых так прославлены теперь их предками. Этот предком не будет, и ход событий, как осенний мороз побивает несвоевременные цветы, уничтожит и в этом уголке эти запоздавшие, уже отцветшие на общечеловеческой ниве цветы.

Как бы то ни было, но почтенный барон, со всей своей сказочно-разбойничьей обстановкой, навел на нас некоторый благотворительный страх.

Даже Н. Е. заявил, что здесь не следует спать, хотя, сказав это, лег и моментально заснул.

Но остальные не легли, и я с нашими солдатами отправился осматривать фанзу и ее двор.

Как и следует феодальному барону, логовище его представляло крепость, вполне защищенную от пуль хунхузов. Маленький двор и само здание были обнесены высоким частоколом, вершина которого сажень на двух была заострена.

Вся крепость имела вид круга и помещалась на расчищенной от леса полянке, сажень пятьдесят в окружности. Таким образом обезопасенные и от ружейной стрельбы, мы, при надлежащем карауле, могли быть наготове, если бы хунхузы решились брать нас приступом.

Четыре часовых гарантировали безопасность: три солдата и кореец. Остальные все — я, Н. Е., И. А., два переводчика (китайский и корейский) и работник — кореец Сапаги, он же и рассказчик, сидели в фанзе. Вернее — то спали, то просыпались.

Что до китайцев, — хозяина и молодого, — эти ни на мгновение не уснули и все время были настороже.

Я дежурил до 12 часов, затем разбудил И. А. и заснул.

Проснувшись как-то, я увидел сидящего возле себя молодого китайца. Он смотрел на моего Маузера (карабин), и глаза его загадочно горели. Я подумал, что, в случае опасности, он скорее бы его схватил, чем я... Я ближе придвинул к себе карабин и опять уснул.

Я опять проснулся. Хозяин-урод протянул руку к единственной лампочке, висевшей на стене, и, сняв ее, стал подливать в нее масло.

Я залюбовался этой и адской и вместе с тем первобытной физиономией человека-зверя-дерева, который не утратил еще наслаждения от такого изобретения, как лампа, и сознания, что эта лампа у него в руках. Но вместе с тем у меня мелькнула мысль, что радость его происходит от сознания, что случись нападение и потуши он эту лампу, мы останемся впотьмах. Поэтому, как ни берегли мы свечи, я зажег одну и поставил ее сзади дежурного.

Н. Е. проснулся и сонно бросил:

— Да никакого нападения не будет.

— Не будет,— согласился я.

— А не будет, так зачем же мы мучим себя? — обиженно бросил Н. Е.

— Если бы мы с вами были одни, то и спали бы... Можно одну ночь и не поспать, завтра будем в деревне, в безопасности — отоспимся...

В пять часов начало как будто светать. Так как у лошадей не было овса, а всю ночь мы держали их в крепости, то теперь, под караулом четырех человек, стоявших внутри крепости, выпустили их на поляну пощипать мерзлой и чахлой травы.

В семь часов мы выступили, поев чумизы и двух рябчиков. И китайцы ели: они сварили себе суп из белок и чумизы.

Десять таких, как я, не съели бы и половины того, что съел каждый из них.

Солдаты мастера есть. Н. Е. молодец, но и тот заметил:

— Как они не лопнут? И ведь худые, как обглоданная кость.

— Они наедаются на три дня и потом могут сделать переход в триста ли,— объяснил нам Дишандари: — это нехорошо, что они так едят.

Когда наступил момент расчета то, позвав В. В., мы спросили хозяина, что он хочет с нас за чумизу и ночлег.

— Что дадут.

Мы дали за чумизу и за ночлег два доллара.

Для корейца это очень высокая цена, и корейцы очень долго отказываются от нее, но барон, взяв два доллара,

перебросил их с руки на руку с выражением такого презрения, которому позавидовал бы сам Мефистофель, и сказал:

— Это только? За бессонную ночь и свороченный столб?

— Сколько он хочет?

Но он отвернулся и презрительно молчал.

— Еще доллар довольно?

— Это будет больше, чем прежде.

Мы дали ему еще доллар.

На этот раз он не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться деньгами и послушать их звон, пока мы собирались.

Он сидел на корточках. Скупой рыцарь, во всем своем отвратительном великолепии. Но он в то же время был так типичен, что я не мог не любоваться им и, поборов отвращение, предложил снять с него фотографию.

— Пусть снимает, — презрительно бросил он.

Я поставил его перед его фанзой и снял его. Он стоял с трубой и равнодушно, с скрытым злорадством, следил за мной. Он как бы говорил:

— Снимайте, выдумывайте все ваши инструменты, но я тоже что-то такое знаю, от чего все ваши выдумки и знания исчезнут, как дым... Да, да... выдумывайте, пока есть время.

И, если б он был один, он, вероятно, хохотал бы так, что проходивший где-нибудь бедный кореец, дрожа, убежал бы далеко в лес. С каким выражением смотрел он на меня, когда я осматривал его пистонный пистолет с громадным дулом!

Молодой китаец завел меня в сарай и показал на что-то громадное. Это была ручная пушка: ружье очень длинное, с дулом в кулак. Пять человек несут и стреляют из нее.

— Для кого же это?

— Для незваных гостей...

— А если эти гости возьмут с собой приготовленный для них подарок?

Лицо старика стало серьезно, тревожно, и с подобострастной улыбкой он ответил, что говорит о тиграх.

Я бы еще несколько часов наблюдал этот, давно ушедший в историю тип, но надо было ехать.

Мы едем по корейской дороге, налево.

Поражение обоих китайцев — хозяина и молодого — было нескрываемое.

— Скажите китайцу, чтоб шел с нами.

Он что-то сказал хозяину фанзы и, после попыток удержать нас, покорно пошел за нами.

— Что он сказал хозяину?

— Сказал, чтоб передал его товарищу, что он идет этой дорогой.

— Почему товарищ его не остался с нами?

— Он ушел узнать, нет ли худых людей на дороге, и, если бы были, он пришел бы.

Это и вчера говорили нам китайцы, но я, с одной стороны, и верил ему, потому что он смотрел на меня глазами преданной собаки, гладил меня рукой, и в то же время не верил.

— Не поверил мне начальник, — грустно, укоризненно сказал он, когда мы пошли.

— Поверил, но эта дорога ближе к реке, а мне надо ее осматривать.

Дорога, действительно, была отвратительна: валежник, бурелом, болото. Все хорошее было теперь назад — Пектусан с скрытым волшебным озером, пейзажи гор и уютных уголков, нарядные леса, сказочная красота притоков Сунгари. То течет она среди громадных скал и звонким водопадом шумно летит вниз, то спрячется в высокой траве, оставляя щель не более двух аршин. Но заглянешь в эту щель, и волосы дыбом встанут: под этой щелью страшное из черной скалы с голубоватым просветом подземелье, глубиною до ста футов, такой же ширины. Свет едва проникает и тускло освещает и темные своды, и пенящуюся там, где-то внизу, грохочущую воду. В одном месте река уходит под темный, точно руками человеческими сделанный свод (60). Здесь, в диких первобытных местах я смотрел на эти спрятанные красоты, поражавшие тем сильнее своей девственной первобытностью, и чувствовал себя снова в обстановке детства, сказок Эмара, которым верила когда-то фантазия. Вероятно, тогда, слушая сказки, так и рисовалось все это в фантазии, потому что было что-то как будто очень знакомое, почти родное, и в то же время обаятельно новое, не виданное и не подозреваемое. И все это было уже назад.

— Повернитесь и в последний раз попрощайтесь с Пектусаном.

Дишандари говорит это, и П. Н. переводит.

Я и все мы повернулись и замерли.

Белый, уже весь в снегу, вырос перед нами еще раз, и в последний, громадный, величественный, весь на виду Пектусан. Засыпаны были белоснежным покровом все выступы скал и над озером каменный медведь и прекрасное склоненное изваяние.

Все торжественно и тихо, все сверкает алмазами снега. И так торжественно звучит голос Дишандари:

— Сегодня мы уже не прошли бы ни на Пектусан, ни сюда — все проходы, перевалы занесены снегом, и дороги нет ни вперед, ни назад... Вот чего и боялся я, но у начальника большое счастье. Это вчерашний дождь там снегом упал.

Да... счастье и большое: угадать так из Петербурга день в день...

Мы спускаемся ближе и ближе к реке. Родное черное-лесье. Запах осины, сырость, запах гниющего уже листа и шелест его. Ясная, но уже глубокая осень, щемящая грусть и пустота этого леса. Нет жизни, нет зверя и птицы, все умирает или засыпает долгим сном зимы.

Дорога все хуже и хуже, и В. В. страстно, горячо, но непонятно переводит слова китайца о том, как хороша была та дорога, по которой он повел бы.

Еще ближе к реке, и опять прекрасный лес — еще лучше: много ясеня, в обхват до двух саженьей, прекрасная пихта, редкая, но прекрасная лиственница. Иногда гривами лиственница одна, прекрасная, стройная. А какой кедр!

Здесь уже можно сплавлять по реке этот лес громадной стоимости. В сумерки мы подошли к цели нашего путешествия — деревне Шанданьон, населенной почти исключительно корейцами.

С каким чувством удовлетворения увидели мы опять мирные картины вечера в деревне, ометы хлеба, кукурузы, жильё, слышали рев скота.

Жители никогда не видели здесь европейца.

С каким радушием и гостеприимством нас приняли: вот лучшая фанза; есть курица, картофель, чумиза, редька.

Вся деревня, фанз тридцать, разбросана версты на две в узкой долине. Пять-шесть китайских фанз — хозяева той

земли, на которой живут корейцы. Корейцы платят им половинный урожай.

— Хунхузы есть?

— Хунхузы ушли на Пектусан, нет хунхузов.

— Обижают хунхузы?

— О!

Это безнадежный, покорный вопль. Хунхузы-хозяева приходят и требуют всего: птицу, чумизу, теленка, быка, женщин, и все дают, чтобы сохранить презренную жизнь.

Какое наслаждение быть опять в тепле, раздеться, вытянуться в кровати, переменить белье!

— Так что безопасно от хунхузов?

— Теперь вполне.

— Ну, так сегодня караул корейский: Таани и Сапаги, все остальные ешьте и спать.

И мы уснули, как, кажется, никогда еще не спали.

5 октября.

Страшный грохот и треск заставили меня открыть глаза. Ночь темная, что-то сыплется сверху: глиняная штукатурка. Залпы выстрелов?! Частые, громкие, новый и новый треск, какой-то злобный, жужжащий, ищущий в кого впиться свист. И опять залпы: то трескучие, то глухие — бум... бум...

Хунхузы?! Где ружье?! Где хунхузы?! В фанзе уже перерезали всех, и только я почему-то еще жив? Стреляют в бумажные двери, стоя перед нами? Ночь, хоть глаз выколи. Зажечь свечку? Откроешь им все... Откроют и так... Так вот как это все кончается... Что ж, как-нибудь да должно же когда-нибудь кончиться... Поздно, поздно... Теперь одно мужество смерти...

Тихий голос Н. Е.:

— Вы живы?

— Я ишу свое ружье, нашел... Не зажигайте свечку... Ружье, кинжал с вами?

— Со мной.

Какой-то шорох.

— Кто это?

— Я, П. Н.

— Где солдаты?

— Здесь.

— Все?



Кореец с верховьев Амнокганга

— Беседина нет.

Н. Е. поймал кого-то за длинные волосы:

— Кто?

Молчание.

— Молчит и только гладит меня по колену,— говорит

Н. Е. — Что-то говорит.

Это Дишандари, оказывается, он говорит, что хозяин фанзы уже убит.

— Где корейцы?

— Убежали в лес.

— Подползайте к двери и сядьте по стенам,— говорю я.

Я сажусь с левой стороны двери, с правой Н. Е.

Прорвали дырку в бумаге и смотрим.

Залпы не прекращаются, но, очевидно, стреляют сзади, и мы защищены от выстрелов капитальной стеной. Только там, вверху, в соломенной крыше без потолка, по временам какой-то блеск, и точно сыплется что-то оттуда.

— Сколько ж их стреляет?

— Ох, много,— говорит удрученно П. Н.,— человек двести.

— Сорок,— поправляет Дишандари:— это та партия, которая уходила к Тяньпэ; у них две пушки,— вот это светлое там в крыше мелькает,— это ядра.

— Который час?

На мгновение я зажег спичку: половина пятого.

— Скоро рассвет. Только бы дня дожидаться, чтоб увидеть что-нибудь.

Стреляют все сзади. Что с лошадьми?

Заглядываю на мгновение в дверь: при свете костра видны лошади,— они стоят совершенно равнодушные ко всей этой трескотне. Начиненные бомбы из ружья-пушки иногда разрываются и огненными искрами тухнут во мраке.

— Сперва с этой стороны стреляли, а потом перешли назад...

— Отсюда не стреляли; это бомбы перелетали и не разрывались, и казалось, что отсюда стреляют. Они в лесу засели и оттуда палят.

Ночь, не видно ничего, а с вечера на все окружающее здесь не обратили внимания. Но не далек и рассвет. Ах, дожидаться бы свету! Плохо, если зайдут с этой стороны и начнут стрелять в бумажные двери. Они, очевидно, оши-

бочно предположили, что мы заняли ту сторону фанзы, иначе кто им мешал зайти с этой стороны — лес там и здесь.

Мне холодно, я замечаю, что я не одет. Кто-то подает мне меховую рубаху.

Шорох в соседней комнате.

— Кто там?

— Беседин.

— Откуда вы?

— Сапаги взял мое ружье, бегал искать его: пропало... думал, это вы уже там в лесу завязали перестрелку...

— Тише... голоса...

Близко против нас разговор: несколько голосов...

— Что они говорят?

— Говорят, что тихо: убиты все или убежали.

— Без команды, пока не увидите людей, не стрелять.

Голоса уже перед нами.

— Что еще говорят они?

— Та, — это значит: стреляй, говорят.

Я быстро растворяю дверь; залп!

— Пробежал, пробежал! другой на четвереньках... вот, вот...

Н. Е. выбегает и заглядывает за угол — никого.

— Ну, теперь знают, что мы живы, и сюда не полезут, а выстрелов их, очевидно, нехватает, чтобы прострелить заднюю стену и ранить нас.

— Почему так светло?

— Кажется, фанза горит.

Н. Е. опять выскакивает и возвращается.

— Горит фанза сзади, но ветер в противоположную сторону — все-таки горит хорошо... Хотят при свете горячей фанзы, сидя в лесу, как куропаток, нас расстрелять, когда мы выскочим.

И залпы прекратились, — ждут нашего появления. Негодяи ничем не хотят рисковать. Но хоть бы увидеть их и дорожке продать свою жизнь. Какая-то злоба закипает, и картины прошлого ярко встают в голове. Ах, скорее бы свет!

Светает! Перед нами овражек; ясно, что надо перебежать туда и залечь.

— Готовы все?

— Готовы.

— Дайте папиросы, часы, портсигар.

Я надеваю сапоги, засунул в них часы, портсигар, спички и три пачки патронов.

Я вперед и все за мной, пригнувшись, быстро перебегаем в овраг. Залп, но мы все целы... Мы сейчас же отвечаем залпом: теперь видно, куда стрелять — фитильные огоньки их выстрелов обнаруживают цель.

Очень скоро, впрочем, после наших залпов выстрелы из лесу прекратились. Было уже настолько светло, что можно было разглядеть местность.

Вскоре пришли В. В., китаец и Таани. Они все сидели в какой-то яме. Под моим и Н. Е. прикрытием стали переводить лошадей в овраг.

Две лошади убиты наповал, две ранены...

Беленькая лошадка, проводник слепого, убита пулей в лоб. Слепой жив, идет и по обыкновению тяжело стонет.

Когда лошади были переведены, принялись спасать вещи. Время было — пламя уже охватило крышу.

И вещи перенесены. Светло. Фанза догорает. Хозяин ранен двумя пулями: одна в ногу, другая в пах.

У В. В. прострелена шуба. В. В. совершенный молодец: спокоен, как будто все делается так, как и должно — все предопределено за много миллионов лет.

— Моя думал, больше домой не будет.

Он и китаец-проводник вводят лошадей, носят вещи.

— Ружье нашел, — кричит радостно Беседин.

Немного дальше от ружья полушубок Сапаги и тут же китайская материя. Сапаги, следовательно, бежал от них, они догнали его и увели. Почему он бежал не к нам в фанзу, а мимо? Было приказано раньше всем собраться ко мне. Почему не стрелял? Почему не кричал? Очевидно, тогда еще не стреляли. Стрелять начали, когда схватили Сапаги.

Думали, что от залпов мы выскочим, и тогда, при свете костра и горящей фанзы, они перестреляют нас.

Бедный хозяин поплатился за гостеприимство.

— Скажите ему, что он получит за все убытки.

— Он говорит, что исполнил свой долг гостеприимства, денег не надо, лишь бы жить: он просит полечить его.

Полечить? У нас была маленькая аптечка — хина, иноземцевы капли, несколько мудреных названий, карболка, бинты.

— Пули надо вынуть...

— Мы не доктора...

Солдаты качают головами.

— Умрет: попало в пах...

Животный эгоизм: я думаю, какое счастье, что из наших никто не ранен, какое счастье, что еще восемь лошадей есть.

Прибежали корейцы из леса.

— Большое, большое счастье, всем нациям счастье, только корейское счастье пропало, нет у корейцев счастья.

Дишандари говорит:

— Вчера у меня была лошадь, сегодня она уже мертвая лежит. Вчера наш хозяин был живой, здоровый и самый богатый человек в деревне; сегодня он умирает, все добро его сгорело, и семья его самая нищая из всех.

Сколько естественного благородства, простоты в этом умирающем. Строгое, черной бородой окаймленное лицо, большие глаза. Умирающий вдруг тихо заплакал. О чем он плакал?

О прожитой жизни, о потерянном богатстве, о тщете всего земного?

Никто не знает, тихо и торжественно было кругом.

Жена прильнула к его ногам и тоже плакала слезами истинного горя, без криков и воплей.

Молодой сын 12 лет, принявший нас вчера в отсутствие отца, посчитавший сперва нас за хунхузов, стоял теперь такой же бледный и трепещущий, как и вчера стоял перед нами.

— Позовите его.

Он подошел ко мне и напряженно вслушивался.

— Пусть скажет фамилию отца и свое имя. Мы сообщим обо всем китайским властям, сюда придут войска. Ему с матерью пришло 300 долларов. Пусть уйдут назад в Корею. Там вырастет он, найдет хорошую жену и будет счастлив.

— Он тоин *? — быстро спросил мальчик на меня: — отец будет жить?

— Оконшанте не сказал свою волю. Пусть прячет эти деньги, это золото; оно пригодится ему с матерью, пока другие придут.

— Говорит, не надо деньги. Хунхузы узнают, опять придут.

* Предсказатель.

— Никто не видит, пусть он спрячет.

Громкие крики несутся по деревне. Это более храбрые, возвратившись, вызывают из леса своих робких родственников.

Иногда громко, настойчиво кто-нибудь кричит одно и то же имя. И вдруг где-нибудь близко, в кустах, раздается ответ. Очевидно, спрятавшийся все время слышал. И теперь отвечает, но не идет. Начинаются целые переговоры, пока наконец покажется еще один белый лебедь из лесу.

Постепенно около нас собирается толпа. Они опять спокойны, удовлетворены, ласковы. Они узнали, что хунхузы опять уйдут за нами и оставят их в покое.

Хунхузы идут на соединение с другой партией, которая действует на Ялу, чтобы совместно уничтожить нас. Они определяют эту партию в 40 человек, но им помогают временные, все эти бароны, которым корейцы отдают половину своих доходов, своих женщин. Пушки у них от баронов.

Я уже убедился горьким опытом, что кореец никогда не лжет и, сообщая нам, не гнет никакой линии.

Оказывается, что с того времени, как мы ушли из Тяньпэ, они ловят нас, но все время так выходило, что они получали неверные сведения. Единственный раз, когда им удалось догнать и перегнать нас, это когда мы ночевали у скупого рыцаря. Там они не решились напасть и предпочли устроить засаду, в полной уверенности, что мы пойдем по их дороге... Сведения о том, что мы свернули на корейскую дорогу, пришли к ним настолько поздно, что они только к трем часам утра успели подойти к деревне и таким образом почти потеряли ночь. Тем не менее, потеряв терпение и надежду еще раз захватить нас врасплох, они решили воспользоваться оставшейся ночью и произвели нападение.

Огонь нашего костра, лошади и сообщники-китайцы из местных баронов указали им безошибочно нашу фанзу.

К нашему счастью, дорога их идет по тому кособору, — иначе, приди они по нашей дороге, пальба была бы в наши двери.

Вероятно, скупой рыцарь объяснил им, что по ночам мы не спим, и тем объясняется то, что они не смели сделать нападение прямо на фанзу и перерезать и перестрелять нас, пока мы еще спали.

Все это только показывает, как трусливы эти хунхузы и какая разница между ними и такими же хунхузами на Кавказе, где во время постройки Батумской железной дороги, когда я только что окончил курс, пятерых служивших на моей дистанции десятников перестреляли и перерезали местные турки. Они тоже дали несколько залпов, но затем ворвались в балаган, где были десятники, и дорезали, кто еще был жив.

Точно так же могли бы и должны были распорядиться и эти хунхузы. Они хунхузы, но они ничем не хотят рисковать и добычу свою: тигров, барсов, медведей, нас, корейцев, богатых китайцев отслеживают и бьют из засады, устраивают западни...

Во всяком случае, характер врага нам ясен теперь... Опасны засады и ночи. Выгода наша в том, что теперь мы впереди: нам подниматься на ближайший косогор, им же обходить верст десять. Мы эту ночь все-таки спали, они нет. У нас лошади, и попеременно то верхом, то пешком, мы безостановочно можем двигаться, по крайней мере, вдвое дальше, чем они. Не теряя времени, наскоро поев консервов, мы стали собираться в поход. Четырьмя вьюками убавилось у нас, да, кроме того, и все остальные лошади должны быть так облегчены, чтоб все могли сесть верхом, а Дишандари и Таани двое на одной лошади...

Пробовали было мы нанять вьючных быков, но корейцы объявили, что только силой их можем заставить.

К силе я, конечно, и не думал прибегать.

Осталось одно: облегчить себя до последней степени.

Там, в Шанданьоне, таким образом оставили мы все наши консервы, запасы, великолепные постели, сумки, брезенты, оставили наши чемоданы, вещи. Я, как старший, показывал пример, и летели прочь полушубки, сапоги, теплые куртки, кожи, все белье, лишнее платье.

Кое-что все-таки сгорело. Из инструментов уцелели барометр, шагомер, компас.

Что делать со всем оставляемым?

Пусть возьмут и сохранят корейцы.

— Но как мы сохраним? Придут хунхузы и отнимут.

— Тогда отдайте им.

— А в огонь, чтоб проклятым не досталось? — говорит Бирик.

Я не мог решиться на это. Жечь прекрасные вещи? Нет, и вещи требуют уважения.

Это одна сторона, а вот другая.

Эти вещи задержат здесь хищников, а мы в это время далеко уйдем.

В восемь часов мы выступили, все верхом, с пятью ружьями, которое каждый, сидя верхом, держал на правом колене.

Так как приходилось несколько сот сажен пройти под правым косогором, где засели хунхузы, то для безопасности я приказал дать два залпа, чтобы обстрелять и обезопасить предстоящий проход... Н. Е., к которому возвратилась вновь вся беспечность русского человека, смущенно говорил:

— К чему же? Ясно, что днем они не нападают.

Но я настоял, и мы дали сперва один залп вдоль леса, а погода второй. А затем, перейдя брод, скрылись в лесах левого берега реки. Все это открытое пространство мы прошли на рысях, — чтоб показать возможную быстроту нашего движения, — в расстоянии друг от друга на десять сажен.

Прием, практиковавшийся у нас при постройке Батумской дороги, припомнившийся мне теперь. Благодаря такой растянутой линии, труднее засада, труднее перебить всех.

Но когда мы пошли в лес, то пришлось опять идти шагом — перед нами извивалась узкая тропинка, вся заваленная лесным хламом веков. К тому же перед нами было несколько тропинок; они шли частично в близлежащие китайские фанзы, частью в корейские.

Теперь эти фанзы брошены, вокруг зданий растет высокий бурьян, а некогда разделанные поля уже зарастают лесом, и дикий зверь, дикий человек могут любоваться делом своих рук.

Дишандари запутался в этих дорожках, и если б не три корейца, встретившихся нам, из которых двое за двадцать долларов согласились вывести нас на Ялу, то хоть назад возвращайся.

При этом они обязались не отставать от лошадей.

Они шли даже быстрее, так как иначе, как шагом — ни лошади ни люди идти не могли.

До сколько-нибудь безопасных мест нам надо было идти слишком сто верст, имея сзади шайку атаковавших нас хунхузов и спереди такую же, идущую на соединение с первой.

В час дня мы пришли в маленькую корейскую деревушку, уже по ту сторону Чанбайшаня.

Эти тоже впервые видели людей другой расы и сперва испугались, но потом очень радушно приняли нас.

Мы сварили себе пять куриц с картофелем и капустой, чумизы, лошадям дали столько овса, сколько они могли съесть, и в три часа выступили дальше.

Здесь корейцы сообщили нам, что вчера хунхузы Ялу были в сорока верстах от них, и потому сегодня на ночь они уходят в горы, так как ждут их прихода.

Перед нами были две дороги: корейская, глухая, без всякого жилья, и китайская, с баронскими фанзами по ней.

Для военного человека здесь, очевидно, и был решающий момент кампании: выступить по корейской дороге, пройти несколько верст по ней и затем, по компасу, перейти лесом на китайскую дорогу.

Таким образом жители деревни невольно обманули бы преследовавших нас, которые по китайской дороге спешили бы обогнать нас. Нам же засесть в засаду и перестрелять как идущих с Ялу, так и пектусанских.

Но так как лавры война не мои лавры, и вся забота моя, выполнив научные задачи, — а они уже были выполнены, сберечь доверившихся мне людей, то я, поделившись своими мыслями, несмотря на усиленные просьбы Н. Е. и солдат, настоял на том, чтобы безостановочно идти дальше. Но наступили сумерки, и чуть заметную тропинку проводники очень скоро потеряли.

— У меня есть огарок, — пискнул из темноты И. А.

Зажгли огарок и дорогу нашли.

С огарком в руках мы шли, пока он не догорел. Тогда корейцы зажгли березовую кору.

И вот, при прекрасных факелах, мы идем, как днем. Своими спинами корейцы закрывают свет, и сзади нашим преследователям его не видно.

Да и где теперь эти преследователи? Полыл дождь, как из ведра, и, уверенные, что темной ночью, да еще в дождь, не пройти нам, там, где и днем с огнем еще никто не ходил, они спят теперь в замке какого-нибудь злого барона.

В три часа ночи мы спустились в корейско-китайскую деревню Таснухан на реке Сагибудон-Мури, притоке Ялу, сделав девятнадцатичасовой переход, пройдя 50 верст.

И лошади, и люди шатались от усталости. Н. Е., как ребенок, упрашивал несколько раз остановиться и ночевать.

— Ну, я упаду с седла,— капризно говорил он.

— Мы вас привяжем.

Что до меня, я не чувствовал никакой усталости, но понимал в то же время, что без отдыха нельзя.

— Ну, господа воины, какая фанза в лучшей позиции в военном отношении?

Я бы пригласил на этот военный совет компетентных людей полюбоваться, как только обсуждали три отставных солдата тот вопрос.

Наконец была выбрана стоявшая посреди открытого поля, одинокая фанза. Мы тихо пошли к ней, тихо разбудили хозяина, успокоили его, дали лошадям овса, не разводя костра, а в фанзе занавесили их сквозные двери так, чтоб свет не проникал наружу. Затем попросили двух корейцев в помощь караулу и предупредили, чтоб никто не выходил из фанзы.

Беседин, Хапов, два корейца засели в прикрытых местах, Бирик варил суп. Н. Е. спал, я писал дневник, остальные возились с лошадьми, кроме И. А., который готовил чай с последним сахаром, так как весь сахар при последнем переходе растаял.

Таким образом мы переходили совершенно на корейскую пищу.

И опять повторяю: с этого и надо было начать, а кто хочет сохранить здесь свои привычки и вкусы, пусть лучше не ездит сюда. Истратит много денег и все-таки не сохранит.

6 октября.

В шесть часов утра мы уже выступили вперед.

Хунхузы Ялу прошли по китайской дороге. Могут теперь на здоровье встречаться и соблюдать там друг перед другом все китайские церемонии.

Проехали до вечера, и волшебная перемена. Мы едем долиной Сагибудон-Мури. Ширина долины — сажен триста всего, но, куда ни посмотришь, все это уже заселенные и засеянные места. Все время отсюда, вплоть до Амнокы, на каждой четверти версты фанзы, хозяйство, прекрасный урожай.

Первобытный лес исчез, горы Кореи, отдельные, высокие, покрытые высохшим бархатом осени, теснятся около реки...

Голубое безмятежное небо, орел парит, виноградные лозы с малиново-прозрачными листьями там, на отвесных скалах.

Корейцы и китайцы работают в поле, громадные сытые быки лениво перевозят в легких санках богатый урожай с поля в амбар. Куча золотистой кукурузы, вороха громадного гаоляна, в крестах сложенная чумиза, овес, буда, яrbуда, всевозможные бобы, красная и белая редька, кольраби (61), громадные тыквы желтые, красные, красный перец, на канатах десятками рядов подвешенный табак, лук, чеснок, картофель, капуста.

Особенное изобилие всего этого у богатых китайских фанз.

Перед фанзой маленькая кумирня из камня, нарисованные на бумаге фигуры, стопа молитв, особых на каждый месяц.

Перед кумирней два столбика, выкрашенных в красный цвет...

Такие же красные столбы перед воротами. В эти ворота видны двор, внутренняя фанза с широкими, клетчатой бумагой заклеенными окнами, с красными разводами и письменами.

Крыша с высоким скатом, окна особо, двери особо, комнаты большие. Во дворе и на высокой завалинке у дома вдоль стен грозди красного перца, табак — всех цветов, кукуруза, редька, тыквы, кольраби... Лица удовлетворенные, спокойные, благородные.

В. В. нашего окликают китайцы, и он с радостью кричит:

— Это вся хорошая человеки — хунхузов нет.

Корейцы приседают с Дишандари, и слышится:

— Е... е... е...

Что значит: да, да, да.

Два молоденьких корейца, наши проводники, весело мелькают впереди. Мы движемся все дальше и дальше...

Отдыхает душа от ужасов жизни первобытных лесов, где во мраке времен свирепствуют еще разбойничьи цари, бароны, над жизнью и имуществом своего раба, корейца.

Корейцы честные, благородные, умные, культурные.

А дикий башибузук дѣлает с ним, что хочет, как собрат его, тигр, уничтожает ненавистную ему культуру.

Следы этого уничтожения на каждом шагу — брошенные корейские фанзы, целые деревни.

Шайки в 20—30 человек, для которых, как и для всех этих шаек, роты стрелков довольно, а без этой роты на сотни верст терроризован край, остановлена всякая культура.

Несчастный кореец — раб китайского земельного собственника, раб хунхуза, выбивается как вол его из сил, таща общечеловеческую культуру сюда. За это его обижают, бьют, пыдают, вешают, а он отвечает врагам детскою незлобивою, беспредельным терпением, непонятной среди таких условий человечностью, гуманностью, тонкой предупредительностью. Точно не здесь они выросли, а воспитали их в самой гуманной школе, запечатлев навеки законы высшей гуманности.

Хочется плакать за них, а они жизнерадостны и утром, после нападения, они прибежали из леса и уже такие же ясные, как те утро было. Все около умирающего, собирают разбросанное добро.

А в эту ночь, когда мы подъехали к корейской фанзе, хозяин начал было отговариваться теснотой фанзы, но, когда мы ему объяснили, что нам нельзя делать шуму своим приездом, так как за нами гонятся хунхузы, хозяин ответил:

— Я думал об удобстве высоких гостей, но при таких условиях моя фанза принадлежит им, а я их сторож.

И надо было видеть, сколько непоказного, врожденного благородства было в его словах.

Не было случая в моем путешествии, чтоб кореец не сдержал своего слова.

Не устаешь, перечисляя достоинства кротких людей этой нации... И всякий, кто пробудет с ними, не сомневаюсь, полюбит их так же, как полюбили мы.

Мирная картина окружающей долинки, радость жизни ее, золотистый тихий закат, высокие горы с виноградниками, их малиновым, прозрачным отливом, все словно вводит вас в какой-то храм жизни, где слышите вы безмятежный, ласкающий, знакомый напев, зовущий вас опять радоваться жизнью, отдыхать.

Душа отходит от прежних ужасов и возвращается к новым ощущениям.

Чувствую усталость, можно еще ехать, но хочется покоя, стакана чая, хочется хоть на несколько часов почувствовать себя не в обязательных условиях трудного похода.

Как раз в этом месте точно запирается долина со всех сторон бархатными, красно-коричневыми горами, образуя правильной формы эллинг... (62).

Вечерние тени уже легли на долину, уже горит фиолетовым огнем река и уходит вглубь — туда, где между бархатом осенней листвы почти отвесно висит громадный белый щит,— то пашня трудолюбивого корейца почти на отвесном косогоре.

Нарядный китаец, в своем костюме излюбленного синего цвета, едет верхом и держит на седле маленькую дочку.

Бубенцы его лошадки звенят в воздухе, китаец любовно обнял дочь и что-то говорит ей. Он молод, худ, тонкие черты лица его интеллигентны, во всей фигуре чувствуется мягкая изнеженность. Мы выстрелили, и он озабоченно, ласково что-то говорит дочери, спеша успокоить ее...

В. В. все время говорит с ним и передает нам:

— Больно хорошая человек, богатый.

У него все хорошие люди.

• — Вот его дом.

Дом нарядный, красивый, с красными письменами, столбами и узорами.

Проехали еще с полверсты и останавливаемся на ночлег в деревне, наполовину китайской, наполовину корейской.

Деревни здесь на каждом шагу, вся долина до устья — сплошное жилье. Дишандари тянет остановиться у его брата в шестом колене.

Брат такой же симпатичный, как и Дишандари, но фанза его плоха, мала, пропиталась вся чумизой и дымом, который и сейчас пробирается сквозь щели боровов и следовательно и пола фанзы.

Все это мы уже видели, это, конечно, лучше, чем ночь под открытым небом, но В. В. уверяет, что у китайцев будет нам еще лучше.

Да и не видали еще как следует китайского житья-бытья.

— Так точно,— говорит Бирик,— у китайцев лучше,

у них все есть: и лошадям покой и корм, и хванзы лучше, и еда: капуста есть, картошка, лук, чеснок — все есть.

И сами и стерегут: им значит, конфузно, если у них что пропадает.

Собственно говоря, отвратительное впечатление, которое произвели на меня первые китайцы — хунхузы и бароны, уже сгладилось встречами с трудолюбивыми обитателями долины, с их трудом, накладывающим особенную печать на лица.

— Это другой китаец, — говорит Бибик, — с бабой.

Баба — гарантия культуры.

Я видел наконец первую китайку, с трубочкой, зачесанную, как их рисуют, с уродливо-маленькой ногой. Она уверенно стоит у ворот своей фанзы, окруженная несколькими мужчинами, и видно, что здесь она — капитан своего корабля.

Но как много китайцев: из каждой фанзы выходит 7—8 мужчин.

— Это работники — тут хунхузы — меньше нельзя, — объясняет В. В.

Уступая настояниям В. В., мы ночуем у китайцев.

После маленьких фанз корейцев, большая, помещительная комната обширного китайского дома, где мы ночуем, производит очень сильное впечатление.

Дом состоит из двух: наружного, с воротами посреди, затем обширный двор и другой такой же дом, саженях на восьми. Мне и Н. Е. отвели большую угловую комнату в фасадном доме. Печи такие же, как и у корейцев, но не во весь пол и с подъемом от пола вдвое большим. На этом возвышении стояли два столика, высотой в пол-аршина, с книгами на них. По полкам стен — книги, у стены устроено что-то вроде конторки. На одной из полок стоят китайские лампы, красные китайские толстые свечи. А все в общем напоминало в этой высокой, в темный цвет отделанной комнате кабинет старого Фауста. Нас встретил учитель, молодой с тонкими чертами лица, кланяющийся и прижимающий к груди руки.

Он сообщил, что хозяин их уехал далеко, по делам, а жена его, ей только 20 лет, немного испугалась и ушла ночевать к родным. Но высоким гостям будет доставлено все, чем они богаты.

Потом оказалось, что нас приняли за кого-то вроде хунхузов, и хозяйки с хозяйкой предпочли свалить на учителя весь труд приема таких гостей...

Все было прекрасно, и мы радовались, словно никогда ничего лучшего не видали, словно все это принадлежит нам.

— Посмотрите, какие ясли у них для скота. Из лучших они выводят свой скот и ставят наших лошадей.

— Сами рубят солому и, говорят, сами и на водопой поведут.

— Посмотрите, какая у них кухня, столы какие.

— Сколько у них работников?

— Шестьдесят. Хозяин наш лесом занимается и винокурный завод имеет.

— Где завод?

Нам показывают на один из одноэтажных флигелей. Мы идем туда. В чистом помещении стоит несколько котлов, сквозь щели пола видно подвальное помещение, видны огни, — все чисто, опрятно, поместительно.

— Куда хозяин деваает выкуриваемую сулю?

— Меняет жителям на бобы, чумизу — не у всякого охота самому варить водку...

На ужин нам готовится китайская лапша из гречневой муки, а Беседин из нее же варит гречневые галушки на сале, которые мы будем есть, ловя их заостренной палочкой, запивая мучнистой, пахнущей салом и луком водой, в которой варились эти галушки.

Словом, сегодня мы едим то, что всякий добрый человек хотел бы есть часто и с удовольствием.

А затем сон, все вместе в отведенной нам комнате, с одним караульным в этой же комнате.

7 октября.

Сегодня опять вперед. Все та же долина, населенная корейцами и китайцами. Корейцы бедны, китайцы богаты. Земля китайская, и корейцы отеснены к горам; там вершок за вершком отвоевывают они себе пашню у скал, у леса и кустарника. Из десяти снопов — четыре отдают китайцам, пашут им пашню.

К шести часам вечера, в девяти верстах от Линьцзяна (Маозршаня), спустились мы наконец на Амнок (63).

Как и говорил Дишандари, мы увидели здесь китайские шаланды, привезшие сюда соль с устья Амнок.

Соль темная, вываренная из морской воды, куплена нами по 80 коп. за пуд.

Местное же население соль не покупает, а выменивает на бобы.

Лодки приплывают сюда по высокой воде и уплывают весной с грузом хлеба, каменного угля, а также тайно намытого золота.

Каменный уголь в десяти верстах, там же и железная руда; золото по всем оврагам, но с особенно большим процентом содержимости. Уголь черный, рассыпчатый, по виду кокс.

Лучшего качества уголь вниз по Амноке, в 30 верстах отсюда и 30 от берега, там же и железная руда.

Медные рудники прежде разрабатывались китайским правительством, теперь брошены. Железные рудники разрабатывают желающие, производство мелкое — чугуноплавильное.

Золото добывают хищники, по преимуществу хунхузы, которых поэтому по всей Амноке много. На горах у них всегда стоит часовой, который, заведя какую-нибудь интересную добычу, вызывает выстрелом товарищей.

Тогда они бросают работу, берут ружья и идут на охоту, будь то зверь, человек — что судьба пошлет.

— Не возьмутся ли китайцы отвезти нас к устью Амноки?

— Нет, они приехали сюда, чтобы всю зиму торговать.

— Не продадут ли они свои суденышки?

— Один согласен — 500 долларов.

— У нас нет таких денег.

— У них есть лавка, есть пшеничная мука, китайский сахар, свечи, капуста, картошка, лапша вязиговая, пряники.

Мы покупаем все, конечно.

Мука 4 рубля за пуд, сахар — желтый песок — за фунт 50 коп., свечи сальные 50 коп. за фунт, маленький пряник, никуда негодный — 26 коп., каменный уголь — 50 коп. за пуд.

Цены, как видите, Кюба (64), но качество ниже всего, что только можно себе представить. Не удивительно поэтому, что при грузке в 500 пудов туда и 500 обратно они зарабатывают на лодку до тысячи рублей.

— Спросу нет — привозим мало и дорого берем.

Приходилось, очевидно, отказаться от мысли ехать на лодке. Нечего делать!

— Переправляйте в таком случае на корейскую сторону.

Переехали, и было уже совсем темно.

Китаец проводил нас в ближайшую деревню Ходянби.

Услышав шум, быстроногие корейцы успели уже с семьями и скотом убраться в лес.

Вызывали, вызывали их, клялись и уверяли, что мы мирные люди.

Сперва молчали, потом показался один, поговорил, что-то вскрикнул, и десятки белых китайцев окружили нас и радостно закивали головами.

— Это их пудни (староста) над 500 фанзами.

В дамской беленькой кофточке, дамской шляпе приседает молодой пудни и предлагает целых пять фанз к нашим услугам. Мы берем одну, спрашиваем, есть ли овес, куры, яйца, солома, чумиза.

Всё есть и даже рис. Но капусты, картофеля, луку—нет.

Суп из курицы и рисовая каша с неприятно-душистым китайским сахарным песком.

— Корейцы любят араса.

— Араса любят корейцев.

— Если бы уведомили старосту, вся деревня встретила бы высоких гостей.

Высокие гости, грязные, как угольщики, благодарят, просят не беспокоиться и ложатся спать.

Опасность давно миновала, но солдаты при каждом ночлеге выбирают фанзу с удобной позицией.

Даже равнодушный ко всему Хапов, проезжая сегодня днем мимо одной фанзы, сказал с удовольствием:

— Вот хорошая позиция,— место открытое.





ГЛАВА ПЯТАЯ
ВНИЗ ПО АМНОКГАНГУ ОТ МАОЭРШАНЯ
ДО ЫЙЧЖУ

8 октября.

Сегодня дневка и переговоры с китайцами относительно дальнейшей поездки на лодке (65).

Вся корейская деревня на этот день переселилась к нашей фанзе и, рассевшись, мирно смотрит на нас; некоторые занимаются своим делом. Один старик подтачивает ножичком приспособление для пряжи, другой кореец, молодой, с греческим лицом, с соколом в руках, шел на охоту, да так и простоял около нас почти весь день.

Староста тут же производил обычный суд и расправу.

Я сначала не знал, в чем дело, но когда привели одного интересного преступника, П. Н. вызвал меня во двор.

Староста сидел на корточках; так же сидел и обвиняемый перед ним.

Обвиняемый — чистенький, нарядный кореец, в безукоризненно белом, в дамской шляпке, из-под которой сквозит волосная повязка — знак отличия, который надевает каждый, кто имеет достаточно денег, чтобы купить такую повязку.

Кстати сказать, здесь, в Корее, с отличиями не церемонятся, — похвальные листы «Дишандари», «заслуженный стрелок», так подделывать стали, что в Новокиевске открылась целая фабрика их.

Теперь и Дишандари и почетная повязка больше не даются, но и поддельные листы покупаются, и повязки носят все.

Молодой преступник обвиняется в том, что, выкопав на китайской земле жень-шень, лучший продал, а худший только представил корейскому правительству.

Этот худший экземпляр в той земле, где он рос, во мху, был завернут в лубок и лежал перед старостой.

Говорят, жень-шень очень похож на ребенка. Тот, который я видел, имел действительно цвет кожи, но никакого сходства дальнейшего с человеческим обликом не было: скорее узловатое тело уродливого белого паука, величиною с ладонь.

Надо заметить, что кореец-обвиняемый постоянный житель Китайской империи.

Староста кричал пискливым голосом, ругал его рожденным от девушки, обвинял его в государственном преступлении (66) и строжайшим образом, грозя передать его губернатору на казнь, требовал признания.

После долгих настаиваний, в виду запирательства обвиняемого, ему связали руки выше локтей и подвесили к верхней перекладине. Тело несчастного уродливо пергнулось, локти поднялись, лицо побагровело.

Предполагалось, вероятно, и дальнейшее, но я, боясь, не в нашу ли честь усердствует власть, просил при мне не трогать преступника.

Его сейчас же и отвели в тюрьму. Он шел с той же странной улыбкой, с какой выслушивал все крики старосты и переносил начало пытки.

— Спросите старосту, разве китайская земля принадлежит корейскому императору?

— Но он кореец.

— Но китайский подданный.

— У него здесь брат.

— А если и китайский император требует доставлять жень-шень в казну, то как же быть китайскому корейцу?

Староста смеется:

— Не надо искать жень-шеня.

— Какое наказание за утайку жень-шеня?

— Смертная казнь, но он, староста, надеется, что пыткой и розгами добьется от него признания, тогда возвратит корень и ничего не будет.

— Но если он действительно больше не нашел?

— Все говорят, что нашел.

— Но почему же тогда он продал другим?

— Больше денег дали.

— Зачем же корейское правительство дает меньше, чем стоит вещь?

— Правительство требует от нас известное количество жень-шеня, — откуда же нам взять? Мы давно стерегли с той стороны.

Какой-то возмутительный произвол, недомыслие, ограниченность во всем этом законе, на котором зиждется между тем одна из крупных статей государственного дохода.

В. В. и П. Н. целый день хлопотали насчет лодки и в конце концов в трех верстах выше нашли старое гнилое суденышко, пять сажен длины, $1\frac{1}{4}$ ширины, за 65 долларов. Четыре китайца предложили свои услуги матросов за 50 долларов до Ыйчжу, на наших харчах.

Торговались и уже выторговали все, что могли. Оставалось отдать только деньги.

Пошли все на берег смотреть наш корабль. Форма его такая же, в каком ездили Язон, Одиссей, да и величина не меньше. По краям кругом площадка, а кругом площадки — высокая в три доски ограда. Внутри четыре отделения, пятое на корме для матросов.

Корабль наш окрашен в черный полинявший цвет и похож на гроб. Мы назвали его бабушкой. Обещают идти по 60 верст в день. Вопрос: за лошадьми поспеют ли?

Остальной день проходит в изготовлении запасов.

Купил старую корову за 19 долларов: кожу, кровь и все внутренности пришлось отдать хозяину.

Ужасный способ их бойни. Заботясь получить всю кровь, они режут скот по частям. Сперва надрезавают шею и снимают с живой часть кожи на шее, постепенно добиваются до артерии и перерезывают ее. С полчаса уже продолжалась экзекуция над несчастной связанной коровой, когда позвали меня, и я приказал прирезать ее.

— Говорят, еще не вся кровь вытекла.

— Режьте.

На том берегу у китайцев купили чумизы, картофеля, капусты, массу мелочей, не видных, но в общем дорогих, — топор, пилу, дров, рогож (рогожи, правда, прекрасного качества, из соломы, два аршина — доллар). А все

вместе с лодкой, матросами, запасами обошлось до 170 долларов, да расход на лошадей, которые нужны будут от Ыйчжу до Порт-Артура, а может быть, и раньше понадобятся, если бабушка не выдержит, прыгая на перекатах по острым камням.

10 октября.

Второй день мы плывем на бабушке. Ночевали в ней же. Принесли корейскую жаровню — глиняный горшок, наполненный углями, закрыли верх цыновкой, и было тепло. Но небезопасно. И вчера и сегодня мы еще во владениях хунхузов и, ложась спать, с внутренней стороны мы обложили вещами борт шаланды, обращенный к китайскому берегу.

До двенадцати часов ночи сегодня было мое дежурство. До десяти светила луна, а потом, хотя и темная была ночь, но по воде отлично видно.

Да и лодки у хунхузов не было, чтобы переехать, могли бы только стрелять, но в боках нашей шаланды и мы понаделали прорезов и теперь, укрытые шаландой, могли бы много зла им сделать.

Вчера мы проехали мимо одной китайской деревушки, на которую на прошлой неделе напали хунхузы; они обложили деревню 600 долларов, каковую сумму и выплатили жители...

Они собирались после этого переправиться на корейскую сторону, когда приехал за ними нарочный из Шанданьона.

Район той партии мы уже проехали, но и районов других партий много еще, да и прежние могут нас настичь еще, так как была дневка, во-первых, во-вторых — Амнок извилиста, и по воде путь длинее, хотя и скорее, Восход солнца был сегодня чудный.

Солнце еще за горами, и везде и на всем лежат серые рассветные тени, только в расщелине двух гор в облаках горят лучи невидимого еще солнца. Свет не яркий, и облака переливаются самыми нежными тонами. Точно картинка в рамке этих гор самого великого художника — природы.

А затем и на реке показалось солнце, сверкнули лучи, и засветилась река, отражая разноцветные камни своего

дна самыми причудливыми узорами,— вот фиолетовый, нежнозеленый, розовый, и все прозрачное, с легкой дымкой начинающегося на воде утра. Дикий гусь взвился и режет воздух и уже исчезает в далекой синеве гор. По обеим сторонам реки, в коричневом бархате гор тонут здесь и там светлые полосы убранных на полях хлебов. На горах и под горами жилье: фанзы, фанзы и фанзы. И много-много, если одна больше другой на аршин-полтора.

Сегодня утром из соседнего села пришла толпа корейцев; какой-то старик принес десяток яиц нам в подарок и записку. В этой записке он приветствует нас и выражает сожаление о том, что так опасен наш путь по Амноке.

Он в длинном белом костюме; его голова повязана каким-то белым полотном, темное лицо, черные глаза,— фигура библейская.

Тут же и толпа китайцев в круглых шапочках с крыльшками, как изображают Меркурия, с бритыми лицами, очень часто с типичными римскими лицами.

Мы перед ними в нашей, классический стиль напоминающей шаланде,— мы современные аргонавты (67), и таким близким кажется умчавшееся время древних историй, таким понятным и простым кажется все то, что делалось, что уже потом покрылось живописным узором времен.

Старик не взял денег, и я очень был рад этому, иначе всю картинку эту испортил бы этот доллар.

Прощайте, друзья, мы уже огибаем громадную гору; уже прыгает шаланда между громадными камнями белого водопада, и гигант-китаец, наш молодец-капитан, всей грудью налегает на свой руль и кричит на гребцов. Стоя, наклонившись, налегают они на весла, и летим мы стремительно в какую-то неведомую нам даль.

В порыве лодки, в мужественных фигурах моряков-китайцев — сила, удаль и беспредельное спокойствие.

Сказочник-кореец, миниатюрная фигурка, робко прижался к углу каюты и, стоя с широко раскрытыми глазами, только смотрит, что из всего этого выйдет. Это самый опасный перекат.

Ничего, мы уже промчались мимо белой пены, kloчущей воды, острых скал, и режет бабушка под прямым углом воду, уходя от новой стерегущей нас скалы.

Много шаланд разбилось о нее. Но уже китайцы-матросы того берега, куда направляемся мы и где стоят семь таких шаланд, дружно и радостно кричат нашему капитану:

— Хо!

Что значит: хорошо.

А он, громадный урод в косе, уже бросил руль своему помощнику и, присев на корточки, тешится, как ребенок, свистком, который я подарил ему.

Потом полез в свою каюту, принес редьку и дарит мне.

Что передаст фотография там, где все в тонах, красках, фигурах, позах и выражениях?

А своеобразной нежностью и мягкостью здешних тонов, как в природе, так и в людях, достигается непередаваемая прелесть, красота, очарование ощущений. Какая-то умиротворяющая, спокойная, как умчавшееся время, не надоедающая мелодия.

Иногда завоет что-то китаец, и в двух-трех нотах услышишь вдруг этот, окружающий нас отовсюду, ласкающий мотив.

А то услышишь вдруг резкий отголосок севера, где белый Пектусан, где вековая желтая равнина лиственниц оттеняет нежноголубое небо, где красавица река сверкает и грохочет под землей, как гром и молния в небе, где царство хунхузов, тигра и барса.

А день осенний, ясный, пригрелся у этих гор и слушает шум воды, песенку ветерка и скрип нашего суденышка.

Мы плывем, и в каждой каюте идет своя работа.

Бибик обед готовит, Хапов спит после дежурства, В. В. с китайцами, П. Н. выслушивает сказки корейца, Н. Е. с инструментами наносит контуры реки, гор, притоков, измеряет глубину реки и записывает названия сел.

Я веду свой барометрический журнал, занимаюсь английским языком, веду дневник, записываю сказки.

Беседин с Таани ведут лошадей сухим путем, а И. А. помогает Н. Е. делать промеры. Что до китайцев, то они гребут и едят за десятерых.

Иногда мы стреляем по уткам, гусям, но, надо откровенно сказать, неудачно.

Что до меня, я всегда рад промаху, — пусть улетает скорее птица жадным полетом, говорящим о жажде и радостях жизни.

Здесь, приближаясь к югу, мало знают «араса» и принимают нас за японцев. Впрочем, и тех никогда не видели.

11 октября.

Вторая ночевка на воде. Я, впрочем, ушел в фанзу и в отношении удобства проиграл: ночь была теплая, и спать в шаланде было хорошо. В фанзе же от горячего пола было душно, кусали тараканы, плакал ребенок за перегородкой, стонал и кашлял девяностолетний старик.

Вчера, когда мы вошли в фанзу, он сидел и ел. Он даже не повернулся к нам. Старое дряблое тело с сохранившимся желудком. Как величайший мудрец и философ, нашедший истинную суть естества, или как бессознательное животное, он сидит перед своей пищей, смотрит на нее во все глаза и жадно ест.

Я думал, что он глух, но сегодня утром, услышав, что внук (сын его давно умер) продает нам курицу, он прокричал:

— Курицу не надо продавать.

Со мной рядом спали китайцы и корейцы, по обычаю, голые; их бронзовые темные тела покрыты миллионами тараканов; иногда во сне они делают сонное движение — слабую попытку избавиться от своих врагов, и опять спят богатырским сном в тяжелой, душной атмосфере.

Вечером набилась полная фанза корейцев. Говорили о политике, о текущих делах и делишках...

Я проверял прежние сведения. Некоторая разница уже чувствуется между южным и северным корейцем (68). Южане темнее, глаза строже, зажигаются огоньками, речь быстрая, страстная...

Но так же гостеприимны и благожелательны.

— Новое время идет, новая цивилизация входит в Корею, — что ж, надо жить, как другие живут. Через двадцать лет не узнают нас наши деды.

Сегодня утром наблюдал, как корейцы делают свою прическу.

Они чешутся раз в месяц. Остальное время они, проснувшись, руками приглаживают сверху свою прическу туда, к макушке, где она шишкой закручена. Более франтоватые смазывают волосы маслом, сваренным с воском, кладут в масло ароматные травы, по преимуществу гвоздику.

У каждого корейца обязательно есть маленькое зеркальце, которое продают разносчики-китайцы.

А настоящая девушка? Некрасива, мала. У нее очень некрасивая и неграциозная походка, с каким-то выворачиванием вперед себя ног. Так ходят и богатые и бедные,— очевидно, так принято, это хороший тон.

В шесть часов утра света нет еще, но в просвете будущего дня видно далеко...

Прозрачная стальная вода реки усиливает свет и рельефнее подчеркивает спрятавшийся другой берег. У серой скалы приютилась фанза, среди коричневых и серых тонов зеленые сосны взбираются вверх по скале.

И все так рельефно в этом полусвете, как вырисованная до мельчайших деталей картинка.

А тут же, за поворотом, новый пережат с громадными камнями, вода бурлит, кипит и бешено несется у громадных отвесно нависших над рекой скал, и кажется, не река уже это, а скалистый берег моря в разгаре шторма, и нет спасенья попавшему сюда кораблю.

Наша бабушка танцует на волнах, скрипит и жалуется на старость, молит о вечном покое, но железный колосс, наш капитан, гигантским рулем с страшной силой загребает воду и заставляет и бабушку и воду повиноваться себе, и извивается шаланда то между спрятавшимися под водой, то между торчащими скалами.

Совсем близко подойдет к береговой скале, вот, кажется, подхватило и несет нас, и нет спасенья...

— Шкпрво!

Несется резкий, дикий окрик капитана, и четыре китайца всей силой налегают на весла, и мчится вода, мчимся мы, мчатся все эти из бронзы вылитые статуи, фигуры матросов-китайцев.

А как добродушно радостно, по-детски смеются они, когда опасность миновала, и подмигивают нам.

Это мужественные, сильные люди, и они храбрее братьев своих, хунхузов. Те действуют ночью и в лесу, прячась за деревьями, эти при свете дня, грудь с грудью, схватываются беспрестанно с опасным и свободным врагом. Враг, которого любят, впрочем, больше друга.

— Там в Ёйчжу,— говорят они,— вас повезут по морю на настоящем парусном судне сажень в десять. Там матросы не нам чета,— там всегда над головой смерть.

Бытовая картинка: вверх по реке толпа китайцев-матросов тянет шаланду. Их человек двадцать, но издали какие-то клубочки. Все они изогнулись и пригнулись к реке, упираясь ногами, хватаясь руками за камни почвы. Вся поза их, натянутая, как струна или бечева, говорит о крайнем их напряжении. Так будут они тащиться еще сто верст, делая в день по 5—6 верст, на каждом перекате выгружая и нагружая снова шаланду.

Не удивительно, что пуд муки после этого стоит 4 рубля, а пуд соли 80 копеек.

Таких матросов хозяева нанимают по 40 долларов в год.

Поднявшись к месту назначения, они отправятся в леса и там будут готовить лес для сплава.

Весной шаланда, нагруженная хлебом, при двух-трех матросах, беспрепятственно спустится по реке, а остальные матросы пойдут на плотках.

И у них есть своя «дубинушка», короткая, заунывная. Слышатся сперва повышающиеся, затем спускающиеся с замиранием звуки:

— Ганги! Эйлей-лей!

— Ганги! Эйлей-лей!

Что-то покорное, безнадежно-терпеливое.

Тяжела жизнь корейца.

С виду, впрочем, мало это заметно, а на расстоянии получается даже отрадное впечатление.

Действительно, приютилась красиво и уютно маленькая фанза; поля около нее. Счастливый кореец, сам хозяин своей земли, не знает никакой круговой поруки, платит за десятину пашни 40 копеек подати да с каждой фанзы 30 копеек, довольствуется своим, обходится без денег, самые ограниченные потребности свои — соль, зеркальце, тесемки для нарядного платья, бумажную материю — выменивает на чумизу, кукурузу, рис, и счастлив.

Но когда подойдешь поближе, то происходит нечто подобное тому, что мы видим на Пектусане: издали — равнина, а спустишься — миллионы скрытых, как заплата, глубочайших оврагов.

Много таких оврагов у корейцев, — рабство (в голодные года родители продают своих детей), хунхузы, несправедливое, жаждущее взятки, ищущее только предлога, чтобы схватить провинившегося и начать мотать из него жилы — его начальство, начиная от ничтожного

пунди (староста), уже облеченного очень большими правами (розга, легкая пытка). И это каждого, кто только провинится или подозревается только в преступлении. А предрассудки старины, вяжущие корейца по рукам и ногам!

Со своими предками, святыми горами, имеющими способность оплодотворять избранных женщин, со всеми этими драконами, куреями, тиграми, тысяченожками, с переселенными в них человеческими душами, со всеми своими тоинами (предсказателями), бонзами и ворожеями, с убеждением, наконец, что все дело в том, чтобы удачным выбором могилы найти, как клад, свое счастье, и тогда не надо ни образования, ни ума, ни способностей, — всем этим, как веревками, опутан кореец уже много тысячелетий, за всем этим ничего он не видит, не слышит и слышать не хочет или уже не может.

Часа через два после встречи с китайцами-бурлаками мы уже сами бурлачили, таща нашу бабушку по каменистому мелкому перекату.

Китайцы, голые, в воде, мы все, захватив веревку, тащились, пригнувшись и напрягаясь, по берегу.

Часа в три протащили сажен сто. Несчастные китайцы посинели, несмотря на весь свой бронзовый цвет, и щелкали зубами, как волки. Чем дальше, тем ниже и мельче река. Так будет еще верст 50, до впадения большой реки справа (69).

Все те же горы футов в пятьсот, отдельные вершины, частью покрытые желтой и красной листвой кустарника, виноградника, редкого, никуда негодного леса.

Крайне только редко попадаются обнаженные скалы и по преимуществу у обрывистых берегов.

Тогда вверх уходят каменистые террасы, поддерживаемые точно колоннами, цвет этих скал серовато-розово-красно-темный. Косые лучи солнца просвечивают их, и тогда кажутся они точно своим цветом окрашенные и прозрачные.

Сегодня пришли на ночевку в корейскую деревню Минтоцанкари и в первый раз встретили негостеприимное отношение со стороны обитателей одной корейской фанзы.

П. Н. не только не впустил хозяин, но и ругался очень энергично. Его черные глаза с красными белками метали искры, он не говорил, а кричал, темный, черный, взбешенный.

— Что он говорит?

— Он говорит: вы все прокляты, другие народы, я до сих пор вас не видел и не хочу никогда видеть.

— Скажите ему, что мы пришли сюда не ссориться, что мы считаем корейцев братьями, и до сих пор везде нас встречали гостеприимно как следует встречать гостей. Когда он к нам придет, мы встретим его гостеприимно. А затем оставьте его и спросите, кто желает нас принять.

— Все желают, кроме этого: его все ругают и извиняются, говорят, что он сули выпил.

Пришел какой-то старик и стал кричать на строптивого хозяина фанзы.

— Что он кричит?

— Он упрекает этого хозяина, что он до сих пор полагающихся с него дров не доставил для школы, а гостям умеет грубить.

Хозяин после этого ушел к себе, и мы больше не видели его.

Деревушка в восемь дворов, а школа есть.

Конечно школа — это еще только звук пустой.

— Чему учат в школах?

— Женской грамоте, древним словам, как почитать предков, небо, ад, святые горы.

— А знание, ремесло дают в этих школах?

Что-то такое заговорили: бурум, бурум, бурум. Смеются.

Смеется и П. Н.

— Ничего этого, говорит, нет у нас.

12 октября.

Сегодня, только что выехав, мы засели на самом перекате и так прочно, что, пробившись часа три, вылезли из воды и греемся теперь на солнце. Послали за лодкой, переедем на берег, будем тащить волоком.

Всю замазку из бабушки выбило, и течет теперь она, как дырявое ведро.

Течь увеличивает осадку; прежде сидела она три четверти аршина, теперь сидит аршин.

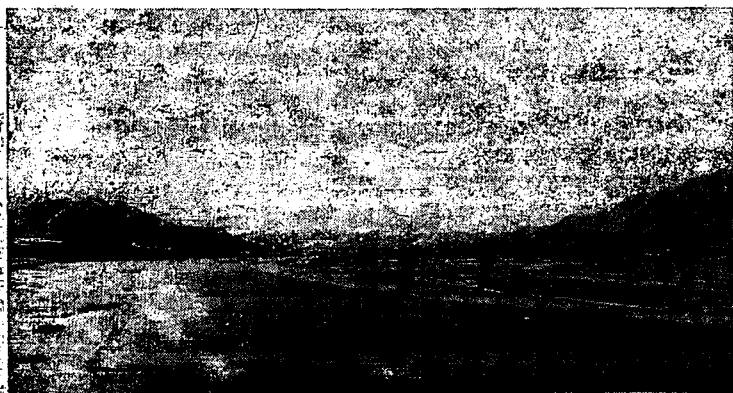
Доедем ли и когда?

Наше сиденье на мели кончилось тем, что мы послали за корейцами той деревни, где ночевали, и они за

исключением ругавшего нас, поголовно явились и, раздевшись, полезли в воду и протащили нас по мелкому месту.

Так как денег у нас теперь очень мало, то 18 человек, помогавшим нам и потерявшим полдня, мы дали только пять долларов, причем около двух долларов из них отходило к китайцу, у которого купили мы канаты, пилу, топор.

Я извинился, что даю мало, а корейцы ответили, что они и этих денег не хотели бы брать, так как пришли помочь своим гостям.



Долина Амнокганга у Тунгоу.

— Скажите им, что я их очень, очень благодарю.

Лодка отходила.

— Скажите, что я желал бы когда-нибудь еще раз увидеться с ними.

— Они просят вас к себе в гости.

Корейцы смеются и смотрят на нас.

— Скажите, и я зову их к себе в гости.

— Придем,— говорят.— Говорят, северные корейцы стали уже постоянными гостями России и они на будущий год тоже хотят идти на заработки к русским. Очень хвалят русские заработки.

— Скажите, что, когда мы прощаемся, мы снимаем шляпу.

Когда П. Н. перевел, я снял шляпу, а корейцы руками выражали мне свои приветствия.

— Кричат: счастливой дороги!

— Асинчандо!

— Хе, асинчандо, — весело повторяет толпа, а мы в палящих лучах нашего летнего солнца уплываем вниз, туда, где, кажется, горы сошлись и нет выхода.

Я сижу на корме, смотрю туда и думаю под мирный плеск весел.

Кра-кра-кра! Это затрещала наша бабушка по камням и так, что я уже думал, что ничего от нее не останется.

Она уцелела, но сваренный для всех суп — на дне лодки: подбирают куски мяса, но дно лодки грязно.

— В холодной воде обмыть — можно есть; чумиза осталась.

Чумиза все: она заменяет и кашу и хлеб. Суп с чумизой, чай с чумизой, завтрак — чумиза.

Иногда кукурузная каша, но ее едят не так охотно, и холодная она отвратительно тяжела и безвкусна.

Под вечер Н. Е. подстрелил утку, и мы подплыли за ней к корейскому берегу.

Вдруг слышим — на китайском берегу пальба и свист пуль мимо.

Наши китайцы подняли отчаянный крик, но, пока кричали, еще несколько раз выстрелили. К счастью, никого не задела.

Оказывается, что китайские солдаты, приняв нас за высаживающихся хунхузов, открыли огонь.

Хорошо еще, что не начали палить из двух ручных пушек, которые вынесли на берег и из которых уже угощали нас раз в этих гостеприимных местах.

Когда мы подъехали к ним на голос, китайцы все еще сомневались и, с сожалением наконец, что так и не успели разрядить своих пушек, понесли их назад в фанзу.

— Где старший?

— Старший уехал в город. Вчера на том самом месте, где высаживались вы, высадились ночью хунхузы, мы и считали, что вы их оставшиеся товарищи.

— Ну хорошо, сообщите вашему начальству, что в Шанданьоне, это ваши места, на нас напали хунхузы и убили четырех лошадей и одного корейца, другого в

плен захватили. Имя пленного — Цой-сапаги. Запишите, мы делаем вам официальное заявление.

— Его туда не ходит, — его здесь, — переводит В. В.

— Пусть передадут своему начальству.

Военный китайский пункт, откуда в нас стреляли, называется Ян-юн-тоу и находится на Амноке, в 40 верстах выше, вверх по течению от Иуона.

Итак, ночью хунхузы, днем китайские сторожевые пункты.

— Вы должны были кричать издали нам, — говорят они нам.

Я вышел к ним с маузером и приказал переводить следующее:

— Их десять выстрелов не сделали нам вреда, потому, что они не умеют стрелять, потому что их ружья никуда не годятся, но я и мы все умеем стрелять, и каждое наше ружье выстрелит в десять раз скорее, чем они все вместе, и каждая пуля попадет в цель на полтора вершка.

И, сказав это, я прицелился и выстрелил в доску десять раз, на что потребовалось не более десяти секунд.

— И мы уже имеем право уложить вас всех, потому что вы по ошибке первые открыли огонь. Советую поэтому не ошибаться, потому что не всякий отнесется так добродушно, как я.

Впечатление от маузера было громадное: быстрота, сила выстрелов, меткость.

Восторг выражался по-детски: кричали, визжали, хотели и совершенно не слушали, что переводит В. В.

13 октября.

Ночевка в маленькой, зажатой в глубоком, коротком ущелье корейской деревушке Шондор, а подальше, на китайском берегу, бывший город, а теперь деревня в 5 фанз, Коун-коу.

Там тоже и пушки и ружья, хотя там и не регулярные солдаты, а род обязательной для всех милиции. Утром и вечером играет заря и монотонные звуки длинных труб несутся по реке.

Воины и здесь, как и в регулярных войсках, не носят особой формы, форма одна и для них, и для хунхузов, и для мирных жителей: на голое тело надевается кофта, широкие штаны, одни, другие, на ногах китайские туфли с войлочной высокой подбивкой.

Наш гигант-капитан заявил, что надо известить китайцев, иначе опять стрелять будут.

— Да ведь мы опять в Корее.

— Все равно.

— Все равно, так извещайте.

С первыми лучами света мы пускаемся в туманную еще даль реки.

Но рассвет быстрыми шагами идет.

Уже из серого жемчуга перламутровыми стали облака, вот вспыхнули рыжим огнем они и словно приподнялись и, дымясь, клубятся в небе.

А там, в глубине, еще темной сталью отливает река, синеватый дымок прячется в ущельях гор, и словно еще спит всё предрассветным, самым лучшим сном.

Чей-то далекий крик пронесся по реке и замер и разбудил округу. Кричат петухи, вьется дым из труб, шумит река, и золотятся уже лучами западные вершины гор.

Облака сбежали с неба, остались только там и сям мелкие-мелкие следы их, чешуйчатые, как полосы намывтого песка сбежавшего дождевого потока.

Свежо, сыро еще, но уже осветило все, все уголки; ясное утро обещает веселый солнечный день, хотя барометр и упал немного.

Барометр, однако, не ошибся. Мелкие оторванные перламутровые облака окружили солнце и, прикрывая его, рельефно открывают спрятавшуюся за лучами солнца даль. Словно отпечатана она в прозрачном воздухе и спит неподвижная, вся в горах, в синеватой мгле осеннего дня. Одинокая сосна на далекой вершине, на другой, на террасе, словно замок грозный и темный, где проходит или прошла какая-то неведомая жизнь.

Громадные черные бакланы носятся по реке или сидят на берегах; едет под утесистым берегом китаянка верхом на лошади, нарядная, зачесанная, работник ведет в поводу ее лошадь. Там и сям стоят такие же и большие, чем наша, шаланды с разными товарами: солью, мукой.

Маленькая, как корыто, лодочка плывет; прирос к ней кореец и маленькими двусторонними веслами искусно управляет, и прыгает с ним лодочка по острым волнам переката и быстро скользит вниз. Вчера мы обогнали эту лодочку и видели в ней гребущего корейца и дру-

гого неподвижно лежавшего (малейшее движение, и лодка опрокидывается), укрытого до головы. Желтое лицо лежавшего, острый взгляд черных глаз говорят о болезни,— это купец, заболевший на чужой стороне и спешащий теперь в родной город Ыйчжу.

В его глазах напряженный страх, доедет ли.

Сегодня уже весь он покрыт, и взявшийся доставить его печально кричит П. Н.:

— Умер!

— Как умирал он на этих волнах, не двинувшись, не опрокинув лодки? Может быть, и умер оттого, что, сделав движение, опрокинул лодку и утонул.

Лицо лодочника печально, и будет везти он свой груз еще дней восемь, задыхаясь в отвратительном трупном запахе. Но другого выхода ему нет. Как вознаградят его, может быть, обвинят его? Фигура лодочника говорит о его беззащитности, нравственной придавленности.

— Зачем он не заявит ближайшему начальнику, не предаст тело, ну хоть временно, земле, а там уведомят его родных?

П. Н. кричит ему что-то, тот отвечает:

— Он обещал живого или мертвого привезти его в его дом.

— Получил ли он деньги?

— Ничего не получил.

— Покойник везет с собой деньги?

— Он не знает.

— Кто удостоверит, за сколько он нанят?

— Небо.

Нет, конечно, он врать не будет. Кореец ведь не врет.

Мы плывем дальше. Горы опять подошли к реке, и узоры их ковров видны рельефнее,— посохшая трава, мягкий светлоричный, бархатистый фон. Лес с посохшими листьями, островками там и здесь выступает темнокоричневый бархат.

Это гигантская шкура тигра, он залег здесь и спит под голубым небом, над голубой рекой.

Вот сидит каменный человек.

— А там, у ног его,— объясняет капитан-китаец,— лежит другой такой человек. Это брат убил брата и сел, а когда спросил его один старик: «ты что делаешь?», он ответил: «брат мой спит, я стерегу его»,— «Ну и стереги, пока свет стоит».

А вот скала тигр. Громадная голова, вдавленная между плеч, и лапы,—точно пригнулся и вот-вот прыгнет.

— На голове у него след от тигровой лапы,— объясняет тот же капитан.

— Отчего же он тут?

— Его не знает,— переводит В. В.: — шибко давно было это.

Немного я узнал с моим В. В. о китайском житье-бытье. Хочу в Ыйчжу подыскать корейца, хорошо говорящего по-китайски, тот будет переводить П. Н., а он мне.

В. В. разве в том отношении будет полезен, что с ним китайцы разговорчивее и откровеннее будут.

Я занимался, когда меня позвали:

— На китайском берегу моют золото.

На отлогом китайском берегу сидели две партии корейцев, по пяти человек, сидели и что-то делали.

Мы пристали к берегу, и проводник-кореец, он же и сказочник, отправился сперва один спросить у корейцев позволения подойти к ним.

Увидев идущего к ним корейца в их же одеянии, хищники, успевшие уже наострить лыжи, остановились и, выслушав просьбу, изъявили согласие на наш приход.

Тогда мы все пошли, и они посветили нас во все тайники своего несложного искусства.

Сперва они роют и просеивают песок. Роют прямо с поверхности, просеивают в небольшое (в пол-аршина) лукошко, сделанное из стеблей конопли.

Отделяются камни больше одного дюйма. Этот просеянный песок в сплошных лукошках переносят к воде (сажен 20). Там в деревянных плоских тарелочках, постоянно скруживая, промывают песок, отбрасывают крупные камешки, опять моют и кружат, пока в лукошке не останется черный, как ил, песок и несколько крупинок мелкого золота.

Пять человек в день намывают на 2 рубля.

Прежде здесь работало много, и казна с каждого в месяц брала по 350 кеш (70 к.), но теперь золото истощилось, китайцы перешли вниз по течению, а остатки подбирают корейцы.

Отсюда (верст десять ниже Иуона) и вплоть до устья все время моют золото, и чем ниже, тем богаче оно.

Мы взяли пробу, поблагодарили корейцев и поехали дальше.

— Берегитесь, где золото моют хунхузы, лучше прячьтесь в каюты, а то они стрелять будут.

Проехав верст пять, мы останавливаемся ночевать, как потому, что уже темно, так и потому, что впереди виднеется самый мелкий перекат.

Капитан, сейчас же по приезде, отправился узнавать, как и где проехать его.

Только в первый день, однако, удалось проехать 160 ли; сегодня, например, хорошо ехали, нигде не стояли, а сделали всего 130 ли (43 версты). Дело в том, что чем дальше, тем тише течение.

Прислали к корейскому берегу (это не по нашей инициативе, наши китайцы-матросы сами предпочитают корейский берег китайскому).

Узкое ущелье и в нем две фанзы на уступах ущелий. Где-то на отвесных горах виднеются ничтожные клочки пашни, которой, в общей сложности, не наберется и трех наших казенных десятин.

Лучшая фанза, куда сперва ходил наш кореец, очень бедна: род кавказской горной сакли. Заднюю стену составляет скала, двор — маленькая площадка уступа той же скалы. Ни соломы, ни скирд хлеба, пять-шесть тыков лежат на завалинке, несколько горстей кукурузы, даже красного перца не было.

Все бедно, очень бедно, и только вид из этой сакли, высеченной наполовину в скале, был прекрасный на реку, на китайский берег и всю горную даль.

Мужа дома не было, встретила нас жена его словами:

— Мы должны принять путников.

Жена, молодая женщина лет 25, по обычаю здешних мест, ходит без юбки, в широких шароварах, с голым поясом, спиной и грудью, в короткой кофте, прикрывающей только верхнюю часть спины. Она стройна, симпатична, но некрасива, с широкими скулами, как громадное большинство корейцев.

Сперва она боялась нас, но потом, увидав, что мы скромны до того, что до прихода ее мужа не хотим входить в дом, рассмеялась и сказала:

— Ну, это уже совсем лишнее, а вот солому без мужа я не могу вам разрешить.

Муж ее с другими приносит обычную годовую молитву за хороший урожай.

Скоро пришел и муж, тоже молодой, высокий и стройный, очень симпатичный.

Он разрешил нам постелить солому для постели (снопы конопли, другой не было), а когда стемнело, в его фанзу собралось несколько корейцев и теперь ведут оживленный разговор, расспрашивают о нашем путешествии.

Никогда они никаких русских ни других народов не видали.

Оказывается, наш хозяин не занимается посевом, а исключительно живет рыбной ловлей. Ловит и продает ее корейцам, т. е. выменивает на кукурузу, чумизу и прочие хлеба. Но эти дни он что-то болеет и не ловит рыбу. Было у них двое детей, но умерли от оспы.

На наше счастье он сегодня ночью забросил невод. Ловится мелкая рыба, крупной нет, пол-аршина наибольшая.

— Много рыбы в реке?

— Много.

— Много людей занимается ловлей рыбы?

— Как ремеслом, очень мало.

— Скучно вам без хозяйства?

— Живем с женой.

Жена прижалась к нему, и сидят себе, довольные своей судьбой, в своем горном гнезде.

— Вот в этом году нам счастье: разбило плот, и мы наловили себе вот сколько бревен.

Брусев, сажени в две длиной, до трех четвертей аршина шириной и до пол-аршина толщиной, по преимуществу кедрового леса, столярного, прекрасного качества, до ста штук навалено в овраге. И не только здесь, а везде, где нам приходилось останавливаться, мы видели здесь такие же кучи этого леса.

— Что вы с ним делаете?

— На дрова пилим.

Что стоила работа в лесу, вывозка к реке, сплав?

— Какая часть плотов так пропадает?

— Большая половина.

Вечер. Глухо шумит осенний ветер, шелестя сухой крышей нашей фанзы. Тускло горит длинная, параллель-

но полу воткнутая, корейская свечка. Несколько человек корейцев сидят на пороге.

— Они спрашивают: чем дарить им высоких гостей?

— Скажите, мы никаких подарков, кроме их сказок, не принимаем. Если хозяин хочет доставить своим гостям удовольствие, пусть он расскажет сказку.

Хозяин переглядывается с женой и смеется.

— Какие мы знаем сказки? Наши сказки простые.

— Их нам и надо.

— Говорит: надо подумать.

Пауза.

— Вот наша сказка,— говорит хозяин, смотря усиленно в землю и раскуривая свою трубку.— Один человек выкрал себе жену и ушел он с ней на Амноку рыбачить. И жили они, вот как и мы, на Амноке. Пока муж был здоров, все шло хорошо, потому что они любили друг друга. Другой раз нет рыбы,— ну, покрепче прижмутся друг к другу, чтобы меньше есть хотелось, и уснут. Но простудился раз муж на реке и свалился. Тогда плохо пришлось им: нет рыбы, нет чумизы, нет денег знахаря позвать. Лежит муж и говорит:

— Если б мне теперь рыбки съесть, я бы выздоровел, а без рыбы умру.

Ничего не ответила ему жена и ушла на реку.

Сидела, сидела — нет рыбы.

Тогда она взяла нож, вырезала из своей ноги длинный кусок мяса, пришла домой, изжарила и подала мужу.

— Я никогда не ел такой вкусной рыбы,— сказал муж: — как ты поймала ее?

— Я сидела на берегу и просила небо и морского царя, и рыба выскочила из воды ко мне на берег.

— Ах,— сказал муж,— я уже наполовину ожил, еще бы одну такую рыбку, и совсем бы я выздоровел. Не попросишь ли ты еще одну?

— Попробую,— сказала жена и пошла и вырезала себе кусок мяса из второй ноги.

Муж съел и сказал:

— Ну теперь я совсем здоров; никогда не ел такой вкусной рыбы.

Муж выздоровел, а жена его день ото дня таяла. Муж никак не мог понять, в чем дело, когда однажды увидел у спавшей жены кровь на ногах, посмотрел и

увидел страшные раны. Тогда он понял, откуда жена доставала ему рыбу, и от горя болезнь опять возвратилась к нему, и через три дня он умер.

Собрав последние силы, жена продала все, похоронила мужа и осталась одна во всем свете на помеху всем.

Она пошла к речке и бросилась в нее.

Но она не утонула: с неба спустилась в воду радуга, по ней сошел муж ее, подал ей руку, и оба они, уже здоровые и счастливые, ушли в небо, к великому Оконшанте.

После того в той округе, где жила утопленница, три года был голод, пока один предсказатель не сказал, проходя, жителям:

— Вы до тех пор не избавитесь от голода, пока не поставите в честь утонувшей установленного для добродетельных женщин памятника.

Тогда жители обратились через губернатора к императору и, получив от него разрешение и грамоту, воздвигли установленный по закону памятник в честь добродетельной жены.

С тех пор округа не знает голода, и старик, показывая ребенку на стоящий у горы памятник, говорит: «Если тебе попадется такая жена, она составит и твое счастье и всех живущих в ее округе».

Рассказчик замолчал, молчали и мы, а погода хозяин смущенно сказал:

— Плохие наши сказки.

— Сказка очень хорошая: она говорит об уважении к женщине, о бедных людях, их трудной нужде.

«Вот что раз случилось. Висели два камня над рекой,— один пониже, был всегда в воде, другой повыше — всегда наверху.

Который пониже был, говорил:

— Хоть раз бы мне увидеть, что делается на земле.

А который повыше был, говорил:

— Хоть раз закрыло бы меня водой.

Вот и пришел раз такой сухой год, что и нижний камень увидел землю. Но было сухо, и все выгорело,— у людей не было хлеба, скот ревел без корма, и все кругом было желто, как лучи солнца.

— Плохо же жить на земле,— сказал камень: — еще немного, и вся растрескается моя красивая наружность.

То ли дело, как жил я раньше: прозрачная вода мимо меня бежала, веселый хоровод рыбок кружился и прятался подо мной, когда проходила лодка рыбака вверху, и то-то была потеха, когда с лодки падали куски чумизы, сколько рыб набегало тогда ко мне в гости.

И он был очень рад, когда вода снова закрыла его и он снова ушел в свое царство.

Пришел другой год, и вода поднялась так высоко, что залила верхний камень. Но вода была мутна, грязна и, как верхний камень ни таращился, он ничего не увидел, и только грязь набилась в него.

— Фу, какая гадость,— сказал камень, когда увидел опять свет, и уже не хотел больше опять очутиться под водой.

Вот и вся сказка: вода да камни — тут и вся жизнь наша».

Ночь настала, уснули мы, но разбудил нас рев бури, дождь и вой расшумевшей реки.

Дождь проникал и в фанзу: сочилось из задней стены, с крыши текло как в решето. Злой северный ветер гулял по комнатам, проникая сквозь бумажные окна-двери.

Было холодно: зуб на зуб не попадал; подмокли книги и записки.

Щелкая зубами я думал:

«Но ведь это только еще половина октября,— придет большой холод, выпадет снег, река покроется льдом, и поедут на санях. Как тогда жить в фанзе? И уж не про себя ли хозяин рассказывал свою сказку?»

А он беспечно и весело заглядывает к нам и кивает головой.

Заражаешься их настроением: жизнь для них та же сказка, и все здесь сказочно, и поэтично сказочно, и ужасно сказочно. И природа такая же. Вчера еще было лето; ночь началась теплая, летняя, а теперь зимняя, с дождем и снегом (70).

14 октября.

На утро синий от холода капитан объявляет, что в пяти ли самый трудный из всех перекатов и что при таком ветре думать нечего его пройти.

— А если ветер неделю будет такой?

Надо ждать.

- А если до зимы?
- Весной поедем.
- Чего боится капитан?
- Лодку разбить.
- Пусть бьет.

Капитан смеется. Переводчик переводит:

— Капитан говорит: если разобьет лодку, все будут в воде, а сегодня холодно.

— Ничего, вода все-таки теплее воздуха.

Я начинаю приводить ему доводы: провизия вышла, серебряных денег нет больше, золотых и бумажных не меняют.

Кое-как В. В. переводит, что перекат называется Наун-менлазо, — в нем большие камни расположены в шахматном порядке, очень трудно и без ветра лавировать между ними, а при ветре наша бабушка и совсем не станет слушаться руля.

Мысль потерять хоть один день вгоняет меня в такую тоску, что я еще энергичнее убеждаю и до тех пор, пока капитан не соглашается.

Наш капитан такой молодец, что с ним ничего не страшно. Но когда мы подходим к перекату, запертому, действительно, двумя отвесными скалами, как косяками, видим кипящую воду и саженные вскакивающие и тут же проваливающиеся волны, когда капитан объясняет как поступать в случае крушения, на душе делается жутко и, переживая еще одну новую опасность, в тысячный раз упрекаю себя в неисправимости.

Но бабушка уже влетает в ревущий водопад, и мы несемся, поворачиваемся на бок, кажется, совсем опрокидываемся, отбрасываемся в другую сторону. Рев воды и ветра, дикие нечеловеческие окрики капитана, как статуи от напряжения матросы... И мы опять уже на спокойной глади, а страшный перекат уже сзади, и капитан весело смеется и качает головой.

Мы едем дальше, но холод такой нестерпимый, что в пору бросить всякое писанье, сидеть, дрожать и щелкать зубами; особенно когда река делает поворот к северу, а при ее извилистости таких северных поворотов, кажется, больше, чем южных.

Здесь на китайском берегу везде моют золото, и капитан говорит, что здесь попадают иногда довольно крупные самородки.

По обеим сторонам попрежнему множество деревень, которых нет на обычной сорокаверстной карте, а тех, которые изредка помечены на карте, нет в действительности.

Напрасно называешь те имена деревень, которые должны бы быть,— нет, и никогда и не слыхали таких имен.

Провизия наша подходит к концу, а между тем ни золота ни бумажек нигде не принимают.

Вся надежда на китайское торговое село Уэй-саго, к которому мы теперь подъезжаем.

У отлогого берега шаланд двадцать, нашего покроя, с высокими мачтами и флажками: белыми, голубыми, красными.

Как только пристали, нас сейчас же окружила густая толпа китайцев. В. В. ушел менять деньги, а мы ждем его. От китайских судов, к которым мы пристали, вонь нестерпимая.

Какой-то франтоватый китаец, высокий, с узкими плечами, молодой, с щегольской, наполовину искусственной косой, что-то с пренебрежительной гримасой объясняет толпе по поводу наших инструментов, вещей, платья. Слышно часто: мауза,— что значит стриженный. Это презрительная кличка для всякого европейца.

Ах, хорошо бы разменять деньги и купить чумизы, спичек, китайского сахара, риса.

Вот идет, наконец, В. В. Он в своей голубой шубе с китайским воротом, разрезами по бокам и шапочке Меркурия очень напоминает фигуру наших бояр XV столетия. И сапоги желтые и идет вперевалку.

Но вид у него не торжествующий.

За ним катит широкой походкой, в непромокаемой куртке, неладно, да крепко сшитой, П. Н.

— Не меняют,— кричит он издали.

— Что же делать?

— У меня два доллара есть,— говорит В. В.

Ну, хоть чумизы да спичек купим. Но и чумизы не оказалось, купили дробленую кукурузу.

На горах, вместо дождя, выпал снег, и так печально все говорит о зиме и холодных днях.

Пора, пора бы и нам, залетным птицам, лететь, если не в более теплые края, то хотя в родные и, во всяком случае, с домами, в которых печи, у которых можно отогреться.

В этом китайском селе из 19 фанз одна принадлежит начальнику города, 9 под лавками, 5 под гостиницами, и таким образом для обыкновенных жителей остаются 4 дома.

Все дома — тип двойных крестьянских изб, вымазанных глиной и крытых камышом.

Только водочный и масляничный заводы в стороне от села и обнесены белой стеной.

Китайские телеги двухколесные, неуклюжие, их везут четыре-шесть мелкорослых лошадок.

Это село — один из крупных торговых центров. Здесь покупается золото и продаются добывателям его и другим охотникам — хунхузам дробь, порох, пули, ружья и прочие необходимые припасы.

Один китаец-торговец, свесив предложенный нами золотой в 90 долларов, предложил за него 11 долларов, — очевидно, по курсу скупаемого им здесь золота. Но и этим скупщикам золото привозят тоже больше скупщики, и можно представить, что получает непосредственный добыватель.

Солнце выглянуло перед закатом и бросило сноп фиолетовых с непередаваемо нежным отливом лучей на две горы, и горят они, как прозрачные, каким-то чудным светом среди печального сумрака остальных гор. Но и в сумраке они в бархатных своих одеяниях волшебны хороши.словно дворец богатый в полумраке, и только одна комната его горит огнями и льет свой свет в нарядный полусвет других комнат.

И, несмотря на нестерпимый холод и ветер, нельзя не поддаться прелести этого холодного, но прекрасного, как мечта, как сон, заката.

Как ни прекрасна природа всегда и во всем, но мы все стоим на палубе нашей бабушки и напряженно рассматриваем первую самую маленькую фанзу, чтобы променять весь этот волшебный, но ледяной дворец на маленькую, душную, с насекомыми и сверчками, глиняную комнату фанзы.

И вдруг страшно, до безумия почувствовался родной камин, близкие сердцу лица. Перенестись на одно мгновение, — не надо пищи, не надо удобств, но увидеть, согреться душой и телом. Какой бы то ни было ценой можно ли исполнить это желание?

Нет, нельзя.

Уныние ненадолго. Да и мне ли унывать, так счастливо вырвавшемуся из всех случайностей совершенно первобытного, неизведанного пути. Уж совсем было попались в лапы кровожадных хищников. Приди они раньше, они и фанзу зажгли бы раньше, и лошадей перестреляли бы, да и мы куда делись бы ночью? Волей-неволей должны были бы показаться невидимому врагу и попасть под расстрел.

Но и живые, без лошадей, за сотни верст от жилья, куда бы мы делись от них? Ничем не рискуя, ночь за ночью, они расстреливали бы нас, пока не покончили бы с последним, уверенные, что всё, что с нами, при нас и осталось бы.

А застигни этот холод нас на Пектусане, где теперь, вероятно, градусов 15, да при ветре, превращающем эти 15 градусов в нестерпимый мороз. Заблудись мы там в такую ночь, как прошлая, начало которой было такое теплое, и мы все там и остались бы, превратившись в такие же ледяные, сосульки, которые висели по его скалам и тогда уже, когда мы были там.

Я понимаю теперь тот страх, который охватил Дигшандари, когда ночью тогда пошел вдруг снег.

Спокойный и мужественный, он заметался тогда и упал духом и говорил, как человек бесповоротно погибший.

И после такого счастливого, в конце концов, результата могу ли я роптать? А вот и фанза. Уныние мое быстро прошло, и я уже радостно оглядывался в крошечной, наполненной кукурузой, угарной, но и теплой комнате фанзы, где приютили нас.

Только-что устроились, входят несколько корейцев.

— Мы, жители этой деревни, узнав о приезде иностранцев, собрались и, обсудив, решили приветствовать дорогих гостей.

Я благодарю и прошу садиться. Они опускаются на корточки, и начинается беседа.

Кто мы?

— Мы русские. Слыхали ли они о русских?

Слыхали. Это самое большое и сильное в мире государство.

Разговор продолжался с час, и мы расстаемся, желая друг другу всего лучшего.

Собственно, не расстаемся: депутация переходит в домашние комнаты хозяев, и оттуда еще долго мы пере-

говариваемся, пока, наконец, на обычный вопрос: «чем же им угощать дорогих гостей», я отвечаю: «сказками».

16 октября.

Сегодня попутный ветер, и мы, сделав из двух бурок парус, едем со скоростью шести верст в час. Наш оригинальный парус в виде черной звезды привлекает общее внимание. Несколько шаланд, однако, со своими громадными римскими парусами, обогнали нас.

— Нельзя ли, чтоб они нас прихватили?

Кричат им, — отвечают: можно.

— Сколько они за это хотят?

— Об этом не стоит разговаривать, — сколько дадут.

Нас привязывают борт к борту, и мы едем со скоростью восьми верст в час, — давно неведомое удовольствие.

— Нельзя ли вам сказать в ближайшем таможенном пункте, что эти бобы, которые мы везем — ваши, тогда мы не заплатим пошлины?

Об этом просят нас китайцы, хозяева паруса.

— Нет, этого нельзя. А много у вас бобов?

— Около тысячи пудов.

— Сколько вы заплатите пошлины?

— По копейке с пуда.

— Если вы довезете нас до Ыйчжу, то мы примем пошлину на себя.

— Мы бы рады, если позволят перекаты.

Пока, во всяком случае, мы едем вместе.

У нас все, решительно все на исходе. Кроме мяса, впрочем, но мясо зато начинает пахнуть. Я предлагал выбросить его, но Бибик говорит, что именно теперь мясо и хорошо.

— Корова старая, жесткая была, а теперь мягкая, нежная.

Мясо, действительно, на вкус теперь гораздо лучше стало.

— Обед нечем варить: дров нет, — докладывает Ив. Аф., — разве у китайцев той шаланды в долг взять.

— Попросите.

Дали дров.

— Сколько стоит?

Смеются:

— Ничего не стоит.

Сварили себе обед и предлагают нам.

Благодарим и показываем на свой, который собираемся варить. Ив. Аф. пристроился все-таки и ест.

— Гораздо вкуснее нашего: хорошо разваренная кукуруза, какая-то прикуска.

— Неловко, бросьте.

— Что ж неловко,— им это лестно только.

Я боюсь, что было бы, если бы до Ыйчжу оставалось еще несколько дней,— мы все обратились бы в нищих странников.

Холодно, грязно, голодно: последние часы в Корее проходят тускло. Только к вечеру как будто теплее стало. Шире река и, как расплавленная, с фиолетовым налетом, спит неподвижно. Понизились горы, сзади сомкнулись крутые, высокие, а вперед ушли мелкими отрогами, открывая горизонты и даль реки. Там недалеко уже и конец всем горам, и через два-три дня мы будем уже любоваться необъятным горизонтом моря.

Словно из тюрьмы, каким-то узким, бесконечно высоким коридором выходишь опять на волю.

Последняя ночевка в корейской деревенской гостинице... Душно, тускло, человек двадцать корейцев, кроме нас; насекомые и дым, дым из растрескавшегося пола, едкий вызывающий слезы; дым от крепкого корейского табаку, заставляющий чихать и кашлять.

Попробовали отворить дверь,— извиняются, но просят затворить: больные есть.

Не хочется есть, не хочется спать, и в то же время чувствуешь болезненную ненормальность этого положения. Продолжайся дальше путешествие — поборол бы себя, но теперь весь как-то сосредоточился на конце своего путешествия.

Боюсь только упустить что-нибудь существенное.

Леса нет. На каждом шагу, и на китайском и на корейском берегу поселения. Китайский берег более плодородный, богаче почвой и пахотными полями. На китайском же берегу, в местности Мен-суи чуенг (Холодный ключ), против корейской горы Чусанчанга, богатейшие серебряные рудники. Все китайцы передают о них, захлебываясь от восторга. Но китайское правительство не разрешает разрабатывать их, не разрешает разрабатывать и рудники красной меди близ Линьцзяна.

— А тайно?

Китайцы отчаянно машут головами: — Хунхузы.

17 октября

Сегодня придем в Ыйчжу.

Это первая мысль, с которой проснулся, вероятно, каждый из нас.

Серенький денек, небо в тучах, сыплется оттуда что-то невероятно мелкое, что-то чего не разберешь в ранних сумерках начинающегося дня. Перспектива намочить не особенно приятна, а о работе и говорить нечего.

Природа на прощанье хочет наглядно показать нам, что нет такого положения, которое не могло бы стать худшим.

Вероятно, оттого, что мы искренно уверовали в это, природа смиловилась; дождь перестал, и в результате, правда, серенький, но теплый денек, какие бывают у нас в начале сентября.

Морозов нет больше, они остались там, за теми горами.

Перед нами же юг, тепло, океан.

Все это места, которые посещаются японцами; здесь в последнюю войну * проходили японские войска (71).

— Смотрите, — говорит с завистью П. Н., — на китайской стороне золото роют, хлеб сеют, а через Амнокку только перешел в Корею — голые горы и ничего больше. Там золото, серебро, железо, красная медь, какой лес, а здесь ничего. Нет счастья корейцам...

Я решаюсь выступить тоже в роли корейского сказочника.

— Позовите нашего проводника, и я расскажу ему, почему нет счастья в Корее. Когда Оконшанте создал землю, то ко всякому государству послал особого старца-покровителя. Послал и в Корею, наделив старца всеми богатствами: пашней, лесом, золотом, серебром, красной медью, железом, углем. Все это старец уложил в мешок и пошел. Шел, шел, устал и остановился на ночлег в Маньчжурии. Предложили ему маньчжуры своей сули, соблазнился старец и думает: на ночь выпью, а до завтра просплюсь. Не знал он, что китайская водка такая, что стоит на другой день хлебнуть воды, как опять пьян ста-

* Японо-китайскую.

нет человек (не переброженная). Вот проснулся старик на другой день, глотнул ключевой воды и пошел своей дорогой. Пошел и охмелел, — так и шел весь день пьяный. Перебрел через какую-то речку, и показалось ему, что перешел он Амноку, и стал он разбрасывать повсюду пашни, леса, золото, серебро, медь, железо, уголь. Когда пришел к Амноке, остались у него только горы да разная мелочь от всех прежних богатств. Так и осталась Корея ни с чем, а хуже всего то, что диплом на корейское счастье охмелевший старик оставил тоже у китайцев.

Кореец слушает меня, удрученно качает головой и что-то говорит.

П. Н. переводит:

— Говорит: все так и было.

— Скажите ему, что не было, потому что я сам это выдумал.

— Сказал, только он не верит: говорит, что больше похоже на правду, чем на выдумку. Говорит, что у них считают, что корейское счастье все попало к китайцам.

Я смотрю в кроткое задумчивое лицо корейца: ясная грусть об утраченном навеки счастье.

18 октября.

Последний день в Корее. Мы в городе Ыйчжу. С виду это самый чистенький и богатый город из тех, которые мы видели.

Множество черепичных фанз с китайскими крышами на четыре ската, с приподнятыми вверх, точно улетающими в небо, краями. Края эти изображают из себя иногда драконов, змей, священных птиц. На макушке крыш еще маленькая на столбиках крыша, точно корейская шляпа на голове. Цвет черепицы черный. Черный и белый цвет известны — два господствующих цвета, что придает городу мрачный вид. Все те же бумажные двери, окна, и только в очень богатых фанзах кусочки стекла.

Город до войны процветал и насчитывал до 60 тысяч жителей. Но война разорила его. Сперва китайские войска заняли брошенный почти город и, не стеснясь совершенно, захватывали имущество, ловили скот, насиловали женщин, жгли на дрова фанзы. Затем явились японцы и до появления главной квартиры, по отзыву всех, держали себя нехорошо. Но с приходом главной квартиры безобразия прекратились, и стали платить за все.

Теперь в городе насчитывают не более 15 тысяч жителей и 4 тысячи фанз из бывших 20 тысяч. Жители не возвращаются в город, так как живущие на той стороне китайцы упорно стоят на том, что будет скоро новая война с Японией (72).

Корейцы попрежнему любезны до бесконечности. Начальник города, кунжу, прислал к нам цуашу (предводитель дворянства) с вопросами, не надо ли нам чего.

Нам надо было разменять японское золото, за которое давали здесь половинную стоимость японскими долларами. Кончилось тем, что кунжу разменял нам всё золото по курсу.

Любезность кунжу этим не ограничилась. Он первый сделал нам визит и, на наше замечание, что он предупредил нас, сказал:

— Имя русского в Корее священно. Слишком много для нас сделала Россия и слишком великодушна она, чтобы мы не ценили этого. Русский самый дорогой наш гость. Мы между двумя открытыми пастями: с одной стороны Япония, с другой — Китай. Если нас ни та ни другая пасти не проглатывают, то, конечно, благодаря только России.

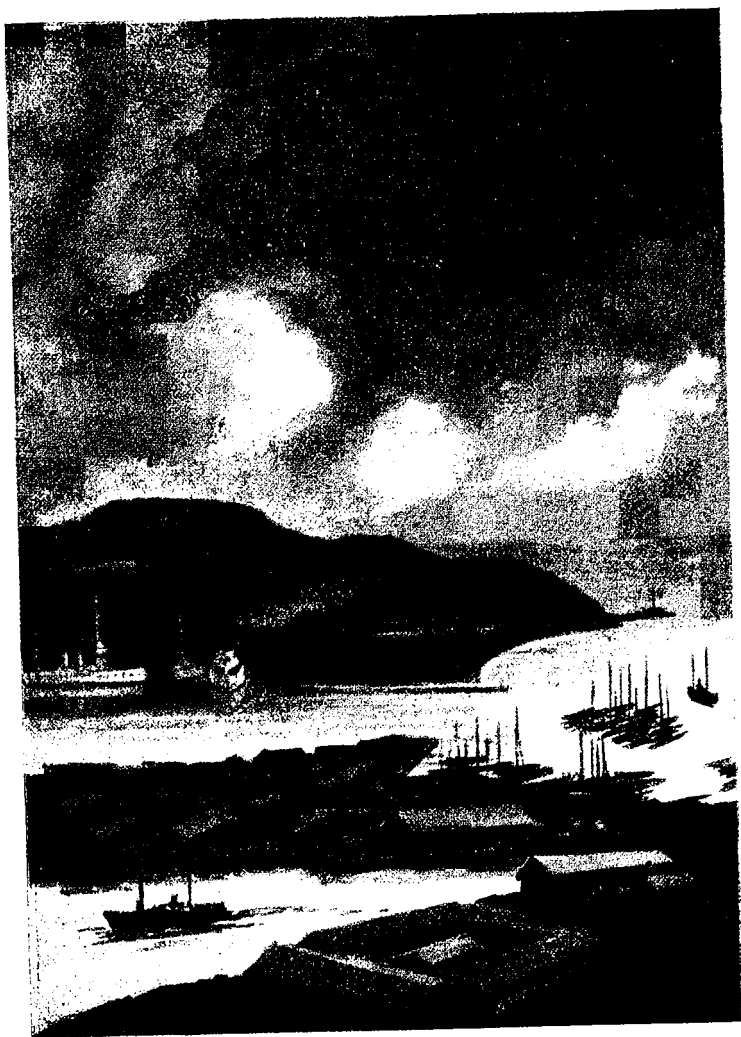
Мы остановились в обширной, сравнительно, фанзе с потолком и со стенами, оклеенными обоями, с бумажными дверями, на которых нарисованы разные небывалые звери, птицы, со стеклами в середине дверей и окон. На теплом полу, устланном цыновками, стоит грубоватое подражание японской ширме, туалетный японский столик с зеркалом и разными банками. Но двор микроскопически мал, грязен.

Улицы чище и шире других городов, есть даже каналы, но грязи и вони все-таки очень много, так много, точно все время вы идете по самому неряшливому двору какого-нибудь нашего провинциального дома. Сегодня как раз ярмарка. В маленькой, узенькой улице много (сот пять) народа, открыты лавки, лежат на улице товары: чумиза, рис, кукуруза, лапша, посуда, сушеная рыба, дешевые материи, пряники (на 20 кеш мы купили фунта два их): тягучие, клейкие, мало сладкие. Толпится рабочий скот. Попадают иногда прекрасные экземпляры быков, пудов до 40 живого веса (73). Но коров хороших нет. Корейцев много красивых, с иконными темными лицами, но корейянки некрасивы, скуласты, широколицы,



На Амнокгапге.

к стр. 229



Порт-Артур, рейд.

к стр. 286

с маленькими лбами, с маленькими неизящными фигурками.

Но лица их добрые и ласковые. Особенно у пожилых женщин, у которых нет страха за свою молодость, и они уже спокойно смотрят на вас. Благодаря нарядной прическе, в этом взгляде что-то знакомое, — так смотрит чья-нибудь тетушка со двора своей усадьбы, где-нибудь в глухой деревушке, бедно одетая, но которую вы сейчас же отличите от крестьянки по ее стародавней прическе, — смотрит спокойно, добродушно-ласково, все издававшая на своем веку.

Впрочем, и таких женщин мало. Все женщины где-то прячутся в задних комнатах своих фанз, а редкая, если и показывается на улице, то здесь, на юге, под такой большой шляпой, каких на севере Кореи я не видал. Это не шляпа даже, а большая плетеная корзина, у которой, вместо плоского дна, конус. Диаметр такой корзины больше аршина, и такая корзина закрывает женщину ниже плеч. Смотрят же обладательницы таких шляп через щели соломенного плетения. Исключение составляют только танцовщицы, — класс, официально уже упраздненный, но еще продолжающий функционировать. Их лица открыты, набелены, взгляд смелый, уверенный, костюм нарядный — цветные шелка, около них запах мускуса, гвоздики.

Возле таких танцовщиц всегда несколько молодых людей в изысканно белых костюмах, нередко из шелка, в своих черных из волоса с миниатюрными тульями и громадными полями шляпах.

Очевидно, тонкостью своего обращения они хотят импонировать львице и всем окружающим, подражая во всем своим старшим по культуре братьям — китайцам.

— Тут что... А вот в Сеуле... Там образованные танцовщицы, там они не хуже китайских умеют играть и перекидываться острыми словами.

Сказать острое словцо, подобрать тут же рифму с особым смыслом, с намеком на политику, общественную жизнь, на какой-нибудь наделавший шуму эпизод, — это верх образования.

Мы праздно продолжаем ходить по ярмарке. Один кореец купил горсть рису, другой тащит мешочек кукурузы или чумизы, а тяжелая связка кеш болтается у него сзади, привязанная к поясу. На самом маленьком

нашем деревенском базаре и товару больше и крупнее торговля.

А вот похороны. Большие парадные похороны. Умерла жена — уже старуха — богатого корейца. Процессия с воплями и плачем медленно проходит.

Впереди всех верхом на лошади, по-мужски, женщина в сероватом, из тонкого рядна халате, повязанном веревкой. Женщина эта покрыта каким-то прозрачным мешком.

Это любимая рабыня (74), на обязанности которой лежит оплакивать покойницу. Почетная роль. Радостное сознание этого почета заглушает в ней печаль, и хотя она и усердно взвизгивает, но озабоченно и со страхом оглядывается, боясь пропустить момент, когда надо остановиться. Ее уродливое лицо, с несвойственной для корейки живостью, то и дело поворачивается назад. Видно, что для нее это событие на всю остальную жизнь и честь выше головы.

Все войдет опять в колею, опять будут ее неволить и бить, но этот день, как солнце всей ее жизни, будет светить ей до последнего шага ее жизненного пути. Будет о нем она рассказывать внукам и правнукам своих господ и в ясный весенний день, когда отдыхать будут ее старые кости, и в угрюмый осенний вечер, когда от ломоты места живого не будет в них, так же рассказывать, как и у нас еще рассказывают барчукам старые нянюшки, видевшие еще и барщину и всю неправду крепостной жизни.

За рабыней тянется ряд хоругвей: на шестах доски с изображениями людей и невиданных зверей, громадные кольца золоченой и красной бумаги. Это деньги — деньги для ада, которые там будет платить покойница. Их положат с ней в могилу. Она здесь уже платит, — идут двое и разбрасывают такие деньги по дороге. Это умиляет духов ада, и, следуя теперь за телом, они ни покойнице, ни ее родным, ни всем тем, мимо домов которых проносят тело усопшей, не будут делать зла. Но для верности женщины каждого дома выносят на порог горсть сухих листьев, хворосту, ельнику и жгут его. Дым еще лучше денег отгоняет злых духов и во всяком случае гигиеничнее.

Ближе подходит процессия, и нестерпимей в неподвижном солнечном воздухе трупный смрад. Не удиви-

тельно: тело покойницы держали три месяца на дому прежде погребения.

Вот и катафалк — громадные закрытые носилки с балдахином, закрытым со всех сторон. Стенки его разноцветные, по верху изображения страшных лиц, драконов, змей, священных птиц.

Впереди катафалка дети, родные, друзья. Сзади носилки: в передних сидит подруга покойной и громко плачет — это ее обязанность.

Процессия останавливается на перекрестке, где дорога сворачивает уже за город, и pronходит последнее поминание в городе.

Перед катафалком устанавливается богатый корейский стол с рыбой, но без мяса, так как это был пост, — с чашками риса, с восковыми свечами.

Впереди этого стола (не выше пол-аршина) полусидят на коленях все мужчины, одетые в траур (такой же, как у рабыни).

Муж покойной читает какие-то бумаги, сын покойной, лет 16 юноша, стоит перед столом, лицом к катафалку, и кладет частые земные поклоны, или складывая руки, поднимает и опускает их.

Чтение нараспев, и иногда все подхватывают и повторяют припев. Какой-то, очевидно, сильный момент, потому что все заматались, припали к земле, и несколько искренних рыданий сливаются с страстно-тоскливым напевом.

Ощущение какого-то всеконечного конца, горя, пустоты.

Кончилось, все встают, обед несут дальше, и вся процессия опять приходит в движение, медленно скрываясь где-то за городом, в ярких лучах осеннего дня.

Так же, как и у нас, точно тише вдруг стало, и громче там и сям пение петухов.

Пора к начальнику города с визитом.

Маленький начальник в лиловом шелковом халате, с маленькой в три волоска бородкой, уже ждет нас на высоте своего навеса.

Для нас открыты средние ворота, нас ведут по средней лестнице — это высший почет. По этой же лестнице спешит сойти навстречу к нам кунжу.

Мы жмем руки друг другу и идем внутрь его помещения. Комната без стульев: жестом руки нас просят садиться.

Я уже привык и сажусь свободно, поджимая под себя ноги, но Н. Е. никак не может усесться, ему приносят какое-то высокое сиденье.

Нам подают маленькие столики с закусками, — рисом и супом, но мы только что поели и едим плохо.

Хозяин дарит мне два листа с надписями, сделанными известным поэтом Кимом. На одной из них говорится о городе Ыйчжу в таких словах: «где кончаются горы, где долина и зелень, где гладь воды, где синее небо, да белое облако в небе, там город Ыйчжу».

Этот Ким был когда-то начальником здесь, любил город и оставил по себе очень хорошую память.

Мы сидим; я осматриваю маленькие, высокие комнаты здания, с вертикальными рядами китайских знаков. Мы уже переговорили обо всем; несколько раз повторяет хозяин уже высказанное сожаление, что мы так скоро, сегодня же покидаем его город; мы хотим встать и попрощаться, когда что-то докладывают хозяину, и он, сделав гримасу, что-то говорит и неохотно встает, направляясь к порогу.

Там стоит он и ждет, а во дворе какой-то шум. Немного погода показываются китайский офицер и несколько солдат.

У порога хозяин и гость кланяются.

Китайский офицер с красивым римским лицом, бритый, высокий, стройный, с изящными манерами, в костюме, напоминающем римские туники, входит в комнату, уверенно, но вежливо кланяется нам и, по приглашению хозяина, садится на ковер.

Я делаю движение встать, но П. Н., из нескольких фраз понявший, в чем дело, говорит:

— Не уходите, очень интересно. Это начальник китайского города. Он пришел с жалобой на корейцев. Будто бы триста корейцев его плот ограбили. И плот не его, и триста корейцев никогда не бывало: все врет...

Если бы офицер понимал, что говорит П. Н.! Но он сидит величественно и спокойно, слегка поводя своими большими красивыми, подведенными глазами. Видны были его красивые, длинные руки с громадными отточенными ногтями, с широким из цветного камня кольцом на большом пальце.

Он, очевидно, знает, что все на нем дорогое и сидит хорошо, и умеет он держаться; знает, что он красив и

строен и может быть и очаровательным поклонником, и суровым, беспощадным судьей и жадным хищником, не пропускающим удобного случая. Таковым был он в эту минуту, и лицо его словно говорило: «если я в данный момент и обнажаюсь, может быть, с этой стороны, то мне все равно: остальное при мне, и я добьюсь своего».

Маленький корейский начальник, полный контраст своего гостя, болезненно и раздраженно мнется.

Он обрывает речь своего гостя и обращается к переводчику:

— Спроси: разве вышел новый закон, по которому китайские солдаты тоже могут входить в мою комнату, и притом не снимая обуви?

Солдаты в своих синих кафтанах, с красными и желтыми щитами и обшивками, действительно, явились без церемонии за своим начальником и, кажется, только ждут распоряжения, чтобы броситься на тщедушного хозяина.

Переводчик дипломатично обращается не к офицеру, а шепчет что-то солдатам. Те нехотя и обиженно выходят не только за дверь, но и совсем на двор.

Выслушав гостя и приняв его заявление, хозяин говорит переводчику:

— Всегда китайцы жалуются, что их грабят корейцы, и маленькие дети даже не верят и смеются над этим. Их хунхузы грабят. И всегда лес оказывается начальника, но всегда без документа. Начальник говорит, что и деньги были отняты у его сплавщиков леса. Когда у сплавщиков бывают деньги?

Хозяин устало опускает голову: ему обидно и стыдно и за гостя и за себя. Офицер просит вызвать на суд виновных. Хозяин отдает распоряжение.

Мы встаем и откланиваемся. Такой же великолепный поклон со стороны римлянина-китайца. Мало того, он встает и совершенно по-европейски жмет нам руки. Я жму ему руку и с радостью соображаю, что он сегодня в свой город не попадет, а я буду там ночевать, а завтра утром, прежде, чем он придет, я уже выступлю и таким образом избавлюсь от визита к нему.

Хозяин с видимым удовольствием оставляет своего гостя и, несмотря на усиленные наши просьбы, провожает нас до ворот.

Мы спешим в свою фанзу. Наши китайцы-матросы со своим гигантом-капитаном уже ждут нас. Итак, мы отправляемся по восточному побережью Ляодунского полуострова в Порт-Артур. Лошадей наших, идущих из Линьцзяна с Бесединым и Таином, еще нет. Так как в Порт-Артуре у меня и Н. Е. есть дело, которое задержит нас там на несколько дней, то я решаю ехать с Н. Е. вперед, чтобы воспользоваться тем временем, пока будет подходить наш обоз для нужных работ в Порт-Артуре.

Во главе обоза остается И. А. При нем солдаты Бибик, Беседин, Хапов и кореец Таин. С ними же остается китайский переводчик В. В. Последнего оставляю с величайшим сожалением, заменяя его корейцем, говорящим по-китайски. Этот будет переводить П. Н., а последний нам. Таким образом передовой отряд составляется из меня, Н. Е. и корейца, жителя Ыйчжу.

При нас два револьвера и мой маузер с последними девятью зарядами. Все остальное вооружение мы оставляем обозу.

Обоз — громкое название: семь верховых лошадей, одной больше против числа всадников. Эта лишняя повезет кастрюлю и четыре уцелевшие чашки, — вот и весь наш теперешний обоз.

Капитан и матросы ручаются за безопасность нашего пути до Порт-Артура.

— Есть морские пираты, но сухопутных хунхузов мало (нет). Все время вы будете ехать густо населенными пахотными местами.

Этого довода для меня достаточно, чтобы не думать больше о каких бы то ни было хунхузах. Потому что, если я видел там в горах эти уродливые язвы китайской цивилизации в лице хунхузов, то успел уже увидеть и культурный земледельческий класс. Познакомился наконец и с другим классом людей, в лице моего капитана и его моряков, — пролетариев, рабочих, которые честным путем хотят заработать свой хлеб.

Я не мог не проникнуться к тем и другим глубоким уважением: я видел тяжелый труд земледельца по притокам и по самой Амнокке, видел тяжелый и мужественный труд моряков. Я видел этот облагороженный свободным трудом взгляд и понимал и чувствовал, что, при внешнем сходстве этих людей с хунхузами (грязный

костюм, нечистоплотная коса, закоптелый таежный вид), разница по существу неизмеримая, такая же, как между нашим лесным бродягой и оседлым населением.

Все это, торопливо укладываясь, я растолковываю маленькому, но храброму И. А., который высказал некоторое сомнение относительно риска предстоящего путешествия.

Все готово.

— Ну-с, господа, до Порт-Артура. Помните постоянно, что вы в гостях и, следовательно, ничего требовать не можете. Хороший гость старается, напротив, сделать что-нибудь приятное хозяину.

Мы опять в нашей бабушке. Она довезет нас по реке до китайского городка Сахоу, а оттуда на лошадях мы поедем дальше по Ляодунскому полуострову.

Сахоу в 35 ли от Ыйчжу. Отсюда до Дадунгоу, морской пристани устья Амнокки, главного лесного пункта, 30 ли.

Солнце садится, и в последний раз мы видим его с корейского берега: он уже за горами, и светятся далекие теперь горы, охваченные фиолетово-золотистой дымкой. Тишина, покой, мир. Горит река, и все неподвижно и тихо, как сладкий, но чуткий сон усталого человека. Он спит, видит грезы, но весь чувствует свой сон.

В. В., провожавший нас до города, радовался, как ребенок, что, мы, наконец, едем в китайскую сторону, в китайский город. Это его сторона, его город,— эти матросы и он будут нас там принимать.

— Что Корея,— добродушно машет он рукой: — вот Китай наша посмотри... Что Корея!..

Он радостно говорит что-то капитану. Капитан несколько раз кивает ему головой и в свою очередь выпускает несколько горловых и носовых звуков. В. В. торопливо переводит:

— Сахар есть, чай есть, булки есть... Ну? Что Корея!.. Яблоки вот какие... Ну? Пряники — все есть... Дом большая.

— И лошадей можно завтра же утром нанять?

— До Порт-Артура сразу найдем. Лошади хорошие, мулы... Разве как в Корее — одного быка на всю деревню не найдешь... Тут и быка, и лошадь, и мула, и осла; сколько хочешь пайдешь... больше, как по всей Корее... Шибко богатый... гостиница, ужин, завтра днем театр...

В. В. обращается опять к капитану, тот быстро что-то кричит, глаза его разгораются...

— Его хочет вас угощать завтра, хочет вести театр, китайским обедом кормить... Хочет на своя деньги угощать: ваша хороша ему показалась.

Я очень благодарю капитана и очень жалею, что должен торопиться. Капитан тоже жалеет, и мы молча едем дальше. И каждый думает свою думу.

Взошла луна и льет свой свет на воду, ушедшую в глубь берега. В неясном просвете причудливые, бледные горы сливаются с такими же бледными облаками.

Скоро конец всего путешествия. Мысль эта настойчиво лезет в голову, хотя впереди еще больше четырехсот верст по стране совершенно неизвестной.

Веришь в культуру, в безопасность среди культурного населения, но эта вера так скоро и легко разбивается. Какой-нибудь хунхуз, какой-нибудь взрыв непонятного негодования, и все быстро становится и непонятным и чужим, и сознание бессилия двух-трех путников в чужой стране, где все-таки нет-нет и происходят всякие расправы: то миссионера убьют, то восстание поднимется, и там быют подвернувшихся под сердитую руку европейцев.

И что лучше, как путешествовать здесь,— обращаясь за содействием к китайскому начальству или, доверяя гостеприимству народа, с ним только и иметь дело?

Прежде всего, всякое начальство — начальство. Допустим даже, что оно окажется любезным и гостеприимным. Но, во-первых, при сношении с ним неприятна потеря времени. Во-вторых, всякое начальство пожелает доказать разумность своего существования. Какой путь в данном случае изберет китайское начальство? Наверяжет, может быть, нам солдат, которым надо платить, а у нас так мало денег. А может быть задержит нас до получения уведомления из центров, что нас действительно можно пропустить. И сделано ли еще такое уведомление?

А если допустить нелюбезность, то осложнений может быть множество, вплоть до подстрекательства населения, запрещения везти нас, что-либо продавать нам.

Так как такие случаи бывали уже с другими путешественниками, то, во всяком случае, получается некоторый риск в том и в другом случае. Но за путешествие помимо начальства были — большая скорость путешествия и свя-

занная с ней психология: пока люди будут успевать только раскрывать рты при виде нас, мы уже будем далеко. На ночлегах же, приезжая поздно и уезжая рано, мы опять-таки никому не дадим опередить себя, и всегда первые и сами повезем весть о своем прибытии.

Тихо на лодке. Мерно стучат весла в уключинах. Присев на корточки, посматривает капитан и напевает какую-то китайскую песенку. Ухо мое уже привыкло к этим песням. Много носовых и металлических звуков, как будто подражание удару медных тарелок. Много диссонансов, а заключительные аккорды все не в тон и не в такт. Все пение с какими-то выкриками, часто резкими и неприятными, но местами улавливается и речитативная мелодия. Иногда это похоже и на вагнеровскую музыку, и уже думаешь, а вдруг слух наш будет прогрессировать именно в этом направлении, и будущие поколения в этих диссонансах и нестройных воплях будут находить и мелодию и прелесть, как это находят, очевидно, китайцы.

Я вспомнил берлиозовскую «Гибель Фауста» и «Фауста» Гуно. Ста лет еще не прошло, когда впервые обе вещи появились на сцене: Гуно вознесли до неба, а Берлиоза освистали, осмеяли и прокляли.

Один автор получил все счастье жизни, на долю другого досталась вся ее горечь. Оба теперь спят вечным сном, а людское музыкальное чувство уже, очевидно, другое: не перед Гуно преклоняется. Гуно — ребенок перед Берлиозом. На наших глазах прошел Вагнер со своей непонятной музыкой и уже победил. Может быть, и эта музыка китайцев победит? Будут находить в ней такой же глубокий смысл, какой видят поклонники Китая во всей пятитысячелетней китайской культуре.

Наш будущий переводчик-кореец в своем белом костюме присел на корточки и ежится от холода.

Холодно всем: пронизывающая сырость реки пробирает насквозь.

— П. Н., не расскажет ли он сказку?

— Говорит, что сказок не знает.

— Неужели ни одной не знает?

— Да в Ыйчжу никто не знает, — говорит П. Н.: — сказки все уже позади остались.

Кореец что-то говорит.

— А, вот видите... Он говорит, что теперешняя династия царствует лишнее, оттого все так плохо и пошло в

Корея. Что против предсказаний она уже двадцать пять лет больше царствует, а должен бы царствовать Пен.

— А где же этот Пен?

П. Н. спрашивает, слушает и переводит:

— А этот Пен на острове живет, а только верно это или нет, он не знает, и никто не знает, потому что, кто до сих пор попадал на этот остров, назад больше не возвращался: задерживают там... в солдаты, что ли, берут... Ему ведь тоже войско надо, чтобы прогнать старую династию.

— Да вы не смейтесь сами, а то он подумает, что мы не верим, и сам не серьезно будет говорить.

— Нет, это ничего... Позвольте, он еще говорит... А, видите, вот что он говорит. Он считает, что корейцам, как японцам, иначе надо начать жить: бросить старое платье, волосы, веру старую бросить...

— А много корейцев так думают?

— Здесь, говорит, много. Да и я сам знаю, что много. Кореец опять что-то говорит.

— Говорит, что теперешний король и его министры только и знают, что мотать да продавать корейское добро, а то и даром раздавать, чтобы только не трогали. Всю Корею продадут, пока их выгонят. Продавать только уж нечего.

Я смотрю в ту сторону, где осталась Корея. Ее не видно больше, она исчезла, растаяла в молочном просвете тусклого лунного блеска.

Единственный кореец, оставшийся еще с нами — наш проводник — неясным белым пятнышком светлеет на носу бабушки.

Ближе и ближе зато огоньки китайского берега, и из бледной дали уже выдвигаются темные силуэты бесконечного ряда мачт.

Впечатление какого-то настоящего морского порта. Ночь увеличивает размеры судов, и кажутся они грозной флотилией кораблей, пароходов. В сущности же, это такие же, как и бабушка, шаланды, или побольше немного, ходящие, впрочем, в открытое море, где и делаются часто жертвами морских разбойников, морских бурь.

Вот выступила и набережная, дома и лавки, огни в них (75).

Мы уже на пристани, и при свете фонарей нас обступила густая и грязная толпа разного рабочего люда: матросы, посылщики, торговцы. Их костюмы ничем не

отличаются ни по грязи, ни по цвету, ни по форме от любых хунхузских: синяя кофта, белые штаны и, как сапоги, закрывая только одну переднюю сторону, надетые на них вторые штаны, обмотанные вокруг шерстяных, толстых и войлоком подбитых туфель. На голове шапочка или круглая, маленькая, без козырька, с красной, голубой или черной шпичечкой, или такая же маленькая и круглая, наподобие меркуриевской шапочки с крылышками.

Толпа осматривает нас с приятной неожиданностью людей, к которым среди ночи прилетели какие-то невиданные еще птицы.

Подходят ближе, трогают наши платья, говорят, делятся впечатлениями и смеются.

Мы тоже жадно ловим что-то особенное, характерное здесь, что сразу не поддается еще точному определению. Это все те же, что и во Владивостоке, сильные, стройные фигуры, с темными лицами, с чертами лица, иногда поражающими своей правильностью и мягкой красотой. Вот стоит сухой испанец, с острыми чертами, большими, как уголь, черными глазами. Вот ленивый итальянец своими красивыми с переливами огня глазами смотрит на вас. Вот строгий римлянин в классической позе, с благородным бритым лицом. Вот чистый тип еврея с его тонкими чертами, быстрым взглядом и движениями. Вот веселый француз с слегка вздернутым толстым картофельным носом. Нет только блондинов и поэтому меньше вспоминается славянин, немец, англичанин. Но массу китайцев одеть в русский костюм, остричь косу, оставить расти бороду и усы, и, по наружному виду его не отличишь от любого русского брjunета. Старых китайцев, уже седых, которым закон разрешает носить усы и бороду, даже в их костюме, вы легко примете за типичных немцев русских колоний...

Окончательно и бесповоротно надо отказаться от какого бы то ни было обобщенного представления типа китайца, а тем более того карикатурного, которых считают долгом изображать на своих этикетках торговцы чайных и других китайских товаров.

От толпы глаза переходят на улицу, дома.

Отвык от таких широких улиц, от больших, из камня и из кирпича сделанных домов. Тут же и громадные складки с громадными каменными заборами — все это массивно, прочно, твердо построено. Слегка изгибаю-

щиеся крыши крыты темной черепицей, и белые полосы извести, на которой сложены они, подчеркивают красоту работы.

Так же разделаны швы темного кирпича, цвет, достигаемый особой выкалкой с заливкой водой (очень часто, впрочем, в ущерб прочности).

На каждом шагу стремление не только к прочному, но и красивому, даже изящному...

Эти драконы, эти сигнальные мачты, красные столбы, красные продольные вывески с золотыми буквами, с птичьими клетками, магазины с цветами.

Н. Е. сделал нетерпеливое движение, и сейчас же от него отошли все любопытные.

В ожидании капитана, который ушел разыскивать гостиницу, мы подошли к фруктовой лавке: громадные груши, правда, твердые, но сочные и сладкие, каштаны, вареные, печеные... Боже мой, да ведь это, значит, конец всем тем лишениям, о которых непривыкший и понятия себе не составит.

— А завтра свежие булки, сладкие печенья,— повторяет восторженно В. В.— В гостинице ужин, хороший чай.

Гостиница, ужин, булка, хороший чай, груши, каштаны, эти прекрасные постройки, эти широкие улицы, вся эта оживленная ночная жизнь пристани с ее людом, фонари. Здесь контраст — энергия, жизнь, какой-то громадный, совсем другой масштаб.

Теплая ночь южного города, силуэты юга на каждом шагу,— южные типы, уличная жизнь юга, запах жареных каштанов.

Мы ходим по широким улицам города, отыскивая себе пристанище. Мимо нас быстро мелькают с корзинами в руках и что-то кричат китайские подростки. Это пища, каштаны. Проснувшись, какой-нибудь китаец крикнет его к себе, поест и опять спит.

Это называется будить голодных.

Все гостиницы полны посетителями, громадные дворы их полны лошадьми, быками, мулами, ослами.

Сладострастные блянья этих ослов несутся в сонном воздухе, несутся крики продавцов каштанов, усталость, сон смыкает глаза. Мы идем дальше, и кажется все кругом каким-то сном, который где-то, когда-то уже видел.

Вот, наконец, и гостиница, где-то на краю города, после целого ряда громадных каменных оград.

В. В. смущен тем, что гостиница не из важных, но нам все равно, и мы рады какому-то громадному сараю, где нам отводят помещение. Очень скоро нам подают «беф а ля строганов» на масле из бобов, рис, чай и сахар.

Все кажется роскошным, поразительно вкусным. Мы сидим на высоких нарах, задыхаемся и плачем от едкого дыма затапливаемых печей, но довольны и едим с давно забытым удовольствием.





ГЛАВА ШЕСТАЯ ПО ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ

19—25 октября.

Проснулись рано, но еще раньше нас проснулись любопытные, и теперь, с добродушным любопытством дикарей, толпа праздных китайцев стоит и ждет, что из всего этого выйдет... Вышло то, что пришлось при них и одеваться и умыться.

Во дворе уже стоят готовые для нас экипажи. Надо посмотреть.

На двух громадных колесах устроен решетчатый ящик, обтянутый синим холстом. Высота ящика немного больше половины туловища, длина две трети этого туловища, ширина — полтора. Одному сидеть плохо, вдвоем отвратительно, втроем, казалось бы немыслимо, но китайцы умудряются усаживаться по пяти человек и двое на переднем сиденье.

Никаких, конечно, рессор, и так как сиденье приходится на оси, то вся тряска передается непосредственно. Спускается с горы экипаж, и вы с вещами съезжаете к кучеру; едет в гору — вас заталкивает в самый зад, и вещи нажимают на вас; в громадных ухабах вы то и дело стукаетесь головой, руками, спиной о жесткие стенки вашей узкой клетки.

400 верст такой дороги.

Три мула в запряжке: один в корню, два впереди.

Во всей Корее и такого экипажа нет, но уродливее, тяжелее, неудобнее и в смысле сиденья и в смысле пра-

вильного распределения сил трудно себе что-нибудь представить.

Сила одной лошади уходит на то, чтобы тащить лишнюю тяжесть десятипудовых колес, годных совершенно под пушечные лафеты; и наш еще легкий экипаж, грузовые же в два раза тяжелее, и тридцать пудов груза там тянут шесть-семь животных: бык, корова, мулы, лошади, ослы, все вместе.

Трогательное сочетание громадных быков с каким-нибудь седьмым осленком. Он равнодушно хлопает своими длинными ушами и с достоинством, в путаной запряжке смотрит на вас из толпы своих больших сотоварищей.

Колеса, обитые сплошь толстым железом, кончаются острыми ребрами (76), которые как плуг, режут колею.

Для каменистого грунта это хорошо, но в мягком колея доходит до глубины полуаршина, всегда при этом так, что как раз там, где одна сторона колес совсем ушла в землю, другая мелка, и поэтому, помимо невозможных толчков и перекосов, ехать рысью невыносимо.

Да и шагом, надо удивляться, как едут.

— Что делать, — объясняет возница, — закон не позволяет иного, как на двух колесах, устройства экипажей. Только богдыхан может ездить на четырех.

Для одного человека, который к тому же никуда и не ездит, остальные 400 миллионов поставлены в такие дикие условия, которые от нечего делать разве можно выдумать в пять тысяч лет (77).

Вот идет китайская женщина. Несчастная калека на своих копытах вместо ног (78). Походка ее уродлива, она неустойчиво качается и, завидя нас, торопится скрыться, но не рассчитывает ношу и вместе с ней летит на землю: хохот и крики. Она лежит, и на нас смотрят ее испуганные раскошенные глаза (у женщин почти у всех глаза раскошенные и тип выдержан), утолщенное книзу мясистое лицо: толстый расплюснутый нос, толстые широкие губы. Лицо намазано синеватыми белилами, фигурная прическа черных волос с серебряными украшениями. Да, пять тысяч лет выдумывали такого уроды — калеку. Это надежный охранитель своей позиции и в то же время мститель за себя, — это тормоз посильнее и телеги.

— Со мной калекой останетесь, и никуда я и от вас не уйду и вас не пушу.

Тормоз говорящий, живой. Все остальное мудрый Конфуций (79), хуже корана, до конца веков пред-
решил.

В этом отношении очень характерна одна легенда о Конфуции.

Однажды Конфуций с тремя тысячами учеников вошел в одну глухую долину. Там под фруктовым деревом, с западной и восточной стороны, сидело по женщине. С западной стороны женщина была стройна и красива, с восточной стороны женщина была некрасива, имела длинную талию и короткие ноги.

— Вот поистине,— сказал Конфуций своим ученикам,— красивая женщина и вот урод.

И он показал на женщину восточную.

— Но когда тебе придется,— сказала женщина Востока,— вдеть в зерно четки с тысячью отверстиями нитку, придешь за решением ко мне.

— Она не только уродлива, но и глупа,— сказал Конфуций,— и поистине не следует нам здесь больше оставаться.

И он ушел назад, в город со своими учениками.

В тот же день позвал Конфуция к себе богдыхан и предложил через всю тысячу отверстий одного зерна четки продеть нитку. Тогда вспомнил Конфуций о женщине Востока и пошел к ней...

Он нашел ее в той же долине, под тем же деревом, на том же месте, но женщины Запада не было с ней больше.

— Да,— сказал Конфуций,— я действительно пришел к тебе за решением.

— Я ждала тебя,— ответила женщина.

И, взяв у Конфуция четку, она опустила ее в мед. И, взяв шелковую нитку, она привязала ее к маленькому, только что родившемуся муравью.

Затем, вынув четку из меда, она пустила на нее этого муравья.

Муравей съел мед на поверхности и полез за ним во все тысячи отверстий, а за ним проходила и нитка.

— Отнеси богдыхану,— сказала женщина Востока, подавая ему готовую нитку.

Тогда Конфуций сказал ей:

— Я вижу теперь твою мудрость: ты не только предвидела задачу, которую дал мне богдыхан, но и решила

ее. Я до сих пор считал себя мудрым и только теперь вижу, как ничтожна моя мудрость перед твоей. Молю тебя поэтому, не для своего блага, а для блага моего народа, открой мне великий источник твоей мудрости. Если ты приобрела его учением, скажи имя великого учителя, и я не пожалею всей жизни, чтобы перенять у него хоть несколько его великой мудрости.

— Ты ее всю получишь, но не здесь, на земле. А пока довольно тебе знать, что то, что надо здесь, ты получишь от меня.

— Кто же ты?

— Я посланница неба.

— Но зачем нужно было великой мудрости проявить себя в таком ничтожном явлении, как эта четка?

— Потому что,— сказала женщина, вставая,— небо желало, чтобы посланник его, великий Конфуций, дал ответ на все вопросы, какие когда-либо придут в голову человеку, от самых великих до самых ничтожных.

И, говоря это, женщина Востока поднялась в небо, а Конфуций упал на землю, лежал так всю ночь и все думал. А для чего мудрецу нужна целая ночь, то обыкновенный человек тысячу жизней должен прожить, чтобы понять.

Так великий Конфуций ковал свой народ, пока не заковал его всего в заколдованном круге, где нет дороги вперед, нет дороги назад, где все стоит на месте, и только в каких-то бесплодных завертушках мысли псевдо-классическая интеллигенция может выкруживаться над неподвижным.

Колесо, форма судна, домашний очаг, одежда, образование — все навсегда подведено под свою вечную форму, все завинчено крепкими, геологических периодов, винтами.

И, как бы в подтверждение мне, здесь сообщается последняя новость. Мать богдыхана устранила от престола своего сына и уже отменила его декрет относительно разрешения чиновникам стричь косы и носить европейское платье.

Сообщается это тоном, из которого ясно, что ничего другого и не могло выйти.

— Но ведь коса признак рабства у вас; это маньчжуры заставили вас носить косу в память подчинения.

— Да конечно.

Капитан и матросы провожают нас за город.

Лавки, громадное оживление на улицах, неуклюжие телеги, носильщики, прохожие, крики, запах бобового масла.

Сегодня я опять съел беф-строганов. Не от этого ли бобового масла страшная изжога и рот, как луженый, — больше есть его не буду. Булки тоже только наполовину удовлетворили: они совершенно пресные, без корки, и что-то в них то, да не то: как-то отнят вкус хлеба. Но рис хорош. Вот и предместья города, — широкие улицы, пыль, солнце, тепло, сверкает взморье, и все вместе напоминает юг, где-нибудь в Одессе, на Пересыпи, когда едешь на лошадях из Николаева.

Капитан и матросы прощаются с нами и отдают приготовленные нам подарки: капитан подает сладкое печенье, похожее на наше кэк, но — увы! — на том же бобовом масле! Матросы подарили нам печеных каштанов, груш, орехов.

Все это было так трогательно, так деликатно. Мы горячо пожали друг другу руки.

В. В. смеется и переводит:

— Капитан говорит: э, вот человек, которого я хотел бы еще раз увидеть.

У большого капитана недоумевающее, огорченное, как у ребенка, лицо.

— Так нигде и не заедете к начальнику? — спрашивает В. В.

— Нет, не заедем.

Попробуем без начальства, — никто еще, кажется, так не пробовал путешествовать по Китаю.

Мы уже едем. Я с трудом высовываюсь и смотрю: все в такой же позе стоит капитан, я киваю ему, он тоже кивает, но, очевидно, машинально, как человек, который все равно уже не может передать, а я понять его чувство.

Толчок, и я падаю назад, и капитан и его матросы, и В. В. — все это уже отныне только память, воспоминание, нечто уже отрешенное от своей материальной оболочки, вечное во мне: сильный душой большой ребенок капитан, его скромные матросы, добрый возвышенный В. В. — все в косах, все китайцы...

Веселое солнце, давно не виданные равнины, пахотные поля, сельские домики, мирная работа осени: молотят,

свозят снопы, какие-то люди ходят с коромыслами на плечах, с двумя корзинами, привязанными на длинных веревках к концам. Остановятся, что-то захватят маленькими трехзубчатыми вилами с земли и положат в корзину.

— Что они делают?

— Собирают удобрение.

— А эти что делают?

— Выкапывают из земли корни кукурузы.

— Для чего?

— Для топлива.

— Для чего они подметают там в лесу?

— Собирают листья для топлива.

Мы едем маленьким леском, береженным и холеным, подметенным так, как не подметают у нас дорожки в саду...

— Неужели все леса так?

— Лесов мало здесь. Все, конечно.

— Рубят леса?

— Леса сажают, а не рубят.

— Что это за кучи?

— Удобрительные компосты: навоз, ил, зола, отбросы, падаль.

Вот когда сразу развернулась передо мной эта пяти-тысячелетняя культура.

— А это что за ящики из прутьев, с написанными дощечками, там, сверху, на этих шестах?

— Это головы хунхузов; на дощечках написано, за что им отрубили головы.

О, ужас, полусгнившая голова равнодушно смотрит своими потухшими глазами.

— Если бы их не убивали — жить нельзя было бы, надо убивать.

— Но хунхуз и есть следствие жестоких законов.

— Да, конечно, — равнодушно соглашается мой кучер-китаец.

— А тела их, — говорит он, — зарывают в одной яме, спиной вверх, с поджатыми под себя ногами и руками так, чтобы обрубленной шеей один труп приходился к задней части другого.

— Зачем это?

— Чтобы все смеялись.

Я возмущен до глубины души.

— Такой закон.

Гнусный закон, который, кажется, только тем и занят, чтобы нагло издеваться над всем святая святых человека: уродует труд, женщин, мало того: в своей гнусной праздности, в своей беспредельной беспрепятственности издевается и над трупами.

— Суд короткий — некогда долго разбирать, много невинных здесь. Убили важного чиновника, за которого придется отвечать. Надо найти виноватых. Поймают каких-нибудь; признайся, а нет — пытка, — все равно признается. А кто имеет деньги, может купить за себя другого, — того и казнить будут.

— Дорого покупают?

— Как придется: и за 15 долларов и больше.

— Недорого.

— Нет, недорого. Я сам из шанхайской стороны. Народу там много. Нас было всех 13 братьев и сестер. Из семи братьев нас четыре живых выросло. А сестер, как родятся, на улицу выбрасывали. Только последнюю одна из Шанхая купила за доллар.

— Зачем?

— А вот, чтоб танцевать, петь. Там, в Шанхае, и здесь, и везде в Китае весело, много таких...

— Что это за народ все идет?

— В город идут, наниматься на работу.

— А отчего они не работают на своих полях?

— Потому что у них нет их.

— Как нет? У каждого китайца своя полоска земли и своя свинка.

Кучер смеется.

— Это вот все работают в поле тоже работники, не хозяева. Хозяин один, а работников у него много: десять, двадцать, шестьдесят есть.

— Много земли у таких хозяев?

Не больше пятидесяти десятин: больше закон не велит.

— Чья земля?

— Хозяйская.

— Нет, не хозяйская, — говорю я; — он только в аренду берет ее у государства.

— Не знаю; всякий хозяин может продать свою землю, у кого есть деньги — купить. Кто плохо работает, продать должен, кто хорошо работает — живет.

То же, значит, что и в той части Маньчжурии, где я был.

Для проверки, впрочем, мы останавливаемся возле одной из ферм.

Постройки каменные, из черного кирпича. Крыши из темной черепицы. Это общий тип здешних построек. Если кладка из камня, то работа циклопическая, с расшивкой швов, очень красивая. Камень мраморно-серый, розовый, синеватый.

Громадный двор огражден каменным забором такой же кладки.

В передней стене двора двое ворот. На воротах изображение божества войны. Страшный урод в неуклюжем одеянии, с усами до земли, с какой-то пикой, луком...

Между ворот и с боков передний флигель, где производится всякая работа: в данный момент шла солка са-лата и растирались бобы.

В открытые ворота видны внутренние жилые постройки.

Ряд ажурных, бумагой заклеенных окон, двери, красные полосы между ними, исписанные черными громадными иероглифами.

Перед всем домом род террасы, аршина в полтора высотой, с особенно тщательной кладкой. Крыша с красивым изгибом и коньком в несколько, одна на другую положенных на извести, черепиц.

С внешней стороны вся постройка по вкусу не оставляет желать ничего большего.

Но наружность обманчива: внутри грязно и неуютно.

Комнаты — это ряд высоких сараев, с нарами в полтора аршина высотой, с проходом между ними. Комнаты во всю ширину здания и все проходные. Уютности и чистоты миниатюрной Корен и следа здесь нет. Хозяина и его работников мы застали на улице перед двором.

Вернее, это тоже часть двора, потому что две стены забора выступают вперед, но передней стены нет.

Здесь, в этом месте, как раз протекает ручей, несколько верб склонилось над ним, и сквозь их ветви видна даль полей, силуэты причудливых гор, лазурь неба, а еще дальше синей лентой сверкает море, и ярче там блеск солнца.

Хозяин с работниками возились с кучей удобрения. Такие кучи перед каждой фермой.

Их несколько раз перекалывают с места на место. Нет в поле работ,— оттого ли, что кончились, оттого ли, что дождь идет,— работа всегда возле удобрильных куч.

Запах невыносимый.

Хозяин, очевидно, человек дела даже между китайцами.

Весь хлеб (по преимуществу кукуруза и гаолян) уже обмолочен, солома сложена в большие скирды, сложены и кукурузные корни и собраны листья из виднеющегося на пригорке леса. Невдалеке от дома идет уже осенняя пашня и бороньба. Во всех полях однородная культура, во всех полях молодые подростки и старики со своими коромыслами жадно ищут скотский помет. Первое впечатление очень сильное. Но затем выступают и недостатки.

В земледельческих орудиях никакого прогресса. И орудия эти в то же время бесконечно далеки от идеала. Для примера достаточно взять борону. Здесь это доска аршина в полтора длины. Сквозь доску продеты прутья, и торчат они в разные стороны. Двумя концами доска привязывается к шее животного, человек стоит на доске и тяжестью своего тела прижимает и ее и прутья к земле. Животное тащит человека на доске, человек, как акробат, все время балансирует; бороньба получается обратительная по качеству, ничтожная по производительности.

Но так работали предки (80). Вот другой пример: тут же на улице впряженный ослик приводит в движение небольшой жернов; вместе с осликом ходит вокруг жернова женщина или мужчина, то и дело рукой подгребая вываливающуюся из жерновов муку. Производительность такой мельницы два-три пуда в день. Ни ветряных ни водяных мельниц.

Поразительная забота об удобрении, доходящая до работы того медведя, который весь день таскал колоду с одного места на другое. Действительно: удобрение, уже лежащее в поле, подбирается и несется домой. Каждый корешок выкапывается и несется туда же. Какое количество лишних рук требуется для этого? На наши деньги расход на десятину получился бы 20 рублей. На эти 20 рублей, казалось бы, выгоднее было бы купить со

стороны совершенно нового удобрения. В данном случае привезти с моря и рек разных трав, илу, как и возят здесь.

Отопление этими корнями тоже не оправдание, так как тут же в кузнице работают на каменном угле.

— Далеко добывается этот уголь?

— Пять ли отсюда — сколько угодно.

— Почему же вы не топите печей ваших этим углем?

Молчат китайцы и только смотрят на человека, который пристает к ним с несуществующим для них вопросом «почему». Все «почему» давно, очень давно решены и перерешены, и ничего другого им, теперешним обитателям земли, не остается, как делать, ни на иоту не отступая, то же, что делали их мудрые предки.

При такой постановке вопроса преклоняться придется не перед пяти тысячелетней культурой, не перед допотопными и нерасчетливыми орудиями и способами производства, а перед поразительной выносливостью и силой китайской нации.

Как живет нация, — задавленная произволом экономическим (калека домосед женщина, обязательные орудия: борона, двухколесная телега, судно и прочее), произволом государственным (взяточничество, вымогательство, пытки, казни и, как результаты, хунхузы, постоянные бунты), гнетом своей бесплодной интеллигенции, религиозным уродством (Конфуций) — живет и обнаруживает изумительную жизнерадостность и энергию.

И несомненным здесь станет только одно: что, когда в нации возродится атрофированная теперь способность к мышлению, а с ней и творчество, китайцы обещают при их любви к труду и энергии, очень много.

Пролетариата в Китае за эти несколько дней я вижу такую же массу, как и у нас. Что до прокорма, то какое же это решение, если приходится решать этот вопрос путем выбрасывания детей на улицу, путем питания организма диким чесноком да горстью гаоляна?

Вот, наконец, и огоньки нашей гостиницы. Большой двор, огороженный высоким каменным забором. Во дворе множество арб, быков, мулов, лошадей и ослов.

Из длинного корпуса гостиницы льется свет в темный двор.

Перед нами печи, котлы, пар и дым от приготовляющихся кушаний. Все закоптелое, темное и грязное.

В обе стороны от того места, где мы стоим, вдоль всего корпуса протянулись бесконечные нары, с проходом посредине. На этих нарах сидят, лежат и спят китайцы.

Нас ведут в дальний конец, и китайцы, недоумевая, осматривают нас. Там, в конце, куда привели нас, так же тесно, как и везде. Несколько китайцев сдвигаются и очищают нам место.

Конечно, грязно и много насекомых, пахнет скверно, но усталость берет верх и, пока нам что-то варят, мы с Н. Е. ложимся.

Скоро начинается разговор с соседями. Нас спрашивают, откуда мы.

— Из России.

— Куда едете?

— В Порт-Артур.

В свою очередь, задаю вопрос: по этой дороге проходили японские войска?

— Проходили.

Часто слышишь, когда едешь: это японец... потому что людей других наций здесь не видали еще.

С рассветом мы спешим дальше.

До самого Порт-Артура впереди нас никто не ехал.

Раз только мы дали обогнать себя бонзам (монахам).

Это было на третий день нашего пути.

Мы заехали на постоялый двор пообедать, а бонзы кончали свою еду. Их было несколько человек: пожилой, несколько молодых, двое детей. Все без кос, остриженные при голове. Они ели свой китайский обед, сидя с поджатыми ногами на нарах вокруг низенького столика и, молча, сдержанно поглядывали на нас. Кончив еду, они встали и ушли.

— Они вас приняли за миссионеров, — сказал после их ухода хозяин.

Мы не обратили на это внимания, занятые варкой мамалыги, блюдо, которого здесь не знают и которое мы усердно пропагандировали.

Поев, выкормив лошадей, мы отправились в дальнейший путь и в сумерки приехали в большое торговое село. До сих пор нас везде принимали очень любезно. Тем более мы были удивлены, когда перед нашими экипажами быстро захлопнулись ворота гостиницы, а громадная толпа, окружив нас, стала что-то угрожающе кричать.

К несчастью, мы были лишены даже возможности узнать, в чем дело, так как с некоторого времени с нашим проводником-корейцем стало твориться что-то совершенно непонятное: он глупел не по дням, а по часам и сегодня совершенно уже перестал понимать по-китайски.

И теперь он стоял ошалелый, и напрасно П. Н. отчаянно кричал ему что-то по-корейски.

— Чорт его знает, что с ним сделалось.

— Может-быть, пьян?

— Нет, не пахнет водкой.

Но вслед затем П. Н. хлопнул себя по лбу и крикнул:

— Он накурился опиумом!

Хорошо, по крайней мере, то, что мы с этого мгновения знали, что нам не на что было больше надеяться.

Я обратился к нашим ямщикам, показывая на запертые ворота, и сказал:

— Маю хоходе?

Хоходе — хорошо, маю, ю, значило (по крайней мере, для меня и моих возчиков) нет и есть; фраза моя должна была таким образом значить:

— Хорошего нет?

Ямщики поняли меня и мрачно ответили:

— Хоходе мая.

Я еще знал слово — чифан, что значило — есть, слышал также, как ямщики кричат на лошадей, когда хотят, чтобы они шли вперед: «е». А когда хотят остановить их: «и».

Я опять показал на ворота гостиницы:

— Чифан маю?

— Маю, маю, — грозно и решительно закричала толпа.

Я вдруг вспомнил, что слово «фудутун» означает начальство.

— А фудутун ю?

— Маю, маю...

— Ну маю, так маю.

Я назвал находившееся в 35 ли село и спросил ямщиков:

— Чифан ю?

— Ю, ю, — радостно ответили ямщики.

Тогда, сделав величественный жест по направлению к тому селу, я скомандовал им отрывистое: е!

И в одно мгновение все мы сразу вскочили, и на этот раз не надо было погонять ямщиков наших.

Ничего подобного не ожидавшая толпа так и осталась с закрытыми ртами, а мы тем временем быстро улепетывали, подпрыгивая на невозможных ухабах.

Выезд из села проходил по очень крутому, каменистому спуску. Наши экипажи громыхали так, точно раздавался непривычный залп из пушек. Спуск этот, впрочем, сослужил нам службу, открыв заблаговременно устроенную за нами погоню.

Мы в это время остановились было, чтобы зажечь фонари, так как стало уже совсем темно. Вдруг раздались знакомые уже пушечные выстрелы, и на спуске мы увидели освещенные огоньками до десятка телег, все наполненные китайцами.

Вместо того, чтобы зажигать фонари, преданные нам ямщики своротили свои экипажи в кусты по какой-то тропинке, проехали сажень сто и, погрозив нам, чтобы мы молчали, остановились. Скоро мимо нас с грохотом, треском и криком пронеслись наши преследователи и скрылись в темноте. Когда и шум от них замолк и свет их фонарей исчез, наши ямщики рассмеялись, зажгли свои фонари, и мы поехали, но уже какой-то другой дорогой, проселочной с ужасными выбоинами.

Мы ехали уже несколько часов, путаясь в каких-то пересеченных оврагах, когда услышали вдруг около десяти выстрелов. Наши ямщики опять начали смеяться и, размахивая руками, что-то говорили нам.

Проехав еще немного, мы остановились у одинокой фанзы. Нам сварили там кукурузу, лошадям дали соломы, и с рассветом мы тронулись дальше.

Проспавшийся проводник объяснял нам все наше вчерашнее происшествие. Вот в чем дело. Бонзы, приняв вчера нас за своих профессиональных врагов — миссионеров, успели вооружить против нас селение, сказав, что мы едем крестить их. Выпустив нас из села, жители спохватились и погнались за нами в погоню. Они несомненно доехали до того села, которое я называл, думая заставить нас там, но, не найдя, возвратились обратно, теша себя с горя своими собственными выстрелами.

Сегодня мы продолжаем нашу дорогу все тем же окольным путем и выйдем на большой тракт только к вечеру.

Опять день и солнце, опять поля кругом, все то же трудолюбивое густое население, множество скота: хватит

продовольствия на целую армию. Приволье, зажиточность, мир. Какой-то благословенный уголок земного шара, где 23 октября 25° днем, где выпевает виноград, растут груши и сливы, где трудолюбием жителей все эти приморские пески превращены в плодоносные пашни.

К вечеру мы выехали опять на большую дорогу и ночевали на постоялом дворе.

Когда, поев, мы улеглись, как и все остальные посетители, на нары, мой сосед, путешествующий китаец, с помощью переводчика, которого мы теперь стерегли, как свой глаз, спросил меня:

— Вы не боитесь путешествовать одни?

— Но китайцы в нашей стране тоже одни путешествуют, — ответил я.

Мой ответ произвел хорошее впечатление на общество, и со всех сторон мне закивали дружелюбно головами.

— У нас тоже, куда хотите, поезжайте, а нехорошие люди везде есть.

И со всех сторон кричали:

— Это верно, — везде есть дурные люди.

А утром нам подали счет и ни копейки не взяли больше против того, что брали со всех. И так везде и всегда. И поэтому я энергично протестую против всяких обвинений китайцев в мошенничестве и лукавстве.

Не лукавство же и не мошенничество, например, такой факт. С разрешения моего ямщика, я взял кнут и сам погоняю наших мулов, привыкших ходить только шагом. Сперва мулы слушались очень хорошо, но затем кнут перестал действовать на них. Я скоро открыл секрет: мой ямщик потихоньку придерживал вожжи.

— Маю хоходе, — укоризненно сказал я ему.

Он быстро мне закивал головой в ответ, бросил, как обожженный, вожжи и уже больше не дотрагивался до них, грустно уставившись глазами в пространство. И если бы не сознание, что у меня не было другого выхода, что труд его мулов я оплачу в несколько раз дороже против условленной платы, то неловко должен был бы чувствовать себя я, а не он, рискуя напряженной и непривычной работой подорвать его рабочую силу.

Это, конечно, мелочи, но вот и более крупные факты, и общеизвестные притом. В коммерческих делах китайцам доверяют на слово очень крупные суммы. Во всех банках — китайцы. Артель китайских рабочих за несправед-

ливое оскорбление одного из своих членов оставляет работу, теряя при этом весь свой заработок. Все это не указывает ни на мошенничество ни на хитрость, а, напротив, как часто пользуются этими свойствами китайцев именно те, которые со спокойной совестью и громче других говорят: «китайский мошенник».

Чем ближе мы подъезжаем к городу Бицзыво, тем как-то беспокойнее население. Нередко вслед нам раздавались выстрелы.

Однажды, это было под вечер, мы ехали среди прекрасно обработанных полей, синело море, далекие горы сквозили в чудном закате. Вдруг какой-то китаец, работавший в поле, вскочил на лошадь и ускакал в деревню.

Мы поняли все, когда въехав в село, увидели на площади вооруженную толпу. Вооружены были ружьями с зажженными уже фитилями, старинными пиками. Не было даже времени вытащить свои револьверы, да и бесполезно было ввиду такого множества народа. Кто знает, оружие в наших руках дало бы им может быть, только нравственное право напасть на нас. Мне и Н. Е., ехавшим каждый на своем облучке, оставалось только смотреть так спокойно, как будто все это не до нас касалось.

— Они принимают нас за хунхузов, — объяснили нам наши ямшики, когда мы выбрались за околицу недружелюбного села.

— Разве и здесь есть хунхузы?

— Да, говорят, около Бицзыво морских хунхузов около тысячи человек.

Не успели мы отъехать и версты от села, как за нами погналась погоня. Гнались и стреляли по направлению к нам; мы дали подъехать передней арбе довольно близко и, в свою очередь, дали два залпа на воздух. Это успокоило наших преследователей, они сразу остановились, и мы скоро потеряли их из виду в прозрачных сумерках начинающегося вечера. Довольные собой они поехали домой есть свой ужин, чтоб повторить его в полночь, разбуженные разносчиками съедобного.

Вечером 25 октября, в 11 часов, мы въехали, наконец, в первый занятый русскими город Бицзыво (8!).

— Кто вы? Откуда вы? — спрашивает нас начальник города, он же начальник сотни казаков, когда мы с Н. Е., отворив его дверь, неожиданно вышли из мрака.

— Мы — первые сухим путем прибывшие к вам из Владивостока.

Любезный командир пригласил нас к себе, познакомил со своею женой, первой европейской дамой в Бицзыво.

Мы опять в давно забытых условиях пили чай с сахаром, молоком, хлебом и сливочным маслом, пили водку и ужинали.

26 октября.

Страна от Бицзыво до Порт-Артура представляет несколько другой характер, в сравнении с проеханным уже нами побережьем Ляодунского полуострова.

Местность гористее, пахотных полей меньше, и урожай значительно беднее здесь. Нет той заботы о полях, нет больше мирных, оживленных картин сельского хозяйства: групп, работающих в поле, работающих около фанз молотильщиков кукурузы, гаоляна, групп, возящихся у компостных куч.

Здесь хозяйство стало как бы второстепенным уже делом, и в фанзах и около народу мало, — больше старики; многие фанзы стоят пустые. Ушли ли их обитатели, привлеченные заработками в Порт-Артуре, совсем ли ушли, испугавшись иноземного нашествия?

Вечерует. Совсем уже мало пашни, горы толпятся, и скоро придется переваливать через них. Уже впотьмах подъезжаем к следующему селу, где стоит казачий пикет.

27 октября.

Чем ближе к Порт-Артуру, тем больше заметно присутствие русских.

На узком перешейке, между двумя морями, где видны оба берега, посреди перешейка возвышается целая земляная крепость.

Тут же русский лагерь. Идут какие-то маневры; группа офицеров на берегу.

От китайского города Цзиньчжоу, пока совершенно еще самостоятельного, идет большая дорога в горы, за которыми скрывается Порт-Артур. Китайский город уцелел среди наших владений, потому что он принадлежит каким-то родственникам богдыхана. Прежде вся окружность платила подати этим родственникам. Теперь

подати платит население нам, но и родственники богдыхана не зевают и вымогают вторую подать в свою пользу пыткой.

По дороге оживленное движение: идут, едут в арбах, на ослах. Прекрасный тип верховых ослов, высоких, на тонких ногах, с тонкой, нежной, как шелк, светлой шерстью. Очевидно, они дороги, потому что сидят на них китайцы, богато одетые, в богатых китайских седлах, с дорогими попонами, расшитыми на них шелками и золотом драконами, зверьем и изречениями.

С тем же любопытством, с каким я смотрю кругом, смотрят и китайцы и русские.

Очевидно, для всех в новинку все, что теперь происходит.

В Порт-Артур мы приехали поздно вечером.

Долго возили нас по каким-то тесным, грязным, темным китайским улицам, пока мы не нашли в одной из двух гостиниц грязного маленького темного номера.

И то помог какой-то военный, так как содержатель гостиницы, господин Афу, китаец, отказал нам.

— Глупости, Афу, дай номер, — приказал военный.

— Ей-богу, нет.

— Прогони буфетчика в город.

— Так разве.

И вот, вместо буфетчика, поселились мы.

28—31 октября.

За три дня, что я пробыл в Порт-Артуре, я увидел, правда, все, но разобраться во всем этом трудно.

Чувствуется, что это все только самое первичное начало того, чему конец не нам увидеть.

Что сказать о самом городе?

Маленький китайский городок, ютящийся у бухты, спешно перестраивающийся для новых нужд (82).

Местность кругом голая, без растительности, открытая холодным ветрам.

Эти ветры уже начались, и мелкая пыль осыпает и бьет в лицо. Неуютно на улице, неуютно в этих китайских, хотя и приспособленных уже к иной жизни, фанзах.

Способ сообщения — дженерикши — маленькая ручная колясочка на двух колесах, которую везет сильный китаец. Способ неприятный и тяжелый.

В то время, как сухопутные военные заняты укреплением берегов, моряки думают над здешней бухтой. Бухта глубока, но очень мала. Пароход «Херсон» прямо чудо выкинул, перевернувшись в бухте. И притом бухта с одним, очень узким, выходом. И следовательно, с нашим флотом может легко повториться здесь то же, что случилось с испанским в Сант-Яго.

Если углубить южную бухту, проделать в скалах еще один выход в море, то, конечно, положение значительно улучшится. Но все это требует и денег и времени, и при всем том и приливы и отливы, меняющие высоты горизонта на 14 фут., и Вэйхайвэй (83), в нескольких часах езды отсюда, все-таки останутся.

При таких условиях Порт-Артур, хотя и будет стоить много, но никогда не достигнет Владивостока.

И другой торговый порт здесь — Талиенван, благодаря скалам своего побережья и той же разнице горизонта, не обещает большой будущности.

И все здесь, кажется, сходятся на том, что на Желтом море нет хорошего порта — хорошие порты в Японском море, глубокие, укрытые, незамерзающие, с разницей горизонта в 2—3 фута (84).

А Порт-Артур, Чынгнампхо — это только морские станции.

И не будь туманов и замерзаемости — ни один порт не сравнится с Владивостоком. Против льда средство найдено.

Иллюстрацией того, как нелегко в бурю попасть в иголочный проход портартурского порта, служит разбившийся о скалы остов китайского броненосца у самого входа в порт.

Повторяю, никакого определенного впечатления о Порт-Артуре я не вынес, слишком еще все хаотично там было в мое время.

Но в то же время вы увидите планы будущего города и порта, а могучий двигатель жизни — железная дорога — уже начинающий осуществляться факт (85); работают и за городом и в городе; выгружают с грохотом рельсы, подвижной состав. Пароходы русско-китайской железной дороги установили уже постоянное сообщение и с западным и с восточным побережьями Ляодунского полуострова, вывозят материалы (главным образом лес) из Дадунгоу (86), куда они доставляются с верховьев Амнокки.

Оттуда же привезется лес и для всех будущих построек.

В последний раз я прохожу по узким улицам этого русско-китайского города, в последний раз сижу в телеграфе, где за каждое слово надо платить рубль тринадцать копеек.

Мы с Н. Е. отправили, как только приехали, телеграмму в Ыйчжу, чтобы солдаты наши не шли по Ляодунскому полуострову, а направились на Чемульпо (87) и оттуда пароходом в Порт-Артур. Но телеграмма уже не застала их.

Как-то они доберутся? Н. Е. остается ждать их и будет телеграфировать мне. Я же сейчас сажусь на пароход и еду в Чифу, Шанхай,— через Японию, Америку, Европу,— домой.

Домой! Хотя до дому остается еще более двадцати пяти тысяч верст. И Тихий и Атлантический океаны особенно бурные в это время года: хуже не будет того, что было.

Я уже на борту маленького парохода, который доведет меня до Чифу.

Н. Е. и П. Н. слезят с трапа, вон они уже в лодке, и в последний раз мы махнем друг другу.

Как быстро, кажется теперь, промчалось время, что мы провели вместе; пронеслось, как все проносится, как пронесется и сама жизнь, оставив след не более вечный, как тот, который бурлит теперь за нашим пароходиком.

Вот и выход в море, голые скалы, за ними скрылся город.

Прощай, Порт-Артур, увижу ли когда-нибудь тебя еще раз? Не пожалею, если не увижу. Может быть, и выработается со временем и в тебе твое «поди сюда», но пока... прощай!





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ИЗ ПОРТ-АРТУРА В РОССИЮ ЧЕРЕЗ ТИХИЙ И АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАНЫ

1—2 ноября

Нас бросало, как ореховую скорлупу.

Приятно было одно — это то, что я убедился, что меня попрежнему не укачивает.

А утром мы уже были в тихом рейде маленького, чистенького Чифу (88).

Плохо мне пришлось в английской гостинице: прислуга — китайцы — окончательно отказываются понимать меня; хозяин понимает только тогда, когда я показываю соответственное слово в лексиконе. Ни по-французски, ни по-немецки не говорят здесь.

Выручил меня здесь наш русский начальник почтовой конторы.

Он с семьей живет в хорошеньком, с садиком, домике, недалеко от пристани, и ведет здесь образ жизни такой же, как все европейские семьи: утром фрукты, завтрак, чай, в час второй завтрак, в пять — чай, в семь — обед. Он хорошо говорит по-английски, немецки и французски, получает мизерное, не соответствующее режиму здешней жизни содержание.

Уже одни русские туристы, вроде меня, чего стоят: два дня с радушием и гостеприимством, чисто русским, они кормят, поят и развлекают меня.

Жизнь ведут они замкнутую, ограничиваясь в своих общениях с остальными европейцами — главным образом англичанами — официальными визитами.

— Станный народ эти англичане, — жалуется хозяйка дома: — в известных отношениях они очень щепетильны, а войти, например, в гостиную в пальто и так сидеть — это сплошь и рядом. Дамам кланяются и очень низко, а мужчина мужчине только головой кивает, делает рукой какой-то легкий жест, как будто хочет дотронуться до шляпы.

Против дома моих знакомых громадный вымпел, на котором выбрасываются шары, и количество их, правая и левая сторона вывески извещает город о приходящих и уходящих пароходах.

А вот, наконец, и мой пароход.

Английский небольшой пароход.

На пароходе в рубке, перед столовой, вокруг мачты расставлены ружья, ножи, сабли — все это на случай нападения морских пиратов. Есть и две маленькие пушки

— Все это, — с добродушной гримасой объясняет мне один пассажир-француз, — теперь уже никакого значения не имеет, — это старый пароход.

2—4 ноября.

Останавливались у Вэйхайвэя, но так далеко, что кроме скал ничего не видели. Оттуда к нам подъехал паровой катер.

Отсюда нас начало качать, и чем дальше, тем больше. Оказалось, что мы попали в крыло тайфуна. Ветер бил в лицо с такой силой, что трудно было стоять. Здесь море уже окрашено желтым, как разбавленная глина, цветом Желтой реки (89).

Так как наш пароход маленький, то мы остановились не на взморье, где останавливаются океанские пароходы, а вошли в реку и, пройдя по ней двадцать миль, остановились у пристани, в самом Шанхае (90).

3—8 ноября.

Оригинальный и в своем роде единственный уголок мира — Шанхай. Это большой, красивый город. В нем живет тысяч тридцать европейцев и тысяч пятьсот китайцев.

Китайский город отделен от европейского и тянется на громадном расстоянии. Не довольствуясь сушей, он захватил и воду, и на реке против китайского города вывиде массу пловучих, наскоро сколоченных домиков.

Оригинальность и исключительность европейского Шанхая в том, что он не принадлежит никакому государству. Здесь нет и не может быть поэтому никаких политических преступлений. Надо убить или украсть, чтобы суд консулов мог судить вас.

В этом громадном торговом пункте есть русская икра, английские вещи, французские вина, американская мука, польская клепка, но русского, поляка, американца, француза, как мы привыкли понимать эти слова в их политическом значении, нет.

В торговом отношении здесь господствуют, конечно, англичане.

Мы меньше других. Мы отказались добровольно, тридцать лет тому назад, от предложенного нам китайцами, наряду с англичанами и французами, места. Теперь это место стоит миллионов сорок рублей (91).

Я остановился в «Hôtel des Colonies», в хорошем отеле, где говорят не только по-английски, но и по-французски.

В ожидании парохода я пробыл в Шанхае пять дней. Главным моим спутником был любезный и образованный начальник нашей почтовой конторы. С ним мы перебивали везде: и в городе и за городом, посещали театры европейский и китайский, покупали вещи, наводили справки относительно моего дальнейшего путешествия, знакомились со всем окружавшим нас.

Мы почти не разлучались с ним эти пять дней. Наш день распределялся так: до завтрака он работал в своей конторе, а я занимался английским языком. Кто-нибудь из нас заходил за другим, и мы отправлялись завтракать то в мою, то в его английскую гостиницу.

Время между завтраком и five o'clock (пять часов, время, когда пьют чай или кофе) мы ходим по городу, то покупая, то просто осматривая из любопытства китайские магазины.

Вот магазин шелковых изделий. Китаец-приказчик говорит вам:

— Это не японская работа с нашивными узорами, это ручная китайская работа.

И работа и материя прекрасны и оригинальны.

Вот магазин, где продаются разные работы из камня и дерева.

Всевозможные игрушки, рисующие быт китайцев, с отделкой, поражающей своей тщательностью и микроскопичностью.

В этих игрушках вся бытовая сторона китайской жизни: вот везущий вас дженерикша и его колясочка, вот китаянка, вот свадебный обряд, вот суд, всевозможные наказания: голова, просунутая сквозь бочку, голова и руки, когда человек не может лежать; две-три недели такого наказания, и нервная система человека испорчена навеки. А вот представления о загробной жизни; суд и наказания грешников: одного пилят пополам, другому вырывают язык, третьей вырезают груди, а четвертого просто жгут на костре. Как красивы работы из камня, который называется мыльным камнем: разноцветный мягкий камень.

Иногда, напившись чаю, мы едем кататься за город, любимое место прогулки high life'a. Здесь вы встретите и нарядные кавалькады, и группы велосипедистов, и богатые выезды с китайцем-кучером и двумя лакеями-китайцами на запятках. Остроконечные шляпы их, их косы, длинные, под цвет обивки экипажа, одежды с пелеринами — все это производит сильное впечатление и переносит вас в сказочную страну роскоши и богатства.

Затем мы обедаем; два раза обедали у консула, в обществе наших симпатичных моряков. Шли разговоры о флоте.

— У японцев флот хорош, первый после английского, у немцев плох, у французов много деревянных и старых судов.

— А наш флот?

— У нас есть прекрасные боевые единицы, но ничего цельного нет. Англичане, например, раз строят — строят того же типа не менее четырех судов. Эскадра из таких четырех судов имеет и скорость одинаковую, одинаковые запасные части, словом, все хозяйство одинаковое. А у нас из четырех судов, составляющих транспорт, все, конечно, разного типа — одно имеет скорость двадцать узлов, другое — двадцать пять, третье — пятнадцать, а четвертое — каких-нибудь восемь: ну и идут все со скоростью восьми узлов в час

— Сегодня, если хотите, мы поедем в китайский монастырь — предложил мне как-то после завтрака мой любезный компаньон.

И вот мы едем туда китайским грязным городом, едем берегом мутножелтой реки, несколько верст едем дачами и, наконец, останавливаемся перед высокой каменной стеной. Мы сходим с экипажа и в отворенные ворота видим широкий двор, посреди которого высится круглое, с невысоким куполом, здание: это храм Будды, пагода.

За нами увязывается какой-то китаец-проводник, хорошо говорящий по-английски. Два китайских монаха в длинных грязных балахонах, повязанных веревкою, с обнаженными, низко остриженными головами, делают попытку отогнать от нас нашего проводника, но тот, в свою очередь, энергично отгоняет монахов, и те уже робко, где-то сзади плетутся за нами.

— Однако монахи здесь очень робки, — говорю я.

— Поневоле: в Китае нет привилегированной религии, и все имеют право свободного входа во все храмы, да к тому же эти монахи плохо говорят по-английски, а наш проводник — хорошо.

Мы входим в большой, плохо освещенный храм. Посреди громадный, во весь храм, красной меди Будда. Кругом него множество маленьких фигурок — тоже будды: будда трехголовый, тринадцатиголовый, будда с тысячью руками, будда на лотосе и без лотоса. Вдоль стен статуи других божеств: войны, мира; множество других фигур: этот помогает от такой-то болезни, тот — от другой, этот защищает от неприятеля, от того зависит урожай.

Новый двор и новый храм.

— Обратите внимание на украшение крыши.

Там, вверху, по карнизам и на коньке крыши, всевозможные фигуры из мира фантазии: драконы, зверье, люди. Прекрасная работа по силе и выразительности.

Мы проходим несколько дворов и храмов и подходим к последнему. У входа доносится какая-то музыка воды: мелодичная и однообразная. Двери храма тяжело затворяются за нами, и мы остаемся в едва освещенном полумраке. В темноте перед нами все та же гигантская фигура Будды на лотосе. Лицо его без желания, никаких чувств в нем из знакомых нам, кроме чувства покоя. Подавляющее спокойствие!

С остриженными головами, спущенными на спину капюшонами, сидят на полу два китайца-монаха: они быют в такт металлическими угольниками и что-то напевают. Эти переливающиеся, как вода, мелодичные, однообразные звуки льются без перерыва, наполняют храм, вливаются в вашу душу, усыпляют ваш слух. Вы ловите мотив и теряете себя в лабиринте охватывающих вас звуков. Кажется, что вечно стоишь здесь, убаюканный этой мелодией, темнотой храма, покоем того, кто смотрит на вас. Точно и на вас сошел этот бесстрастный покой, и живете вы уже только отвлеченным сознанием, что вы живы. Как-то осязательно чувствуешь, как и вся окружающая меня теперь жизнь застыла, как несутся над ней века, тысячелетия.

И долго потом вы все еще слышите этот переливающийся мелодичный звон, видите громадного Будду перед собой, эти головы стриженных монахов, вечно сменяясь, по очереди, день и ночь выбивающих все тот же однообразный, мерный ритм.

— А сегодня, — сказал мне в другой раз как-то мой любезный собеседник, — мы пойдем в китайскую часть города: в Чайную улицу и китайский театр.

Мой спутник случайно или умышленно никогда не предупреждал о том, что мы увидим, и вследствие этого сила и свежесть впечатления не разбиваются.

Было часов девять вечера, когда мы вышли из дому.

— Пойдем пешком.

Мы идем частью города, принадлежащей англичанам. По обеим сторонам прекрасно вымощенной красивой улицы с зеркальными окнами дома, сады, зелень. На каждом перекрестке — неподвижные, как статуи, индустражники: белые тюрбаны, длинная черная борода, оливковые лица, длинный взгляд черных, каких-то сонных, точно загипнотизированных глаз.

А вот предместье, жилище метисов — помесь португальцев с разными аборигенами Востока. Тесные улицы, скученные бедные дома.

Когда-то португальцы были здесь такими же хозяевами, как теперь англичане. Потомки их, метисы, занимают более скромное общественное положение: это пи-сара, счетчики, третестепенные приказчики.

А вот и китайская часть города, и вас уже охватывает какой-то теплый и неприятный аромат китайских улиц.

Горят огни в китайских магазинах, в раскрытых настежь дверях сидят их хозяева, на улицах оживленная толпа в голубых кофтах, в косах, и грязный след от них на спине, масса мелких, жестких, секущихся волос на плечах. Запах грязного, но здорового и сильного тела. Много тел, и все они энергично идут туда же, куда идем и мы.

Вот и Чайная улица в красном зареве заливающих ее огней. Этот красный отблеск сливается там вверху с голубою ночью, и прозрачной голубой пеленой окутывает ночь эту фантастическую улицу.

Она много шире других и своими ажурными балконами вторых этажей, своими висящими на красных полосах, золотом исписанными вывесками, с миллионом разноцветных фонарей, освещающих все это на фоне красного зарева, она имеет какой-то воздушный, сказочный вид. Гул, звон, пение. Вы плывете в громадной густой толпе этих сплошных грязных тел: тепло, душно, звонче литавры и дикая музыка под теми балконами вторых этажей. Там толпа, мелькают женские фигуры, гул движения.

Пока вы смотрите туда вверх, здесь, внизу, вас давят, толкают, там у входов разрисованные женские фигурки, которые заывают к себе толпу эту, и в то же время то и дело на вас налетают с торопливым резким окликом то носилки с фонарями, то конный экипаж, то дженерикша, то, наконец, просто носильщик, который с товаром своим на высоко поднятой руке несется стремительно вперед и что-то кричит благим матом. Кричат все — энергично, резко и везде — в носилках, в каретках конных и ручных. У носильщиков все тот же товар — китайские женщины. Их множество, и все они на одно лицо: набеленные, покрашенные с замысловатой прической черных волос, блестящих и жестких, как лошадиная грива, все в ярких, дорогих длинных одеждах. Эти маленькие, как дети, которых носильщик несет на одной руке, они действительно дети, им восемь, десять, двенадцать лет.

— Куда их несут? — спрашиваю я своего спутника.

— Требуют.

— Кто?

— Китайцы.

И я слушаю отвратительные, ужасные рассказы о том, как с раннего детства эти несчастные жертвы подготов-

ляются к своей нечеловеческой участи: растление в восемь лет, а в пятнадцать уже выброшенные за борт, с уничтоженным человеческим естеством, отребье.

— Что это за здание?

— Род кафе-шантана; войдем?

Мы входим. Мы здесь единственные европейцы, среди этого моря китайцев. На нас смотрят холодно, равнодушно, а иногда и враждебно. Зная, как ненавидят китайцы европейцев, как особенно щепетильны они в женском вопросе, невольно приходит мысль в голову о риске с нашей стороны. Но мы уже уплатили за вход и за другими проходим в широкое нижнее помещение.

Вдоль стен, сплошь, род открытых лож с мягкими скамьями. На них в разных позах лежат люди: опершись на руку, лежа, один готовится что-то. Маленькая ручная лампочка тускло освещает его наклонившееся бледное, точно водой налитое, бритое лицо. Вот другой: он быстро, жадно, из длинной трубочки втягивает в себя несколько глотков дыму. Третьи лежат неподвижно, как мертвецы, на боку и стеклянными выпученными глазами бессмысленно куда-то смотрят.

— Что это за люди?

— Курильщики опиума. Этот вот, с остановившимися глазами, уже готов; он видит то, что хочет: богатство, почести, женщин. Это одиночки: они только курят.

В этой толпе грязных тел, в тяжелом угаре опиумом и испарениями насыщенного воздуха, мы поднимаемся в верхний этаж в каком-то мучительном возбуждении, чувствуя, что не успеваешь схватывать всей этой массы новых и новых впечатлений. Мысль и фантазия невольно приковываются к отдельным образам, жадно проникают их и опять отвлекаются к новым. Мы стоим наверху, перед открытой эстрадой. В громадной низкой зале множество столиков, за ними сидят китайцы, а вдоль стен такие же, как и внизу, ложи с такими же фигурами. Садимся и мы за столик. Нам подают в маленьких чашечках с тяжелым ароматом зеленый чай, мы пьем его и смотрим на ярко освещенную эстраду.

Посреди эстрады стол, вокруг стола разрисованные фигурки китаянок, на столе чай. За столом, в глубине эстрады, несложный оркестр: визгливая скрипка, барабан и литавры. Барабан дико ухает, литавры бьют, скрипка все время визжит на самых высоких нотах.

Каждая из китаянок по очереди поет, или, вернее, выводит неимоверно высокие, металлические режущие ноты. Кажется, искусство здесь — слить свой голос с пискливым голосом скрипки. Иногда слышится что-то очень заунывное и тяжелое.

Чувствуются проблески кафе-шантана: у каждой певицы свои поклонники, свои завсегдатаи, игра в любовь, а может быть, и действительная любовь.

Нам постоянно подают салфетку, обмоченную в горячую воду и слегка выжатую. Ею надо вытирать лицо, руки, вероятно, чтоб не так чувствовалась жара.

Жарко очень, и все душнее. Все резче, страстнее возгласы. В этой тяжелой, душной атмосфере точно и сам растворяешься, сильнее чувствуешь царство этого грязного тела, в этой страшной, фантастичной, красной улице. Там как будто еще больше толпа, глуше, но возбужденнее гул.

Мы опять в этой толпе, опять тянутся сплошные кафе-шантаны по обеим сторонам, все переполнено там, а новые и новые массы народа, как потоки, вливаются из боковых улиц.

— Сегодня праздник у них?

— Каждую ночь так и круглый год.

В этот вечер мы побывали в театре.

Из театра мы опять прошли в Чайную улицу.

Было часов двенадцать ночи. Все та же толпа, то же возбуждение, так же с дикими криками несли и везли куда-то эти разрисованные женские фигурки. В кровавом просвете улицы фантастично и кошмарно движутся эти тела. А выше голубая прозрачная ночь так нежна, так красива, таким мирным покоем охватывает китайский город. Тем ужаснее все то, что творится здесь, под ее прекрасным покровом.

Громадные, во много этажей, узкие и высокие пловучие здания на реке — все это склады опиума, все это, дающее сотни миллионов дохода (92).

В Шанхае есть французская колония. Есть несколько магазинов французских, за городом устроен большой католический монастырь ордена иезуитов, при нем коллегия, в которой обучаются китайцы-христиане. При монастыре же прекрасная обсерватория. Дисциплина и дрессировка в монастыре доведены до поразительного. Так дрессировать человеческую натуру умеют только иезуиты. Монахи

ходят в китайских платьях. Я видел китайцев-христиан; китайский костюм, борода — сочетание того и другого здесь производит очень странное впечатление. Китайцы к своим собратьям-христианам относятся очень недружелюбно, и избивание миссионеров всегда начинается с этих китайцев-христиан.

Французская газета в Шанхае клерикального направления; много пафоса, фарисейства и тенденциозного извращения фактов. Один американец, бывший солдатом на Филиппинах в американской армии и теперь возвращающийся в Америку, Mr. Frazur, худой, высокий, лет 30, очень деликатный и очень осторожный, говорит, улыбаясь:

— Вот такие же газеты и в испанских колониях.

Внизу, в приемной комнате гостиницы, появилось извещение, что завтра, 9 (21) ноября, отойдет в Америку через Японию и Гавайские острова тихоокеанский пароход «Gaelig»; на этот пароход у меня уже был взят билет с платой до Парижа, в том числе и по железным дорогам, за пятьсот рублей в первом классе.

9 ноября.

Сегодня встал рано и тороплюсь укладываться. Совершенно самостоятельно, но с самым варварским произношением объясняюсь по-английски с прислугой, портным, прачкой, фотографом, извозчиком, телеграфной станцией, пароходной конторой. Язык как деревянный, и знакомые слова постоянно убегают, и все время с растерянной, напряженной физиономией ловишь их. Понимать еще труднее, чем говорить, хотя, если говорить раздельно, то оказывается, что я понимаю уже почти все — все-таки три тысячи слов уже выучено. Недостает только навыка. Теперь в длинном путешествии будет и он.

Час дня. Сильный ветер, переходящий в шторм. Мы с моим спутником К. Н. стоим на пристани bund'a и ждем маленького пароходика, который отвезет меня на взморье.

Солнца нет, тучи, холодно даже в осеннем пальто. Желто-мутная поверхность громадной реки вздулась и короткими напряженными волнами хлещет в пристань.

— Прощайте! — кричу я, и, уже ныряя, как чайка, наш пароход «Самсон» несется по желто-грязным волнам.

Новые лица кругом: одни провожают, другие едут в

Японию, третьи дальше, в Америку. Некоторым дамам уже дурно, дурно детям, и маленькая девочка, с побелевшим лицом и судорогой отвращения и ужаса, кричит в отчаянии:

— Мама, мама...

На взморье волны сильнее, злой ветер рвет их вершушки, и наш «Самсон» то энергично взбирается на верх волны, то стремительно летит с нее вниз: так и кажется, что вот-вот он, не рассчитав, и совсем нырнет в желтую преисподнюю. На палубе стоять совершенно невозможно: все время окатывает так, как будто гигантский насос работает непрерывно...

А вон, на мглистом горизонте, черной точкой показался и наш «Gaelig». Издали скрадываются его размеры, но, когда наш «Самсон» подходит вплоть, взлетая и ныряя так, что мы едва стоим на ногах, а гигант «Gaelig» не шелохнется, и надо высоко вверх поднимать голову, чтобы видеть его черные, высоко вверх поднятые борта, тогда только видишь, что это за громадина.

Я уже сверху смотрю в последний раз на привезшего нас пигмея «Самсона». Среди китайских и английских матросов, среди канатов, разных блоков и шканцев я пробираюсь в свою каюту. В окна видны мне курительная зала, читальня, мы спускаемся в нижний этаж, где громадная столовая, спускаемся ниже, и длинным коридором я прохожу в свою каюту. В ней две койки, два иллюминатора, умывальный прибор, зеркало, красного дерева висячая этажерка, в отверстиях которой — стаканы с воткнутыми в них полотенцами, графин. Пассажиров мало, и я буду один в каюте. Я еще раз внимательно оглядываюсь в своей новой квартире, в которой придется прожить больше месяца. Никакой роскоши, все прочно, солидно, везде безукоризненная чистота, койки с двойными мягкими светлыми одеялами, с приготовленными постелями.

Хочется прочесть в книге будущего, каким-то верхним чутьем почувствовать, угадать, будет ли благополучно путешествие, что случится в длинной дороге. Все едут и все надеются, что все будет благополучно, но тем не менее не всегда ведь благополучно и кончается, и кому-нибудь да надо попадать в неблагоприятные рубрики статистики — праздные мысли, которые всякому, вероятно, в свое время приходили в голову.

Доносятся свистки, звук цепей, просовывает голову лет сорока японец, в европейском платье и прическе, говорит что-то, кивает головой, показывает свои крепкие зубы. Я улавливаю слово «бэгедж». Японец опять исчезает, а я остаюсь в недоумении, где же, действительно, мой багаж — его еще в Шанхае отобрали у меня, и ручной и тяжелый, часть которого идет прямо в Париж.

Но вот и багаж, и мы уже плывем: надо посмотреть.

Все тот же ветер на палубе, те же тучи в небе, то же желтое взморье и черная полоска на горизонте, от которой мы со скоростью сорока верст в час уходим в Нагасаки. Послезавтра, значит, будет опять тепло, солнце, и это будет так хорошо. Целый месяц впереди оригинальной обособленной жизни в пароходе, куда не ворвется сутолока суши, деловая проза, забота не проспать, поспеть к сроку.

Целый месяц — это какой-то громадный капитал — никуда еще не израсходованного времени. Могу ничего не делать, могу отдыхать, спать, и все на совершенно законном основании, как человек, правда, неожиданно, но совершенно законно получивший вдруг наследство и считающий себя отныне совершенно обеспеченным человеком.

Сколько я напишу, как подвинусь в английском языке, прочту все закупленные в Шанхае книги!..

Забегая вперед, я должен сознаться, что и десятую долю я едва успел сделать из задуманного, и в моем свободном от всех обязательств и дел месяце — увы! — оказалось столько же часов, сколько и во всех остальных уголках мира. Впрочем, я клеветшу: на этот раз судьба сжалилась и действительно подарила мне осязательно, по крайней мере, лишние сутки: два дня подряд у нас был понедельник, 6 декабря нового стиля — это лишние 24 часа, которые мы накопили, двигаясь все время на восток...

Вот во что превратилось все казавшееся мне богатство моего свободного месяца.

Этот процесс разменивания месяца на дни, дней на часы и минуты начинается мгновенно, и чем дальше, тем глаже идет дело.

Пока там разбирались другие пассажиры, нас трое русских очутилось в столовой. Все мы одинаково интересовались распределением дня на пароходе в отношении

еды. Право, уж не помню, кто из нас сделал первое открытие, что мы все одной национальности, но случилось это как-то сейчас же, и сразу мы заговорили на своем родном языке и отрекомендовались: один оказался В. И. Д. — директор Русско-Китайского банка, прежде в Порт-Артуре, а теперь назначенный в Иокогаму, а другой — Иван Тихонович Б., единственный русский, ведущий торговлю в Японии, в Нагасаки.

В. И. Д. оказался тем самым красивым блондином с длинными усами, которого я видел в китайском монастыре с дамой. Он прекрасно владеет английским языком и быстро, деловито выяснил все пароходные порядки. В девять часов утра чай и первый завтрак, в час — ленч, второй завтрак, в четыре — чай, в семь — обед. В промежутки также можно требовать еду и питье, записывая свои требования в ярлычную книжку лакея (вся прислуга, кроме старшего лакея-японца, — китайцы). К концу путешествия все эти ярлыки при общем итоге препровождаются каждому для оплаты. Содержание без вина; вино оплачивается отдельно. В одиннадцать часов вечера все огни в столовой, курительной, библиотеке гасятся. Курить можно только на палубе и в курительной. Белье в стирку принимается только в Иокогаме, где пароход стоит двое суток — вопрос очень важный, если принять во внимание, что каждый день надо надевать к обеду смокинг.

— Это значит, что, например, чтобы быть совершенно корректным, — воскликнул я в ужасе, — надо иметь запас белья в 24 рубашки, и это в путешествии, где стараешься брать как можно меньше багажа.

Да, что-нибудь в этом роде придется вам сделать, — сказал В. И. мне в утешение: — англичане... они по три раза в день костюмы меняют.

— Да наплевать на них, — сказал Иван Тихонович: — я всегда в сюртуке, и смокинга у меня и в заводе нет.

— А курить действительно нельзя в каютах? — спросил я его.

— Насчет этого строго.

— Ну, курю я, что они со мной сделают?

— Оштрафуют — до ста долларов штраф. Мера предосторожности против пожара... Горят и от папироски, а одна возможность этого в открытом море, где месяцами и парохода встречного не увидишь...

— Ну, бог с ними, не будем курить в каютах.

Так как с В. И. нам еще неделю ехать, а с И. Т. два дня, то я и пристал к нему вплотную, как к аборигену здешних мест.

До обеда он уже сообщил мне все о своих делах.

В Нагасаки он два с половиной года торгует, и до сих пор дела его шли хорошо. Он продает русский табак, русские вина, водки, ликеры, русский сахар и конфеты.

Сахар местный 14 копеек за фунт, русский, пиленый, И. Т. продает 18 копеек за фунт, головой — по 15 копеек, а оптом даже по 4 рубля 50 копеек пуд. Качество русского сахара гораздо выше местного. Местный желтоватый, скорее в комьях песок, легко рассыпающийся, с каким-то запахом.

Лучше всего идет торговля русскими конфетами. И на них, и на водку, и на одесские консервы, и на сахар спрос энергично растет. Клиенты: англичане, японцы, китайцы.

И. Т. взялся и за мануфактуру: фирма Коншина выслала уже ему свои товары, а японцы через него в этом году выписали русской мануфактуры на десять тысяч рублей.

И. Т. считает, что это дело могло бы пойти здесь, на Востоке. Мечта его — распространить свою торговлю и в Маньчжурию и в Корею. Но собственно в Японии придется бросить дело, так как с нового года все русские товары будут обложены пошлиной в 40%. Это только русские: французские, например, вина будут обложены только 10% пошлиной. И. Т. и ездил в Шанхай с целью отыскать себе новое место. Лично он пришел к заключению, что в Шанхае дело должно пойти, но наш консул предсказывает ему неудачу.

В. И. пришел из каюты уже переодетый к обеду.

Время и мне одеваться: половина седьмого, и уже несутся мерные, заунывные удары металлического гонга.

Ровно в семь китаенок вторично быстро проходит с гонгом по коридору, и звуки, дрожа и завывая, мерно расходятся во все углы парохода.

Пассажиров немного: всего два стола ярко освещены и покрыты приборами.

Распорядитель — стюарт — встречает всех у дверей, спрашивает, какой ваш номер, и указывает ваш прибор. На половине пути, — таков обычай, — места опять изменятся.

Мое место к наружной стене спиной. Против меня В. И. (по обоюдной нашей просьбе), сбоку, с одной стороны, молодой англичанин, с которым я ехал до Шанхая, а с другой — почтенный американец, сенатор и ученый астроном.

В то время как за вторым столом несколько дам, за нашим всего одна. Спутник ее пожилой, безукоризненный англичанин. Дама молода, красива и стройна, одета элегантно, с богатыми, с красноватым отливом, каштановыми волосами.

В. И. выясняет мне тут же по-русски этот маленький дипломатический прием, к которому прибегла в данном случае администрация парохода. Дело в том, что дама не была обвенчанной женой и, чтобы остальные обвенчанные и потому очень щепетильные английские дамы не протестовали, ее посадили за тот стол, где, кроме нее, дам не было.

В. И. кончает:

— Во всяком случае, мы не в убытке, потому что наша дама одна стоит больше, чем все те вместе взятые.

Мистер Фрезер тоже за нашим столом vis-à-vis с дамой. Он весело кивает мне головой, молодой англичанин, мой сосед, шумно высказывает радость, замечая мои успехи в английском языке, В. И. уже ведет оживленный разговор с американским сенатором. Он единственный, который не признает никаких этикетов: он сидит в грязном потертом сюртуке, в мягкой рубаше, без галстука.

Капитан парохода, толстый, свежий капитан, в куртке и в кэпи, которое теперь лежит на диване, осматривает все общество и, встречаясь глазами, кивает каждому головой и говорит:

— Good evening! (добрый вечер!)

За нашим столом сидит его помощник, лет 35-ти, блондин, умытый и приглаженный. Он тоже кивает головой, и мы обоюдно говорим то же приветствие.

Мы приступаем к еде.

У каждого свой лакей-китаец, который и подает нам меню.

Пока я не наостриллся, меню подавалось мне в каюту, и с словарем в руках я предварительно изучал его.

За другим столом сидят молодой метис с женой, оба тихие, симпатичные. Молодой пастор с женой и с маленькой дочерью: они несколько лет жили в Китае и теперь едут за сбором пожертвований, так как в том районе, где они живут, свирепствует страшный голод. Еще две дамы с мужьями за тем же столом: одна пара грубая, мало симпатичная, хозяйка большого галантерейного магазина в Сан-Франциско, другая пара — жители Нью-Йорка, богатые коммерсанты, — она в бальзаковском возрасте, сохранившаяся, но с налетом задумчивости осени на лице, хотя прекрасной, ясной, тихой осени.

Затем несколько английских джентльменов, в высоких воротниках, гладко причесанных, затем несколько немцев и японцев.

Японцы все в европейских костюмах, все маленькие, худые, с туго обтягивающей их лицо темной кожей. Этой кожи поспешила отпустить им природа, и их зубы торчат из точно приподнятых страдальчески губ. Растительности на лице никакой, на голове много, но волосы жестки как хвост лошади. Из маленьких щелок смотрят на вас уверенно и спокойно глаза.

За третьим отдельным столом сидят три китайца и с ними два мальчика — один в китайском платье, другой — в европейском. Это родные братья, и полный, симпатичный китаец, их отец, в национальном костюме, добродушно смотрит на своих детей. У мальчика, одетого по-европейски, такая же, впрочем, коса, как и у остальных китайцев.

Китайцы сидят за отдельным столом по установившемуся здесь на Востоке отвратительному обычаю.

Китайцы едут в Сан-Франциско, и с ними их семьи.

С двумя китаянками я каждый день дружелюбно раскланиваюсь, — мать и дочь, — мы стоим иногда несколько мгновений, каждый желая что-нибудь сказать, но между нами барьер — наши языки, и, кивнув друг другу еще раз головой, мы расходимся.

10 ноября.

Сегодня качка, и уже нет впечатления, что наш «Gaelig» гигант, которого не укачает никакая волна. Иногда нас швыряет, прямо как негодную скорлупу, и тогда пароход наш стонет и скрипит так, что, кажется, вот-вот он рассыплется.

Из разорванных облаков выглянуло солнце и холодно смотрится в желтую мутную воду. Вода вся в судороге от порывов ветра и мечется и бьет в наш корабль. И каждый раз после такого удара несутся раскаты будто выстрелившей пушки, и фонтаны воды заливают иллюминаторы.

Я беру книги — русские, английские, французские — и отправляюсь в библиотеку.

Там много столиков с чернилами, перьями, бумагой, на которой изображен наш «Gaelig» и трехцветное знамя. В библиотеке уже сидит пастор с худым, измученным, молодым лицом и делает какие-то выписки из толстой английской книги, испещренной цифрами; на диване полулежит какой-то молодой англичанин, очевидно франт, в клетчатом костюме, с брошкой в галстук, с длинным лицом, большими зубами, на гладко причесанной голове маленькая шелковая шапочка, штаны, конечно, подкатаны.

Я погружаюсь в работу. Проходит час, кто-то что-то крикнул, и все из библиотеки спешат вниз. Я спешу за всеми, и все мы останавливаемся на площадке перед столовой, рассматривая только что вывешенную карту. На ней уже обозначено: сколько миль мы сделали до двенадцати часов сегодняшнего дня, какова была погода. Сила ветра обозначена десятью баллами, следовательно близко к шторму. Часы уже переведены, и мы все переводим свои, каждый день приблизительно на полчаса вперед.

Выхожу на палубу. Мистер Фрезер делает свою обычную прогулку перед завтраком. С ним какой-то господин, лет 55-ти, с загорелым мужественным лицом, в шляпе с широкими полями. Тонкий и худой мистер Фрезер внимательно слушает его, а потом делится со мной услышанным:

— Это знаменитый король одной из групп Гавайских островов. Лет тридцать тому назад он поселился на этих островах, выбросил английский флаг и с тех пор живет там, — у него теперь несколько взрослых детей и тысяча человек подданных малайцев. В первый раз он едет теперь в Англию.

— Он англичанин?

— Да.

Я знакомлюсь с королем, и мы ограничиваемся несколькими самыми необходимыми фразами. Он мне говорит, что один из его сыновей тоже инженер, и что

они теперь строят у себя маленькую дорожку. Мистер Фрезер переводит мне, что король случайно попал на эти острова: буря разбила корабль, на котором он плыл, а его выбросило на один из берегов тех островов, где он теперь король. Я прошу передать королю, что очень счастлив увидеть современного Робинзона Крузо.

Десять часов вечера: я уже лежу в постели, с удовольствием потягиваясь. Там, за тонкой стальной перегородкой бушует море, неистово стучится в борта нашего корабля, а в каюте тепло и мягко разливается матовый электрический свет. Там, где-то далеко-далеко, за этим буйным морем, и родина, и дорогие сердцу люди, но пока я отрешен от всего этого, и думай не думай, а придется еще полтора месяца так качаться. И хорошо еще, что хоть не укачивает. Но сон плохой, кренил так, что, того и гляди, свалишься с койки — падают книги, ездят чемоданы по полу. Иногда раздается особенно оглушительный удар, не столкновение ли? Или что-нибудь лопнуло: вал, руль, винт переборка? И я прислушиваюсь: не одеваться ли и бежать наверх? Но если крушение это, зачем же одеваться, зачем бежать наверх? Ворвется и сюда грозное море. И опять ничтожной скорлупой кажется мне наш гигант «Gaelig».

11 ноября.

А сегодня мы уже входим в Нагасакскую бухту — море синее, спокойное; солнце приветливо заливает нас своими лучами; ветерок лениво тронет лицо и полетит туда, где спят в солнечном блеске высокие берега, то голые и серые, то покрытые зеленой растительностью.

Вот Патенберг — скала у входа в бухту, с которой японцы, сорок лет назад, столкнули в море десять тысяч европейцев и своих крещеных японцев; многие из очевидцев еще живы и теперь в той толпе японцев, которая стоит на берегу и смотрит на нас (93). И здесь внизу, у бухты, и там выше, в зеленой горе, и на самом верху, где храм какой-то, домики хорошенькие, как игрушка, с большими навесами японские домики — это Нагасаки (94).

Тепло и тихо, и по изумрудной поверхности бухты уже плывут к нам с навесом от дождя лодки, гребут в них японцы, часто голые, то стриженные, то в затейливой национальной прическе. Подъехав, голые набрасывают

торопливо халаты и, размахивая энергично руками, зазывают пассажиров.

Вот мы уже на берегу, и я жадно вдыхаю в себя мягкий теплый воздух, любуюсь этой негой спящей в золотых лучах осени южной земли. Кажется, уже видел все это когда-то: эти горы, этот город в них, этот ясный солнечный день и в нем зелень осени, то желтый, то красный лист, светящиеся в блеске лучей, как прозрачные. Следы жаркого лета кругом на всем этом, сухом и пыльном; видел и эту толпу — в японских халатах, в европейских костюмах и смешанных, одни остриженные, другие в прическах, те с непокрытой головой, эти в шляпах котелком, но в халате, из-под которого выглядывает голое тело. У одного на ногах род сандалий или деревянные подставки, которые громко стучат о плиты мостовой, другой в ботинках. Видел и эти женские фигурки с прической, в халатах, опоясанных широким поясом, с громадным бантом сзади, их смуглые лица с прорезанными глазами смотрят приветливо, но как-то ничего не выражают. Мы поднимаемся в верхнюю часть города, доходим до самого верха: широкая, в несколько этажей лестница перед нами, там наверху храм, — видел и это. Но, кажется, тогда была ночь, и в голубой ночи ярко горели огни фонариков всех этих, как портики, домов игрушечного города, огни отражались в бухте и дрожали там, когда проплывала, бороздя поверхность воды, лодка...

Мы в магазине художественных вещей; прекрасные художественные вещи: черепаховые, слоновые, клуазоне. Хотя бы этот слоновой кости старик, на коленях у него книга, сбоку тянется к нему и протягивает ручки такой же лысый, как и старик, ребенок. Старик оторвался от своей книги и поверх ее, поверх очков, смотрит на ребенка. Сколько мысли, силы и чувства в прекрасном выполнении фигурок.

— Нет, вы вот обратите внимание на эти две вазы клуазоне!

Пред нами две вазы почти в рост человека, металлические, эмалированные, с блестящей узорной поверхностью. Это не эмаль, а особая работа по проволоке. Надо быть очень большим знатоком, впрочем, чтобы понять, в чем тут дело.

— Эти вазы мне самому стоят 900 рублей, но теперь их и за две тысячи нельзя достать, теперь нельзя так

работать; это можно было, когда японец жил голый и ел свои ракушки, и ему ничего не надо было и никто ему не давал ничего, тогда ему и копейка заработка в день и то была находка, а теперь у него и заработок другой и потребности другие. Оттого так и падает качество выделяемых японских вещей; дешевизна осталась, а добросовестность в работе пропала.

— Вот,— говорю я,— часто слышу от здешних противников японской нации, что у японцев нет творческой силы, что способны они только воспринимать, а между тем вот ваш магазин весь наполнен самостоятельным и прекрасным японским творчеством.

— Но что вы хотите,— говорит хозяин: — говорят об ученике, который вчера только начал учиться. Тридцать лет что такое в жизни народа? Нет, я другого боюсь для Японии: большие разбойники уже поделили мир между собою, и, как ни вооружаются теперь японцы, этим воспользуется только Англия. Они легкомысленно готовы брать деньги у англичан без конца — на флот, великолепную технику, электричество — японцы, когда берут деньги, не думают долго, а когда завязнут по шею в долгах у англичан, их судьба будет не лучше Египта (95).

На пароходе застали мы несколько новых пассажиров. Один из них русский, поверенный какого-то большого торгового дома.

Вечер охватил бухту и берега, и, кажется, выше поднялись горы, и горят где-то там, в недосигаемой высоте, крупные, яркие звезды, горят огни города; множество их, ярких, разноцветных, освещающих игрушечные домики, и от света их темнее кажется вода бухты. Кажется, что провалился пароход наш, и только видны там высоко-высоко края темносиней бездны. Ночь теплая, мягкая, как где-нибудь в Италии, но тех песен нет здесь: никаких песен.

12—14 ноября.

Сегодня мы плывем в Японском Архипелаге. Немного напоминает езду по Адриатическому морю — такое же воздушно-синее море, такие же скалистые серые острова, так же спят они в прозрачном золотистом воздухе, так же нежны краски и моря, и неба, и дали. А, может быть, здесь еще нежнее в какой-то, точно действительно розовой дымке здешнего воздуха. Только пароход мерно

шумит, все же остальное: и те паруса лодок, и те далекие жилища на берегах — все точно сковано дремой и негой прекрасного дня, и, кажется, спишь и сам видишь во сне эту прекрасную идиллию. Синей пеленой стелется перед глазами море, горы Японии поднялись до неба и застыли там в неподвижной красе. Мягкий теплый ветерок ласкает лицо, трогает волосы — и опять тихо, и солнце опять заливает своими горячими лучами палубу.

14—18 ноября.

Сегодня утром мы проснулись в Иокогаме (96). Большая бухта с незапертым горами горизонтом. Горы там, где-то далеко, и выше их всех вулкан Фудзияма, рельефный и неподвижный в своем белом одеянии на фоне голубого неба (97).

Город весь в долине, и передовые здания закрывают остальные.

Уже толпятся лодки, катера вокруг нашего парохода. Мы переезжаем на эти три дня в город.

Так как в Иокогаме таможня, то, пристав к берегу, ведут нас и несут наши чемоданы в красивое остроконечное здание таможни.

Очень вежливо, конфузясь, маленький ростом японец, в европейском платье, задает нам несколько вопросов и, не осматривая чемоданов, пропускает нас. Довольны мы, довольны наши дженерикши, доволен и сам японец-чиновник.

Мы едем по красивой набережной, встречая много экипажей в таких же, как и в Шанхае, запряжках, только, вместо китайцев, кучера здесь японцы. А вот и наша гостиница — светлосерое, двухэтажное легкое здание, с зелеными жалюзи.

Японская прислуга деловито, приветливо и быстро берет наши вещи, на ходу сообщает цены номеров, и вот мы во втором этаже, в красивой комфортабельной комнате с камином, по два доллара в сутки.

18 ноября.

По новому стилю, декабрь самое бурное время в Тихом океане, но пока в большой Иокогамской бухте, защи-

щенной к тому же и брекватером, тихо и спокойно. Наш громадный пароход неподвижно высит в небо свои мачты и трубы. Так же неподвижно стоит множество других пароходов, наполняющих бухту. Тут английские, американские пароходы, а больше японские — военные и торговые. Нарушают покой бухты только лодки да катера, беспрерывно снующие от пароходов к пристани.

Ясное утро отражается в голубой глади залива, отражается в ней город, горы, все еще зеленые, несмотря на декабрь; только там дальше, на самом горизонте, в опаловом тумане нежно вырисовывается гигантский усеченный конус вулкана, весь покрытый молочным снегом.

Быстро промчались три дня, проведенных в Июкогаме и Токио, и опять сажу на палубе, разбираясь в сложных впечатлениях.

Я видел Японию, страну хризантем, страну черепаховых изделий, статуэток из слоновой кости, ваз клуазоне, цветных фотографий, страну игрушечных деревянных домиков.

Я ездил по их железной дороге, такой же игрушечной (узкоколейной, дешевой), с которой, однако, они делают прекрасные дела.

Из окна вагона я видел их поля с игрушечными участками, с поразительной обработкой этих участков. Ни одной четверти земли, за исключением откосов скал, не осталось невозделанной. И на всем протяжении, куда ни кинешь взгляд, везде из-за густой зелени апельсиновых и лимонных деревьев из-за пальм кокетливо выглядят маленькие двухэтажные, с крышами причудливой китайской архитектуры домики. Хотя вблизи иллюзия пропадает — вследствие постоянных землетрясений домики выстроены очень легко, чуть не из апельсиновых ящиков, но издали это красиво.

И надо отдать справедливость японцам, они, не хуже французов, умеют бить на эффект. Посмотрите на их раскрашенные фотографии, которые снимают они в момент цветения персикового дерева, — самый воздух кажется розовым. Или все эти красивые, эффектные безделушки: разные веера, черепаховые и слоновые вещи, шелковые материи и шитье по шелку. Электрическое освещение, прекрасно шоссированные дороги, прекрасный коммерческий и военный порт, множество фабричных труб, торчащих на горизонте.

Я закрываю глаза и вижу такую же, как в Шанхае, улицу ночи в Йокогаме, такая же голубая, прозрачная от света огней ночь. Но тихо, неподвижно, безмолвно все в японской улице. По обеим сторонам тянутся ряды деревянных клеток, ярко освещенных: в этих клетках, вдоль столов, сидят безмолвными, неподвижными рядами набеленные японки в своих национальных костюмах. Разница только в цветах — в этой клетке цвет красный, дальше голубой, там черный. Они неподвижны, как статуи.



Вулкан Фудзияма. Вид из бухты Симидзу.

Для кого же выставлены все эти тела в этих нероновских клетках? Кого ждут все они в этой мертвой тишине пустой улицы?

И с жутким чувством тоски торопишься пройти эту бесконечную, страшную, как вход в ад, улицу. Да, это ад, и какой-то холодный, мефистофельский расчет в нем.

И страшная мысль забирается в голову: может быть, этот орангутанг-старик, который тридцать шесть лет тому назад толкал со своей Тарпейской скалы европейцев в воду, а теперь в халате, надетом на голое тело, и в шляпе котелком, являющийся во всеоружии технического прог-

ресса, все тот же смеющийся над всем и вся, как тогда, так и теперь торговавший своими женщинами, дикарь-сатир.

И невольно я вспоминаю опять все другие неблагоприятные отзывы об японцах: японец скрытен, холоден, фальшив, расчетлив.

И так трудно мне, мельком видевшему эту страну, проверить эти «говорят».

Вот толпа, в своем одеянии, действительно, странная толпа, торопливая, судорожная. Лицо какого-нибудь старика, холодное, в складках, с неприятным выражением, хорошо запечатлевается, но продолжайте всматриваться — и рядом с таким лицом вы увидите удовлетворенное, спокойное лицо рабочего человека.

Этот дженерикша, который так усердно вез меня и теперь вытирает пот со своего лица, — пять, через силу десять лет, и самый сильный из людей этого ремесла умирает от чахотки, — в лице этого человека нет злобы, кусочками своей жизни он заплатил за сегодняшний свой тяжелый кусок хлеба, и лицо его дышит спокойствием и благородством сознательного обреченного.

Вот из телеграфного окошечка смотрит на вас японский чиновник и педантично считает слова моей телеграммы, внимательно несколько раз перечитывает каждое слово, исправляет, записывает ваш адрес на случай телеграмм, и здешний и тот, куда вы едете. Я благодарю его, говорю, что в этом нет надобности; он настаивает, говорит: на всякий случай. И благодаря только этому, я успеваю получить одну запоздавшую, но очень важную для меня телеграмму. Любезность, за которую я даже не успел поблагодарить рассыльного, так как телеграмму получил уже на пароходе.

Я вспоминаю любезную администрацию зоологического сада, куда попали мы в неурочное время, и достаточно было заявить, что мы туристы, как один из распорядителей сада сам повел нас.

Я видел молодых японок и в европейском костюме, скромных, интеллигентных, в обществе таких же молодых людей — таких же, как наши студенты, студентки.

Я был, наконец, на заводах и в мастерских железных дорог и уже как специалист мог убедиться в поразительной настойчивости и самобытной талантливости японских техников и мастеров. Как рационально приспособились

они ко всему своему железнодорожному делу, на какую коммерческую ногу поставили его.

Мы уже снимаемся с якоря, лодки, катера и провожающие уже там, внизу; мы, пассажиры, сбившись у борта, смотрим вниз. Наш гигант, среди целого ряда таких же гигантов, медленно поворачивается и приближается к выходу.

Мы уже идем полным ходом. Вся даль лазурного моря покрыта белыми парусами; это лодки рыбаков. Голые, они ловят свою рыбу, там на берегу у каждого из них посеяна полоска рису, и все несложные потребности жизни удовлетворены этим. Всю жизнь будут они так работать, а когда умрут, их сожгут в этой стране панорам туманных гор, синего безмятежного моря, дремлющих на нем белых парусов. Негой, грезой, лаской дышит все здесь, и берет окончательно верх доброе чувство, и от всего сердца шлешь этим людям труда, этим чудным берегам свое последнее прощание.

Скрылись из виду берега Японии. Наш путь на Гавайские острова.

Кругом все тот же беспредельный, тот же и в бурю синий Тихий океан.

Едва заметные широкие волны равномерно поднимают и опускают наш пароход. А между тем эти волны высотой в многоэтажный дом. Но они широки, равномерны и потому нечувствительны.

Солнце светит, греет палубу и ярко блестит, переливая изумрудом и бирюзой след нашего парохода.

То низко, низко опускаясь, то взвиваясь к небу, за нашей кормой день и ночь несутся без устали какие-то странные коричневые птицы, с длинными и узкими, как ножи, крыльями, с длинными шеями, с большими тяжелыми головами. И в такт крыльям старчески трясутся и качаются их головы, как бы говоря: «Да, да, все мы видели и все мы знаем».

Тихо в этой водной пустыне, ни паруса, ни дыма на горизонте. И только со звоном отбивает такт машина парохода: что-то и могучее, и в то же время усталое, жалующееся в этом звоне.

Время идет однообразно, я знакомлюсь со своими спутниками.

Каждый день в семь часов утра высокий и тонкий американец, мистер Фрезер уже меряет быстрыми, боль-

шими шагами палубу. На нем фланелевый утренний костюм и белые штiblеты. К завтраку он переоденется, к обеду наденет смокинг; погуляв, он примет ванну, будет опять гулять, спустится затем в свою каюту и появится снова уже к утреннему чаю. Он систематично и умеренно будет есть апельсин или яблоко, бифштекс,— сочный, кровавый,— яйца, еще что-нибудь и запьет все это чашкой чая. Полчаса, час после чаю сидит на палубе рядом с кем-нибудь, разговаривает, затем он отправляется в библиотеку, пишет там письма, читает и за полчаса до завтрака опять быстро ходит по палубе. Так как таких делающих свой моцион очень много, то ходят все по часовой стрелке, обгоняя или нет друг друга.

В Фрезере постоянно чувствуется и правдивый, и очень деликатный, и очень вежливый в то же время человек. Он был солдатом американской армии и, заболев на Филиппинах злокачественной лихорадкой, возвращается теперь, по окончании войны, домой. Он принимал участие в нескольких сражениях и отзывается о победах американцев очень скромно. Борьба была слишком неравная... (98).

Несколькими штрихами он иллюстрировал порядки испанских колоний, с их заносчивой администрацией, не брезгавшей всевозможными несправедливыми поборами. Еще хуже влияло на жизнь католическое духовенство. Влияние насильственное, распространявшееся не только на католиков; так, например, производились поборы в пользу католических монастырей и с лютеран. А если кто упрямился, того бойкотировали,— у таких ничего не покупают, ничего им не продают и в конце подрывают им торговые дела. Этим не ограничивались: уничтожали и издевались, пользуясь безвыходностью. Епископ, например, идя по улице, протягивает руку, как бы невзначай, какому-нибудь не католику купцу. Не поцеловать протянутую руку, значит поставить крест над собой и над всей деятельностью в тех местах. Словом все то же, что было и в 17 столетии.

Всевозможные запретительные пошлины в неустановленной, постоянно изменчивой системой притом, в конце тормозили как производительность местного населения, так и торговлю. Из всего извлекала выгоды только кучка людей, причем за каждый такой рубль выгоды этой кучки и население и торговля платились тысячными убытками.

Приятно увидеть опять землю, а тем более такой исключительно счастливый уголок вечной весны, как Гонолулу.

То, о чем читал только, что снилось, может быть — вечная весна, вечное тепло, — то я вижу теперь собственными глазами. Великолепные пальмы, ананасы, бананы... Всё в зелени тропической растительности тонет плоский берег Гонолулу. Из-за зелени уютно выглядит город.



Гавань и город Гонолулу.

Праздничное тихое утро. Солнце греет своими лучами, и нежно плещется маленькая голубовато-зеленая волна о сваи набережной. Это волна все того же Тихого океана, но сам он, гигант, во всем своем великолепии там, на горизонте, а здесь, у берегов этого вечнозеленого с прекрасным климатом Гонолулу — это залив, такой глубины, однако, что наш корабль подошел к самому берегу (99).

Там на берегу стоит толпа в самых легких костюмах: лица смуглые, загорелые. Вот бронзовое лицо малайца, вот черное негра, оливковое испанца, метиса, японца. Вот веселая свадебная группа местных колонистов: весе-

лые, крикливые, сухие, длинноногие, все увитые гирляндами цветов. Яркая пестрая картинка юга в блеске радостного южного утра земли.

Мы спешим на берег.

Красивый малаец предлагает нам свой парный экипаж.

Прямо от пристани громадное длинное стеклянное здание: это рынок. На его прилавках играет в лучах солнца и зелень, и фрукты, и рыба. Глаза разбегаются,— так ярко, красиво, свежо. Рыб целая коллекция: серебряные, золотые, белые, синие и многие из них странных невиданных форм.

Мы ходим по улицам. Маркизы, дома, как дачи, масса зелени, гигантские пальмы,— все опять и непрерывно говорит о радостях постоянного тепла. Такой уютной, налаженной кажется жизнь. Идет громадная малайка с мясистыми, но приятными чертами добродушного лица, род широкой блузы свободно колышется на ней, и сквозь легкую материю проглядывает ее смуглое тело. Проходят сухие американцы,— скромные, деловитые, такие же сухопарые, но чопорные англичане...

Вот городская ратуша. На ней развешается американское знамя. Три года назад эти острова были Гавайской республикой, и царили здесь испанцы. А еще год назад умер последний гавайский король Каракано. Последнее время он потерял всякий престиж и жил и умер в Сан-Франциско (100).

После завтрака в красивой, богатой, но страшно дорогой гостинице (здесь, впрочем, все дорого, американский доллар равняется нашим двум рублям, но ценность его, по-моему, меньшая, чем наш рубль: за стрижку волос я заплатил полтора доллара, то есть три рубля) мы отправились в местный музей. Очень хорошенькое здание с яркой картиной здешнего вулкана Мауна-Лоа (101).

Вот красивое лицо молодой малайки,— это дочь одного из Каракано, бросившаяся в кратер в начале нынешнего столетия. Тогда был страшный голод, и жрецы требовали человеческой жертвы, и, чтобы спасти свою родину, она бросилась в вулкан. Память народная навсегда увековечила ее,— дух ее считается покровительницей всех этих островов. Я опять подхожу к картине здешнего громаднейшего в мире вулкана. Он имеет в окружности несколько миль,

и в период сильных извержений от него течет огненная река в Тихий океан. Это море огня бывает, впрочем, ярким и красивым только в исключительные мгновения, когда вулкан неспокоен, в обыкновенное же время это серо-стальное, лишенное жизни, как бы застывшее озеро. Оно далеко, верст за 80, среди гор, оголенных и лишенных растительности. Наш пароход стоит только до вечера, и нам никак не попасть туда (102).

В большой зале музея, — зала в два света, — во весь потолок растянулось чучело рыбы-дьявола (devil-fish), — та пьевра, которую описывал Виктор Гюго в «Тружениках моря». Здесь, в Тихом океане, она вместе со своими щупальцами достигает несколько сажен в диаметре. Самое тельце ее небольшое, круглое, серо-коричневое, и от него уже идут безобразные длинные лапы-крючья. Над тельцем возвышается, величиной в небольшой арбуз, шар, наполненный черной жидкостью. Когда эта дьявол-рыба хватается свою жертву, она в то же мгновение выпускает эту жидкость, отчего вода делается темной и мутной, в ней и исчезает это страшное видение со своей жертвой. Одной минуты достаточно, чтобы пьевра высосала всю кровь, всю влагу из схваченного ею человека. При такой быстроте, конечно, спасение немислимо.

Мы ездили за город, в бамбуковый лес, видели финиковые деревья, видели, как поспевают бананы и ананасы, — одни поспевают, другие зацветают только, и так всегда в этом царстве весны. Мы видели шалаши из травы, в которых живут аборигены, видели голых, только с поясом из длинной сухой травы аборигенов и аборигенок. Говорят, аборигенки танцуют какой-то свой чистый танец. Но нам пора уже на пароход. Кажется, что едешь в громадной оранжерее с тропическими растениями, — так же тепел и своеобразно ароматен воздух.

Мы приехали на пароход к закату. Солнце садится, золотя даль синего океана. Океан горит в закате и кажется прозрачным — то яркокрасным, то темносиним. Все небо громадными полосами освещено всеми цветами радуги, — вот снопы палевых лучей, вот пурпур, тот угол весь фиолетовый, а там на севере отлиывает синею сталью. Грандиозные тучи на горизонте, грозные, как бастионы, — огненно-дымчатые, золотисто-палевые, с прозрачнозеленой лазурью в них, а в центре, к которому тянется все, яркое ядро недремлющего ока, короткими, собранными

лучами освещающее в последний раз уже надвигающийся мрак быстрых южных сумерек.

И уже кончено все, уже темно, и вспыхивают светлые яркие звезды в темносинем бархатном небе.

Южная ночь, мягкая, ароматная, сразу охватила и небо, и землю, и океан, и какое-то жуткое, таинственное ощущение, — точно что-то движется или дышит что-то громадное, точно говорит или шепчет что-то: это море охватывает и плещет о борт парохода.

В каком-то очаровании красиво сливаются в этом прозрачном мраке огни города и блеск звезд. Где-то в темноте равномерный плеск весел. Плеск стихает, и из темноты несутся мелодичные песни.

Прильнув к борту, мы все, пассажиры, слушаем пение, а когда оно стихает, на нашем пароходе раздаются аплодисменты и крики «бис», и снова нам поют.

Наш пароход уже движется, незаметно мы поворачиваемся, и, став лицом к открытому пред нами в блеске звезд океану, мы идем уже полным ходом вперед. Замирает песнь, тонет берег в темной дали, и постепенно исчезают огни милого, сразу очаровавшего нас Гонолулу.

Там позади осталось безмятежное небо Гонолулу. Спят в нем синее небо, берега вечно зеленые и воздух, ароматный, нежный, как дыхание весны.

Нет яркого солнца, летних костюмов, южной толпы, темносиних атласных ночей с крупными теплыми звездами.

Иная картина. Холодно, как в Севастополе в декабре, и чем ближе к Сан-Франциско, тем холоднее.

Мы уже в пальто гуляем по палубе, дует холодный ветер и беспокойнее океан.

Все такой же синий, может быть, еще синее и прозрачнее, но теперь холоднее уже, и что-то злобное в нем — чуждое нам. Стоя у борта, уносишься мыслью от него к Сан-Франциско.

Иногда мы заглядываем в отделение, где едут бедняки: европейцы, японцы, китайцы. Всюду чистота, порядок. Китайцев множество, — все они переселяются в Сан-Франциско.

Китайцам готовится их кухня, и преобладающее в ней — во всех видах рис. Когда погода хорошая, китайцы группами сидят на палубе и в большинстве случаев играют

в какую-то, вроде костей, игру. Так же азартно играют они и здесь, как везде.

Сегодня наш последний обед на пароходе: обед исключительный по количеству и разнообразию блюд.

В последний вечер мы дольше обыкновенного сидим в столовой. Фрезер меня заставляет рассказывать содержание только что задуманной тогда повести «Клотильда» (103). Когда я кончил рассказывать (я рассказывал по-французски), Фрезер говорит:

— Я не знаю, как у вас выйдет на бумаге, но если бы вышло так, как вы рассказали нам, это был бы шедевр.

Я сижу и думаю, что Фрезер угадал мой недостаток: я говорю лучше, чем пишу.

Америка...

Наш громадный пароход «Gaelig» стоит у пристани и, глядя сверху, видишь там внизу, как в колодезе, узкую полосу открытой набережной, крыши пакгаузов, крытых платформ.

Видневшийся в утреннем тумане город, мыс тюленей, громадные, на оранжереи похожие, прачечные, — все теперь исчезло. Мы уперлись, с одной стороны в гору, закрывающую город, а с других сторон окружены, как лесом, мачтами таких же гигантов, как наш «Gaelig».

Запах пеньки, смолы, моря. Какая-то деловая проза и скука. Надо сходить с парохода, делать что-то в таможне.

Мы спустились туда, вниз, в колодезь. Прошли, подняли головы, в последний раз увидели там, наверху, часть борта нашего «Gaelig'a» и исчезли в темном громадном сарае, в первое мгновение произведшем на меня впечатление крытого двора громадной корчмы.

Вот и наши вещи. Мы отпираем сундуки, ящики, и, несмотря на то, что я показываю свой билет до Петербурга, с меня взыскивают пошлину, и очень большую, за все японские безделушки — сумма пошлины равняется стоимости вещей.

Все это быстро, коротко, деловито.

— Ол райт (очень хорошо)! — можете брать свои вещи.

Мы в городе.

Вот мчится по улице электрический трамвай; там, под вторым этажом, несется паровой; такой же с другой стороны; еще один под улицей.

Вот дом в 27 этажей: почему не в 57? Наш отель «Палас» в 17. Двор его больше любой площади, но и то и другое могло бы быть еще больше.

По подъемной машине мы поднимаемся в какой-то наш этаж. Внесли вещи, и мы торопливо разбираем их, чтобы, переодевшись, идти завтракать, осматривать город, получить по переводам. Стук в дверь,— и перед нами стоит высокий широкоплечий молодой человек с открытым веселым лицом...

Он называет мою фамилию. Я выступаю, кланяюсь. Я отвратительно коверкаю английский язык, он — французский. Он интервьюер газеты «On Call». Он узнал, что я русский писатель, и пришел познакомиться со мною и моими друзьями.

Откуда я еду? Куда? Названия моих сочинений?

— «Гимназисты?»

На мгновение он задумывается, но уже встряхивает головой:

— О, oui, je comprends,— он энергично размахивает руками: — Les gymnastes (гимнасты)?

Мы смеемся и объясняем ему.

Он скоро заглядывает в свою книжку, просит наши портреты,— их у нас нет,— кланяется и уходит.

На другой день мы в гостях у Фрезера, в его клубе.

Фрезер показал нам газету с образцом американской рекламы: громадными буквами от имени Золя объявлялось о распродаже в принадлежащем ему магазине разных вещей. Реклама объясняет, кто такой Золя: знаменитый писатель, защитник Дрейфуса (104).

— У вас вчера был рецензент? — спросил Фрезер. Я рассмеялся.

— Вы думаете, что я его послал? Они сами разносили это их хлеб. Вот статья о вас и ваших друзьях.

Фрезер вышел вместе с нами из своего клуба, чтобы показать нам еще один образчик американской рекламы. Он повел нас в ювелирный магазин.

Огни уже горели, когда мы вошли в него.

Громадная сводчатая зала, и по ней на белом фоне в человеческий рост фигуры: красивые женщины, писатели, люди истории. Все эти лепные фигуры усыпаны бриллиантами с ног до головы,— крупными прекрасными бриллиантами.

Перед этим ослепительным поражающим блеском,— ничто вся эта груда бриллиантовых брошек, колец, браслетов, лежащих под стеклами прилавков.

Смотришь ошеломленный, первый вопрос, когда возвращается способность говорить:

— Что же стоят эти стены?

— Три миллиона долларов: шесть миллионов рублей.

И какое множество здесь этих магазинов и сколько богатств в них!

— Завтра я покажу вам один банк и его устройство.

И, благодаря любезности Фрезера, перед нами открылись скрытые богатства и устройство одного из американских банков.

С каждого этажа вы видите все тот же центральный зал внизу, где происходят сношения с публикой.

Каждый этаж имеет свое особое назначение.

Вот целый ряд кладовых со всевозможными автоматическими приспособлениями — против воров, против пожаров: каждая кладовая может мгновенно наполниться водой, весь банк может мгновенно осветиться огнями, каждая отворенная не в урочное время дверь производит резкую тревогу во всем банке. И если отворенная дверь затворится,— новая тревога. Оставшийся внутри вызывает новую, тоже автоматическую тревогу, и нужен какой-то секрет, чтобы выйти назад.

Словом, вся техника призвана на помощь, чтобы оберечь все эти груды наваленного во всех этих этажах золота.

— И в результате,— спросил я Фрезера, когда мы вышли из банка,— воровства действительно нет?

— Есть,— рассмеялся он,— один росчерк пера... Сумасшедшие и голодные не так страшны. Страшнее богатые люди, пользующиеся доверием, кредитом, те, которые, не взымая, одним росчерком пера могут вынуть все богатства банка. Сегодня богаты они, и богатства банка к их услугам, а на завтра они бедны, и богатства банка нет, несмотря на весь гений современной техники. Вот слабое место всех банков, искупающее их силой; страна работает, возделывается по последнему слову техники земля, строятся дома, фабрики, города, стучат машины, и рынки переполняются товарами, и надо искать новых и новых рынков. Если нельзя найти мирно, надо завоевывать их.

— Для войны нужны войска,— перебиваю я,— и вот та Америка, которая благодаря своей свободе только и достигла апогея, заводит теперь эти войска, облагается пошлинами, ограничивает переселенцев, имеющих менее 500 долларов не пускает,— словом, Америка начинает ограждать себя стеной разных, и несвободных, и неравноправных мер... Теперь вы пошли еще дальше: вы начинаете свои завоевания, словом, выбрасываете совсем уже другое знамя: Америка для американцев, собственно, такой же регресс, как и везде. Может быть, торжество реакции, тем более сильное, чем ближе конец ее и с ним начало новой жизни...

Прощай, Сан-Франциско.

Мы мчимся со скоростью 90 верст в час через всю Америку в Нью-Йорк.

Изредка видишь громадные фургоны, пару крупных, как дом, лошадей и сидящего на высоких козлах господина в вязаной куртке с трубкой в зубах, в шляпе котелком.

Зима, все голо. Мы все время извиваемся у подножья невысоких, незакрывающих горизонта гор, напоминающих наше преддверье Крыма.

Пустыня осталась позади, и мы проезжаем множество городов и ферм с желтыми, голубыми и красными узкими высокими домами.

— Скорей: индейцы,— кричит мне Н. на одной из станций,— ведь это их родина.

Я захожу за угол какого-то сарая и вижу там несколько темных с красным отблеском тела женщин в ярких костюмах. Они очень напоминают наших цыганок.

Но ни одного мужчины. Так за всю дорогу и не увидел я ни одного индейца. Оригинальное право принадлежит здесь индейцам: ездить бесплатно по всем железным дорогам Америки. Это они, как хозяева страны, выговорили себе. Но никогда этим правом не пользуются и никуда они не ездят (105).

— Вот резиденция мормонов,— Святое озеро и храм-гроб, в котором помещается десять тысяч человек (106).

То и дело проходят разносчики с местными продуктами: фруктами, лакомствами. Между прочим, индейское лакомство — печеная кукуруза в сахаре.

А вот и Чикаго.

Между двумя поездами мы успеваем осмотреть знаменитые здесь бойни, на которых ежедневно убивают несколько тысяч крупного скота и до 15 тысяч свиней; бойни устроены за городом, их окружают изгороди, и в них множество скота всякого сорта и вида. Мы едем узким и грязным переулком из этих изгородей. Мимо нас проносятся или неподвижно стоят джентльмены верхом на красивых высоких лошадях, оседланных мексиканскими седлами. У джентльменов в руках громадные бичи, которыми они хлопают, когда какой-нибудь бык не хочет идти туда, куда его направляют.

Мы осмотрели только отделение свиней. Вот их громадное стадо во дворе. Это стадо непрерывно пополняется из соседних дворов. К стене под навес в небольшое загороженное с трех сторон пространство, привлекаемые едой, спешат свиньи. Там их одну за другой подхватывает за ногу крюк и вздергивает на громадное колесо.

Уже подхваченная, свинья все еще ест и старается не замечать невзгоду, но вздернутая наверх, она уже вопит благим матом.

Достигнув высоты помоста над колесом, она продолжает двигаться головой вниз уже по горизонтальному направлению.

На помосте стоит джентльмен, весь в белом, розовый, бритый, с белым колпаком, с длинным острым ножом в руках.

По мере прохождения мимо него свиньи все тем же движением, спокойным, ровным, без напряжения он вонзает ей в горло свой длинный нож. Несколько мгновений после этого свинья, все двигаясь вперед, бьется еще торопливо, вместе с черной кровью изрыгая последние звуки. Но она уже погружается в кипяток, а через несколько шагов дальше опять поднимается кверху, попадая в новые руки, — эти руки мгновенно снимают с нее щетину, и уже непрерывной вереницей тянутся ряды белых свинных туш.

В одном месте разрезают им животы, в другом отрезают задние ноги, в третьем середину, передние ноги, голову.

Мы спускаемся из одного этажа в другой, и на наших глазах ходившая во дворе свинья, уже в виде всевозможных консерв, сосисок и колбас поступает в магазины, в

громадные укупорочные, откуда и рассыляется во все концы Америки.

Так отвратительно впечатление от всего этого, от ужасного запаха, что долго еще после того смотришь на все с точки зрения этих боен, этого равнодушия, этой вереницы движущихся мертвых белых трупов, а в центре их — фигура, распространяющая всюду эту смерть, вся в белом, спокойная и удовлетворенная, с длинным острым ножом.

— Ол райт!

Нью-Йорк.

И все-таки самое сильное впечатление произвел на меня Сан-Франциско. Нью-Йорк в пятнадцать раз больше, в нем дома в 36 этажей, но именно вследствие его необъятности общее впечатление теряется.

Больше представляешь себе, чем чувствуешь, всю эту громаду.

Ясно одно: в тот короткий срок, который имеется в моем распоряжении, не то что ознакомиться — объехать его не успеешь.

Свистит уныло холодный ветер. Скрывается в тумане громадный, как этот туман, Нью-Йорк, со своими шестью миллионами жителей, со своим семидесятиверстным странством, со своими узкими и высокими до неба домами, со всей своей роскошью и чудесами техники.

Неимоверных размеров, многоэтажный пароход «Лукания», самый большой в мире, с ходом до пятидесяти верст в час уже полным ходом выбирается в открытый океан.

Мрачно, тихо, торжественно.

Шумит и бушует Атлантический океан: декабрь — самое бурное время его.

Легкие зелено-бутылочные волны его, с белыми гребнями, торопливо, беззвучно, одна за другой убегают в мглистую, пеной покрытую даль.

Злее налетит вихрь, сорвет верхушки волн и обдаст брызгами сверху донизу наш пароход. Несмотря на размеры (12 000 тонн вместимости), нашу «Луканию» качает: если бы не эта качка, то потерялось бы и впечатление парохода. Это скорее многоэтажная гостиница, и моя каюта, например, ни одной из своих сторон не соприкасается с бортом корабля.

Чем дальше, тем качка сильнее. Однажды мы сидели

в курительной на четвертом, самом верхнем этаже. Туда никогда не достигали раньше волны. И вдруг,— это произошло мгновенно,— вместо пола мы увидели там, внизу бездну и весь сразу открывшийся перед нами бешено мечущийся мглистый, весь в пене, горизонт океана.

В открытую дверь к нам уже хлынул этот океан, зеленый, растрепанный старик, и ужаснее всего было то, что наша «Лукания», легши на бок, точно очарованная, раздумывала: подниматься ли ей назад. Продолжалось это, вероятно, несколько мгновений, но я и, вероятно, многие пережили такое ощущение, как будто мы уже окунулись в эти легкие, зеленопрозрачные волны. И весь тот день налетали эти волны, разбивались, как выстрелы пушек, удары о борт нашей «Лукании». Не было и тени того величия, с каким Тихий катит свои синие густоплавкие волны.

Меня не укачивало, но и удовольствия никакого я не испытывал от этой непрерывной качки. Особенно ночью. Сна почти нет, потому что от качки постоянно едешь туда и сюда по койке. И пока едешь от полу — еще ничего, а когда наклоняет к полу, надо задерживаться,— а иначе упадешь. Эти четыре ночи без сна взвинтили мою нервную систему до очень болезненного раздражения.

Пассажиров сравнительно мало было,— около семисот человек,— и неинтересные. Большинство — англичане, да и сам пароход принадлежал английской компании.

Мой спутник из Нью-Йорка и мой сосед за столом — англичанин лет 35, здоровый и румяный, сообщил мне, что, вероятно, приехав, мы уже услышим об объявленной французам войне.

— Эта война неизбежна,— говорил он, глотая шампанское,— у французов должны быть отняты их колонии, потому что они не годятся для этого дела... Латинские расы обречены на вымирание и должны уступить место нам, американцам, немцам и даже японцам. Испания не хотела сознать это и поплатилась: такая же судьба ждет и французов,— их флот через две недели после войны не будет существовать.

Англичанин говорил со мной по-французски. Он обратился ко всему столу и то же сказал по-английски. Ему сочувственно закивали головами все и, перебивая друг друга, горячо заговорили на тему о необходимости и неизбежности войны. И всю дорогу все говорили о том же,

постоянно горячо и настойчиво. Несколько французов, ехавших с нами, сторонились и держались угрюмым особняком (107).

Грозный океан был уже назади, мы проплыли и зимой зеленую Ирландию, плыли теперь по гладкой, как зеркало, поверхности моря, к вечеру мы подойдем к Ливерпулю, а раздражение против французов все росло и росло.

Раздражение неприятное, тяжелое.

Вообще все это общество, несмотря на то, что между ними были и ученые и люди пера, производило сильное впечатление самодовольства до пошлости, чем-то обиженных людей. Это были хозяева, ни на мгновение не забывающие, что все это, начиная с парохода, кончая последней безделушкой — их, принадлежит им, и им не надо идти ни к кому и ни у кого ничего не надо просить, — все лучшее в мире у них. Они дадут и другим, но дадут заносчиво, зная хорошо цену того, что дадут.

Эти люди энергичны и жадны к жизни. Они чистятся, переодеваются и моются несколько раз в день, всякими способами укрепляют свое тело, едят свои громадные, кровью пропитанные бифштексы с аппетитом, не уступающим дикарям. Поэзии нет в этом обществе. Интересы коммерческие, узконациональные.

Зная, под которым двигалась некогда политика — религия, — теперь заменено другим: промышленность, национализм. Промышленность — кровь организма, — кровь английского организма, немецкого, — каждого в своем национальном мундире.

Под влиянием общества на пароходе «Лукания» и его настроения я изменил первоначальный свой план остановиться на несколько дней в Лондоне и решил приехать сюда когда-нибудь в более спокойное время, когда не будет портиться впечатление от диких воплей этих вдруг пожелавших крови и смерти людей...

Лондон поэтому я видел только в тумане только что начинающегося прекрасного, розового утра. Я ехал проездом на вокзал по Пикадилли, пустой, безлюдной, и видел только, как в первых лучах солнца женщины мыли подъезды и тротуары...

Я смотрю в окна вагона.

Все еще предместья Лондона, — живописные, с уютными домиками, все в зелени. И дальше, за Лондоном,

почти сплошь дома, селения, зеленые поля, — люцерна, клевер, парки, речки, леса. И все живописно, уютно, богато...

Переезд через Ла-Манш занимает всего сорок минут, но такой качки нигде не было.

Маленький дрянной пароходик подбрасывало, как мяч. Было много трагикомичных сцен во время этого переезда.

Толстый француз, важно и жадно евший на берегу у плохого буфета бутерброды, теперь сидел на палубе у борта, без шляпы, растерянный, бледный. Напрасно матросы уговаривали его сойти вниз или отодвинуться, — он только бессильно мотал головой. Каждую минуту его окатывали брызги с ног до головы, а он только вздрагивал на мгновение и снова погружался в свое лётаргическое состояние.

Какая-то дама выскочила из каюты, поскользнулась и села посреди палубы и так сидела, не желая никуда уходить. И ее окачивали и брызги, и волны, и она тоже каждый раз только нервно всхлипывала.

Оба страдали морской болезнью.

Какой-то господин подошел к толстяку, с любопытством рассматривая его, наклонился и вдруг как раз в эту минуту ему сделалось дурно, и все это попало в корзину толстяка, стоявшую у его ног.

— Monsieur!!! — с отчаянием закричал толстяк, но новый приступ морской болезни не дал ему договорить, и толстяк, перегнувшись за борт, тянул только мучительное: «а-а».

Хотел что-то в свою очередь объяснить толстяку виновник, начал, — и мгновенно его голова за бортом. И оба они то кричат что-то друг другу, то головы обоих исчезают.

Но все быстро и сразу меняется, как только пароход подходит к пристани на французском берегу: качки нет больше, желтогрязный пролив назади, толстый господин, еще мокрый, как губка, уже ест что-то. Дама, сидевшая посреди палубы в луже, уже веселым голосом кричит приветствия стоящим на берегу.

Через полчаса мы уже мчимся по железной дороге в Париж.

На этот раз я в Париж попадаю случайно, уговорил меня ехать один из французов, доказывая, что это кратчайший путь. Из-за этого я потерял лишние сутки.

Со мной в купе ехало еще трое, все трое французы, все трое едущие в Париж, очевидно, встречать новый год.

Новый год во всех отношениях для них не из удачных.

До сих пор было тепло, но часов с четырех пошел снег, разыгралась такая метель, что в Париже на улицах ничего не было видно.

Мои спутники в нарядных легких платьях, с зонтиками, с подкатанными панталонами, озабоченно смотрели в окно...

Я вырос с убеждением, что французы великая мировая нация. Теперь, после кругосветного своего путешествия, я уже без интереса смотрю на них.

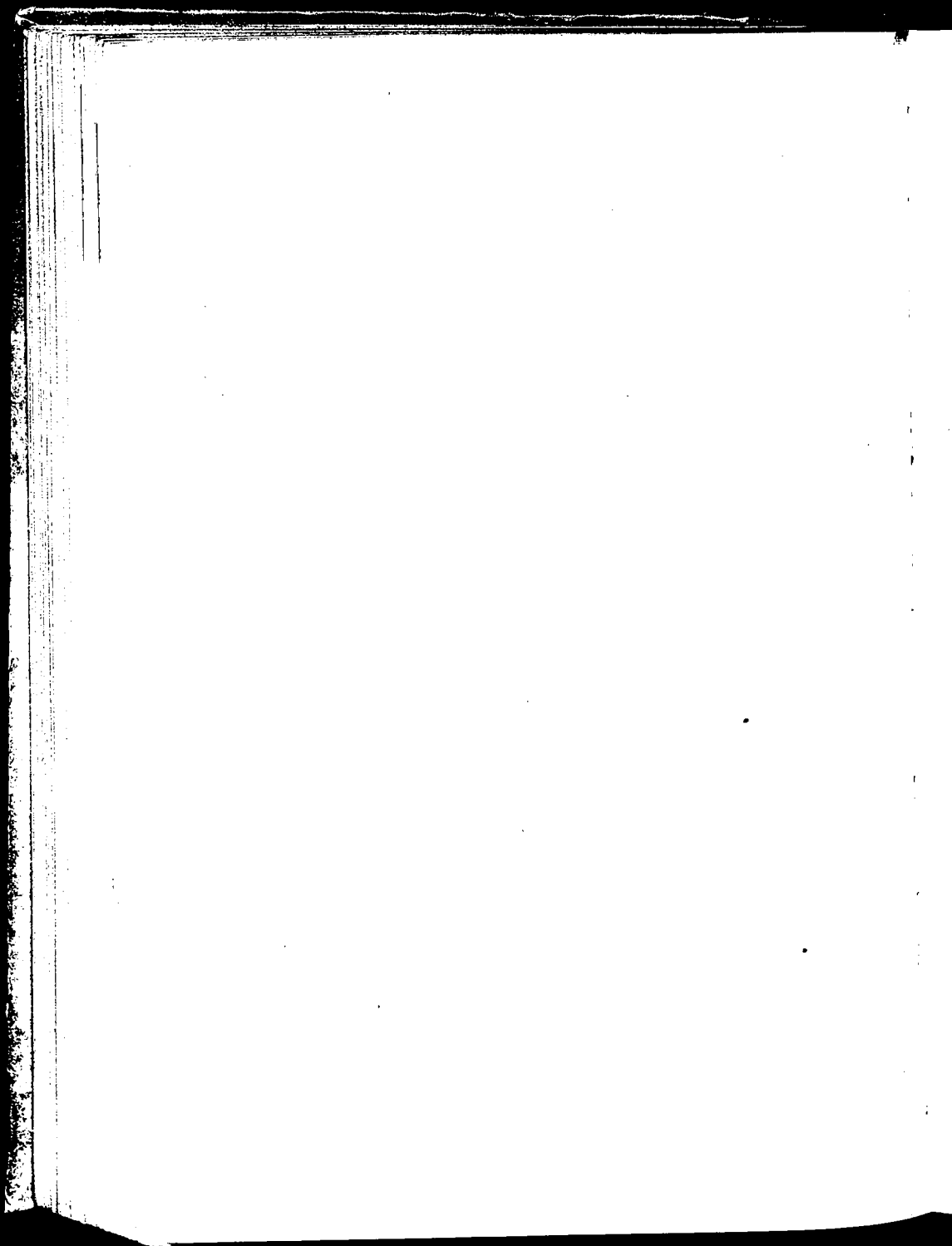
Я не думаю отпевать, как англичане, нацию, но период упадка этой нации сильно чувствуется. Это бывало и раньше, впрочем, старый буржуазный строй отживает, и нигде это умирание, разложение заживо не чувствуется так, как в Париже.

Мне пришлось в другой раз побывать в этом городе, познакомиться ближе с работой людей будущей культуры, с их руководителями: Жоресом, Гедом. Я увидел, каким ключом бьет эта будущая жизнь там, видел свежесть, силу и веру этих людей.



КОРЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР







ТРИ БРАТА

Жили три брата на свете и захотели они нарыть жень-шеню, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли они корень ценой в сто тысяч кеш. Тогда два брата сказали: «Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю». Так и сделали они. А потом каждый из них, оставшихся в живых, стал думать, как бы ему убить своего другого брата. Вот подошли они к селу. «Пойди,— сказал один брат другому,— купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя». А когда брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему его брату, тот сказал: «Если я теперь убью своего брата, мне останется и вся суля и весь корень». Он так и сделал: брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому что ею хотел убитый отравить брата. И все трое они умерли, а дорогой корень жень-шень сгнил. С тех пор корейцы не ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев.

ВОСЬМИНЕСЧАСТНЫЙ

У человека восемь счастья: счастливая могила предков; хорошая жена; долголетие; много детей; много хлеба; много денег; много братьев; образование. Но есть люди, которые не обладают ни одним из этих счастья, и тогда они называются восьминесчастливыми — Пхар-кебоги.

Одним из таких и был Ниноран-дуи, которого даже жена бросила.

И все ж таки случилось однажды так, что Ниноран-дуи встретил женщину по имени Дю-си, молодую,

красивую, богатую, которая полюбила Ниноран-дуи. И Ниноран-дуи полюбил Дю-си. Но так как несчастья восьминесчастных передаются и тем, кто любит их, то и для Дю-си встреча с Ниноран-дуи не прошла даром — ее торговые дела пошли плохо, ее скот падал, поля ее не приносили больше урожая.

Все это кончилось тем, что, когда однажды Дю-си проснувшись, она не нашла больше подле себя своего любимого Ниноран-дуи, она нашла только письмо его. Он написал ей, что, несмотря на то, что он любил ее всеми силами своей души, он оставляет ее, так как ничего, кроме несчастья, он не может ей дать.

Дю-си, прочитав письмо, горько заплакала, потому что она любила Ниноран-дуи, а не свои богатства, которые она с этого момента возненавидела; раздав их нищим, она ушла из тех мест, где жила.

Она шла по долине, плакала и думала:

«Если бы у меня было столько хлеба, чтобы накормить всех голодных, и столько денег, чтобы дать всем, кто в них нуждается, тогда не было бы больше горя на земле!»

Когда она так думала, она вдруг увидела перед собой едущего на быке красивого, сильного человека, увешанного цветами и обвитого колосьями. Он остановил быка и сказал ей:

— Полюби меня, будь моей женой.

— Я люблю уже одного восьминесчастливого и никого, кроме него, любить не могу. Но, если желаешь, будем братом и сестрой, — ответила Дю-си.

Они побратались по обыкновению их страны: надрезав себе пальцы, кровью написали свои имена, каждый на поле своей одежды, затем, отрезав написанное, обменялись, и, спрятав это у себя на груди, каждый отправился своей дорогой.

Утомившись от пути, Дю-си вошла отдохнуть в хлеб, прилегла там и заснула. Во сне она увидела белого, как серебро, лицом и волосами старика, который сказал ей: «Тот человек, которого ты встретила на быке и с которым побраталась, был я. Я — дух долины. Я знаю твоё желание. Вот тебе мешочек с рисом — одного зерна довольно, чтобы самый большой котел наполнился рисом. И сколько бы ты ни брала из этого мешочка рису, он никогда не истощится!» Сказав это, старик исчез, а Дю-си проснулась. Около нее лежал маленький мешочек с рисом.

Взяв мешочек, она пошла дальше.

Долина кончилась, и Дю-си стала подниматься на перевал высокой горы. Там, на вершине перевала, рос прекрасный густой лес, посредине которого стоял шалаш. Молодой красивый дровосек сидел в шалаше перед огнем очага и кипятил воду в котле.

— Что ты положишь в эту воду? — спросила Дю-си после приветствия, остановившись у входа в шалаш.

— Я ничего не могу положить в эту воду, — ответил дровосек, — потому что у меня нет ни чумизы, ни рису.

Тогда Дю-си вошла в шалаш, достала из мешочка одно зерно рису и бросила его в котел.

Котел сейчас же наполнился до верха рисом, и дровосек с Дю-си вполне насытились этою пищею.

После ужина дровосек сказал Дю-си:

— Полюби меня, и будем мужем и женой.

— Я не могу полюбить тебя, — ответила ему Дю-си, — потому что люблю своего мужа, восьминесчастливого, но, если хочешь, будь моим братом.

Дровосек согласился, и они побратались.

Вскоре после этого наступила ночь, и Дю-си крепко заснула. Она увидела во сне белого, как серебро, лицом и волосами старика, который сидел верхом на громадном тигре.

Дровосек, ужинавший с тобою в шалаше, был я. Я — дух гор. Я знаю твое желание: вот возьми этот кусок золота, и сколько бы ты ни отрубала от него, золото у тебя никогда не будет уменьшаться!

Старик исчез, а Дю-си проснулась. Не было больше ни дровосека, ни шалаша, а около нее лежал кусок золота.

— Теперь я знаю, что мне делать, — сказала Дю-си, вставая: — я выстрою на этом месте целый город! Ко мне будут приходить со всех сторон все голодные и все те, кому нужны деньги, и в числе их я найду и своего восьминесчастливого.

Так и сделала Дю-си. К ней приходили все нищие, все голодные или нуждающиеся в деньгах. Ожидание ее исполнилось — однажды пришел к ней ее муж Пхаркебоги.

Когда увидела его Дю-си, она бросилась к нему и упрекала его, что он ее покинул. Пхаркебоги, узнав Дю-си, был, конечно, тоже счастлив. Дю-си взяла с него клятву в том, что он не покинет ее и не уйдет от нее

больше. После этого они зажили очень счастливо, кормя и поя всех приходящих к ним нищих.

Однажды у Дю-си вышли все деньги, и за ними необходимо надо было ехать в другой город, чтобы разменять золото на деньги.

Дю-си дала свой кусок золота мужу и просила его, чтобы он нарубил побольше кусков и обменял их на деньги, чтобы не ездить часто в город и не разлучаться.

Пхар-ке-боги навьючил осла золотом и отправился с ним в город.

По дороге необходимо было переехать ручей, а так как Ниноран-дуи был восьминесчастный, то и случилось, что как раз в это время пошел сильный дождь, превративший малый ручеек в громадную реку, в которой и потонул при переправе осел вместе с золотом.

— Нет! — вскричал в отчаянии несчастный: — так не может дальше продолжаться: слишком много уже несчастий я приношу собой этой женщине! Или я спасу ее золото, или погибну и сам вместе с ним!

Он бросился в воду и утонул. Дю-си долго ждала Ниноран-дуи и, наконец, не вытерпев, пошла сама его разыскивать.

Когда она подошла к ручью, вода в нем спала, и это был опять маленький ручеек. На берегу она увидела и лежащее золото и мертвого Ниноран-дуи. Ничто больше не могло утешить Дю-си. Она шла и плакала. Она плакала о своем дорогом восьминесчастном и о всех несчастных и всех восьминесчастных. Когда силы ее оставили, она села и так умерла, плача, а от ее слез в этом месте протек ручей, который и называется «ручей слез». Один купец ехал в город по делам, сбился с дороги и попал как раз в то место, где лежала мертвая Дю-си. Увидев женщину, он, по обычаю своей страны, в знак уважения, слез с лошади и прошел мимо нее пешком. Проходя, он заметил, что женщина неподвижна, а подойдя ближе и убедившись, что она мертвая, вырыл могилу и похоронил ее. Вскоре за тем он нашел опять свою дорогу, благополучно приехал в город и удачно кончил все свои дела. Приписывая удачу встрече с похороненной им женщиной, он на обратном пути снова заехал на ее могилу и, по обычаю своей родины, помянул ее. После этого он, по приезде домой, рассказал домашним и знакомым о случившемся с ним происшествии и своей

удаче в делах. Другие купцы, его товарищи, ездившие в город по делам торговым, тоже посетили могилу Дю-си и помянули ее. И их постигла удача. Купцы из других местностей, узнав об этом, также завертывали на могилу Дю-си и тоже получали удачу в своих делах.

Однажды какой-то несчастный случайно попал на могилу Дю-си. Он горько плакал о своем горе и так и заснул на могиле. Во сне ему явилась прекрасная молодая женщина, вся в белом, и плакала вместе с ним и, утешая его, говорила:

— Напейся из этого ручья, — вода в нем чистая, потому что источник его — слезы за несчастных. Когда ты напьешься, уменьшится твое горе, потому что ты полюбишь всех других несчастных, как любила их та, слезы которой образовали этот ручей.

Стали ходить на могилу Дю-си другие несчастные, и слава о могиле Дю-си росла все больше и больше.

Согласно закону страны, был поставлен на ее могиле памятник с надписью: «добродетельной женщине».

А слава все растет и растет и будет расти, потому что та, которая спит в этой могиле, любила несчастных, а их все больше и больше на свете.

КУЧЬ КАНТХЕГАН

Во время царствования династии Цумуан, жил близ реки Туманганг в городе Ауди восьмидесятилетний старик Кантхеган.

Он был предсказатель и знал, что прожил только половину своей жизни. Он был очень учен, хотя занимался всегда сельским хозяйством. Но, когда ему минуло семьдесят лет, он бросил все дела и только занимался тем, что с удочкой в руках ходил на реку и удил рыбу; но, так как на удочку он не клал никакой приманки, рыба не ловилась.

Так продолжалось три года.

— Ты выживший из ума старик, и я не хочу с тобой жить. Давай мне развод.

Кантхеган согласился и дал жене развод.

Но потом произошло вот что:

Царь, узнав, что какой-то старик уже три года ловит рыбу без приманки, заинтересовался им и призвал его к себе.

— Зачем ты три года ловишь рыбу без приманки?

— Потому, что я знал, что ты призовешь меня.

Царь разговорился с ним, узнал его ученость, мудрый ум и сделал его первым министром.

Тогда бывшая жена его пришла к нему и стала просить, чтобы он опять взял ее к себе.

— Нет, — ответил Кантхеган: — друга для хороших дней я всегда найду, а в мои трудные дни ты не была мне другом. Но, так и быть, я для тебя кое-что сделаю.

И он приказал сложить возле дороги кучу камней с надписью: «Прохожий, вспомни о моей жене, скажи — дрянная женщина и плюнь».

С тех пор кореец, проходя мимо такой кучи, всегда плюет и говорит:

— От дрянной женщины.

Впрочем, женщины корейские не верят этой легенде и кучи камней, которых очень много по дорогам, объясняют тем, что камень этот корейцы стаскивают со своих каменистых полей, а чтобы им веселее было таскать, они и тешат себя всякими глупостями.

ПАК

Жил-был на свете бедный юноша, по имени Пак. У него не было ни отца, ни матери, ни родных. Жил он тем, что срезал серпом высокую болотную траву, растущую у озера, и продавал ее на топливо. Он давал траву, а ему давали немного чумизы. Однажды, когда Пак срезал траву, выбежал к нему из чащи олень и сказал человеческим голосом:

— Спрячь меня, Пак, — за мной гонится охотник!

— Куда я тебя спрячу? — сказал Пак.

— Спрячь меня в этом стоге травы, который ты накопил.

Пак спрятал оленя, прикрыв его и его рога травой. Скоро сюда прибежал и охотник и грозно спросил Пака:

— Где олень?

Пак его нисколько не испугался и, в свою очередь, спросил охотника:

— Олень, что такое олень?

Охотник не стал больше и разговаривать с человеком, который никогда не видел и не знает, что такое олень, и побегал дальше.

— Ну, спасибо тебе,— сказал олень: — постараюсь и я тебе услужить! Тебе минуло сегодня как раз шестнадцать лет, ты совершеннолетний, а потому пора подумать и о женитьбе. Кстати, сегодня же в это озеро, всегда раз в год, спускаются восемь небожительниц, чтобы купаться в нем. Укройся в кусты и смотри, какая тебе больше всех понравится,— той юбку возьми и спрячь и, помни, не отдавай ей юбку назад, несмотря на все ее просьбы, раньше того, как у вас будут трое детей! Помни еще одно: если я тебе зачем-нибудь понадобится, только крикни меня до трех раз: «Олень, зову тебя!»

Сказав это, олень скрылся в лесу, а обрадованный Пак спрятался в кусты. И было пора, потому что, только он успел укрыться, как восемь прекрасных девушек, в белых одеждах, спустились к озеру. Спустившись, они разделись и стали купаться, играя между собой в прозрачных водах озера.

Пак выбрал себе самую младшую и осторожно спрятал ее юбку. Сейчас же после этого одна из девушек тревожно сказала:

— Как будто человек тут близко — лучше улетим отсюда!

И все девушки сейчас же бросились к берегу, оделись и исчезли в облаках. Только восьмая осталась, нигде не найдя своей юбки. Тогда показался из-за кустов Пак и сказал ей:

— Юбку твою я взял, потому что я полюбил тебя и хочу, чтобы ты была моей женой, если ты согласна.

Она была согласна, потому что Пак был тоже красив и нравился ей, но она попросила назад свою юбку. Пак не дал, и они стали мужем и женой.

Когда пришла ночь, жена спросила у мужа:

— А где же твой дом?

— Мой дом? Вот мой дом,— и он показал на камыши, на озеро.— Крыша моя — голубое небо. Стены — эти горы, а ущелье это — мое окно.

И Пак подвел ее к ущелью, в котором, как в панораме, все в ковровых уборах, уходило вдаль все горы Кореи.

— Дом хорош,— сказала жена,— но, когда идет дождь, твоя крыша протекает?

— Так,— ответил Пак,— но, когда он проходит,

платье мое просыхает, и я греюсь у огня великого солнца!

— Дом хорош,— повторила молодая жена,— но не совсем.

Разговаривая таким образом, они заснули прямо на поляне, а на другой день Пак, счастливый, проснулся в большой, богатой фанзе. Он встал и вышел на двор и здесь увидел, что фанза его покрыта черепицей; большой двор с постройками, амбар, полный чумизой и рисом, а под навесом стоял огромный корейский бык и лениво жевал кукурузные зерна.

— Это тебе мой свадебный подарок,— сказала жена и, на всякий случай, спросила: — не отдашь ли мне теперь мою белую юбку?

— Нет, нет, моя милая жена,— ответил он,— не отдам.

И стали они жить весело и счастливо.

Прошло несколько лет. У них уже было двое сыновей, когда однажды жена Пака опять попросила мужа возвратить ей юбку. И Пак согласился, рассуждая, что жена его любит, и, наконец, куда же она уйдет теперь от своих детей? И он отдал ей ее юбку. Но, проснувшись на другой день, он увидел только свое озеро! Жена, дети, дом с постройками, всегда полный амбар с хлебом — все это исчезло, как сон. Огорченный Пак вскричал тогда:

— Буду я после этого верить женщинам!

Но это было, конечно, слабое утешение. К его счастью, он тут же вспомнил об олене и громко позвал его, три раза крикнув:

— Олень, зову тебя!

Олень немедленно явился перед ним и сказал:

— Лучше было бы для тебя, Пак, если бы ты хорошенько помнил слова мои. Но, так и быть, я помогу тебе. Вот возьми эти три тыквенных зерна, посади их сейчас же, и завтра они вырастут до неба. По ним ты взберешься на небо, при условии, если не будешь оглядываться вниз.

Олень исчез, а три зерна на другой день действительно выросли до неба. И Пак полез на небо, но, позабыв опять приказание оленя, посмотрел вниз, и тыквы сразу исчезли, а Пак полетел на землю. Хорошо, что было еще не высоко, и он не поломал себе рук и ног. Остает-

лось одно: опять позвать оленя. Олень явился и на этот раз сердито сказал:

— Однако же ты, Пак, плохо слушаешь приказания! Даю тебе еще три таких же зерна, но помни, это последнее, и больше ты меня не увидишь!

Пак посадил опять три тыквенных зерна в землю, а на утро, когда тыквы-деревья опять выросли до неба, Пак полез и вниз больше не оглядывался, пока не добрался до неба.

Взобравшись туда, Пак присел отдохнуть на голубую землю; недалеке он увидел прекрасную фанзу, с обширными пристройками, амбарами, с громадными садами, обнесенными забором. Отдохнув, Пак полез через забор в сад и к великой радости увидел там своих двух любимых сыновей. Дети, подбежав к нему, обрадовались, поздоровались и побежали к матери, весело крича ей:

— Отец пришел, отец наш пришел!

Мать не поверила и печально ответила им:

— Как может ваш отец притти с земли на небо?

Но увидев мужа, она обрадовалась и сказала:

— Не сердись на меня, ты сам виноват, я любила и люблю тебя попрежнему, но это была воля отца моего, чтобы я требовала свою юбку, ты же не должен был давать ее.

В это время вышел из фанзы старик; это и был отец жены Пака.

— Вот мой муж,— сказала дочь отцу и подвела мужа к своему отцу.

Старик не очень обрадовался новому зятю.

— Муж-то муж! — ворчал он, — вот он умудрился взобраться на небо; пусть-ка умудрится на землю слезть! Что говорить, ловкий парень! А все-таки дочь мою тебе не увести так просто отсюда назад, на землю. Должен ты будешь сперва угадать мои две да одну загадку моего старшего зятя, вот когда все мои молодцы вернутся с работы у Оконшанте. А чтобы не терять времени, я начну тебя испытывать; вот я спрячусь, а ты отыщи меня.

— Когда выйдешь во двор,— шепнула жена Паку,— увидишь петуха, который роется в навозной куче,— это и будет отец.

Пак вышел на двор, увидел петуха и говорит ему:

— Что вам за охота, тестюшка, рыться в навозе?

Петух преобразился в отца жены и сказал:

— Ну что ж, на этот раз угадал, как-то в другой раз угадаешь?

— Теперь он будет черным жирным боровом, вот там за этим амбаром,— прошептала жена Паку.

Пак зашел за амбар и говорит черному борову:

— Что вам за охота, тestyшка, свой собственный амбар подрывать?

В то же мгновение боров превратился опять в тестя.

— Хорошо, и на этот раз угадал ты. Как-то справишься со старшим моим зятем!

Скоро пришли мужья и всех остальных семи дочерей старика, который и предложил старшему задать какую-нибудь загадку Паку:

— А вот я пушу стрелу из лука,— сказал старший зять,— а он, Пак, пусть не позволит ей упасть ни на небо, ни на землю...

— Ничего, справимся,— шепнула жена мужу.

И, как только старший зять выпустил стрелу, жена Пака в то же мгновение обратилась в кречета и подхватила стрелу. Старший зять, видя это, в свою очередь, превратился в орла и пустился за кречетом. Видит кречет, что не спастись ему от орла, выпустил стрелу на землю как раз в том месте, где в это время проходил сын одного предводителя дворянства.

— Ну, все равно,— сказал старший зять, превратившийся опять в человека: — стрела моя упала на землю, и жены мы тебе не отдадим!

— Скажи, что не на землю упала стрела, а попала в затылок сына предводителя дворянства,— шепнула жена Паку.

— Ну, в таком случае,— сказал опять старший зять,— по уговору ты должен стрелу передать мне в руки, а потому иди на землю и принеси ее мне.

— Проси у них лошадь,— шепнула жена.— Когда тебе будут давать красивых лошадей, ты проси маленькую, мохнатую, горбатую — уродца-лошадь; она стоит в заднем стойле.

Так Пак и сделал, несмотря на все насмешки и остроты старика и зятьев, что его выбор пал на такого уродца-коня, никому не нужного. А конь-то этот и был конь удивительный: как только Пак сел на него, сейчас же конь спустился легко и спокойно с неба прямо

к дому предводителя дворянства. Там, по случаю смерти сына, все были в глубоком трауре и громко плакали.

— В чем дело? — спросил плачущих Пак.

— Да вот был у нас сыночек живой, веселый и здоровый, а вот, только что перед тобой, упал и лежит мертвый!

Никто из родных не заметил стрелы, потому что она была очень тонка и вся ушла в тело молодого дворянина.

— Ну хорошо, — сказал Пак, — ваш сын не умер, я оживлю его, но для этого уйдите все и оставьте меня одного с ним.

Оставшись, он осторожно вытащил тонкую стрелу, и покойник тотчас же ожил. Поднялись в доме радость и веселье. Пак хотел в тот же день уехать назад на небо, но обрадованные родители не отпускали такого дорогого гостя и три дня пировали с ним. На четвертый день Пак сказал, что ему необходимо ехать; распрощавшись с гостеприимными хозяевами, сел на своего мохнатого коня-уродца и скрылся в облаках.

— Ну, вот твоя стрела, — сказал он старшему зятю.

Делать было нечего, надо было покориться уговору и отпустить Пака с женою на землю. Но все родные стали уговаривать Пака остаться здесь, жить на небе.

— Что тебе делать на земле? — говорили они. — Ни родных, ни друзей у тебя нет там. А здесь, коли останешься с нами, мы пристроим тебя на службу к Оконшанте, и будешь доволен.

Подумал Пак, посоветовался с женою, и порешили они остаться навсегда жить на небе.

В ожидании места, Пак ездил пока с женою, которая была на службе у Оконшанте. Они ездили на драконе, и жена его из мраморного флакончика выливала дождь, где он нужен был на земле. Когда они летели над Кореей, Пак, показывая, говорит жене:

— Вот Корея! Это Сеул, а это провинция Пхёнгандо, а вот, смотри, и наше милое озеро! Как оно высохло с тех пор: налей же побольше воды в него из флакона!

Жена исполнила его просьбу, но он просил ее не скупиться. Она лила еще, но Паку все было мало; он отнимал у нее флакон, пока, шутя и играя так, однажды они уронили флакон. Он упал в жерло вулкана, который и потух от того, а в его кратере образовалось озеро Ве-

ликого Дракона, из которого и потекли с тех пор три реки: Амнока, Туманганг и Сунгари. Великий Оконшанте не прогневался на свою любимицу — жену Пака, но отстранил ее от дела и не дал никакой службы ее мужу.

Он сказал:

— У них довольно и без того дела.

А дело их было — любить друг друга.

Так и до сих пор живут Пак и жена его на небе.

ЧАПОГИ

При императоре Сук-цон-тавани жил один бедняк Ким-ходури. Он занимался тем, что рубил дрова и продавал их.

В день он рубил три вязанки, — две продавал, а одну вязанку сжигал сам.

Но вот, с некоторого времени, стала пропадать одна вязанка дров. С вечера нарубит три вязанки дров, а на утро их оставалось только две.

Думал бедняк, думал и решил рубить по четыре вязанки.

Тогда четвертая стала пропадать.

— Ну хорошо, — сказал себе бедняк, — вора я все-таки поймаю.

Когда пришла ночь, он залез в четвертую нарубленную вязанку и ждал. Среди ночи вязанка, вместе с бедняком, поднялась и полетела прямо на небо.

Пришли слуги Оконшанте, развязали вязанку и нашли там Кима-ходури.

Когда его привели к Оконшанте, тот спросил его, как он попал на небо. Ким-ходури рассказал как и жаловался на свою судьбу.

Тогда принесли книги, в которых записаны все живущие и их судьбы, и сказал Оконшанте:

— Да, ты действительно Ким-ходури, и не суждено тебе есть чумизу, но всегда хлебать только пустую похлебку.

Заплакал Ким и стал просить себе другой судьбы.

Он так плакал, что всем небожителям и самому Оконшанте стало жаль его.

— Я ничем в твоей судьбе не могу помочь тебе,— сказал он,— но разве вот что я могу сделать: возьми чужое чье-нибудь счастье и, пока тот не придет к тебе, пользуйся им.

Оконшанте порылся в книгах и сказал:

— Ну, вот возьми хоть счастье Чапоги.

Поблагодарил Ким, и в ту же минуту служители Оконшанте спустили его на землю в то место, где стояла его фанза.

Ким лег спать, а на другой день пошел к богатому соседу и попросил у него сто лан взаймы и десять мер чумизы.

Прежде Киму и зерна никто не поверил бы в долг, но теперь счастье Кима переменилось, и сосед, без всяких разговоров, дал ему просимое. На эти деньги Ким занялся торговлей и скоро так разбогател, что стал первым богачом в Корее.

Все ему завидовали, но Ким один знал, что счастье это не его, а Чапоги. И он с трепетом каждый день и каждую ночь ждал, что придет какой-то страшный Чапоги и сразу отнимет все его счастье.

— Я убью его,— сказал себе Ким и приготовил нож, меч и стрелы, налитанные ядом.

Однажды мимо дворца Кима шли двое нищих: муж и жена.

Во дворе дворца стояла телега, и муж и жена спрятались под нее от солнечных лучей.

Там, под телегой, пришло время родить бедной женщине, и рожденного мальчика называли они Чапоги, что значит найденный под телегой.

— Кто там кричит так громко под телегой? — спросил Ким, выходя во двор.

— Это Чапоги кричит,— ответили ему слуги.

Ким так и прирос к земле.

«Так вот откуда пришла расплата: не страшный человек, а маленький, беззащитный, голый от нищеты ребенок,— подумал Ким.— Нет, его не убивать надо, а лучше вот что я сделаю: я усыновлю этого Чапоги и, как его отец, буду и вперед продолжать жить на счастье своего сына».

Так Ким и сделал, и если не умер, то и до сих пор живет счастливо и богато, как отец рожденного под телегой.

ОХОТНИКИ НА ТИГРОВ

В провинции Хамгёндо, в городе Кильчжу, лет двадцать назад существовало общество охотников на тигров. Членами общества были все очень богатые люди. Один бедный молодой человек напрасно старался проникнуть в это общество и стать его членом.

— Куда ты лезешь? — сказал ему председатель: — разве ты не знаешь, что бедный человек не человек: ступай прочь.

Но тем не менее этот молодой человек, отказывая себе во всем, изготовил себе такое же прекрасное стальное копьё, а может быть, и лучше, какое было у всех других охотников.

И когда они однажды отправились в горы на охоту за тиграми, пошел и он.

На привале у оврага он подошел к ним и еще раз попросил их принять его.

Но они весело проводили свое время, и им нечего было делать с бедным человеком; они опять, насмеявшись, прогнали его.

— Ну, тогда, — сказал молодой человек, — вы себе пейте здесь и веселитесь, а я один пойду.

— Иди, сумасшедший, — сказали ему, — если хочешь быть разорванным тиграми.

— Смерть от тигра лучше, чем обида от вас.

И он ушел в лес. Когда забрался он в чащу, он увидел громадного полосатого тигра. Тигр, как кошка, играл с ним: то прыгал ближе к нему, то отпрыгивал дальше, ложился и, смотря на него, весело качал из стороны в сторону своим громадным хвостом.

Все это продолжалось до тех пор, пока охотник, по обычаю, не крикнул презрительно тигру:

— Да цхан подара (принимай мое копьё)!

И в то же мгновение тигр бросился на охотника и, встретив копьё, зажал его в зубах. Но тут, с нечеловеческой силой, охотник просунул копьё ему в горло, и тигр упал мертвый на землю.

Это была тигрица, и тигр, ее муж, уже мчался на помощь к ней.

Ему не надо было уже кричать: «принимай копьё», он сам страшным прыжком, лишь только увидел охотника, бросился на него.

Охотник и этому успел подставить свое копьё и, в свою очередь, всадил ему его в горло.

Двух мертвых тигров он стащил в кусты, а на дороге оставил их хвосты.

А затем возвратился к пировавшим охотникам.

— Ну что? Много набил тигров?

— Я нашел двух, но не мог с ними справиться и пришел просить вашей помощи.

— Это другое дело: веди и показывай.

Они бросили пиршество и пошли за охотником. Дорогой они смеялись над ним:

— Что, не захотелось умирать, за нами пришел...

— Идите тише,—приказал бедный охотник:— тигры близко.

Они должны были замолчать. Теперь он уже был старший между ними.

— Вот тигры,—показал на хвосты тигров охотник.

Тогда все выстроились и крикнули: «принимай мое копьё!»

Но мертвые тигры не двигались.

Тогда бедный охотник сказал:

— Они уже приняли одно копьё, и теперь их надо только дотащить до города; возьмите их себе и тащите.

ДОБРОДЕТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Во дворце императора с незапамятных времен стоит каменный стол. И вот однажды на этот стол, прямо с неба, упала каменная рюмка. Но когда император хотел ее взять со стола, то не смог этого сделать. Он позвал своих министров, но и те не смогли. Тогда император назначил всем министрам три дня сроку, чтобы решить, в чем тут дело. В противном случае все министры будут казнены.

К счастью, в Сеуле гостил в то время знаменитый предсказатель, который объяснил, в чем дело.

— Взять рюмку может только та женщина, которая всегда была верна своему мужу.

Так и доложили императору, и он приказал вызвать всех женщин, верных своим мужьям.

Некто Юн-цанани, услышав это, страшно обрадовался.

— Вот теперь,—кричал он, бегая по улице,— все

убедятся, что единственная честная жена во всем государстве — моя!

Но сестра Юна позвала его и сказала:

— Я кой-что тоже понимаю в предсказаниях и должна тебе сказать, что все это только ловушка. На самом же деле требуется женщина, у которой муж по счету будет девятым, которого она любит.

— Вот как, — сказал разочарованный муж.

И он пошел к своей жене и рассказал ей печальную новость.

— Главное, то обидно, что, говорят, император приготовил очень ценный подарок, и таким образом мы бы сразу разбогатели. Так хорошо все устраивалось, и вдруг, оказывается, требуется женщина, любящая сразу девять человек.

— А бонзы люди? — спросила нерешительно жена.

— Люди, — а что?

— В таком случае, утешься, — подарок наш.

— Как? — вскричал муж. Но в это время вошла его сестра, и он замолчал, чтобы не обнаруживать скандала, а сестра, увидя его, сказала, что, справившись, она убедилась, что ошиблась, и требуется действительно женщина, верная своему мужу.

О том, как муж поступил потом со своей женой, история умалчивает, но факт тот, что с тех пор Юн-цанани, как все благоразумные мужья, молчал о добродетелях своей жены.

А между тем в назначенный день все улицы Сеула, вся площадь были наполнены всеми без исключения замужними женщинами, которые пришли перед небом и людьми доказать свою невинность.

Была и жена Юна, но за теснотой не могла пробиться вперед, а стояла со многими другими в каком-то глухом переулке.

Когда император проснулся и узнал, что собрались все замужние женщины, он был очень доволен процветанием нравственности в государстве.

Однако в назначенный час никто не подходил к столу с рюмкой, и каждая, в свою очередь, очень любезно уступала более старшей. Таким образом очередь легко могла дойти и до императрицы, а может быть, и до бунта.

Но вдруг показалась пожилая женщина, вся в белом, как полагается носящей траур.

Несмотря на тесноту, она свободно прошла к столу и, присев, подняла руки к небу и сказала:

— Небо, ты свидетель моих слов,— девятнадцати лет я овдовела. Я была верна мужу при его жизни, осталась ему верна и до сих пор.

Затем она поднялась, подошла к столу и взяла в руки рюмку.

Рюмка качнулась, но не отделилась от стола.

Тогда вдова задумалась, опять присела и сказала.

— Действительно: раз в жизни, встретив красивого человека, я с вожделением посмотрела на него.

Затем вдова опять встала, подошла к столу, взяла рюмку, и рюмка отделилась от стола. Вдова получила ценный подарок, но женщины оспаривали, говоря:

— Мы не знали, что вожделение в счет не идет.

ЛОВКИЙ СТРЕЛОК

Один молодой человек, прожив все, что оставил ему отец, решил идти в Сеул, попытать счастья на службе.

Перед уходом он помолился на могиле предков и пошел к предсказателю.

— Ты должен,— сказал предсказатель,— если хочешь получить хорошее место, придя в Сеул, носить самую вонючую грязь.

Придя в Сеул, молодой человек, ленивый ко всякой работе, на этот раз исполнил в точности приказание предсказателя.

Но из этого ничего, однако, не вышло.

Тогда с горя, подражая местным франтам, он нарядился и купил себе лук, хоть и не умел стрелять.

Накинув лук на плечи, он, как настоящий охотник, отправился за городские ворота стрелять.

Встретив за городом человека, несшего лебедя, он за сто кеш купил этого лебедя, проткнул его глаз стрелой и с этим лебедем пошел назад в город.

Когда он проходил мимо дома одного министра, министр этот позвал его и спросил, как это случилось, что стрела попала прямо в глаз.

— Я всегда стреляю только в глаз,— ответил молодой шелопаи.

Министр спросил его не спроста: над домом министра поселился филин, а, как известно, соседство такой птицы никогда не бывает к добру.

И вот министр спал и видел, как бы убить филина.

Как раз так случилось, что в это время все три его сына, отличные стрелки, как это и подобает людям высшего света, были в далекой отлучке.

Кроме сыновей, у министра была еще невеста дочь.

Министр стал расспрашивать молодого человека, из какого он роду, и когда молодой человек сказал, то оказалось, что род его в свое время был в славе в Корее, а с отцом молодого человека министр был даже товарищем.

— Тогда я буду говорить с вами откровенно, — сказал министр: — убейте филина и берите за себя мою дочь.

— Жаль, что вы просто не попросили меня подстрелить этого негодного филина, а теперь от счастья жениться на вашей дочери я так взволнован, что боюсь промахнуться и не попасть в глаз. А, между тем, если я не попаду именно в глаз, это будет такой позор, которого я не переживу, потому что однажды сгоряча, — горячность мое большое несчастье, — я дал клятву иначе, как в глаз, не стрелять.

Пока министр сожалел, что так поторопился, молодой человек придумал выход:

— Я думаю, — сказал он, — самое лучшее так устроить. Считайте вашего филина убитым, — мы сыграем свадьбу, и, когда я немного успокоюсь от счастья, я не замедлю убить его на самом деле.

Министр вдвойне обрадовался как тому, что зять у него будет прекрасный, лучший в городе стрелок, так и тому, что он такой находчивый молодой человек.

Желая все-таки поскорее отделаться от страшного филина, министр поспешил со свадьбой и, когда прошел медовый месяц молодых, стал приставать к зятю относительно филина.

Зять придумывал тысячи отговорок, но, наконец, тесть настоятельно потребовал исполнения обещания и назначил срок до утра следующего дня.

Спрашивает дочь министра у своего мужа:

— Отчего ты такой грустный?

Подумал молодой человек, подумал и признался жене, что он вовсе не охотник.

Тогда жена посоветовала ему поступить так: купить клею, сварить его и, вымазавшись им, залезть ночью на крышу. Филин прилетит, выберет его, как самое высокое место на крыше, присядет и приклеится ногами и перьями своими.

Так и поступил молодой человек, поймал филина, а на утро принес его с проколотым стрелой глазом к тестю.

Тесть страшно обрадовался и рассказал всему городу, какой его зять стрелок.

Поэтому, когда пришел годовой день стрельбы в цель, когда лучшие стрелки получают похвальные листы от самого императора и называются «дишандари», весь город пошел смотреть, как отличится зять министра.

И сыновья министра, лучшие стрелки, к этому времени приехали в Сеул.

— Что вы? — говорил им отец. — Вот посмотрите, как он стреляет.

— Что ж я теперь буду делать? — сказал муж жене.

— Вот что надо делать: скажи, что ты дал клятву стрелять только в глаза птиц или зверей. А если, на твое несчастье, подвернется какая-нибудь птица, я пошлю тогда, когда ты натянешь лук, подтолкнуть тебя, как бы нечаянно, а ты рассердись и дай клятву, что после этого, пока живешь, стрелять не будешь.

Так и сделал на другой день знаменитый охотник: сказал, что иначе, как в глаз, не стреляет, и отказался на этом основании стрелять в цель.

Но когда в небе показался вдруг лебедь, то уже нельзя было не стрелять.

В то мгновение, однако, как он натянул свой лук, раба его жены, проходя, толкнула его.

Тогда молодой человек притворился взбешенным, упрекал тестя в том, что он распустил своих слуг, и в бешенстве, изломав лук, дал тут же страшную клятву никогда больше не прикасаться к луку.

Но стрела тем не менее попала в лебедя, и, когда его принесли, все увидели, пораженные, что она торчала в глазу убитого лебедя.

Молодому человеку дали первую награду и объявили первым стрелком всего государства.

Это помогло ему сделать карьеру, и впоследствии и он был таким же министром, как и его тесть.

КАК ПОЯВИЛИСЬ МЫШИ И С КАКИХ ПОР ПЕРЕСТАЛИ УБИВАТЬ СТАРИКОВ

(Китайская сказка)

Прежде стариков, когда они достигали 60 лет, убивали.

Один сын очень любил своего отца и, когда ему минуло 60 лет, спрятал его в подземелье, куда и носил ему пищу.

Однажды на дворец богдыхана напали какие-то страшные звери, величиною с корову, серые, с узкими, длинными мордами, с длинными тонкими хвостами. Все потеряли голову и не знали, что делать.

Тогда старик-отец сказал:

— Надо найти восьмифунтовую кошку.

Нашли кошку в семь с половиной фунтов.

— Кормите ее, — сказал старик, — пока она не вытянет восемь фунтов ровно.

Когда кошка вытянула восемь фунтов, ее выпустили на зверей.

И вот что случилось.

Увидев ее, звери стали уменьшаться, пока не превратились в обыкновенных мышей, которых и ловят с тех пор обыкновенные кошки.

Когда император узнал, кто выручил всех из беды, то разрешил с тех пор старикам жить столько, сколько они хотят.

Так появились мыши на свете, виновники того, что стариков не убивают больше.

УАН-ЧИНЕ

(тысяченожка)

В местности Тянь-кори жил один бедняк, Ким-нон-чи.

Как он ни заботился о своих предках, как ни искал счастливой горы, но все не находил. Но он еще раз попробовал и перенес кости деда на новую гору. Потом он устроил поминки и поминал так усердно, что напился допьяна.

Была уже ночь, когда он оставил могилу деда и пошел в город.

У городских ворот его встретила красивая женщина и попросила к себе в гости.

Когда он пришел к ней, на столиках уже стояли чир-неби (семь закусок), всякие вкусные блюда и суля (водка).

Женщина угощала его и просила полюбить ее, так как она, в свою очередь, через одного старика, который являлся ей во сне, узнала его, Ким-нон-чи, полюбила и теперь, зная, что он идет с могилы деда, вышла к нему навстречу.

— Это мое новое счастье,— сказал себе Ким-нон-чи,— и глупо от него отказываться; и, хотя у меня есть жена, это будет моя законная любовница.

Так они полюбили друг друга.

— Я только тебя об одном прошу,— сказала женщина: — в течение трех месяцев никогда не приходи ко мне незванным и никогда не заглядывай в двери моей комнаты.

Сначала Ким-нон-чи так и делал, но потом любопытство взяло верх над благоразумием, и однажды он, придя невзначай, заглянул в бумажную дверь своей возлюбленной. Он увидел в щель, что комната была пуста, а на циновке лежал какой-то зверь, похожий на собаку.

Тогда он постучался и вошел. Зверя в комнате больше не было, а перед ним стояла та, которую он любил.

Она была задумчива.

— Ты не исполнил моей просьбы,— сказала она печально.— Сядь же выслушай, что я тебе скажу. Слыхал ли ты что-нибудь об Уан-чине (тысяченожке)? Знай же, что это женщина, в наказание обращенная на тысячу лет в тысяченожку. За три месяца до срока ей дается право принимать по временам вид женщины. В это время она должна найти человека, который полюбил бы ее. Но человек этот, до срока, не должен знать, кто она. Мне оставалось только еще один день быть тысяченожкой. Теперь же я останусь ею еще тысячу лет. Вот что ты сделал своим любопытством. Но и тебе оно даром не пройдет.

И все сразу исчезло: и фанза, и женщина, и остался Ким-нон-чи сидящим на пустом месте.

Он встал, протер глаза и пошел домой.

Дома ждало его горе: единственный сын его умер.

А когда Ким-нон-чи уснул, приползла тысяченожка и, желая поцеловать, укусила его, и он так и умер, не проснувшись.

ЕЩЕ ТЫСЯЧЕНОЖКА

Жил себе в Ыйчжу некто Ним-куак-сан.

Он был очень беден, имел много детей, и все они требовали от него пищи, денег и нарядов.

Накануне одного нового года дети так пристали к нему с новыми костюмами, что несчастный отец, как был, выскочил из дому и решил больше домой никогда не возвращаться.

Попросту он решил лишиться себя жизни, а так как была особенно холодная зима, то и пошел он в горы, чтобы там замерзнуть.

Но хотя и хотел он умереть, однако, выбрал себе место, укрытое горами, и, сев там, ждал смерти.

Немного погодя видит он, что идут две женщины: одна молодая, богато одета, другая ее раба.

Женщины, проходя, поздоровались с ним, и богато одетая спросила его, что он здесь делает в такой холод?

Ним откровенно признался, зачем он пришел сюда.

— Из-за этого не стоит умирать, — сказала молодая женщина: — пойдем со мной, и я тебе охотно помогу.

Он пошел за ней, и они пришли в Ыйчжу, в очень богатую фанзу.

Молодая женщина дала ему денег, материи, чумизы и просила навещать ее, но раньше, чем войти, всегда стучаться в дверь.

Счастливый Ним принес детям своим обноры, еду и деньги. И новый год прошел для всех его детей так же весело, как и для всех тех, у кого были чумиза, одежда и деньги.

Ним стал ходить к молодой женщине, и скоро они полюбили друг друга и решились обвенчаться.

Однажды вечером, когда Ним вышел из своего дома, чтобы идти к своей невесте, вдруг в темноте перед ним вырос громадный, до неба, дух.

— Я твой дед, — сказал дух, — и явился, чтобы предупредить тебя: та, которую ты любишь, не женщина, а тысяченожка. Если хочешь в этом убедиться, походи, отвори дверь, и ты увидишь, не свою возлюбленную, а тысяченожку.

И дух исчез.

Ним не знал, что ему делать, и в конце концов решил послушаться деда. Но когда он подошел к двери,

ему жаль стало тысяченожку, и, прежде чем войти, он постучался.

Когда он вошел, молодая женщина поклонилась ему до земли и сказала:

— Я теперь вижу, что ты меня любишь, и я тоже буду тебе верной женой. Я знаю все. К тебе являлся твой дед. Это не дед твой, а мой враг — змей, курей — мой бывший муж. Кому-нибудь из нас суждено было в этот вечер сделаться человеком. Время назначено было как раз то, когда ты постучал в мою дверь. Если бы ты заглянул, я осталась бы еще на тысячу лет тысяченожкой, а курей превратился бы в человека.

Вскоре они сыграли веселую свадьбу и зажили, любя друг друга.

Бывшая тысяченожка принесла громадное счастье всему роду своего мужа. И хотя с тех пор прошла не одна тысяча лет, а и до сих пор фамилия Ним-куак-сан самая богатая в Ыйчжу.

НЯН И ТОРИ-СИ

Нян и Тори-си умерли, когда им обоим только что минуло по 16 лет.

Телесные души обоих после смерти явились к начальнику ада, Тибуану.

В ожидании очереди, юноша и девушка познакомились и разговорились между собой.

Когда же пришла их очередь, по справке оказалось, что душу молодого человека, Нян, вызвали по ошибке: нужно было вызвать Няна из Ыйчжу, а вызвали Няна из Иуона.

— Ну, иди назад, — сказал молодому человеку Тибуан.

— Мне скучно итти одному, — стал просить молодой человек: — нельзя ли мне возвратиться на землю с этой девушкой?

— Нет, нельзя, потому что она очередная.

Но молодой человек очень просил и, наконец, заявил, что без нее и он не хочет возвращаться на землю.

Он говорил:

— Я человек бедный, мне надо жениться, а на какие деньги я женюсь и кто за меня, бедняка, пойдет на

земле? Там богатый ищет богатого, и только здесь все равны и не надо денег.

Просьба юноши была так горяча, что тронула Тибуана.

— Я не могу менять, что занесено раз навсегда в книгу судеб, и мне неоткуда для этой девушки достать новой жизни. Но вот что я могу тебе предложить: по книгам судеб тебе назначено жить до 68 лет,— отдели, сколько хочешь, этой девушке и бери ее.

Нян оставшую свою жизнь разделил ровно пополам,— одну половину себе взял, другую отдал девушке.

— Идите за этой собачкой,— сказал им тогда Тибуан.

— Сперва мы сделаем метку,— сказал Нян.

И оба они друг у друга на спине написали свои имена.

Затем они пошли за собачкой, и когда та, дойдя до реки, бросилась в нее, и они бросились, и сразу души их очутились в их телах.

Тогда оба рассказали, что с ними случилось в аду.

Отец девушки думал при жизни ее выдать ее замуж за своего приятеля и теперь, когда дочь возвратилась, сделал вид, что не верит сказанному ею, что надпись на ее спине сделала ее подруга, и торопил с задуманной раньше свадьбой.

Но в день свадьбы пришел Нян, и девушка сказала:

— Вот мой муж.

Нян снял тогда свою кофту, и все прочли на его спине имя Тори-си, но отец Тори-си продолжал упрямиться.

— Ни небо, ни ад не смеют нарушить родительскую волю,— говорил он.

Тогда Нян посоветовался с Тори-си и сказал:

— Так как Тори-си не желает моей жизни, если выйдет за другого, то я беру назад свою жизнь.

Тогда нечего было больше делать отцу, и, рассерженный, он сказал:

— Иди от меня: ты не моя.

Он сказал правду: Тори-си действительно не была больше его, она принадлежала Няну, и так как они знали, что им оставалось не много жить, то они нежно любили друг друга и, главное, никогда не ссорились.

У них родилось трое детей, для которых они при жизни успели заработать довольно денег.

Они умерли вместе в один и тот же день, час, минуту и мгновение.

Когда путник проходит мимо их могилы, окрестные жители рассказывают ему, как жили и любили друг друга Няи и Тори-си.

Когда хотят сказать, что двое любят друг друга, то говорят:

— Они любят друг друга, как Няи и Тори-си.

КОШКИ

Это было очень давно, когда кошки еще не существовали на земле.

Жил тогда один стрелок из лука. Он спал и видел, как попасть ему в Сеул на праздник стрелков и получить от самого императора похвальный лист и звание «дишандари». Хотя он стрелял и очень хорошо, но приходил всегда в такое волнение, что делал непростительные промахи. Тогда умные люди посоветовали ему пойти к предсказателю, прежде чем отправиться в Сеул.

Стрелок так и сделал. Предсказатель, получив с него тысячу лан, сказал ему:

— Пусть не переходит тебе дорогу женщина. Если же перейдет, поцелуй ее.

Хотел еще спросить у него охотник, но на другой вопрос у него нехватило денег, и он, ограничившись одним ответом, пошел в Сеул.

Не доходя девяти ли (три версты) до Сеула, встретилась ему женщина поразительной и оригинальной красоты. Она была сильна, стройна, имела зеленые глаза, взгляда которых охотник не мог выдержать.

Она перешла ему дорогу, и, согласно приказанию предсказателя, охотник пошел за ней, чтобы поцеловать ее.

Казалось, она шла так же тихо, как и он, однако до самого вечера он не мог догнать ее, пока она не вошла в маленькую избушку.

Тогда и охотник вошел за ней.

Там, в избушке, сидели отец и мать девушки.

Стрелок поздоровался с ними и объяснил, зачем он пришел сюда.

— Если предсказатель сказал, то так должно быть.

Тогда вошла девушка, и стрелок поцеловал ее.

— Сегодня поздно уже, и мы предлагаем тебе ночлег,— сказал старик.

— Я непрочь бы и на всю жизнь здесь остаться, так как полюбил вашу дочь и хочу на ней жениться.

— Пожалуй, женись,— сказал старик.

Пришла ночь, и все легли спать.

Проснулся стрелок и видит, что рядом с ним спит молодая тигрица, а подальше два старых, больших тигра.

Охотник от страха закрыл глаза, а когда снова открыл их, то с ним рядом опять спала его жена, а подальше отец и мать ее. Стрелок подумал, что ему показалось все, и заснул опять.

Утром, когда стрелок пошел в Сеул стрелять в цель, жена сказала ему:

— Сегодня тебя, мой муж, ждет большое отличие. Ты попадешь во все цели, но этого мало, и сегодня ты прославишься из рода в род, пока живы люди. Помни: когда ты попадешь в последнюю цель, на дороге, на трех мулах, покажутся трое: двое на белых мулах, в белом и с белыми опахалами, а третий на пестром, с зеленым опахалом. Как увидишь, немедленно стреляй в них.

— Как, в людей?

Жена покачала головой:

— Это не люди, это дикие люди,— если ты не убьешь их, они съедят всех. Когда убьешь их, разрежь грудь того, который ехал на пестром муле. В груди ты найдешь двух зверьков: никогда с ними не разлучайся,— пусть они будут тебе, как дети.

— Если мне, то и тебе.

— Да, конечно; прощай, мой муж возлюбленный.

— Но зачем же ты так печально прощаешься со мной,— я скоро вернусь.

— Я печальна потому, что одна минута разлуки с тобой все равно, что вечность.

Как говорила жена, так все и вышло.

Стрелок попадал во все цели, а когда спустил стрелу в последнюю, на дороге показалось трое на мулах. Двое на белых, третий на пестром. Стрелок натянул свой лук трижды и трижды выпустил стрелу. Каждая попала в сердце каждого из путников.

— Что он делает? Он стреляет в людей?

— Идите и посмотрите, что это за люди,— сказал стрелок и пошел со всеми туда, где упали путники.

Но велик был ужас всех, когда, вместо путников, увидали трех тигров: двух старых громадных — самку и самца, и одну молодую тигрицу.

— Какое счастье, что он убил их, иначе бы всем нам грозила смерть.

Пока так говорили, стрелок быстро разрезал грудь молодой тигрицы и, вынув двух маленьких хорошеньких зверьков, спрятал их у себя на груди.

В тот день стрелок получил и «дишандари» и место губернатора.

Но напрасно он искал свою жену,— он никогда не нашел ни ее, ни родителей ее, ни избушки и даже того места, где стояла избушка.

Прошел год, зверьки подросли немного, когда случилась вдруг война, несчастная для Кореи.

Тогда император назначил стрелка-губернатора главнокомандующим.

— Но я ничего не знаю в военном деле.

— Но ты счастлив,— иди и победи, иначе голову долой.

— Не печалься, отец,— сказали зверьки: — ты победишь.

На Амнокке, на двух берегах ее, сошлись войска,— неприятельское и корейское.

В ночь перед сражением зверьки вышли в поля и леса и крикнули всех крыс и мышей:

— Идите на ту сторону в неприятельское войско, перегрызайте у них все тетивы и все луки, съешьте их провиант и обувь.

Но войско без оружия, провианта и обуви — не войско, а толпа нищих, и стрелок-губернатор всех их на другой день забрал в плен.

Тем и кончилась война. А губернатор сделался министром.

Что до зверьков, то от них пошло потомство. Теперь зверьков этих везде можно встретить,— их называют кошками.

Хотя теперешние кошки и не говорят, но, помня их происхождение, и до сих пор считают их священными животными и в память их происхождения и спасения от врагов уважают и чтут их.

ВОЛМАЙ

Во время царствования последнего из своей династии императора Косми-Дзон-Тван, жила одна девушка Волмай-си, дочь богатых родителей.

Она получила прекрасное образование и читала по-китайски так же, как ее знаменитый, всем народом почитаемый учитель Ору-шонсэн.

Когда ей минуло 16 лет, Ору сказал ей:

— Теперь твое учение кончено. По уму и образованию ты заслуживаешь быть женой министра.

— В таком случае я и буду ею.

На этом основании она отказывала всем, искавшим ее руки, и так как за ней еще были сестры, то, чтобы не мешать им делать супружескую карьеру, Волмай, с согласия родителей, получив на руки свою часть наследства, ушла из родительского дома и, построив гостиницу у большой дороги, так искусно повела свои дела, что ее гостиница была всегда полна народом, а молва о ней и похвалы разносились по всей стране.

Однажды один молодой угольщик нес мимо ее гостиницы уголь.

Ей нужен был уголь, и она, позвав, спросила, что он желает за свой товар.

Угольщик посмотрел на нее и сказал:

— Ничего больше, как раз поцеловать тебя.

— Не слишком ли высокую плату ты просишь? — спросила оскорбленная девушка.

— Таково уж мое правило, — ответил молодой угольщик, — что я хочу или все, или ничего. И если ты находишь мою плату высокой, бери без всякой платы.

И, сказав, угольщик бросил с плеч к ее ногам уголь и ушел прежде, чем девушка успела что-нибудь ответить.

Прошло несколько дней, и опять мимо ее гостиницы проходил красавец-угольщик. Но он даже не посмотрел на нее и прошел мимо. Но девушке опять был нужен уголь, и она вынуждена была позвать его.

— А-а, — сказал угольщик, — знакомая покупательница. — И, подойдя к ней, бросил к ее ногам уголь и ушел.

Напрасно она звала его получить плату за уголь.

— Я знаю твою плату, — ответил ей, не поворачиваясь, угольщик.

А на другой день, когда девушка проснулась, на ее

дворе лежала громадная куча угля, которую она не могла израсходовать и в год.

Волмай была очень смущена этим и все дни проводила у дверей, поглядывая в ту сторону, откуда обыкновенно приходил угольщик.

Когда однажды она наконец увидала его, то пошла к нему навстречу и сказала:

— Я знаю, что этот уголь, который сложен у меня во дворе, от тебя.

— Да, это принесли мои товарищи.

— Ты разве имеешь такую власть, что приказываешь?

— Есть больше, чем власть,— я пользуюсь любовью моих товарищей.

Девушка помолчала и сказала:

— Я хотела бы с тобой рассчитаться.

— С большим удовольствием,— сказал молодой угольщик и, сбросив уголь со своих плеч, так быстро поцеловал ее, что она не успела даже ничего подумать.

— Я никогда еще ни с кем не целовалась, и теперь волей-неволей, ты должен стать моим мужем.

Угольщик весело рассмеялся и сказал:

— Что до меня, то я согласен.

— Вот так вышла замуж за министра,— смеялись все ее родные, поклонники и знакомые.

Между тем молодые хорошо зажили.

— Ты умеешь читать? — спросила молодая жена своего мужа.

— Ни мама, ни папа,— ответил ей весело муж.

— Хочешь, я выучу тебя?

— Что ж? В свободное от хозяйства время отчего не поучиться.

Прошло пять лет, и муж ее знал все, что знала она.

— Теперь иди к моему учителю Ору-шонсэ, и пусть он проэкзаменует тебя. Кстати принеси мне ответ на следующий вопрос: «Если король глуп, а сын его идиот, то не пора ли вступить на престол новому?»

Через несколько дней муж возвратился и принес жене ответ:

— «Да, пора!»

Скоро после этого жена сказала мужу:

— Пригласи к себе трех самых умных и влиятельных из своих товарищей.

Когда муж пригласил их, жена приготовила им богатое угощение и вечером сказала им:

— Будьте добры, поднимитесь завтра на заре вот на эту гору и, что увидите там, расскажите мужу и мне.

Утром, когда три угольщика поднялись на гору, они увидели там трех мальчиков.

Один сказал:

— Здравствуйте.

Другой сказал:

— Завтра, однако, старого короля вон выгонят.

Третий сказал:

— Вам трем дадут хорошие должности.

Затем три мальчика исчезли, а удивленные угольщики пришли и рассказали, что видели.

— Я все это знала, — сказала хозяйка гостиницы, — потому что я предсказательница. Я скажу и дальше, как вам получить хорошие должности и прогнать человека, который всех губит. Соберите сегодня к вечеру всех своих товарищей и приходите сюда.

Когда все угольщики собрались в назначенный час, она позвала мужа в свою спальню и сказала:

— Десять лет тому назад я решила выйти замуж за министра. Я вышла за тебя замуж, потому что, как предсказательница, угадала, что ты будешь министром. Теперь я тебе скажу, что твое время пришло: сегодня тебя назначат, а завтра признает весь народ. Вот тебе топор. С этим топором ты с твоими товарищами, каждый поодиночке, пройдете в столицу. Там около дома Ору-шонсэна, вы все соберетесь. Ты один войдешь в дом и скажешь учителю: «Жена моя, Волмай, кланяется тебе. Вот этим топором я собью замок у ворот дворца, а теми людьми, что стоят и ждут моего приказания, я заменю разбежавшуюся дворцовую стражу».

Все так и было сделано.

Когда муж Волмай вошел в дом Ору-шонсэна, то увидел там несколько человек и учителя жены, которые спорили о том, кем заместить еще одно вакантное место министра. Ору предлагал мужа Волмай, а другие предлагали каждый своего.

Муж Волмай, войдя, сказал:

— Я муж Волмай, вот этим топором я собью замок из ворот дворца, а теми людьми, что стоят на улице, я заменю разбежавшуюся дворцовую стражу.

— И ты поступишь, как лучший из всех военных министров,— ответил ему Ору.

Всем остальным осталось только крикнуть: «Е-е!» (что значит «да, да»).

Затем, когда все заснули, муж Волмай со своими угольщиками отправился ко дворцу, сбил замок, застал врасплох стражу и предложил ей выбор: или, сняв одежду, бежать из дворца и молчать обо всем случившемся, под страхом смертной казни, или быть немедленно умерщвленными.

Стража избрала первое. Угольщики надели их форму, и дворец с королем был взят.

На утро уже заседал новый король Индзан-тэвен, заседали новые министры, и когда старые пришли во дворец, то им было предложено или признать новый порядок, или тут же быть казненными.

— А где старый король и его сын?

— Оба живыми взяты на небо.

— О, это большая честь,— мы ее недостойны,— сказали министры и присягнули новому королю.

И все пошло своим чередом, а уважаемый всеми учитель и предсказатель, Ору-шонсэн, во всеуслышание на площади предсказал новому королю счастливое и выгодное для народа царствование, а его династии существование на тысячу лет.

При таких условиях народ ничего не имел и против двухтысячелетнего существования новой династии.

Предсказание Ору исполнилось, новый король царствовал в интересах своего народа, а угольщики так и остались служить в дворцовой страже.

От них и пошел черный цвет этой стражи.

С ними и муж Волмай до своей смерти оставался министром, и никто уже не смеялся больше, что Волмай не умела выбрать себе мужа.

ТУТОНТАИНА

(Жабий дом)

В давние времена, в Хоангхэдо, округе Хэчжу, в деревне Контон жил один бедный человек, по имени Пэк.

Дожил Пэк до пятидесяти лет и не мог собрать достаточно денег, чтобы жениться.

В это же время жил один богатый человек, который занимался тем, что женил бедных.

И Пэк пришел к нему. Богатый и ему нашел невесту и дал денег на выкуп ее.

Женился Пэк, и через год жена родила ему дочь Хан-не-си и затем умерла.

На одиннадцатом году Пэка разбил паралич, и так как он не мог больше работать, то им и грозила голодная смерть.

В это время еще приносили человеческие жертвы. В Контоне приносили такую жертву ежегодно в честь поселившейся там тысяченожки.

Для такой жертвы требовалась девушка.

Хан-не предложила себя за десять тысяч кеш, которые и просила передать после ее смерти отцу.

Жертва приносилась таким образом: в молитвенном доме Кукиши, после обряда, клали девушку на стол, и все уходили. Когда потом через некоторое время возвращались, то девушки уже не было, а из Кукиши уползала тысяченожка. После такой жертвы начиналось для всех особое счастье.

Хан-не очень любила одну жабу. Эта жаба всегда выползала из своей норы в то время, как Хан-не ела, и Хан-не не жалела пищи, часто сама не доедая, для жабы.

Когда Хан-не повели на место жертвоприношения, за ней поползла и жаба.

Положили Хан-не на стол и вышли все, а тысяченожка выползла в дом.

Тогда она стала выпускать красные лучи, и Хан-не потеряла сознание.

Но жаба, в свою очередь, выпускала лучи, и лучи жабы оказались сильнее лучей тысяченожки.

Когда, после определенного времени, все вошли в молитвенный дом, то застали там мертвую тысяченожку, большую добрую жабу и живую Хан-не.

В память этого события и построили в честь этой жабы молитвенный дом. Жаба не требовала больше человеческих жертв. Она живет в своем домике, и каждый справедливый человек, который приходит в этот домик помолиться, видит эту жабу.

Дурной же человек видеть этой жабы не может.

А так как хорошие люди все-таки не переводятся, то видят эту жабу и в наши дни.

СЫНОВНЯЯ ЛЮБОВЬ

Жили себе отец и сын. Сын очень почитал отца. Когда отец заболел и был при смерти, сын продал все и понес деньги к знахарю, чтобы тот только вылечил отца.

Когда сын ушел к знахарю, жена его вышла на реку мыть белье.

На берегу она увидела бонзу (монаха), который сказал ей:

— Если хочешь, чтобы свекор твой жив был, свари вот такого жень-шеня (хороший корень жень-шень формой и цветом похож на тело младенца).

И бонза показал на ее двухлетнего сына.

Жена сына больного поняла, что надо зарезать их ребенка, чтобы спасти старика. Она взяла и зарезала сына, сварила из него похлебку и напоила свекра.

В тот же день свекор выздоровел, и, когда вернулся его сын, он сказал ему:

— Твоя жена напоила меня чем-то вкусным, и вот я опять здоров.

Муж спросил жену:

— Чем ты напоила отца?

— По приказанию бонзы я напоила его наваром из нашего сына.

Тогда муж поклонился ей в ноги и поблагодарил за любовь к его отцу.

Прошло четырнадцать лет.

Опять жена сына мыла на берегу белье, когда подошел к ней бонза с шестнадцатилетним юношей.

— Прими своего сына назад,—я его воспитал, и теперь он может назваться образованным человеком, а тогда ты резала не сына, а жень-шень, который я дал тебе, он отвел тебе глаза.

ПРАВА ОТЦА

Жил отец и три сына.

— А что,—спросил однажды отец,—почитаете вы меня за то, что я виновник того, что вы появились на свет?

Старший сын сказал:

— Почитаю.

А младший сказал:

— За это еще не за что почитать.

Отец и братья рассердились и прогнали его.

Ушел младший сын и пришел к перевалу.

— За этот перевал не ходи, потому что в той фанзе, что по ту сторону перевала, десять человек умерли от холеры, и только и жива еще последняя дочь.

— А сколько ей лет?

— Ей 16 лет.

— Ну, так я, пожалуй, пойду.

И пошел.

Приходит, а девушка говорит ему:

— Разве ты не знаешь, что в этой фанзе все мои родные умерли от холеры?

— Знаю, но я узнал, что ты одна, и пришел к тебе.

Она оставила его у себя и через некоторое время, полюбив, согласилась сделаться его женой.

Так как отец его жены был богатый, и жена его знала, куда отец прятал деньги, то она однажды послала мужа своего за этими деньгами, и стали они богачами на всю окрестность.

Слух об их богатстве дошел до братьев и отца.

— Нет,— сказали они,— мы мало его наказали, выгнав только из дома, его надо лишить жизни, а деньги взять себе.

И вот задумали они злое дело.

Присылают раз два брата письмо к младшему, с известием, что умер их отец, и чтобы приходил он на похороны.

Младший брат сейчас же пошел.

Жена, провожая его, приказала ему, чтобы сули он не пил в доме братьев и до парадных кушаньев не дотрагивался, ел бы такую же простую пищу, как и они будут есть.

Пришел младший брат к старшим и видит, что отец жив.

А братья смеются:

— Мы нарочно тебя обманули, потому что иначе не надеялись, что ты придешь к нам.

Затем они посадили его за стол и стали угощать сули и парадным обедом.

Но, когда он налил сули и поднес отцу и братьям, они отказались.

Тогда он сказал:

— Неприлично и мне пить и есть отдельно от братьев.

И вылил на пол сули, а парадный обед бросил собакам, от чего они и сдохли.

Затем, поев с отцом и братьями, в тот же день возвратился домой.

Между тем хунхузы, узнав, что младший брат ушел к своим родным, отправились туда, чтобы захватить его и получить за него богатый выкуп.

Они напали на дом его родных ночью, врасплох, и так как караульных собак не было, то и захватили отца, двух старших братьев, а младшего не нашли.

Думая, что отец и братья спрятали его, хунхузы сперва пытали их, а потом, рассердившись, убили и отца и братьев.

А младший и до сих пор живет.

СУДЬЯ

Прежде, когда должности не продавались, а приобретались знанием, начальство в Корее было умное.

Жила однажды красивая женщина, жена хозяина постоянного двора. Хозяин пил и играл, а она вела все дело.

Все заглядывались на прекрасную женщину, но она ни на кого не обращала внимания, пока не пришел некий Ким-ки, родом из Хойрёнга. И хотя он шел далеко, но красота хозяйки удержала его, и, видя и с ее стороны поощрение, он решил остановиться у нее на ночлег.

Ночью, когда хозяин ушел по обыкновению играть в карты, он осторожно прошел к ней в спальню.

Наступив на что-то мокрое, он вздул огонь и увидел, что эта была лужа крови. Тут же лежала и мертвая хозяйка с ножом в груди. Он хотел бежать, но вспомнил, что в эту ночь в гостинице ночевал он один, и следовательно, в случае его бегства, его нагонят и обвинят. Но и так было не легче: все улики были против него, и он решил покориться своей участи.

Утром пришел хозяин и, застав Кима со своей убитой женой, отправил его в тюрьму.

На вопрос судьи Ким, боясь пыток, сказал, что он убил.

Но судья, внимательно осмотрев труп, вынул нож и, увидев, что нож Кима при нем, спросил его:

— Где ножны от этого ножа?

Их не было у Ким-ки.

Тогда мудрый судья приказал всем жителям принести свои ножи.

Перемешав их и подсунув и этот нож, судья приказал взять назад свои ножи.

Все взяли ножи и остался только подсунутый.

— А это чей же нож?

— А это нож пэк-тей Цсая,— сказал его сосед.

Пэк-тей — значит мясник.

Это только и надо было судье. Он приказал схватить Цсая, посадить его в тюрьму и надеть ему ниже колен деревянные клещи. Эти клещи сжимали до тех пор, пока кости на ногах у Цсая не лопнули, и, не выдержав больше боли, он сознался, что убил ее за то, что она не соглашалась быть его любовницей. Тогда ему отрубили голову.

ЛЮБОВЬ

Чун-хян была красива, как звезда на небе, но вела жизнь легкую, и ласками ее пользовались многие.

Так жила она, пока не пришел к ней Ли-то-рен, сын местного начальника, тасы. Она полюбила его и не хотела больше никого знать.

Так они жили, пока отца Ли не прогнали со службы, так как в грабеже он перешел все пределы, и что город разорен и нечем больше платить подати, стало известно королю в Сеуле.

Его имущество отобрали в казну, а его и его семейство сослали в ссылку.

Ли расстался с Чун-хян, но сказал ей на прощанье:

— Жди меня. Я люблю тебя и, когда срок кончится, я приду за тобой. Тогда мы уйдем из этого города куда-нибудь, где нас никто не знает, и будем там вместе жить.

Но, когда приехал новый таса, он скоро узнал (так как в городе все знали все друг про друга), кто такая была Чун-хян.

Тогда он приказал привести ее к себе.

Чун-хян не хотела, и ее силой, на руках, принесли к тасе.

— Зачем ты не хотела сама притти ко мне? — спросил ее таса.

— Потому что я люблю Ли и не хочу больше никого другого любить.

— Глупая,— сказал ей таса,— ты красива и молода, и я понимаю, почему Ли любил тебя, но он не стоит тебя, и отныне ты будешь любить меня.

Но Чун-хян не хотела и отказалась от всех предложений тасы.

Тогда таса посадил ее в тюрьму.

Это не помогло.

Тогда таса сказал:

— Бейте и секите ее каждый день, пока она не делается старухой.

И так секли и били прекрасную Чун-хян, пока не пропала ее красота.

Тогда таса приказал отпустить ее на волю.

Она возвратилась в свой дом и там жила в ожидании того, кого любила.

Много лет прошло, когда в город пришел один человек.

Он остановился в гостинице и стал расспрашивать о тех, кто живет в городе, и он узнал все про Чун-хян, как мучил ее таса и как теперь живет она уединенно в своей фанзе.

Тогда Ли пошел к ее дому и постучался.

— После стольких лет беспокойно стало вдруг мое сердце,— сказала Чун-хян, услышав стук, и сама пошла, отворяя.

Они сразу узнали друг друга, потому что Чун-хян стала опять удивительно молодой и прекрасной.

Они оставили этот город, где все еще жил ненавистный таса, и поселились далеко-далеко, забыв в счастливой жизни о пережитых невзгодах.

ДВА КАМНЯ

Висели два камня над рекой.

Один, пониже, был всегда в воде, другой, повыше, был всегда наверху.

Который пониже был, говорит:

— Хоть раз бы мне увидеть, что делается на земле.

А который повыше был, говорит:

— Хоть раз бы закрыло меня водой.

Вот и пришел раз такой сухой год, что и нижний камень увидел землю.

Но было сухо и все выгорело,— у людей не было хлеба, скот ревел без корму, и все кругом было желто, как и лучи солнца.

— Плохо же жить на земле,— сказал камень,— еще немного, и растрескается вся моя красивая наружность. То ли дело, как жил я раньше: прозрачная вода бежала мимо меня, веселый хоровод рыбок кружился и прятался подо мной, когда проходила лодка рыбака вверху надо мной, и то-то была потеха, когда сверху падал кусок чумизы,— сколько рыбок набегало тогда ко мне в гости.

И он был очень рад, когда вода снова закрыла его и он ушел в свое царство.

Пришел другой год, и вода поднялась так высоко, что залила верхний камень.

Но вода была мутна и грязна, и, как камень ни таращился, он ничего не увидел, и только грязи набилось в него.

— Фу, какая гадость,— сказал камень, когда увидел опять свет, и уже не хотел больше опять очутиться под водой.

СИМ-ЧЕН

Давно-давно, когда еще не приходили японцы, когда еще монахи Будды, в своих больших шляпах, были священными гостями, и не запрещали им выходить из своих монастырей, в королевстве Сан-нара жил бедный слепой старик со своей женой.

Его звали Сим-поис, а жену Кванситун.

У них не было детей, и это было их главное горе.

И потому, когда родилась у них дочь Сим-чен, радости их не было конца.

Но на восьмой день Кванситун умерла, и слепой Сим-поис остался со своей маленькой дочкой.

Он носил ее на руках из дома в дом, и везде, где были матери с грудными детьми, они кормили Сим-чен своей грудью.

Так незаметно вскормили Сим-чен, так же незаметно и выросла она и стала самой красивой девушкой, какая когда-либо была на земле.

Все говорили об этом ее отцу, но Сим-поис отвечал всегда:

— Я слепой и не знаю того, о чем вы говорите мне.
Но раз мимо его фанзы проходил монах и, услышав его, спросил:

— А что бы ты дал великому Будде, если бы он возвратил тебе зрение?

— Я дал бы ему триста мешков рису, — сказал Сим-поис.

— Откуда ты, бедный слепой, достанешь столько рису? — спросил монах.

Сим-поис ответил:

— Что говорю я, то верно, потому что нет такого человека, который осмелится обмануть Будду:

— Хорошо, — сказал монах: — принеси рис в монастырь, и ты получишь зрение.

Монах ушел, а Сим-поис стал думать о том, как он мог обещать столько рису и откуда ему достать его.

Но, сколько он ни думал, он ничего не мог придумать.

Тогда он загрустил и перестал принимать пищу.

— Отчего, отец, ты не ешь ничего? — спросила его Сим-чен.

— Я не скажу тебе, отчего я не ем ничего, — ответил отец.

Тогда заплакала Сим-чен и сказала:

— Разве я не забочусь о тебе? Разве я не отдам за тебя жизнь, чтобы видеть тебя опять веселым?

Тогда Сим-поис рассказал ей все.

— Не печалься, отец, и ешь: это Будда так велел тебе сказать, и он сам и исполнит все.

Через некоторое время пришли к ним купцы, которые собирались ехать через море за товарами в Нан-сан. Они пришли купить девушку, чтобы принести ее в жертву морю, когда море рассердится и начнет их топить.

— Купите меня, — сказала Сим-чен, — за триста мешков рису.

Купцы подумали и согласились.

На четырнадцатый день третьего месяца купцы назначили свой отъезд.

Последняя ночь оставалась только, Сим-чен сидела у изголовья своего отца и тихо плакала.

Одна слеза упала отцу на лицо, и проснулся он.

— Дочь моя, зачем ты плачешь?

Сим-чен испугалась:

— Не спрашивай меня, отец.
— Нет, я спрашиваю. Я твой отец, и ты должна мне все сказать.

— О, отец, не спрашивай меня.

— Так ты чтишь предков, так почтут и тебя. Иди от меня.

Испугалась Сим-чен еще больше и все рассказала отцу.

Заплакал слепой:

— О, дочь моя, дочь, зачем ты так сделала,— я запрещаю тебе.

И он пошел к купцам и сказал им:

— Не отдам я вам свою дочь, берите свой рис назад.

— Рис мы уже отправили в монастырь,— ответили ему купцы.

Тогда старик упал на землю, рвал на себе волосы и кричал:

— Зачем отнимают у меня дочь? На что мне на старости лет глаза, чтобы выплакать их опять? Она молодая, я старый...

Но Сим-чен нежно обнимала его и говорила:

— Не говори так, отец: часто на старом дереве цветут цветы, и нет их на молодом... Это воля богов, и я не боюсь смерти...

Так ушла Сим-чен с купцами, и ее провожали подруги, которым говорила она:

— Не плачьте обо мне, а если вы меня любите, то кормите моего отца и ходите за ним так, как ходила я. Не плачьте, потому что я не боюсь смерти и рада умереть за своего отца.

Все пришли и все слышали ее слова, и глава рода их, старик, еще больший, чем ее отец, сказал ей:

— Ты великая девушка, и надо, чтобы всякий делал то, что он может. Ты не умрешь и из рода в род будешь жить с нашими предками, и между первыми из них ты будешь первая.

И, повернувшись к Сим-поису, он сказал ему:

— А ты ее отец, и твой почет с ней.

Так сказал древний, как век, старик, глава их рода, и что сказал он, то так и будет.

И все это слышали и плакали.

И плакали купцы и прибавили еще денег на пропитание слепого Сим-поиса.

А потом они сели на корабль и увезли с собой Сим-чен.

Сперва они плыли благополучно, море было тихое, и часто на его поверхности показывались русалки.

Они кивали Сим-чен головой и жалели ее.

Сим-чен сидела и тоже грустно кивала и думала:

«Скоро, скоро мы с вами увидимся».

А потом поднялась буря, и спряталось солнце в своем золотом дворце. И с громом запирались окна дворца темными ставнями, и стало темно, и бешеные волны поднялись выше корабля.

Тогда Сим-чен потребовала себе сосуд с чистой водой — чен-хвашу — и стала молиться за спутников.

Помолившись, она мужественно подошла к борту корабля и, закрыв глаза руками, бросилась в бушующее море.

— Так прекраснейшая из прекраснейших роз, «канг-сенхва» оторвана от родной ветки и унесена неумолимым потоком, — сказал один из купцов, в то время, как остальные в немом ужасе смотрели в мрачные и темные бездны океана.

Но уже конец страшной буре, отворяются двери золотого дворца солнца, и уже глядит оно из-за рядов своих и золотистых, и пурпурных, и оранжевых башен, из своей нежно-лазуревой дали, на убегающий по зеленопрозрачным волнам корабль.

ЧЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Когда-то в Сеуле жил бедный, но честный человек.

Он был честный, но беспокойный, — до всего ему было дело.

Родственники достали ему место сторожа городских ворот.

Надо было ему смотреть, куда из города ходит один из министров.

Он ходил к своей возлюбленной, и сторож всем об этом рассказал.

Министр приказал его отстегать плетью и прогнать, но, к счастью, скоро и самого министра за излишнее воровство отстегали и сослали в ссылку или отдали в рабство.

А сторож опять получил свое прежнее место. Но и на этот раз он не долго ужился на нем.

Заметил сторож, что красивый бонза, как только наступит вечер, входит в город.

— Зачем он из своего монастыря шляется сюда каждую ночь? Это не просто.

И вот однажды, заперев ворота, он выследил, в какую фанзу скрылся монах.

Это был дом очень богатых людей.

Бонза вошел в женское отделение.

— Ого,— сказал сторож и осторожно подкрался к окну. Окна в Корее бумажные, и, сделав маленькое отверстие, сторож мог видеть все, что происходит в комнате.

Там спал маленький, лет десяти мальчик, а возле него сидела красивая женщина. Это была жена мальчика.

Каждый раз, как мальчик-муж засыпал, к ней приходил монах — бонза, и всю ночь они целовались.

Сторож видел, как и теперь монах обнял чужую жену, и слышал, как он говорит ей:

— Мне надоело так тайком ходить к тебе, я убью твоего мужа, и тогда поневоле ты пойдешь за мной. Мы уйдем далеко отсюда и будем самыми счастливыми людьми.

Он уже вынул нож, но в это время сторож, открыв окно, бросился в комнату, выхватил у бонзы нож и заколол его и жену.

От шума проснулся мальчик.

— Как ты смел убить мою жену? — крикнул он и бросился на сторожа.

— О, глупый,— сказал ему сторож и толкнул его так, что он упал, а сторож выскочил в окно.

— Ну,— сказал он сам себе,— теперь я так хорошо устроил свои дела здесь, что мне только остается, что быть повешенным.

Он этого не хотел и, бросив дом и семью, в глухую ночь бежал из Сеула.

Прошло много лет.

Муж-мальчик вырос, дослужился до министра и вышел в отставку.

Но он никогда не оставлял мысли отомстить за жену.

Выйдя в отставку, он поселился в одном городе и открыл даровой ночлежный приют.

Каждого, кто приходил, он расспрашивал, кто он и откуда.

А приходило много: всякий хотел даром поесть и поспать.

Вот однажды пришел один старик.

— Отчего ты, старик, такой печальный?

— Оттого, что я не нашел правды на земле. Все, кому я делал добро, все они выходили моими злейшими врагами. На старости лет я нищий, навсегда разлученный со своей семьей.

— Почему ты с ней разлучен?

Старик рассказал все.

— Я искал тебя, чтобы убить, а между тем ты спас мою жизнь,— сказал хозяин.

Он обнял старика, дал ему много денег и сам отвез его к его семье, в Сеул.

КО И КИЛИ-СИ

Когда-то жил в одном городе молодой человек, по имени Ко. Он был беден и служил работником у своего соседа. Он был трудолюбив, хорошо обращался со своими товарищами, и поэтому все любили его. И так как он был не женат, то все хотели, чтобы он женился. Однажды для этого жители города собрались на совещание и решили, что девушка, по имени Кили-си, слава о которой далеко ушла за пределы города, лучше всего подойдет к нему. Отец девушки тоже был согласен. Таким образом Ко женился на Кили-си.

Был выбран для свадьбы как раз тот день, который лучше всего подходил к ним. Это был восьмой день третьего новолуния.

Когда, после свадьбы, молодые были отведены в их помещение, Кили-си сказала Ко:

— Ты молодой и способный человек, ты можешь сделаться большим человеком, и время у тебя есть. Тебе всего восемнадцать лет. Я люблю тебя, но хочу любить еще больше. И я не буду твоей женой до тех пор, пока ты не научишься читать, писать, пока ты не узнаешь всех наук.

— Но для этого надо не меньше десяти лет,— вскричал Ко.

— Десять лет в работе скоро пройдут, а я буду ждать тебя и заниматься хозяйством.

— Я исполню твое желание, но через год. А этот год я хочу прожить с тобой, потому что ты прекрасна и я люблю тебя.

— Нет, если ты теперь не исполнишь моей просьбы, то через год я ничего не буду для тебя стоить. Если же ты действительно любишь меня, то сделай, о чем прошу.

— Хорошо,— сказал Ко,— я исполню твое желание, но я тоже ставлю условие: ты должна быть на эту ночь моей женой, и затем я уйду и возвращусь опять к тебе через десять лет, когда буду таким, каким ты желаешь меня видеть.

— Хорошо, я исполню твое желание, но сперва мы должны заключить условие между собой.

Она обрезала свой третий палец правой руки и из полившейся крови сделала знаки клятвы на краю своей юбки. Затем она оторвала написанное, разорвала пополам, одну половину отдала ему, а другую спрятала у себя.

На другой день, когда все проснулись, Ко уже не было, и никто не знал, куда он ушел.

Кили-си дала Ко на дорогу несколько книг и немного денег.

Ко шел по дороге и думал, как он может сделаться ученым человеком. Так шел Ко и пришел в одно селение.

Проходя по улице, около одной фанзы, он услышал голоса учившихся школьников и сообразил, что это школа. Тогда он вошел в нее и сел.

Учитель спросил его:

— Кто ты?

— Я ученик,— ответил Ко.

— Где твои книги?

Ко показал.

— Прочти,— сказал учитель.

Но Ко не умел читать.

— Ты не ученик, а мошенник, ты хочешь только даром чумизу есть. Мои ученики уже много знают, и некому здесь с тобой возиться: иди.

И Ко ушел.

— Нет, никогда мне ничему не выучиться,— сказал он: — лучше я пойду в лес, и пусть меня разорвут тигры.

И он ушел в лес. Он шел все дальше и дальше и зашел в такую чащу, что потерял дорогу. И хотя он и хотел умереть, но когда услышал возле себя шум, то, подумав, что это тигры, быстро спрятался.

Но это были не тигры, а монахи, монастырь которых под черепичной крышей стоял в этом лесу.

— Это тот самый мошенник, который прошлой ночью хотел нас обокрасть,— сказал один монах.

И все бонзы тогда стали бить Ко.

А потом его связали и отправили в тюрьму.

Три дня Ко молчал от страха.

Но потом, когда пришел главный начальник, таса, и сказал, что Ко не имеет вида разбойника, и заговорил с ним ласково, Ко пришел в себя и рассказал все, что с ним случилось.

— Хорошо,— сказал начальник,— если ты действительно хочешь учиться, то оставайся у меня, носи дрова в дом, а я буду сам учить тебя.

Так и сделал Ко. Пять лет он прожил у тасы, и сказал ему таса, что он может идти в Сеул и держать там экзамен на какую хочет должность в Сеуле.

Тогда еще в Сеуле не продавали за деньги должностей.

И, хотя десять лет, положенных ему его женой, не прошли, но Ко пошел в Сеул.

Там ему и другим назначили день экзамена.

Сам король задал всем такую задачу:

«Соип-охы-ую-си-дзюн», что в буквальном переводе значило: «смех, женщина, виноторговля, центр».

Из всех Ко один и прочел и истолковал, что хотел этим сказать король.

Вот что он хотел сказать:

— «В центре города есть виноторговля, где торгует красивая женщина и своим весельем и смехом привлекает всю молодежь».

Ко дали лучшую должность Пон-эса, что значит ревизор всех провинций.

Прошло еще три года, и, хотя срок еще не истек, Ко решил посетить родину.

Но он приехал и остановился в фанзе, где его никто не знал.

— Скажите мне,— спросил он,— есть здесь человек, по имени Ко, и что вы знаете о нем?

— Да, восемь лет тому назад,— ответили ему,— был здесь Ко, но после свадьбы он ушел, и с тех пор никто больше его не видел.

— Куда ушел он?

— Мы не знаем,— здесь осталась только жена его.

— Что это за женщина?

— Это очень добродетельная женщина. Она выстроила себе прекрасную под черепичной кровлей фанзу и живет там со своим сыном, которому семь лет. Она устроила школу, где бесплатно занимаются наши дети.

— Я ревизор,— сказал Ко,— и должен осмотреть школу.

— Идите туда, там вас встретит полное гостеприимство, хотя самой хозяйки вы и не увидите, так как после ухода мужа она никому не показывается.

Когда Ко пришел в школу, все ученики его ждали. Он вызывал каждого из них и спрашивал фамилию.

Один из них, на вопрос, как его фамилия, ответил:

— Меня зовут Ко.

Но отец не выдал себя и, кончив экзамен, ушел.

Прошло еще два года.

Кончилось десять лет, и Ко поехал опять к себе на родину.

Он опять пришел в школу и сказал сыну:

— Я хочу видеть твою мать.

— Мою мать нельзя видеть.

— Отнеси ей эту вещь.

Это была половина лоскутка, исписанная десять лет тому назад ее кровью.

Сын молча ушел к матери.

— Там какой-то чужой человек желает тебя видеть и дал этот лоскуток.

Кили-си, как только увидела лоскуток, крикнула:

— О, сын мой, зови его.

— Мать, что это значит? Разве это твой муж?

— Да, это мой муж и твой отец.

Так возвратился домой Ко, сдержавший свое слово, и зажил со своей верной и умной женой.

К Л Я Т В А

У Ян-сын-шеня, министра, был сын Ян-сан-бэги, который до тринадцати лет учился дома, а затем отправился в монастырь к бонзам кончать свое образование,

чтобы к своему совершеннолетию, шестнадцати годам, быть вполне образованным человеком.

По дороге в монастырь он проходил как-то под вечер мимо одной фанзы, принадлежащей простому сельскому дворянину Хуан-сан-ше.

Дочь этого дворянина, тринадцатилетняя красавица Хуан-чун-вонлей, увидав юношу, послала рабу спросить, как его зовут.

Когда раба принесла ответ, девушка сказала:

— А спроси его, не хочет ли он немного отдохнуть с дороги?

Ян-сан принял предложение и вошел в дом. Когда он разговаривал с хозяином фанзы, отцом Вонлей, последняя вызвала отца и сказала ему:

— Позволь мне, отец, выйти к этому юноше.

— Но разве возможно это, — ты девушка, да к тому же просватанная?

— Отец, я переоденусь мальчиком.

Вонлей была единственная и к тому же балованная дочь, и она так горячо просила, что отец наконец согласился.

Девушка, переодевшись мальчиком, вышла к гостю, и они очень скоро подружились.

— Когда вы родились? — спросила юношу Вонлей.

— Я родился тринадцать лет тому назад, в третью луну, пятнадцатого дня, в обеденную пору.

— Как это удивительно, — сказала девушка, — ведь это мой год, день и час рожденья.

Гость, по приглашению отца, остался у них ночевать.

Дочь же опять пристала к отцу с новой просьбой — отпустить ее с этим юношей к бонзам учиться.

— Отец, я оденусь мальчиком, и, клянусь тебе именем покойной матери, никто никогда не узнает, что я девушка. А в 16 лет вернусь и выйду замуж за того, кого ты назначил мне в мужья. Эти же три года, единственные, которые остаются у меня свободными, позволь мне употребить на приобретение знаний, так как знание есть счастье.

Это было верно, и многие из подруг Вонлей, как и она, знали уже хорошо и мужскую и женскую грамоту.

Долго не соглашался отец. Но она так просила, плакала и уверяла, что умрет, если отец не исполнит ее желание. Отец наконец сдался.

Он взял с нее еще раз клятву, что она не откроет своего пола.

— Будь покоен, отец, я исполню свой долг.

— Что бы вы сказали,— спросила на другой день Вонлей своего гостя,— если бы и я пошел с вами учиться к бонзам?

Ян-сан был очень рад этому и сказал, что само небо посылает ему такого товарища.

После этого они отправились в монастырь. Это было прекрасное путешествие. Когда приближалась ночь, они разводили костер, чтобы не съели их тигры и барсы, и весело разговаривали. Затем они ложились спать и беззаботно спали до утра.

Однажды Вонлей сказала:

— Мы товарищи; почему нам не говорить друг другу «ты»?

И они стали говорить друг другу «ты».

— Мы родились с тобой в один и тот же час,— сказала Вонлей на другом привале,— так нам надо побрататься.

И они побратались.

Для этого они написали своей кровью свои имена на одежде, отрезали написанное и, обменявшись, спрятали эти знаки у себя на груди.

Когда же они пришли к бонзам, великий Тоин (предсказатель) стал учить их всем наукам.

Ян-сан и Вонлей не могли жить друг без друга и никогда не разлучались.

— Скажи мне,— спросил однажды Ян-сан девушку,— отчего ты спишь всегда в платье, когда обычай наш спать голыми?

— Когда я был маленьким, я так заболел, что чуть не умер,— ответила Вонлей,— тогда отец дал клятву, что, если я выздоровею, то до 16 лет буду спать в одежде.

Однако от мудрого Тоина не скрылся пол Вонлей. Когда обоим исполнилось 15 лет, он послал их купаться.

— Ты ничего не заметил, внук мой? — спросил Тоин Ян-сана, когда они возвратились с купанья.

— Я ничего не заметил, дед мой, кроме того, что брат мой, который купался выше меня по реке, порезал себе ногу, и потому на реке показалась кровь.

Прошел еще год, ученье кончилось, обоим минуло 16 лет, и Тоин, призвав Ян-сана, сказал ему:

— Внук мой, ты кончил ученье, и пришло время избрать тебе подругу жизни, потому что жизнь человека, не имеющего потомства, ничего не стоит. Такой человек как будто не жил. И ты заслуживаешь по своим знаниям, трудолюбию и чистоте души лучшей из женщин. Она ближе, чем ты думаешь, к тебе. Я говорю о твоём товарище. Знай, это девушка и лучшая из девушек.

Вечером Ян-сан сказал Вонлей:

— Недаром так рвалось мое сердце к тебе, недаром так любил я тебя, и теперь, когда мы все знаем, что мешает нам, если ты любишь меня, стать мужем и женой?

— Люблю ли я тебя? — ответила Вонлей. — Я полюбила тебя прежде, чем ты меня. Но разве ты забыл, что мы братья теперь?

— Я стал твоим братом обманом и не признаю своих обязательств, — сказал Ян-сан, снимая амулет. — Возьми его назад.

— Но для меня это остается обязательством, — ответила она.

Тогда Ян-сан обнял Вонлей и сказал:

— О, Вонлей, зачем, когда наступило время нашего счастья, ты мучишь меня?

И он стал так горячо просить Вонлей, что она сказала ему:

— Хорошо, но я должна сперва снять зарок с себя. Спи: когда я его сниму, я приду к тебе.

Ян-сан заснул, а когда проснулся, то, вместо девушки, увидел возле себя только письмо от нее.

«Мой возлюбленный, — писала она, — тебя я полюбила и останусь тебе вечно верна. Но твоей я буду в вечности».

Ян-сан ничего не понял из этого письма и бросился догонять Вонлей.

Так он дошел до ее дома, не догнав ее.

Его встретил отец Вонлей и заявил ему, что его дочь уже семь лет, как сосватана. И, хотя жених ее не такого знатного рода, как он, Ян-сан, но слово дано, и ни земля, ни небо ничего не могут изменить здесь.

— Можно, по крайней мере, увидеть ее? — спросил Ян-сан.

— Нет, — ответил отец.

Ян-сан не мог жить без Вонлей.

Отец и мать обрадовались, увидев сына, но радость их сменилась горем, когда заметили они, что сын их болен.

Скоро положение Ян-сана стало безнадежным, и, умирая, он сказал:

— Я умираю от любви к девушке, имя которой Хуан-чун-вонлей. Здесь ничего нельзя изменить, потому что она уже сосватана. Когда я умру, похороните меня у той дороги, по которой муж Вонлей поедет со своей женой.

Там его и похоронили.

А Вонлей обвенчалась с человеком, которого отец ее выбрал семь лет тому назад.

Но отец, пользуясь своим правом, не сразу отпустил Вонлей к мужу, а удержал ее у себя в доме еще три года.

Все это время Вонлей только и делала, что стирала свое свадебное платье, и сделалось оно наконец тонкое, как паутинка.

Через три года приехал муж за Вонлей и увез ее к себе в дом.

Когда они проезжали мимо могилы Ян-сана, сидевшая на дереве зеленая птичка запела какую-то нежную песенку, от которой в первый раз после трех лет на бледных щеках Вонлей показался румянец.

Она остановила свою лошадь и сказала мужу:

— Это могила моего брата,— и Вонлей в доказательство показала лоскут, на котором кровью было написано имя Ян-сана,— позволь же мне, согласно законам нашим, помолиться о нем.

Муж не мог отказать жене в этой просьбе.

Подойдя к могиле, Вонлей сказала:

— Теперь, когда я исполнила волю моего отца, могила, раскройся и пусти меня к тому, кого одного я люблю и буду вечно любить.

Могила раскрылась, Вонлей вошла в нее, и могила снова закрылась.

Муж хотел было удержать ее за платье, но платье разорвалось, как паутина.

— И все-таки ты не будешь лежать с ним рядом,— сказал муж.

Он разрыл могилу, нашел там много костей и стал растаскивать их в разные стороны. Но кости опять спол-

зались вместе, и опять он разлучал их, пока не раздался грозный голос с неба:

— Человек земли, это я, Великий Оконшанте, говорю тебе: все земные счета для этих лежащих в могиле окончены. Теперь это только мои дети: оставь же их.

Могила закрылась, а муж уехал к себе домой уведомить родных Вонлей о случившемся и скоро женился на другой девушке.

Наступил праздник жатвы, который бывает ежегодно в восьмую луну пятнадцатого дня. По обычаю, так как в этот день поминают усопших, родные Ян-сана и Вонлей собрались на могиле своих детей. Тогда прилетели две птички, красная и зеленая, и запели какие-то нежные песни.

А когда обряд поминовения был кончен, с неба спустились две прекрасные небожительницы в белых одеждах, и каждая из них держала в руках по пяти цветков: белый, голубой, красный, желтый и черный. Небожительницы коснулись своими жезлами, и могила раскрылась. Они бросили туда белые цветы, и образовались скелеты. Бросили голубые цветы, и образовались жилы. Бросили красные, потекла кровь. Бросили желтые,— образовалось тело. Бросили черные,— души вошли в тело, и, счастливые и радостные, Ян-сан и Вонлей вышли из могилы.

Небожительницы сказали:

— Это хозяин неба, Великий Оконшанте, уже не как ваших, а как своих детей, возвращает их вторично на землю и дает им то счастье, которое отняли у них люди.

Ян-сан и Вонлей жили очень счастливо, имели много детей. Так как они уже умирали, смерть не коснулась их вторично: в день, когда им минуло восемьдесят лет, к ним спустился дракон и на глазах всех унес их на небо, к отцу их, Великому Оконшанте.



ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

1. Кабинетские земли, составлявшие царскую собственность и находившиеся в ведении так называемого «Кабинета его величества», в Сибири занимали громадную площадь. В них, кроме описываемых Гариным земель Алтайского горного округа (включавшего в себя богатейший угольный район — Кузнецкий бассейн), общей площадью около 450 тыс. кв. км, еще входили, упоминаемые Гариным ниже, Нерчинские степи, площадью около 100 тыс. кв. км.

2. Поселок, основанный в начале девяностых годов прошлого века в связи с проведением сибирской железной дороги, о котором пишет Гарин, положил основание современному городу Новосибирску. В 1897 г. он уже насчитывал около 8 тыс. жителей; в 1903 г. поселок был переименован в безуездный город Николаевск, население которого в 1917 г. возросло до 70 тыс. Новосибирском он был назван в 1925 г.

Этот город особенно сильно вырос в годы советской власти, превратившись в крупный железнодорожный узел на Сибирской магистрали и важнейший промышленный центр всей Сибири. В 1939 г. население Новосибирска составляло 405 тыс. человек.

3. Вопрос об обходе железнодорожной магистрали города Томска возник в девяностых годах в связи с проектированием среднесибирского участка этой магистрали. Изыскательские работы, которыми на этом участке дороги руководил Гарин, показали, что, в случае проведения железной дороги через Томск, пришлось бы ее направить или по болотистой местности, если поворот на Томск начинался не доходя реки Оби, или по гористому водоразделу последней и реки Томи, если поворот на Томск начинался после пересечения Оби. В обоих случаях строительство дороги сильно удорожалось (до 4 млн. руб.) и значительно усложнялась на проектируемом участке эксплуатация будущей линии. С этой точки зрения, более удобным представлялся поворот линии на Томск после пересечения реки Томи. Однако и в этом случае дорога прошла бы по сильно пересеченной местности и постройка ее потребовала бы, кроме значительных земляных работ, также возведения весьма дорогих искусственных сооружений. Исходя из этого, а также учитывая относительно малое экономическое значение Томска и целесообразность сокращения пути для транзитных грузов, был принят разработанный Гариным вариант проведения магистрали в обход Томска, в 85 км южнее последнего. В этом проекте предусматривалось впоследствии

соединить Томск с Сибирской магистралью посредством специальной ветки.

4. Октябрьская железная дорога (бывшая Николаевская), соединяющая Москву с Ленинградом, была построена в 1851 г. Она являлась одной из первых железных дорог России. До нее в России существовала Царскосельская железная дорога (С.-Петербург — Царское село — Павловск), сооруженная в 1838 г.

5. Здесь имеются в виду характерные для Байкала сейши — стоячие волны, во время которых приходит в колебание вся водная масса озера. Происхождение сейш связано с быстрыми изменениями атмосферного давления в одной части озера (внезапные удары ветра с гор и т. п.), вызывающими понижение уровня воды и повышение его в другой части озера. При этом создается колебательное движение уровня воды, вызывающего стоячие волны. На Байкале амплитуда сейш колеблется от 1 см до 14 см. Чаще всего наблюдаются сейши наиболее высокие и наиболее продолжительные (до 4—5 часов). Обнаружено, что сейши на Байкале существуют и под ледяным покровом.

Впадина Байкала — тектонического происхождения; она оформилась в третичное время, однако и в настоящее время в области Байкала происходят перемещения земной коры. С ними связаны землетрясения, которым подвержены берега озера.

6. Чингисхан — организатор Монгольской империи — родился (около 1155 г.) в верхнем течении Онона, берущего начало на склонах хребта Кентей, на территории Монгольской Народной Республики. Его армия, состоявшая в основном из конницы, в период завоевания Хорезма (1220—1224 гг.) достигла 230 тыс. человек.

7. Кяхта — город на границе СССР и Монгольской Народной Республики, была основана в начале XVIII столетия как важнейший центр пограничной торговли России с Китаем. Однако уже в середине XIX в., в связи с заключением Тяньцзинского трактата (1858 г.), открывшего русским доступ внутрь Китая, торговое значение Кяхты значительно упало. Оно было еще сильнее подорвано в конце прошлого столетия в связи с развитием морской торговли с Китаем и с проведением Сибирской железной дороги.

8. Сосланные в Сибирь декабристы отбывали каторжные работы в Нерчинских рудниках с лета 1826 г. В 1827 г. каторжную колонию декабристов из Нерчинских рудников перевели в Читу, а осенью 1830 г. — в Петровский завод.

9. Хотя вопрос о постройке сквозного рельсового пути через Сибирь до берегов Тихого океана поднимался не раз, начиная с середины прошлого столетия, к строительству его было приступлено только в 1891 г. Дорога сооружалась одновременно с двух противоположных концов: от ее конечного пункта на западе — ст. Миасс (Урал) в направлении на восток и от Владивостока на запад. Впоследствии эти линии должны были сомкнуться, образовав сплошную железнодорожную магистраль через Азиатский континент.

В описываемое Гариным время были сооружены только части будущей магистрали: ее западносибирский участок между Челябинском и рекой Обью, среднесибирский участок от р. Оби до г. Иркутска, а также конечный участок магистрали между Владивостоком и Хабаровском. Но еще не были построены средние звенья Сибирской магистрали — так называемая Кругобайкальская линия от Иркутска

до Мысовой (на восточном берегу озера Байкал), Забайкальская линия от Мысовой до Сретенска и Амурская линия от Сретенска до Хабаровска. На этом, еще недостроенном отрезке железнодорожного пути поддерживалось сообщение на лошадях и по воде, на ненадежность которого указывает Гарин в своих записях.

Сквозное железнодорожное сообщение по Сибирской дороге было открыто в 1899 г. Однако до 1906 г., когда был достроен труднейший участок дороги — Кругобайкальская линия, поезда через Байкал перевозились на паровых паромах.

10. Здесь описывается Нерчинский хребет, расположенный между Шилкой и Аргунью. Он представляет плосковершинное горное поднятие, высотой до 1300 м. Склоны его покрыты горнотепной растительностью.

11. Гинцбург Гораций Осипович (1833—1909 гг.), барон, крупнейший представитель еврейской финансовой буржуазии в дореволюционной России. Владелец одного из крупнейших банков в Петербурге, крупный золотопромышленник России, Гинцбург проявлял большую активность также на Дальнем Востоке, являясь одним из проводников авантюристической политики русского царизма в Корее и Маньчжурии. В Корее он добивался получения концессий на разработку лесов и минеральных богатств, а также на постройку железной дороги из Син-Ыйчу в Сеул.

12. Желтугинская золотопромышленная «республика» (или «Амурская Калифорния») — небольшое приисловое поселение, существовавшее с 1883 г. по 1886 г. на берегу китайской реки Желтуги (правый приток Амура), где были обнаружены богатейшие золотоносные площади.

Китайское и русское население этой «республики», общим числом около 20 тыс. чел., управлялось на основе выработанных им самим законов, не подчиняясь китайским властям. Большой наплыв старателей-иностранцев на китайскую территорию сильно встревожил китайское правительство, которое в начале 1886 г. направило на Желтугу специальный военный отряд; ликвидировавший поселение золотоискателей. Значительная часть населения «республики» перешла на русскую территорию, часть же была перебита китайскими войсками.

13. Ли-Хун-Чан (1823—1902 гг.) — крупнейший государственный деятель второй половины прошлого столетия в Китае, именовавшийся «китайским Бисмарком». Им, от имени китайского правительства, подписывался Симоносекский договор, после неудачной для Китая японо-китайской войны 1894—1895 гг., а также договоры с Россией на постройку восточного отрезка Великой Сибирской дороги через Маньчжурию — КВЖД (1896 г.) и об аренде Россией Порт-Артура (1898 г.). Ли-Хун-Чан являлся крупным предпринимателем, владевшим предприятиями в собственно Китае и в Маньчжурии.

14. Золотоносность маньчжурской территории во времена Гарина сильно преувеличивалась. Это отчасти объясняется деятельностью Желтугинской «республики» и связанной с ней «золотой лихорадкой» в Маньчжурии в тот период.

15. Маньчжуры, коренные жители Маньчжурии, вскоре после установления в Китае власти маньчжурских императоров (1644 г.) в большом количестве переселились со своей родины в Китай. Вместе с тем из Китая в Маньчжурию шел все увеличивавшийся поток китайских переселенцев, в массе которых со временем растворилось

оставшееся в Маньчжурии коренное население этой страны. От китайцев они переняли их язык, культуру, обычаи.

Маньчжур, до некоторой степени еще сохранивших свои национальные черты, в Маньчжурии насчитывается всего несколько десятков тысяч. Они расселены отдельными группами в районах, затронутых китайской колонизацией сравнительно позднее: долина Амура близ Айгуня, верховья р. Нонни, долина р. Муданьцзян.

16. В экономическом развитии города Благовещенска, кроме золотодобычи, большую роль играло также его выгодное транспортное положение на берегу судоходной реки Амур у впадения в последнюю крупного притока — реки Зен, а также сельскохозяйственное освоение плодородной Зейско-Буреинской равнины, расположенной в непосредственной близости от города по левому берегу Амура между Зеей и Буреей.

17. Здесь говорится о горах Малого Хингана, заполняющего собой пространство между Амуром и нижним течением Сунгари в Маньчжурии. Главный хребет Малого Хингана в своей восточной части разветвляется, и одна его ветвь уходит в северном направлении к долине Амура и продолжается по левому берегу этой реки уже на территории Советского Союза.

Хребты Малого Хингана имеют сравнительно небольшие высоты (до 1 000 м), отроги же их снижаются до высоты 500—300 м.

18. Морская корова (*Rhytina stelleri*) — морское млекопитающее из того же отряда сирен (*sirenia*), к которому относится и ныне обитающий дюгонь (*Dugong*). Очень крупное животное, до 10 м длиной и до 20 т весом. В прошлом морские коровы населяли район островов Беринга и Медного; попадались у берегов Камчатки, но уже в XVIII столетии были полностью истреблены промышленниками.

Гарин ошибочно предполагает, что морские коровы выходили пастись на берег. В действительности они, будучи ластоногими, не могли «выходить» на луга, а паслись на подводных «лугах» из морских водорослей.

19. Город был основан в 1858 г. в виде военного поста (у впадения Уссури в Амур) и был назван Хабаровском по имени известного сибирского землепроходца Ерофея Хабарова, которым на месте современного города в середине XVII в. было основано зимовье.

Город стал быстро развиваться только в советский период, превратившись в крупный промышленный центр на Дальнем Востоке. Население Хабаровска, составлявшее в конце прошлого столетия 15 тыс. человек, увеличилось в 1923 г. до 34 тыс. В 1931 г. оно составляло 77 тыс., а в 1939 г. — 199,3 тыс.

20. Частые туманы в районе Владивостокского порта связаны с тем, что это побережье омывается Приморским или «лиманным» течением, несущим холодную воду из Татарского пролива.

21. Во времена Гарина все женатое мужское население Кореи еще носило прическу: волосы со всех сторон зачесывались вверх и перевязывались на темени в пучок величиной с кулак. Для закрепления волос в пучке употреблялись медные, серебряные и другие шпильки. В настоящее время такие прически в Корее можно встретить очень редко и только среди стариков.

22. Генрих Гогенцоллерн (1862—1929 гг.) — прусский принц, брат Вильгельма II. В 1897 г. он командовал военной экспедицией в Китае, захватившей бухту Цзяочжоу и отличившейся жестокими

расправами с мирным населением китайской провинции Шаньдун. Он являлся активнейшим проводником политики территориальных захватов германского империализма в странах Тихого океана.

Посещение принцем русского дальневосточного порта совпадало по времени с периодом наибольшей активизации захватнической политики Германии на Дальнем Востоке. В марте 1898 г. в Пекине был подписан германо-китайский договор, фактически превращающий всю Шаньдунскую провинцию в сферу германского «влияния». Приблизительно в это же время Германия делает попытку прямого вмешательства в военные действия между США и Испанией, с целью захвата Филиппин. Проводя агрессивную политику, Германия вместе с тем подталкивала русский царизм на Дальнем Востоке, обеспечивая себе поддержку последнего.

23. Новокиевск (Новокиевское или Янчиха, современное Кра-скино) расположен на северном берегу бухты Экспедиции на пути из Владивостока к корейской границе. Он служил отправным пунктом для большинства русских путешественников и географических экспедиций, направлявшихся в Корею.

24. Здесь и ниже Гарин говорит об участниках севернокорейской экспедиции, в составе которой он работал, находясь в Корее:

А. И. З.—Александр Иванович Звегинцев, начальник экспедиции.

Н. А. К.—Николай Андреевич Корф (барон, подполковник), являлся помощником начальника этой экспедиции.

Н. Е. Б.—Н. Е. Борминский, техник, находился в партии Гарина.

А. П. С.—А. П. Сафонов, инженер путей сообщения, являлся помощником Гарина по экспедиции, возглавляя отдельный отряд. Он обследовал среднее течение реки Туманганг.

С. П. К.—С. П. Кишенский, возглавлял геологическую партию экспедиции.

В. А. Т.—В. А. Тихов, возглавлял партию по исследованию лесов в бассейне Туманганга и Амнокганга.

25. Низкие четырехскатные крыши корейских построек часто закрепляются веревочными сетями для предохранения соломенных кровель от сильных ветров, очень частых на морских побережьях Дальнего Востока.

В корейских постройках значительная высота дымовых труб и расположение их вне дома в противоположном по отношению к кухне конце его связаны с применяемой в Корее системой так называемого канового отопления: для обогрева жилых помещений используются горячие газы кухонного очага. С этой целью под всем полом дома выложен из камня разветвленный дымоход, который соединяет кухонный очаг с дымовой трубой. Увеличением высоты трубы достигается усиление тяги.

Двери и окна в этих постройках, делающиеся в виде решетки из тонких тщательно выстроганных деревянных планок, оклеиваются прозрачной бумагой, которая заменяет оконное стекло.

26. Гаолян (*Sorghum japonicum*) — вид культурного сорго. Однолетнее растение с мощным стеблем до 2—3 м вышиной, с довольно широкими листьями и метельчатым густым соцветием. В восточноазиатских странах гаолян возделывается как хлебная культура, находящая разнообразное применение в крестьянском хозяйстве. Зерна его население употребляет в пищу (в виде каши, лепешек),

для производства местной водки, а также в качестве корма скоту. Стебли гаоляна используются для производства цыновок, изгородей и при постройке каркасов глинобитных построек.

Разнообразие применения, а также высокая урожайность (до 1,5—2 т с га), неприхотливость к почвам и засухоустойчивость гаоляна объясняют очень широкое распространение этой культуры в Маньчжурии, Корее и Северном Китае.

27. Деревня Ханси расположена на западном берегу бухты Экспедиции в пределах Советского Приморья. В прошлом она нелегально использовалась населением Восточной Маньчжурии в качестве порта в Японском море.

28. Чумиза, правильное гуцза — китайское название злака, известного также под названием итальянского проса (*Panicum* или *Setaria italica*). Однолетнее растение со стеблем высотой от 0,75 до 1,0 м и с крупной метелкой. От обыкновенного проса оно отличается соцветием и более мелкими зернами. Посевы гуцзы на Дальнем Востоке имеют очень широкое распространение, что объясняется большим хозяйственным значением здесь этой засухоустойчивой и высокоурожайной культуры. В Маньчжурии она возделывается как одно из основных хлебных растений: используется для производства муки и крупы. Солома гуцзы, превосходящая по питательности солову овса и ячменя, высоко ценится в качестве корма для скота.

29. Соя (*Glucine* (*Soja*) *hispida*) — важнейшая культура Маньчжурии, возделываемая как пищевое, масличное и кормовое растение. Всего насчитывается до двухсот сортов сои, из которых наиболее ценятся желтые бобы; последние занимают подавляющую часть посевной площади всех бобовых в Маньчжурии и Северном Китае.

Продовольственное значение сои в странах Восточной Азии исключительно велико. Соевые бобы, содержащие до 30—40% белков и 14—22% жиров, в значительной степени восполняют недостающие в этих странах продукты животного происхождения. Китайским населением из сои изготавливаются: соевое молоко, очень богатое белками, соевый творог, по своему химическому составу приближающийся к мясу, соевая мука, идущая добавкой к пшеничной муке, увеличивая питательность хлеба. Из соевых бобов в Китае и других восточноазиатских странах изготавливаются различные соусы и острые приправы, а незрелые зерна и ростки сои идут в пищу как зелень.

30. Здесь имеются в виду жертвенники, устраивавшиеся корейцами наподобие жертвенников на священных местах у друидов — жрецов у кельтских народов в древней Галлии и Британии.

31. Заселение Приморья началось с шестидесятых годов прошлого столетия, после того, как было юридически оформлено присоединение этого края к России. Особенно же усилилось переселенчество в Приморье после того, как в 80-х годах русское правительство организовало переселение на Дальний Восток морским путем.

32. Туманганг — пограничная река между Кореей с одной стороны и Советским Союзом и Маньчжурией с другой. Река начинается у восточного подножья вулкана Пектусан (Байтоушань) и, протекая по глубокой и узкой долине между Северо-корейскими и Восточно-маньчжурскими горами, впадает в Японское море на границе Советского Союза с Кореей. Длина реки 521 км. В своем нижнем течении она довольно широка (300 м и более), но многоводной бывает очень короткое время — в период паводков. Река почти не

судоходна; даже в период паводков по Тумангангу могут подниматься, не более чем на 100 км от устья, только шаланды (грузовые баржи) и плоскодонные джонки — небольшие мачтовые суденышки с осадкой не более 1—1,5 м.

Судоходство на реке сильно затрудняется из-за песчаных наносов, приносимых водами Туманганга с каждым паводком. Гарин, специально обследовавший нижнее течение Туманганга в судоходном отношении, пишет об этом участке реки следующее: «От Кёнгхынга до устья Туманганг протекает широкой долиной. Берега реки песчаны, река разливается широко; она мелка, со множеством песчаных отмелей. Фарватер реки изобилует такими же мелями, и всякая высокая вода приносит с собой новые груды песка. Меры против этого песка возможны — постоянные расчистки, канал в бухту Гашкевича (до 200 сажень) или в бухту Посьета (до 4-х верст). Но меры эти, при громадной их стоимости не принесли бы никакой пользы, потому что и при этом река Туманганг все-таки не годилась бы для сколько-нибудь серьезного судоходства». (Северная Корея. Сборник маршрутов. Труды осенней экспедиции 1898 года. Под редакцией Корфа, СПб., 1901 г., стр. 77).

33. Залив Гашкевича расположен близ устья Туманганга на территории Кореи. Корейское название этого залива — Чосонман. Русское название ему было дано по имени участника экипажа фрегата «Паллада», обследовавшего северо-восточное побережье Кореи в 1854 г.

34. В корейском королевстве основной денежной единицей являлся медный кеш (иначе чхун-чонн, т. е. медная монета). Монеты, каждая из которых весила около четырех граммов, назывались на нитку так, что каждые 100 кеш перевязывались отдельным узлом. 100 монет составляли 1 нянг, весом около 400 гр. По существовавшему в 90-х годах обменному курсу, один серебряный рубль наших денег обменивался на 5 нянг — связку из 500 монет, весом около 2 кг. Таким образом, за 6 обменных Гариным рублей экспедиция получила около 12 кг корейской медной монеты.

Золотые и серебряные деньги до японо-китайской войны 1894—1895 гг. в Корее почти не обращались, что отчасти было связано с жесткими ограничениями в добыче и употреблении благородных металлов в этой стране. Почти весь металл, добывавшийся на казенных рудниках, вывозился в Китай и Японию. За пределы Кореи контрабандно вывозилось и все золото, нелегально добывавшееся в стране частными старателями.

В середине 90-х годов в денежном обращении Кореи появляются серебряные деньги (японские иены, мексиканские доллары), а также банкноты, выпускавшиеся японским банком.

35. Такие сигнальные башни (по-корейски ёнды) для связи Сеула с отдаленнейшими пунктами королевства и предупреждения столицы от опасности были поставлены в 10—20 км друг от друга по главным дорогам и границе государства, образовав целую систему сигнализации. На каждой башне постоянно находился сторожевой караул, выставивший часового для наблюдения за огнями соседней сигнальной башни. Сигналы передавались при помощи специальных печей с пятью выходными отверстиями для огня, прикрывая которые в определенном порядке, посылали различные сигналы. Огонь в этих печах поддерживался постоянно; постоянно находилось открытым также одно из отверстий печи, над которым поднималось

одиночное пламя, свидетельствовавшее о бодрствовании стражи и спокойствии на контролируемом ею участке.

36. Последняя династия корейских королей — династия Ли, заняла корейский престол в результате дворцового переворота в 1392 г. и находилась у власти до 1910 г.; она была низложена японцами, которые в августе 1910 г. аннексировали Корею, включив ее в состав Японской империи в качестве колонии (генерал-губернаторство). Однако еще до этого, в 1905 г., Япония установила над Кореей своей протекторат. При корейском дворе было учреждено японское генеральное резидентство, ведавшее вначале лишь внешними сношениями Кореи, а затем подчинившее своей власти все остальные области государственной деятельности страны. В 1909 г. японцами была распущена корейская армия и ликвидированы корейское военное министерство и министерство юстиции, функции которых перешли в японские руки.

37. В Корею существовали две письменности: китайская иероглифическая и корейская, пользовавшаяся собственным фонетическим алфавитом. Китайская письменность проникла в Корею еще в первые века нашей эры и вместе с китайским языком, ставшим впоследствии официальным языком в Корейском государстве, получила широкое распространение среди господствовавшего класса этой страны. Все официальные документы и научные сочинения в прежней Корее, до захвата ее Японией, писались по-китайски.

Корейская письменность, которую в господствующих классах презрительно именовали женской письменностью, была распространена среди народа, выражавшего свои мысли на бумаге на корейском языке и при помощи звукового алфавита «хунмин-чжэнем». Последний был изобретен корейцами еще в 1443 г. и до настоящего времени сохранился без изменений. Он восходит к санскритскому алфавиту, с которым корейцы познакомились через тибетское письмо, благодаря общей с Тибетом и Индией буддийской религии. Это один из самых простых современных алфавитов мира. Графически его формы просты и логичны. Следует также отметить, что буквы алфавита «хунмин-чжэнем» не имеют ничего общего ни с китайскими иероглифами, ни со знаками японского силлабария. Однако «хунмин-чжэнем», из-за противодействия корейского дворянства и ученых, являвшихся монополистами знаний чуждой корейскому народу китайской письменности, в Корею долгое время не получал широкого распространения. Только в конце прошлого века корейское национальное письмо получило официальное признание корейского правительства, как государственная письменность.

38. Земля в Корею, как и в других странах Востока, считавшаяся собственностью короля, фактически находилась в руках класса феодалов, получивших ее от короля за верную службу. Крестьяне же в своем большинстве собственной земли не имели совершенно или имели такие малые наделы, которые не могли обеспечить прожиточного минимума. Они были вынуждены арендовать землю у помещиков, выплачивая землевладельцам до $\frac{3}{4}$ собранного урожая. Неудивительно поэтому, что корейское крестьянство влечло нищенское существование, голодая даже в самые урожайные годы.

Таковыми же земельные отношения в Корею оставались в период японской аннексии; они по существу несколько не изменились в настоящее время на юге страны, еще находящемся в условиях оккупационного режима американских империалистов.

Действительно, свободной земля стала в Корее лишь после освобождения ее Советской Армией от японского ига. Земельная реформа, проведенная в 1946 г. на севере Кореи, ликвидировала помещичью собственность, навсегда вызволив миллионы корейского трудового народа из помещичьей кабалы.

39. Грядковая система обработки полей составляет характерную особенность земледелия в Корее, так же как и в Китае. Крестьянские поля устроены в виде ряда параллельных грядок, разделенных между собой глубокими бороздами. Высота грядок от дна борозды до гребня от 15 до 25 см, расстояние между грядками — 50—75 см.

Эта система обработки полей в условиях муссонного климата в восточноазиатских странах имеет очень большие преимущества. Одно из ее преимуществ отмечает сам Гарин — это роль борозд как дренажных канав, по которым стекает излишняя влага в период летних дождей. Ранней весной, когда еще дуют северные холодные ветры, грядковая система облегчает предохранение посевов от гибели. С этой целью грядки располагаются обычно в направлении с востока на запад так, чтобы один склон их (южный) оставался подветренным. На этом склоне, который обычно и засевается, кроме того, лучше прогревается почва, так как солнечные лучи падают на его поверхность более отвесно. Важным преимуществом грядковой системы является также то, что почва в грядках бывает более рыхлой, что способствует ее лучшей аэрации и, следовательно, более быстрому развитию растений.

Наконец, нужно отметить, что грядки способствуют большему удержанию снега на поле и большему увлажнению весной почвы, которая в Корее отличается сравнительной сухостью.

40. В Корее и особенно на севере этой страны, в прошлом не отличавшемся безопасностью в военном отношении, города были обнесены крепостными стенами или земляными валами с каменной облицовкой. Они имели в плане вид четырехугольника или ломаной линии, охватывавшей, кроме самого города, также значительную территорию прилегающей местности. В период опасности здесь укрывалось также окрестное население. Четверо ворот в городских стенах обычно были ориентированы по странам света.

В настоящее время большинство этих крепостных стен разобрано, но в отдельных корейских городах они еще сохранились и служат памятниками строительного искусства Кореи в прошлом.

41. Родоначальником маньчжурской династии был маньчжурский военачальник Нурхаци (1559—1629 гг.), объединивший Маньчжурью единой властью и создавший династию Дайцин (Новый цин). В первой половине XVII в. маньчжурские войска Дайцинов китайской феодальной знатю были призваны для подавления мощного крестьянского восстания, свергнувшего в Китае Минскую династию.

После разгрома этого восстания в 1644 г. маньчжуры захватили китайский престол, провозгласив династию Дайцин императорской династией Китая. Власть их распространилась на весь Китай, а маньчжурская военно-феодалная верхушка стала господствующей кастой в Китае, поработившей китайский народ.

Маньчжурская династия Дайцин в Китае просуществовала до 1911 г. Первым маньчжурским императором Китая был внук Нурхаци, правивший под именем Шунь-Чжи.

42. В корейском королевстве все официальные должности (гу-

бернаторы провинций, начальники уездов и др.) лишь номинально назначались королем, в действительности же подбор лиц зависел от придворных связей, интриг, и, как общее правило, должности продавались лицам, предлагавшим наибольшую взятку. Губернаторы провинций за получение этого места платили по 40 тыс. рублей, впоследствии возмещая эти расходы и наживая целое состояние путем ограбления населения.

43. Китай, в вассальной зависимости у которого Корея находилась длительное время, обязался признать независимость и автономии последней в апреле 1895 г. по мирному договору, подписанному в Симоносеки Китаем после понесенного им поражения в японо-китайской войне 1894—1895 гг.

Однако устранение Китая из Кореи не привело к освобождению последней от иностранной зависимости. Фактически эта зависимость еще больше увеличилась в связи с захватнической политикой Японии в Корее. Устранив влияние Китая в Корее, японцы начали проводить широкую подготовку аннексии страны. Они наводнили Корею своими войсками, чиновниками, дипломатами; реорганизовали корейскую полицию и армию, поставленную под начало японских офицеров; изменили систему управления государством. Проводя политику закабаления Кореи, японцы не стеснялись в выборе средств, используя подкуп, лесть, запугивание и, наконец, открытый террор. Японскими агентами в 1895 г. была убита корейская королева Мин, которая стояла во главе оппозиции Японии.

44. В Книге Гарина неоднократно подчеркивается миролюбивость корейского народа. Действительно, этот народ никогда не отличался агрессивностью. Многочисленные войны, которые пришлось вынести за свою историю небольшому корейскому народу против превосходящих по силе противников, носили национально-освободительный характер.

В этих войнах против китайских феодалов, монгольских и маньчжурских завоевателей, против японских захватчиков корейский народ неоднократно проявлял образцы мужества, стойкости и военного искусства. Яркие примеры этого можно видеть как в ранней истории Кореи (освободительные войны VI—VII вв. против китайских полчищ, дважды вторгавшихся в пределы Кореи; изгнание из страны в конце XVI в. японских оккупационных армий Хидэёси, в борьбе с которыми корейцами был применен собственного изобретения бронированный железом военный корабль, напоминавший по внешнему виду черепахе), так и в новейшей истории: революционные выступления и партизанская война против японских захватчиков в период японской аннексии Кореи.

45. Вопрос о происхождении корейского народа до сих пор еще мало изучен. Предполагают, что корейцы относятся к тунгусской ветви монгольской расы. С японцами, так же как и с китайцами, корейцы имеют некоторые общие черты, однако существенно отличаются как от тех, так и от других как по своему физическому типу, так и по языку, культуре, быту.

46. Мусан, в прошлом маленький уездный городок, в настоящее время приобрел большое промышленное значение; он является центром железорудной промышленности Кореи. Своим подъемом этот город обязан богатейшим железорудным пластам, обнаруженным в его окрестностях. В связи с разработками последних Мусан был связан железной дорогой с берегом Японского моря.

47. Корейская ли, соответствующая китайской ли, равняется 0,5 км.

48. Граница Кореи с Китаем по рекам Туманганг и Амнокганг получила официальное оформление в 1712 г. До этого восточнее Пектусана она проходила значительно севернее по водоразделу рек Хайлунхэ и Булохэтунхэ, выходя к Тумангангу близ устья Булохэтунхэ. В 1712 г. одновременно с разграничением эта местность к северу от Туманганга, включая гору Пектусан, была обращена в нейтральную полосу, существование которой с течением времени сделало границу Кореи с Китаем на этом участке весьма неопределенной, тем более, что при разграничении 1712 г. не было точно установлено, какой из истоков Туманганга следует считать главным, принимаемым за государственную границу. Разногласия между Кореей и Китаем о границе, усилившиеся в связи с ликвидацией нейтральной полосы в 70-х годах прошлого столетия и начавшимся быстрым заселением последней выходцами с обеих сторон, привели к новому уточнению границы по Тумангангу (в 1885—1887 гг.). Однако посланные для этой цели корейские и китайские уполномоченные, после осмотра в районе водораздела Амнокганга и Туманганга, не пришли к согласованному решению, какой из истоков последней должен считаться пограничным. И впоследствии этот вопрос неоднократно поднимался и служил предметом споров между правительствами Кореи и Китая.

49. Маньчжурский тигр (*Felis tigris longipilis*), встречающийся, кроме Кореи и Маньчжурии, также и в горной тайге Советского Приморья, представляет местный (эндемический) вид — остаток древней субтропической фауны. Он не уступает ростом и силой бенгальскому тигру, но отличается от него более густой шерстью, необходимой животному для защиты от зимних холодов.

Во времена Гарина тигры в Северной Корее были весьма распространены. Они охотились за оленями, кабанями; нападали на людей на дорогах и даже в деревнях. «Тигр до того отважен, — сообщается в книге «Описание Кореи», ч. 2, стр. 163, — что забирается в деревню и нападает на беспечного крестьянина, который летом от жары обыкновенно спасается из тесной хижинки на свежий воздух, причем часто забывает развести во дворе огонь. Бывали случаи, когда тигр находил дверь в хижину запертой, то вскакивал на соломенную крышу, разрывал ее своими могучими лапами и стремглав бросался на свою жертву, не ожидавшую, конечно, подобного посетителя». В настоящее время тигры в Корее, сохранившиеся в небольшом количестве, вытеснены в глубь нетронутой тайги, где живут в горных скалах.

50. Жень-шень (*Panax ginseng*) — реликтовое растение Дальнего Востока, оваянное легендарной славой как чудодейственное лекарственное средство. Это травянистое растение до 50—60 см высоты. Развитой стебель жень-шеня имеет 4—5 пятилопастных листьев и заканчивается сверху зонтиком мелких розовых цветов. Растение имеет очень мощный корень, веретенообразной формы, с отходящими от него отростками, придающими ему иногда отдаленное сходство с фигурой человека.

В китайской медицине корень жень-шеня применяется для лечения почти от всех болезней и даже как омолаживающее средство. Очень большой спрос и высокая ценность этого растения привели к полному истреблению в Корее дикорастущего жень-шеня. В Ко-

рее он возделывается как культурное растение; однако качество культурного жень-шеня считается более низким.

51. Описания этой дороги по Тумангангу и самой долины последнего содержатся в отчете Гарина, помещенном в сборнике Трудов осенней экспедиции в Корею. В нем Николай Георгиевич пишет: «От верховья реки до корейской деревни Тяпэ, на расстоянии 30 верст, ...с левой стороны долины реки тянется ряд невысоких, поросших лесом и травой, гор; правая же сторона представляет из себя плоскогорье верст на 20—30, и только вдаль видны отроги хребта Чанбайшань. Тропа идет по левому берегу реки, отходя от нее не далее полуверсты...

Не доходя пяти верст до деревни Тяпэ, тропа переходит на правый берег реки, на котором расположена деревня... Вся долина реки покрыта редким, но хорошим строевым, больше сосновым, лесом.

Деревня Тяпэ имеет до 50 дворов, разбросанных в беспорядке по берегу версты на полторы; занятие жителей — хлебопашество и скотоводство...

От деревни Тяпэ река входит в узкую долину, заключенную горами, вначале невысокими; по мере же приближения к городу Мусану, горы становятся все выше и иногда с крутыми, почти отвесными стенками.

Правый берег реки довольно населенный (корейцами), левый же, обратно, почти пустынный; так, на всем протяжении до гор. Мусана, встречаются две китайские деревни... Все протяжение дороги от верховья Туманганга до гор. Мусана 81 верста.

Долина реки частью открытая, частью поросшая мелким лесом и кустарником, горы же все покрыты мелким лесом, частью пригодным для построек». (Инж. Михайловский, Описание дороги вдоль р. Туманганг от верховья до г. Кегенфу. Северная Корея. Сборник маршрутов. Труды осенней экспедиции 1898 года. СПб., 1901 г., стр. 78—79).

52. Видимо, гималайский черный медведь (*Enaretos tibetanus*). Кроме лесов Дальнего Востока, он распространен также в лесах Южной и Средней Азии.

53. Пектусан, прославленный в народном творчестве корейцев и китайцев, представляет вулканический конус высотой 2743 м над уровнем моря. Поднимаясь над окружающей местностью более чем на 1000 м, он живописно выделяется своими стройными очертаниями и белым цветом склонов, покрытых отложениями пемзы (отсюда название Пектусан, или, по-китайски, Байтоушань, т. е. Белоголовая гора).

Время последнего извержения вулкана не установлено, однако отзвуки вулканической деятельности его наблюдались до самого последнего времени. Их описывает Гарин, наблюдавший с вершины Пектусана вдруг вырвавшееся из кратера облако пара с пемзовой пылью, мелкими камнями.

Почти отвесные внутренние стенки кратера, высотой до 500 м, позволяют хорошо рассмотреть структуру вулкана. Породы ранней фазы извержения, представленные сильно окварцованными риолитами темнокрасного цвета, чередуются здесь с более молодыми лавами, верхние слои которых содержат большое количество обсидиана и очень тверды. Местами они покрыты слоем еще не затвердевшего пемзового песка.

54. Стрельбицкий Иван Иванович, посетивший Пектусан в 1895 г., дал и первое описание последнего. В книге Стрельбицкого «Из

Хунчуна в Мукден и обратно по Чанбайшаньскому хребту» (Отчет о семимесячном путешествии по Маньчжурии и Корее в 1895—1896 гг. СПб., 1897) описанию Пектусана посвящена специальная глава, имеющая название «Пайшань, область истоков Туманганга, Амнокганга и Сунгари».

55. Гариным цитируется произведение Стрельбицкого «Из Хунчуна в Мукден и обратно», стр. 127.

56. Стрельбицким во время его путешествия по Корее были взяты с собой несколько баранов, часть которых была зарезана в Пектусане. Корейцами, сопровождавшими Гарина, это было истолковано как жертва дракону.

57. Озеро, расположенное в кратере вулкана на высоте 2 257 м, имеет в длину 4 км и в ширину — 2,5 км.

58. Изюбр (*Cervus canadensis*), а также пятнистый олень (*Cervus piprop*) в прошлом имели большое распространение в Корее, Маньчжурии и в нашем Приморье. Эти олени обитали в тайге и в смешанных лесах, выходя в открытые места весной и летом. Они издавна служили объектами усиленного промысла, доставлявшего панты — молодые рога самца, высоко ценящиеся благодаря своим целебным свойствам. Особенно ценятся рога пятнистого оленя; панты изюбра ценятся несколько ниже.

Корейцы обычно охотились на оленей небольшими партиями из двух-четырех человек. Так как панты, снятые с живого оленя, ценились выше, чем снятые с мертвого, охотники нередко прибегали к варварским методам. У пойманного в ловушку или в специальную яму животного рога вместе с лобной костью отделялись ударом топора по голове.

Хищническое уничтожение оленей пантовщиками привело почти к полному исчезновению этих животных в диком состоянии. В настоящее время они разводятся в специальных хозяйствах.

59. Описываемые Гариным Чанбайшаньские леса принадлежат к лучшим лесам в Корее и Маньчжурии. Здесь преобладает даурская лиственница (*Larix dahurica*), растущая смешанно с другими хвойными деревьями, но нередко образующая чисто лиственничные насаждения. Распространены цельнолистная пихта (*Abies holophylla*), корейский кедр (*Pinus koraiensis*) — большое стройное дерево с голубовато-зеленой хвоей, высоко ценящееся как строевой материал, белокорая, или серебристая пихта (*Abies nephrolepis*), выделяющаяся среди других хвойных очень светлой гладкой корой, густой темной кроной и обильными, сначала малиновыми, а позднее темно-фиолетовыми, торчащими вверх шишками.

В этих лесах, сравнительно удаленных от удобных путей для вывоза древесины и, вследствие этого, лучше сохранившихся от порубок, даже в настоящее время можно встретить массивы совершенно нетронутых насаждений, редко где еще сохранившиеся в Маньчжурии и Корее. Высота деревьев здесь достигает 40—50 м, толщина — нескольких обхватов. Но частые пожары наносят колоссальный ущерб лесам Чанбайшаня. Лесные пожары с обгорелыми стволами, поломанными и посохшими вершинами деревьев тянутся иногда на многие километры, производя своим видом удручающее впечатление.

60. Истоки Сунгари прорезали свои русла в покровах базальта мощностью в 100—200 м. Излияние основной массы базальта, очевидно, происходило в нижнем плейстоцене. После этого область

была приподнята, и эрозийная деятельность рек выразилась врезанием глубоких ущелий, напоминающих каньоны известняковых областей. Эти каньоны разделили всю базальтовую толщу на сухие плато.

61. Кольраби — разновидность огородной капусты. В пищу в отваренном и сыром виде употребляется ее стебель.

62. Эллинг — строение на судостроительной верфи с наклонным к воде фундаментом (стапелем), в котором закладываются и строятся судовые корпуса.

63. Путь Гарина от Пектусана до среднего течения Амнокганга проходил по пограничной территории, принадлежащей Маньчжурии. Этот район имел значительное корейское население, переселившееся со своей родины в связи с экспроприацией крестьянских земель в Корею. Но и на новом месте корейские переселенцы подвергались жестокой эксплуатации со стороны китайских помещиков, сдававших землю в аренду на кабальных условиях.

64. Гарин сравнивает высокие цены с ценами в дорогом петербургском ресторане «Кюба».

65. Из корейской деревни Таяншан, где была сделана остановка после перехода через Чанбайшанские леса, Гарин направил письмо начальнику Северокорейской экспедиции А. И. Звегинцеву, в котором сообщает о пройденном пути, о нападении хунхузов и о своих научных результатах:

«Многоуважаемый Александр Иванович!

Из Мусана мы прошли на Тяньпэ и затем направились по реке до самых истоков. Оттуда взобрались на Пектусан, и пошли двухдневные злключения с потерей моей лошади, но, исследовав все, направились новыми дорогами на Амнок. Побывали за Чанбайшанем в Маньчжурии согласно инструкции (от Маоэршаня на Гирин) и возвратились на Амнок близ Маоэршаня никогда еще, кажется, не пройденными дорогами.

Все время преследовали нас хунхузы и с 4 на 5 октября, в количестве 30—40 человек, дали нам ночное сражение, то-есть попросту засели в лесу и палили в нас из ружей и ручных пушек с разрывными снарядами. Солдаты определяют, что сделано было до трехсот выстрелов, залпов было очень много. Сгорела фанза от них, где мы ночевали; убиты четыре лошади, один кореец, хозяин фанзы, и без вести пропал наш кореец.

Остальные целы и держали себя все время мужественно. Мы отвечали на выстрелы, целясь на огни залпов, но берегли заряды, ожидая атаки. Вывели из-под огня в овраг лошадей (иначе всех перебили бы и мы не спаслись бы без них). Перетащили вещи из горевшей фанзы ползком, так как пули летали выше. Но многих из них взять с собой уже не могли, так как местное население в панике разбежалось и угнало скот.

Хотели было вещи сжечь, но решили, что по этим вещам легче будет разыскать разбойников. В 8 часов утра 5 октября мы отправились дальше, седьмого дошли до корейского берега, переправились и едем дальше на лодке. Говорят, и по Ялу много хунхузов, прежде я в них не верил, но теперь верю. К Вам в Капсан не иду — 240 верст, когда впереди такое еще путешествие, на измученных лошадях нельзя делать. Провизия наша вся вышла, питаемся корейской пищей и спим без кроватей и постелей на полу корейских фанз. Мало спим; впрочем, максимальный переход, который удалось сделать, 140 ли; при здешних дорогах трудно сделать больше.

Вот результаты: относительно водяных сообщений надо оставить всякие надежды, пользуясь только естественным сплавом. Железные же дороги можно строить, и направления их намечены у меня. Из Маоэршаня на Гирин строить железную дорогу нельзя, а обходя Пектусан и оставляя его к западу, соединение с Гириним возможное и легкое.

Лесу выше Тяньэ много, много его и в Маньчжурии; по приблизительному подсчету лиственницы до 1 1/2 миллиона десятин, и местами прекрасной. Каменный уголь попался в Хойрёнге. Золото встретили вчера в двух местах по притоку Ялу (со стороны Маньчжурии, по которому спустились мы) — Саген-дунмур.

Денег вышло много на проклятую перевозку грузов (лодку оставили в озере) и не знаю, как доберемся до Порт-Артура.

Людей не отпускаю, так как едем на лодке и все равно надо нанимать гребцов...

Н. Е. все время ведет прекрасную карту. Я веду барометрический журнал, беру высоты, веду дневник и записываю сказки. Их уже 55.

Вот, кажется, и все.

Михайловский. 8 октября 98 г., д. Таянхан!!

66. Торговля жень-шенем, составлявшим важнейшую статью корейского экспорта, была монополизирована корейским королевским двором, и корейское население было обязано сдавать собиравшийся им жень-шень казне, которая перепродавала его китайским и другим купцам. После захвата Кореи японцами последние присвоили себе монополию на сбыт корейского жень-шеня.

67. Аргонавты — герои древнегреческих сказаний о походе на корабле «Арго» за золотым руном в Колхиду (Черноморское побережье Закавказья).

68. Разница между южными и северными корейцами действительно существует. Они отличаются и по своему физическому типу, и по языку, и по культуре. Южане несколько ниже ростом, и у них сильнее выражен монгольский тип. В известной монографии о Корее «Описание Кореи» (издание Министерства финансов, СПб., 1900 г.) по этому поводу пишется: «Вообще, северные корейцы по внешнему виду значительно отличаются от южных. На севере корейцы выше ростом, красивее и обходительнее; черты их лиц имеют нечто кавказское, скулы менее выдаются и глаза имеют более овальную форму, чем у большинства жителей Дальнего Востока» (стр. 339).

Следует лишь отметить, что замеченные Гариним различия в физических типах относятся к жителям восточной и западной половины Северной Кореи. Между населением этих местностей в Корее, видимо, также существуют различия в физических типах, возможно, в результате более тесных связей, которые издавна существовали между северо-западным побережьем и югом Кореи. Северо-восток же Кореи длительное время оставался относительно более изолированным.

69. О судоходных условиях и судоходстве на реке Амнокганг Гарин более подробно пишет в своем научном отчете, помещенном в «Трудах осенней экспедиции 1898 г.» (СПб., 1901 г., стр. 312—313). Отмечая в нем неблагоприятность судоходных условий реки, изобилующей перекатами, он дает характеристику некоторым из

встреченных перекатов: «Из других перекатов заслуживают внимание следующие:

1) близ китайской деревни Тхунгоу и противоположной ей корейской Манпхо (бывшей заставы, она же Манпхочжин); перекаат — $1\frac{1}{2}$ фут. при ширине 200 саж. удобен для перехода в брод, так как течение не очень сильно, а дно хотя и каменисто, но камень мелкий;

2) близ дер. Куанменлазо (запертые ворота) — перекаат того же названия; дно реки в этом месте покрыто выступающими наружу острыми камнями, при очень быстром течении, а вода скатывается с камней в виде небольших водопадов;

3) близ деревни Уханденхуа — брод $1\frac{3}{4}$ фута глубиной, шириной 200 сажений;

4) близ деревни Пансам; глубина $2\frac{5}{8}$ фута, при ширине до 200 саж.;

5) близ корейской деревни Тумугор; глубина $1\frac{3}{4}$ фута и ширина 250 сажений, течение не быстрое, дно песчаное, вполне удобное, как брод. По словам корейцев, здесь место перехода японских войск в 1896 г.»

В настоящее время река Амнокганг на участке между Иуоном и Сунхунгдоном, протяжением 156 км, стала вполне судоходной в связи со значительным подъемом воды после постройки подпорной плотины у Сунхунгдона. Ниже последней судоходство зависит от пропуска воды через турбины и плотину, изменяющего уровень воды в реке.

70. Октябрь в Корее является месяцем, когда устанавливается зимний муссон, приносящий из внутренних частей Азиатского континента массы холодного сухого воздуха. В этом месяце заметно похолодание, появляются первые ночные заморозки, а в отдельных районах Северной Кореи даже случаются снегопады; обычно же днем бывает тепло и солнечно.

71. Японо-китайская война 1894—1895 гг., спровоцированная Японией с целью устранения Китая из Кореи, началась большим сражением на корейской территории в районе города Пхеньян. После сильных атак японцев, начавших военные действия против Китая за несколько дней до формального объявления войны, китайские войска отступили на север к границам Маньчжурии. Получив новые подкрепления, японцы начали преследование отступавших китайских войск и, переправившись через пограничную реку Амнокганг, вступили в пределы Китайской империи. Дальнейшие военные действия закончившиеся поражением китайских войск, продолжались на территории Маньчжурии.

72. Ыйчжу, расположенный на левом берегу Амнокганга в 60 км от устья последнего, в прошлом являлся самым большим и важным в торговом отношении городом Кореи на границе с Китаем. Через него проходила почти вся корейско-китайская торговля. В нем сосредоточивались для отправки в Китай корейский жень-шень, золото, кожи, меха и выгружались направлявшиеся в Корею китайские шелковые и хлопчатобумажные ткани.

Японо-китайская война нанесла городу сильный ущерб, после которого Ыйчжу долго не мог оправиться. После же основания города Син-Ыйчжу (Новый Ыйчжу), расположенного несколько ниже по течению Амнокганга, где сосредоточилась торговля и промышленная деятельность, Ыйчжу совершенно утратил экономическое значение.

73. Крупный рогатый скот на северо-западном побережье Кореи считается лучшим в Корее. Взрослое животное здесь достигает 1,5 м роста и весит до 300—320 кг. Бык легко везет двуколку с грузом в 670—700 кг. С вьюком в 150 кг он свободно преодолевает любые подъемы на горных дорогах и без затруднений переправляется через быстрые реки. Корейские волы используются также для верховой езды.

74. В корейском королевстве существовала прослойка населения, находившегося в рабском положении,— это так называемые чон-и, панби и пидзе. Они состояли из лиц, осуждавшихся в рабское состояние по суду за совершенные преступления, из членов семей осужденных, а также и в результате продажи родителями своих детей, что бывало, однако, сравнительно редко. Крепостное положение переходило по наследству от родителей к детям.

Чон-и являлись собственностью своего хозяина, имевшего право распоряжаться жизнью своего крепостного по личному усмотрению, вплоть до убийства последнего. Они обрабатывали землю своих господ, составляли его прислугу и использовались (женщины) в качестве наложниц.

75. На месте китайского поселения Сахоу, которое описывает Гарин, в настоящее время находится город Аньдун. Этот город, расположенный на берегу Амнокганга, получил особенно сильное экономическое развитие после сооружения Мукден-аньдунской железной дороги и соединения ее с корейской железнодорожной сетью.

В настоящее время он представляет крупнейший промышленный центр Маньчжурии с населением свыше 300 тыс. человек.

76. Реборда — выступающий край на обочее железнодорожного колеса, предохраняющий его от схода с рельса.

77. Гарин отмечает пяти тысячелетнюю давность китайской культуры. В действительности она насчитывает меньший срок существования. Начало истории Китая принято считать с конца исторического периода, известного в китайских письменных источниках под именем Инь-Шан (1166—1122 гг.), т. е. с XII в. до н. э. С этого периода история Китая освещается памятниками материальной культуры и китайскими письменными источниками; таким образом, ее общий срок существования составляет около четырех тысячелетий.

Вообще же на территории Китая существование человека исчисляется гораздо большим сроком. Многочисленные археологические изыскания в этой стране привели к находкам остатков неолитической (нового каменного века) и энеолитической (эпоха перехода от камня к бронзе) культуры. Эта культура, названная по месту раскопок в провинции Хэнань яншаоской, отнесена примерно к периоду 3500—1700 гг. до н. э. и аналогична культурам того времени в Передней Азии (Вавилон), Центральной Азии (Анау-Восточный Туркестан).

78. Существовавший в Китае обычай уродования ног женщинам состоял в искусственном задерживании роста женской стопы и изменении ее формы при помощи специальных колодок, которые надевались на ноги в детском возрасте. Он был распространен среди всех слоев китайского населения и еще больше усугублял неравноправное положение китаянки в обществе: она была лишена возможности даже свободно передвигаться.

В настоящее время этот обычай в Китае почти совершенно изжит.

79. Конфуций (Кун-Фуцзы), живший приблизительно в 551—479 гг. до н. э.) — создатель обширной школы конфуцианских философов и литераторов. Его учение (идеализация древности, принципы регламентации поведения человека и взаимоотношений между людьми и пр.), развивавшееся и пропагандировавшееся многочисленными учениками и последователями Конфуция, сыграло исключительную роль в формировании китайской феодальной культуры. В Китае во II—I вв. до н. э. это учение становится господствующей идеологией, идеологией эксплуататоров. Постепенно оно превращалось в своеобразную государственную религию в Китае, в которой, как выражается Гарин, нет дороги вперед, все стоит на месте, все неподвижно.

80. Крайняя отсталость и примитивность техники сельскохозяйственного производства характерны для Китая и в настоящее время. Для подъема почвы применяется деревянный китайский плуг «ли»; это орудие необычайно тяжелое, требующее упряжки в 2—4 лошади и неудобное в работе. Плуг не переворачивает, а только рыхлит почву.

Еще более примитивны орудия, применяемые китайскими крестьянами для прополки, окучивания, разрыхления почвы (мотыга-сапка «гу-тоу» для посева и уборки урожая, китайский серп, деревянные вилы).

81. Бицзыво являлся крайним северным пунктом арендованной Россией территории на Ляодунском полуострове в Маньчжурии. Эта территория, занимающая наиболее выдвинутую на юг часть Ляодунского полуострова, так называемый полуостров Гуандун, или в европейском произношении Квантун, и прилегающие мелкие острова под общим названием Квантунской области, в 1898 г., незадолго перед посещением этой местности Гариным, была передана Китаем России в аренду на 25 лет.

Впоследствии арендные права на Квантунскую область были присвоены Японией, нанесяшей поражение царскому правительству в русско-японской войне 1904—1905 гг. Японцами, добивавшимися от Китая продления срока аренды Квантунской области на 99 лет, последняя, в 1915 г. была превращена в колонию и военную базу империалистической Японии.

После разгрома Японии территория бывшей Квантунской области по советско-китайскому соглашению, подписанному в августе 1945 г., вошла в состав Порт-Артурской военно-морской базы, оборона которой китайским правительством была вверена Советскому Союзу.

82. Порт-Артур расположен на юго-восточной оконечности Ляодунского полуострова на берегу закрытой удобной бухты. В 1898 г., на основании соглашения с Китаем, в Порт-Артуре русскими было начато строительство крепости и военно-морской базы для русской Тихоокеанской эскадры.

На стоянку русской эскадры в этом порту в ночь на 9 февраля 1904 г. без объявления войны японцами было произведено внезапное нападение, положившее начало русско-японской войне.

Во время войны русский гарнизон Порт-Артурского в течение почти года героически отбивал атаки значительно превосходившей его по силе японской армии и нанес ей огромные потери. Взятие Порт-Артурского японцам обошлось в 120 тыс. человеческих жизней.

В соглашении с Китаем от 14 августа 1945 г., вверившим оборону Порт-Артурской морской базы Советскому Союзу, сказано:

«В целях укрепления безопасности Китая и СССР и предотвращения повторной агрессии со стороны Японии, Правительство Китайской Республики согласно на совместное использование обеими Договаривающимися Сторонами Порт-Артура в качестве военно-морской базы».

83. Вэйхайвэй — одна из лучших гаваней Желтого моря, расположена на северо-восточном побережье полуострова Пань-дунь, в 60 км от порта Чифу. В 1898 г. она была вынужденно уступлена Китаем в аренду Великобритании, превратившей Вэйхайвэй в свою морскую и угольную базу в Северном Китае.

84. Порты Желтого моря значительно уступают по судоходным условиям портам Японского моря. Желтое море мелководно; у побережий оно изобилует мелями, крайне затрудняющими судоходство. Море имеет очень значительное колебание в уровне в результате приливов и отливов, достигающее в отдельных пунктах до 8 м и более. Мощный вал морского прилива наступает на сушу с чрезвычайной большой скоростью, затрудняя сообщение судов с берегом. После спада воды бухты Желтого моря обсыхают, становясь в своем большинстве совершенно недоступными морским судам.

Японское море глубоководно и в значительно меньшей степени подвержено приливам, никак не влияющим на судоходство. Бухты Японского моря доступны для крупнейших океанских судов.

85. На Ляодунском полуострове, во время посещения его Гариным, Россией велось строительство южной линии Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), открывшей выход из Сибири на юг Ляодунского побережья с его незамерзающими бухтами. В то же время на месте небольшой китайской деревушки на берегу залива Талиенван русскими строился выходной порт КВЖД — Дальний, превратившийся в настоящее время в крупнейший торговый порт и промышленный центр. В 1945 г. население Дальнего превышало 800 тыс. человек.

86. Дадунгоу — портовый город в устье Амнокганга.

87. Чемульпо (правильнее Инчён) — порт на западном побережье Корейского полуострова, в 30 км южнее устья Ханганга. Он возник в восьмидесятих годах прошлого столетия на месте небольшой корейской деревушки и во времена Гарина уже представлял значительный поселок, с населением около 20 тыс. человек. Этот корейский порт часто посещался торговыми судами и служил важным центром внешней торговли Кореи. Через него поддерживалась морская связь России с Сеулом.

Гавань Чемульпо приобрела большую известность во время русско-японской войны 1904—1905 гг. в связи с героическим подвигом русских моряков крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». В настоящее время Чемульпо является одним из крупнейших портов Кореи. В 1946 г. население города составляло 215 тыс. человек.

88. Чифу (Янтай) — порт на северном берегу Шаньдунского полуострова. Он был открыт для внешней торговли Китая в 1863 г. и во времена Гарина уже имел международный селтльмент с европейским населением. Чифу был связан регулярными пароходными рейсами с Порт-Артуром, Владивостоком, портами Кореи и Китая.

89. Желтая река (по-китайски Хуанхэ) — вторая по величине река Китая. В нижнем течении она пересекает провинцию Шаньдун в северо-восточном направлении и впадает севернее Шаньдунского полуострова в Чжалийский залив Желтого моря.

Пересекая область необычайно мощного развития лёссовых толщ и размывая их, Хуанхэ выносит в море большое количество взвешенного в воде материала (ил, песок). Эти лёссовые частицы придают желтый цвет воде реки и желтый оттенок морской воде в Чжилийском заливе.

90—91. Шанхай, главный океанский порт и крупнейший промышленный и торговый центр Китая, расположен не на самом берегу моря, а в 72 км от него на реке Хуанпу.

Он является одним из старейших городов Китая, имевших оживленную торговлю еще до появления иностранцев в этой стране. Для внешней торговли Шанхай был открыт по Нанкинскому договору 1842 г., а уже в следующем году в городе возник иностранный (английский) селтльмент. В 1849 г. по соседству с селтльментом была основана французская концессия. Во время посещения Шанхая Гариным иностранные владения в городе, состоявшие из английского, французского и американского селтльментов, охватывали обширную территорию, растянувшуюся вдоль реки Хуанпу более чем на 6 км. Впоследствии площадь иностранных владений в Шанхае еще больше увеличилась, а население в международном селтльменте к 1930 г. дошло до 1 млн. человек. На этой территории иностранцы осуществляли полное самоуправление, имея свой муниципалитет, свои войска, свою полицию. Шанхайский селтльмент являлся финансовым и экономическим центром иностранного капитала в Китае.

Только в 1943 г. специальным договором между Китаем, с одной стороны, и США и Великобританией, с другой,— права экстерриториальности англичан и американцев в Китае и их права на селтльменты, концессии и другие владения в этой стране (кроме Гонконга и Коолуна, которые Великобритания продолжает удерживать за собой) были аннулированы. В последующие годы Китаем были заключены аналогичные договоры об отмене экстерриториальных прав в Китае с Голландией, Францией и другими странами.

92. Появление и распространение опиума в Китае связано с вторжением в эту страну иностранного капитала. Особенно большой активностью в распространении опиума и опиумокурения в Китае отличалась Ост-Индская компания, ввозившая в больших количествах наркотик в Китай из Индии.

93. Упоминаемое Гариным событие в Нагасакской бухте является одним из многочисленных и характерных проявлений антихристианского, по существу антииностранный движения в странах Восточной Азии. Оно являлось своеобразной формой борьбы восточно-азиатских народов с экономическим и политическим закабалением азиатских стран иностранным капиталом, огромную роль в котором играли католические миссионерские организации.

94. Нагасаки — портовый город на западном побережье японского острова Кюсю. Он расположен на берегу удобной бухты у входа в Японское море и является важным пунктом на морских коммуникациях в восточноазиатских морях. Население города в 1897 г. составляло 63 тыс. человек; в 1937 г. оно выросло до 215 тыс.

95. Быстрое развитие японского капитализма в конце прошлого столетия и вступление Японии на путь империалистических захватов требовали огромных ресурсов, для приобретения которых японские империалисты использовали все средства. Японским правительством были увеличены и введены новые налоги на население страны, выпущены кредитные билеты, до крайних пределов была доведена

эксплоатация рабочих и крестьян. Вместе с тем японский империализм добивался получения иностранных займов.

96. Иокогама, второй по величине после Кобе порт Японии, расположен на западном берегу бухты Токио, в 29 км от города Токио. Он обслуживает главным образом тихоокеанскую торговлю Японии и связан регулярными рейсами с тихоокеанскими портами США, Австралии, Китая.

97. Вулкан Фудзияма, представляющий величественный андезитовый конус в 3778 м высотой, расположен в 80 км к юго-западу от Иокогамы. Он является высшей точкой Японии и виден с моря на расстоянии почти 150 км. Свою деятельность Фудзияма прекратил в 1708 г. Покрытый в течение десяти месяцев в году шапкой снега, он служит одним из любимых сюжетов в японской живописи.

98. Соединенные Штаты начали войну с Испанией, владевшей Филиппинами, в апреле 1898 г. Вскоре же после объявления войны эскадра США разгромила в Манильском заливе испанский дальневосточный флот, а прибывшие из Соединенных Штатов сухопутные войска (10 тыс. человек) уже в августе заняли главный город Филиппин — Манилу. 10 декабря 1898 г. был подписан договор, по которому Испания уступила Филиппины Соединенным Штатам. Это была первая война за передел колоний. США прочно стали на путь колониальной экспансии.

99. Гонолулу — порт на юго-восточном берегу Оаху, третьего по величине из Гавайских или Сандвичевых островов. Эти острова, представляющие собой архипелаг из 20 островов и большого количества мелких островков и коралловых рифов, вытянувшихся почти на 2,5 тыс. км с северо-востока на юго-запад, расположены в центре восточной части Тихого океана на пути из Азии в Америку.

Порт Гонолулу является одной из прекраснейших гаваней. Расположенный на важном торговом пути, он издавна служит для стоянки судов и для пополнения последними запасов воды и продовольствия. Положению гавани в низких широтах (21° с. ш.) Тихого океана соответствуют теплый морской климат и богатство тропической растительности, поразившей Гарина своим великолепием.

100. Гавайская республика была провозглашена в 1893 г. после свержения династии гавайских королей, утвердившихся на Гавайях в конце XVIII в. Переворот был совершон американскими плантаторами, захватившими ведущие посты в новом правительстве. Поэтому уже в 1897 г. республиканское правительство Гавайев подписало соглашение с США о присоединении островов к Соединенным Штатам. 12 августа 1898 г., за три месяца до посещения Гонолулу Гариным, на Гавайях был поднят американский флаг.

101. Мауна-Лоа («высокая гора») — действующий вулкан на крупнейшем острове архипелага Гавайи. Он относится к типу вулканов и представляет конус высотой 4168 м и с основанием более 80 км в диаметре. В период извержения вулкана базальтовая лава изливается из кратера медленными потоками, которые, растекаясь по склонам, образуют обширные, наслаивающиеся один на другой покровы.

102. В действительности расстояние от Гонолулу до вулкана Мауна-Лоа значительно большее. Они расположены на различных островах Гавайев: Гонолулу — на острове Оаху, Мауна-Лоа — на острове Гавайи, удаленном от первого на 150 км.

103. Клотильда — повесть Николая Георгиевича Гарина-Михайловского из периода пребывания писателя в Бургасе на строительстве дороги в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Повесть была напечатана в 1899 г.

104. Известный писатель Эмиль Золя в 1898 г. выступил в газете «Орор» с обвинительным письмом, адресованным президенту Французской республики. Поводом для этого письма явился оправдательный приговор французского суда Эстергази, против которого было возбуждено дело по обвинению в шпионаже братом французского офицера А. Дрейфуса (по национальности еврея), перед этим осужденного военным судом по подозрению в шпионаже в пользу Германии. Э. Золя, как и большинство других, считал виновным в шпионаже Эстергази, а не осужденного судом Дрейфуса.

105. Индейцы — коренные обитатели материка Северной Америки, которых Гарин называет хозяевами страны, после колонизации Америки и заселения современной территории США англо-саксонскими колонистами, подверглись массовому истреблению. Колонисты, продвигаясь в глубь материка, все больше оттесняли индейцев с их исконных земель в болота и пустыни. В результате индейцы не только лишились своих лучших охотничьих угодий, обеспечивавших охотничьи племена средствами существования, но и подверглись со стороны пришлого элемента чудовищной расовой дискриминации.

Англо-саксонские колонисты, пользуясь содействием властей, истребляли индейцев всеми средствами, действуя по излюбленному у этих колонистов принципу, что «самый лучший индеец — это мертвый индеец». Они охотились на них, как на диких зверей, подвергали индейцев массовым побоищам и по мере подавления и «умиротворения» индейцев сгоняли их на специально отведенные бесплодные территории, так называемые резервации. На этих территориях, под «неусыпным попечением» государственных чиновников, индейцы владели нищенское существование, постепенно вымирая от систематического недоедания, болезней и алкоголя, которым их спаивали американцы.

Если в эпоху колонизации Америки численность индейского населения на современной территории Соединенных Штатов определялась в 1—1,5 млн. человек, то в результате систематического истребления его в продолжение ряда веков к концу прошлого столетия оно сократилось до 400 тыс. и упало к 1923 г. до 220 тысяч.

106. Мормоны — североамериканская секта, учение которой представляет смесь многобожия и христианства.

107. Резкое ухудшение англо-французских отношений в конце прошлого столетия, достигшее своего кульминационного пункта осенью 1898 г. в связи с занятием французским отрядом Фашоды в долине Нила, было связано с активизацией колониальной экспансии Англии и Франции в Африке, торопившихся захватить еще «свободные» или спорные территории на этом континенте. Фашодский конфликт закончился в 1899 г. капитуляцией Франции.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Н. Г. Гарин-Михайловский и его путешествие вокруг света	3
<i>Глава первая.</i> Через Сибирь на Дальний Восток	37
<i>Глава вторая.</i> Вверх по Тумангангу на Пектусан	87
<i>Глава третья.</i> Исследование в районе вулкана Пектусан	162
<i>Глава четвертая.</i> Путь через Чанбайшань до среднего течения Амнокганга	194
<i>Глава пятая.</i> Вниз по Амнокгангу от Маоэршаня до Ыйчжу 226	226
<i>Глава шестая.</i> По Ляодунскому полуострову	270
<i>Глава седьмая.</i> Из Порт-Артура в Россию через Тихий и Атлантический океаны	289
Корейский фольклор	329
Примечания и комментарии	382
Оглавление	404

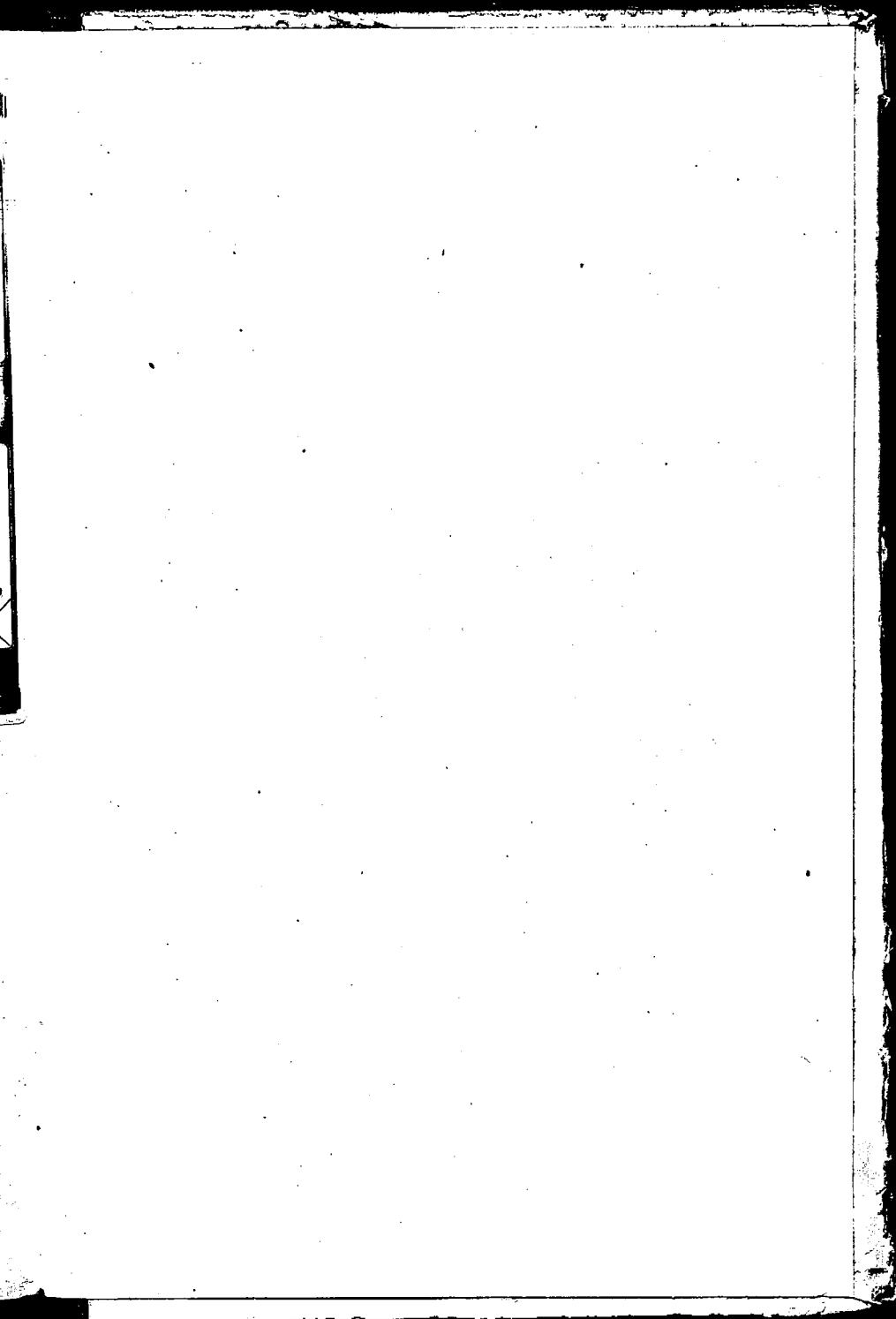
Редактор *С. В. Узин*
 Художественный редактор *В. В. Осокин*
 Технический редактор *С. М. Кошелева*
 Обложка и рисунки *Г. А. Петрова*

Сдано в производство 5/IX 1949 г. Подписано к печати 15/X 1949 г.
 А11693. Формат 84×108/32. Тираж 25 000 экз.
 Печатных листов 25¹/₄ + 3 вкл. Учетно-издат. л. 23,6.
 Цена 9 р. 25 к. Переплет 1 руб. Заказ № 834.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
 Главполиграфиздата при Совете Министров СССР.
 Москва, Валовая, 28.

60

Проверено
1953 г.



А263/71

-10 р. 25 к.-

3

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1949

Проверено
1953 г.